ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ

ДОСТОЕВСКИЙ

Идиот

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ

ДОСТОЕВСКИЙ

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ

ДОСТОЕВСКИЙ

ИДИОТ

Роман в четырех частях

Часть 4

ИГРОК

ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ

МИР КНИГИ

Литература

ББК 84(2Рос=Рус)
Д70

Достоевский Ф. М.

Д70 Собрание сочинений: Идиот: Роман, ч. 4; Игрок: роман; Записки из подполья / М.: Мир книги, Литература, 2008.— 368 с.

ISBN 978-5-486-01832-9 (т. 6)
ISBN 978-5-486-01562-5

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) — великий русский писатель, в произведениях которого органично сочетается реалистическое изображение социальных контрастов и страстные поиски общественной и человеческой гармонии, тончайший психологизм и гуманизм. Творчество Достоевского оказало огромное влияние на русскую и мировую литературу.

В данный том Собрания сочинений вошли окончание романа «Идиот», роман «Игрок» и «Записки из подполья».

ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-01832-9 (т. 6)
ISBN 978-5-486-01562-5

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2007
© ООО «РИЦ Литература», состав, комментарии, 2007

ИДИОТ

Часть 4

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Прошло с неделю после свидания двух лиц нашего рассказа на зеленой скамейке. В одно светлое утро, около половины одиннадцатого, Варвара Ардалионовна Птицына, вышедшая посетить кой-кого из своих знакомых, возвратилась домой в большой и прискорбной задумчивости.

Есть люди, о которых трудно сказать что-нибудь такое, что представило бы их разом и целиком, в их самом типическом и характерном виде; это те люди, которых обыкновенно называют людьми «обыкновенными», «большинством» и которые действительно, составляют огромное большинство всякого общества. Писатели в своих романах и повестях большею частию стараются брать типы общества и представлять их образно и художественно,— типы, чрезвычайно редко встречающиеся в действительности целиком и которые тем не менее почти действительнее самой действительности. Подколесин в своем типическом виде, может быть, даже и преувеличение, но отнюдь не небывальщина. Какое множество умных людей, узнав от Гоголя про Подколесина, тотчас же стали находить, что десятки и сотни их добрых знакомых и друзей ужасно похожи на Подколесина. Они и до Гоголя знали, что эти друзья их такие, как Подколесин, но только не знали еще, что они именно так называются. В действительности женихи ужасно редко прыгают из окошек пред своими свадьбами, потому что это, не говоря уже о прочем, даже и неудобно; тем не менее сколько женихов, даже людей достойных и умных, пред венцом сами себя в глубине совести готовы были признать Подколесиными. Не все тоже мужья кричат на каждом шагу: «Tu l'as voulu George Dandin!»[1] Но, Боже, сколько миллионов и биллионов раз повторялся мужьями

[1] «Ты этого хотел, Жорж Дантен!» (*фр.*)

целого света этот сердечный крик после их медового месяца, а кто знает, может быть, и на другой же день после свадьбы.

Итак, не вдаваясь в более серьезные объяснения, мы скажем только, что в действительности типичность лиц как бы разбавляется водой, и все эти Жорж Дандены и Подколесины существуют действительно, снуют и бегают пред нами ежедневно, но как бы несколько в разжиженном состоянии. Оговорившись, наконец, в том, для полноты истины, что и весь Жорж Данден целиком, как его создал Мольер, тоже может встретиться в действительности, хотя и редко, мы тем закончим наше рассуждение, которое начинает становиться похожим на журнальную критику. Тем не менее все-таки пред нами остается вопрос: что делать романисту с людьми ординарными, совершенно «обыкновенными», и как выставить их перед читателем, чтобы сделать их хоть сколько-нибудь интересными? Совершенно миновать их в рассказе никак нельзя, потому что ординарные люди поминутно и в большинстве необходимое звено в связи житейских событий; миновав их, стало быть, нарушим правдоподобие. Наполнять романы одними типами или даже просто, для интереса, людьми странными и небывалыми было бы неправдоподобно, да, пожалуй, и неинтересно. По-нашему, писателю надо стараться отыскивать интересные и поучительные оттенки даже и между ординарностями. Когда же, например, самая сущность некоторых ординарных лиц именно заключается в их всегдашней и неизменной ординарности, или, что еще лучше, когда, несмотря на все чрезвычайные усилия этих лиц выйти во что бы ни стало из колеи обыкновенности и рутины, они все-таки кончают тем, что остаются неизменно и вечно одною только рутиной, тогда такие лица получают даже некоторую своего рода и типичность,— как ординарность, которая ни за что не хочет остаться тем, что она есть, и во что бы то ни стало хочет стать оригинальною и самостоятельною, не имея ни малейших средств к самостоятельности.

К этому-то разряду «обыкновенных» или «ординарных» людей принадлежат и некоторые лица нашего рассказа, доселе (сознаюсь в том) мало разъясненные читателю. Таковы именно Варвара Ардалионовна Птицына, супруг ее, господин Птицын, Гаврила Ардалионович, ее брат.

В самом деле, нет ничего досаднее, как быть, например, богатым, порядочной фамилии, приличной наружности, недурно образованным, неглупым, даже добрым, и в то же время не иметь никакого таланта, никакой особенности, никакого даже чудачества, ни одной своей собственной идеи, быть решительно «как и все». Богатство есть, но не Ротшильдово; фамилия честная, но ничем никогда себя не ознаменовавшая; наружность приличная, но очень мало выражающая; образование порядочное, но не знаешь, на что

его употребить; ум есть, но без *своих идей*; сердце есть, но без великодушия, и т. д., и т. д. во всех отношениях. Таких людей на свете чрезвычайное множество и даже гораздо более, чем кажется; они разделяются, как и все люди, на два главные разряда: одни ограниченные, другие «гораздо поумней». Первые счастливее. Ограниченному «обыкновенному» человеку нет, например, ничего легче как вообразить себя человеком необыкновенным и оригинальным и усладиться тем без всяких колебаний. Стоило некоторым из наших барышень остричь себе волосы, надеть синие очки и наименоваться нигилистками, чтобы тотчас же убедиться, что, надев очки, они немедленно стали иметь свои собственные «убеждения». Стоило иному только капельку почувствовать в сердце своем что-нибудь из какого-нибудь общечеловеческого и доброго ощущения, чтобы немедленно убедиться, что уж никто так не чувствует, как он, что он передовой в общем развитии. Стоило иному на слово принять какую-нибудь мысль или прочитать страничку чего-нибудь без начала и конца, чтобы тотчас поверить, что это «свои собственные мысли» и в его собственном мозгу зародились. Наглость наивности, если можно так выразиться, в таких случаях доходит до удивительного; все это невероятно, но встречается поминутно. Эта наглость наивности, эта несомневаемость глупого человека в себе и в своем таланте, превосходно выставлена Гоголем в удивительном типе поручика Пирогова. Пирогов даже и не сомневается в том, что он гений, даже выше всякого гения; до того не сомневается, что даже и вопроса себе об этом ни разу не задает; впрочем, вопросов для него и не существует. Великий писатель принужден был его, наконец, высечь для удовлетворения оскорбленного нравственного чувства своего читателя, но, увидев, что великий человек только встряхнулся и для подкрепления сил после истязания съел слоеный пирожок, развел в удивлении руки и так оставил своих читателей. Я всегда горевал, что великий Пирогов взят Гоголем в таком маленьком чине, потому что Пирогов до того самоудовлетворим, что ему нет ничего легче как вообразить себя, по мере толстеющих и крутящихся на нем с годами и «по линии» эполет, чрезвычайным, например, полководцем; даже и не вообразить, а просто не сомневаться в этом: произвели в генералы, как же не полководец? И сколько из таких делают потом ужасные фиаско на поле брани? А сколько было Пироговых между нашими литераторами, учеными, пропагандистами. Я говорю «было», но, уж конечно, есть и теперь...

Действующее лицо нашего рассказа, Гаврила Ардалионович Иволгин, принадлежал к другому разряду; он принадлежал к разряду людей «гораздо поумнее», хотя весь, с ног до головы, был заражен желанием оригинальности. Но этот разряд, как мы уже и заметили выше, гораздо несчастнее первого. В том-то и дело, что

умный «обыкновенный» человек, даже если б и воображал себя мимоходом (а пожалуй, и во всю свою жизнь) человеком гениальным и оригинальнейшим, тем не менее сохраняет в сердце своем червячка сомнения, который доводит до того, что умный человек кончает иногда совершенным отчаянием; если же и покоряется, то уже совершенно отравившись вогнанным внутрь тщеславием. Впрочем, мы во всяком случае взяли крайность: в огромном большинстве этого *умного* разряда людей дело происходит вовсе не так трагически; портится разве под конец лет печенка, более или менее, вот и все. Но все-таки, прежде чем смириться и покориться, эти люди чрезвычайно долго иногда куралесят, начиная с юности до покоряющегося возраста, и все из желания оригинальности. Встречаются даже странные случаи: из-за желания оригинальности иной честный человек готов решиться даже на низкое дело; бывает даже и так, что иной из этих несчастных не только честен, но даже и добр, провидение своего семейства, содержит и питает своими трудами даже чужих, не только своих, и что же? всю-то жизнь не может успокоиться! Для него нисколько не успокоительна и не утешительна мысль, что он так хорошо исполнил свои человеческие обязанности; даже, напротив, она-то и раздражает его: «Вот, дескать, на что ухлопал я всю мою жизнь, вот что связало меня по рукам и по ногам, вот что помешало мне открыть порох! Не было бы этого, я, может быть, непременно бы открыл — либо порох, либо Америку,— наверно еще не знаю что, но только непременно бы открыл!» Всего характернее в этих господах то, что они действительно всю жизнь свою никак не могут узнать наверно, что именно им так надо открыть, и что именно они всю жизнь наготове открыть: порох или Америку? Но страдания, тоски по открываемому, право, достало бы в них на долю Колумба или Галилея.

Гаврила Ардалионович именно начинал в этом роде, но только что еще начинал. Долго еще предстояло ему куролесить. Глубокое и беспрерывное самоощущение своей бесталанности и, в то же время, непреодолимое желание убедиться в том, что он человек самостоятельнейший, сильно поранили его сердце, даже чуть ли еще не с отроческого возраста. Это был молодой человек с завистливыми и порывистыми желаниями и, кажется, даже так и родившийся с раздраженными нервами. Порывчатость своих желаний он принимал за их силу. При своем страстном желании отличиться, он готов был иногда на самый безрассудный скачок; но только что дело доходило до безрассудного скачка, герой наш всегда оказывался слишком умным, чтобы на него решиться. Это убивало его. Может быть, он даже решился бы, при случае, и на крайне низкое дело, лишь бы достигнуть чего-нибудь из мечтаемого; но как нарочно, только что доходило до черты, он всегда оказывался слишком честным для крайне низкого дела. (На маленькое низкое дело

он, впрочем, всегда готов был согласиться.) С отвращением и с ненавистью смотрел он на бедность и на упадок своего семейства. Даже с матерью обращался свысока и презрительно, несмотря на то что сам очень хорошо понимал, что репутация и характер его матери составляли покамест главную опорную точку и его карьеры. Поступив к Епанчину, он немедленно сказал себе: «Коли уж подличать, так уж подличать до конца, лишь бы выиграть», и — почти никогда не подличал до конца. Да и почему он вообразил, что ему непременно надо было подличать? Аглаи он просто тогда испугался, но не бросил с нею дела, а тянул его, на всякий случай, хотя никогда не верил серьезно, что она снизойдет до него. Потом, во время своей истории с Настасьей Филипповной, он вдруг вообразил себе, что достижение *всего* в деньгах. «Подличать, так подличать»,— повторял он себе тогда каждый день с самодовольствием, но и с некоторым страхом; «уж коли подличать, так уж доходить до верхушки,— ободрял он себя поминутно,—рутина в этих случаях оробеет, а мы не оробеем!» Проиграв Аглаю и раздавленный обстоятельствами, он совсем упал духом и действительно принес князю деньги, брошенные ему тогда сумасшедшею женщиной, которой принес их тоже сумасшедший человек. В этом возвращении денег он потом тысячу раз раскаивался, хотя и непрестанно этим тщеславился. Он действительно плакал три дня, пока князь оставался тогда в Петербурге, но в эти три дня он успел и возненавидеть князя за то, что тот смотрел на него слишком уж сострадательно, тогда как факт, что он возвратил такие деньги, «не всякий решился бы сделать». Но благородное самопризнание в том, что вся тоска его есть только одно беспрерывно раздавливаемое тщеславие, ужасно его мучило. Только уже долгое время спустя разглядел он и убедился, как серьезно могло бы обернуться у него дело с таким невинным и странным существом, как Аглая. Раскаяние грызло его; он бросил службу и погрузился в тоску и уныние. Он жил у Птицына на его содержании, с отцом и матерью, и презирал Птицына открыто, хотя в то же время слушался его советов и был настолько благоразумен, что всегда почти спрашивал их у него. Гаврила Ардалионович сердился, например, и на то, что Птицын не загадывает быть Ротшильдом и не ставит себе этой цели. «Коли уж ростовщик, так уж иди до конца, жми людей, чекань из них деньги, стань характером, стань королем иудейским!» Птицын был скромен и тих; он только улыбался, но раз нашел даже нужным объясниться с Ганей серьезно и исполнил это даже с некоторым достоинством. Он доказал Гане, что ничего не делает бесчестного, и что напрасно тот называет его жидом; что если деньги в такой цене, то он не виноват; что он действует правдиво и честно и, по-настоящему, он только агент по «этим» делам, и, наконец, что благодаря его аккуратности в делах он уже известен с весьма

хорошей точки людям превосходнейшим, и дела его расширяются. «Ротшильдом не буду, да и не для чего,— прибавил он смеясь,— а дом на Литейной буду иметь, даже, может, и два, и на этом кончу». «А кто знает, может, и три!» — думал он про себя, но никогда не договаривал вслух и скрывал мечту. Природа любит и ласкает таких людей: она вознаградит Птицына не тремя, а четырьмя домами наверно, и именно за то, что он с самого детства уже знал, что Ротшильдом никогда не будет. Но зато дальше четырех домов природа ни за что не пойдет, и с Птицыным тем дело и кончится.

Совершенно другая особа была сестрица Гаврилы Ардалионовича. Она тоже была с желаниями сильными, но более упорными, чем порывистыми. В ней было много благоразумия, когда дело доходило до последней черты, но оно же не оставляло ее и до черты. Правда, и она была из числа «обыкновенных» людей, мечтающих об оригинальности, но зато она очень скоро успела сознать, что в ней нет ни капли особенной оригинальности, и горевала об этом не слишком много,— кто знает, может быть, из особого рода гордости. Она сделала свой первый практический шаг с чрезвычайною решимостью, выйдя замуж за господина Птицына; но, выходя замуж, она вовсе не говорила себе: «Подличать, так уж подличать, лишь бы цели достичь»,— как не преминул бы выразиться при таком случае Гаврила Ардалионович (да чуть ли и не выразился даже при ней самой, когда одобрял ее решение, как старший брат). Совсем даже напротив: Варвара Ардалионовна вышла замуж после того, как уверилась основательно, что будущий муж ее человек скромный, приятный, почти образованный и большой подлости ни за что никогда не сделает. О мелких подлостях Варвара Ардалионовна не справлялась, как о мелочах; да где же и нет таких мелочей? Не идеала же искать! К тому же она знала, что, выходя замуж, дает тем угол своей матери, отцу, братьям. Видя брата в несчастии, она захотела помочь ему, несмотря на все прежние семейные недоумения. Птицын гнал иногда Ганю, дружески, разумеется, на службу. «Ты вот презираешь и генералов, и генеральство,— говорил он ему иногда шутя,— а посмотри, все "они" кончат тем, что будут в свою очередь генералами; доживешь, так увидишь». «Да с чего они берут, что я презираю генералов и генеральство?» — саркастически думал про себя Ганя. Чтобы помочь брату, Варвара Ардалионовна решилась расширить круг своих действий: она втерлась к Епанчиным, чему много помогли детские воспоминания; и она, и брат еще в детстве играли с Епанчиными. Заметим здесь, что если бы Варвара Ардалионовна преследовала какую-нибудь необычайную мечту, посещая Епанчиных, то она, может быть, сразу вышла бы тем самым из того разряда людей, в который сама заключила себя; но преследовала она не мечту; тут был даже довольно основательный расчет с ее стороны: она осно-

вывалась на характере этой семьи. Характер же Аглаи она изучала без устали. Она задала себе задачу обернуть их обоих, брата и Аглаю, опять друг к другу. Может быть, она кое-чего и действительно достигла; может быть, и впадала в ошибки, рассчитывая, например, слишком много на брата и ожидая от него того, чего он никогда и никоим образом не мог бы дать. Во всяком случае, она действовала у Епанчиных довольно искусно: по неделям не упоминала о брате, была всегда чрезвычайно правдива и искренна, держала себя просто, но с достоинством. Что же касается глубины своей совести, то она не боялась в нее заглянуть и совершенно ни в чем не упрекала себя. Это-то и придавало ей силу. Одно только иногда замечала в себе, что и она, пожалуй, злится, что и в ней очень много самолюбия и чуть ли даже не раздавленного тщеславия; особенно замечала она это в иные минуты, почти каждый раз, как уходила от Епанчиных.

И вот теперь она возвращалась от них же и, как мы уже сказали, в прискорбной задумчивости. В этом прискорбии проглядывало кое-что и горько-насмешливое. Птицын проживал в Павловске в невзрачном, но поместительном деревянном доме, стоявшем на пыльной улице, и который скоро должен был достаться ему в полную собственность, так что он уже его, в свою очередь, начинал продавать кому-то. Подымаясь на крыльцо, Варвара Ардалионовна услышала чрезвычайный шум вверху дома и различила кричавшие голоса своего брата и папаши. Войдя в залу и увидев Ганю, бегавшего взад и вперед по комнате, бледного от бешенства и чуть не рвавшего на себе волосы, она поморщилась и опустилась с усталым видом на диван, не снимая шляпки. Очень хорошо понимая, что если она еще промолчит с минуту и не спросит брата, зачем он так бегает, то тот непременно рассердится, Варя поспешила, наконец, произнести в виде вопроса:

— Все прежнее?

— Какое тут прежнее! — воскликнул Ганя.— Прежнее! Нет, уж тут черт знает что такое теперь происходит, а не прежнее! Старик до бешенства стал доходить... мать ревет. Ей-богу, Варя, как хочешь, я его выгоню из дому или... или сам от вас выйду,— прибавил он, вероятно, вспомнив, что нельзя же выгонять людей из чужого дома.

— Надо иметь снисхождение,— пробормотала Варя.

— К чему снисхождение? К кому? — вспыхнул Ганя,— к его мерзостям? Нет, уж как хочешь, этак нельзя! Нельзя, нельзя, нельзя! И какая манера: сам виноват и еще пуще куражится. «Не хочу в ворота, разбирай забор!..» Что ты такая сидишь? На тебе лица нет?

— Лицо как лицо,— с неудовольствием ответила Варя.

Ганя попристальнее поглядел на нее.

— Там была? — спросил он вдруг.

— Там.

— Стой, опять кричат! Этакой срам, да еще в такое время!

— Какое такое время? Никакого такого особенного времени нет.

Ганя еще пристальней оглядел сестру.

— Что-нибудь узнала? — спросил он.

— Ничего неожиданного, по крайней мере. Узнала, что все это верно. Муж был правее нас обоих; как предрек с самого начала, так и вышло. Где он?

— Нет дома. Что вышло?

— Князь жених формальный, дело решенное. Мне старшие сказали. Аглая согласна; даже и скрываться перестали. (Ведь там все такая таинственность была до сих пор.) Свадьбу Аделаиды опять оттянут, чтобы вместе обе свадьбы разом сделать, в один день,— поэзия какая! На стихи похоже. Вот сочини-ка стихи на бракосочетание, чем даром-то по комнате бегать. Сегодня вечером у них Белоконская будет; кстати приехала; гости будут. Его Белоконской представят, хоть он уже с ней и знаком; кажется, вслух объявят. Боятся только, чтоб он чего не уронил и не разбил, когда в комнату при гостях войдет, или сам бы не шлепнулся; от него станется.

Ганя выслушал очень внимательно, но, к удивлению сестры, это поразительное для него известие, кажется, вовсе не произвело на него такого поражающего действия.

— Что ж, это ясно было,— сказал он, подумав,— конец, значит! — прибавил он с какою-то странною усмешкой, лукаво заглядывая в лицо сестры и все еще продолжая ходить взад и вперед по комнате, но уже гораздо потише.

— Хорошо еще, что ты принимаешь философом; я, право, рада,— сказала Варя.

— Да с плеч долой; с твоих по крайней мере.

— Я, кажется, тебе искренно служила, не рассуждая и не докучая; я не спрашивала тебя, какого ты счастья хотел у Аглаи искать.

— Да разве я... счастья у Аглаи искал?

— Ну, пожалуста, не вдавайся в философию! Конечно, так. Кончено, и довольно с нас: в дураках. Я на это дело, признаюсь тебе, никогда серьезно не могла смотреть; только «на всякий случай» взялась за него, на смешной ее характер рассчитывая, а главное, чтобы тебя потешить; девяносто шансов было, что лопнет. Я даже до сих пор сама не знаю, чего ты и добивался-то.

— Теперь пойдете вы с мужем меня на службу гнать; лекции про упорство и силу воли читать: малым не пренебрегать и так далее, наизусть знаю,— захохотал Ганя.

«Что-нибудь новое у него на уме!» — подумала Варя.

— Что ж там — рады, отцы-то? — спросил вдруг Ганя.

— Н-нет, кажется. Впрочем, сам заключить можешь; Иван Федорович доволен; мать боится; и прежде с отвращением на него как на жениха смотрела; известно.

— Я не про то; жених невозможный и немыслимый, это ясно. Я про теперешнее спрашиваю, теперь-то там как? Формальное дала согласие?

— Она не сказала до сих пор: «нет»,— вот и все; но иначе и не могло от нее быть. Ты знаешь, до какого сумасбродства она до сих пор застенчива и стыдлива: в детстве она в шкап залезала и просиживала в нем часа по два, по три, чтобы только не выходить к гостям; дылда выросла, а ведь и теперь то же самое. Знаешь, я почему-то думаю, что там действительно что-то серьезное, даже с ее стороны. Над князем она, говорят, смеется изо всех сил, с утра до ночи, чтобы виду не показать, но уж наверно умеет сказать ему каждый день что-нибудь потихоньку, потому что он точно по небу ходит, сияет... Смешон, говорят, ужасно. От них же и слышала. Мне показалось тоже, что они надо мной в глаза смеялись, старшие-то.

Ганя, наконец, стал хмуриться; может, Варя и нарочно углублялась в эту тему, чтобы проникнуть в его настоящие мысли. Но раздался опять крик наверху.

— Я его выгоню! — так и рявкнул Ганя, как будто обрадовавшись сорвать досаду.

— И тогда он пойдет опять нас повсеместно срамить, как вчера.

— Как — как вчера? Что такое: как вчера? Да разве...— испугался вдруг ужасно Ганя.

— Ах, боже мой, разве ты не знаешь? — спохватилась Варя.

— Как... так неужели правда, что он там был? — воскликнул Ганя, вспыхнув от стыда и бешенства,— боже, да ведь ты оттуда! Узнала ты что-нибудь? Был там старик? Был или нет?

И Ганя бросился к дверям; Варя кинулась к нему и схватила его обеими руками.

— Что ты? Ну, куда ты? — говорила она,— выпустишь его теперь, он еще хуже наделает, по всем пойдет!..

— Что он там наделал? Что говорил?

— Да они и сами не умели рассказать и не поняли; только всех напугал. Пришел к Ивану Федоровичу,— того не было; потребовал Лизавету Прокофьевну. Сначала места просил у ней, на службу поступить, а потом стал на нас жаловаться, на меня, на мужа, на тебя особенно... много чего наговорил.

— Ты не могла узнать? — трепетал как в истерике Ганя.

— Да где уж тут! Он и сам-то вряд ли понимал, что говорил, а может, мне и не передали всего.

Ганя схватился за голову и побежал к окну; Варя села у другого окна.

— Смешная Аглая,— заметила она вдруг,— останавливает меня и говорит: «Передайте от меня особенное, личное уважение вашим родителям; я наверно найду на днях случай видеться с вашим папашей». И этак серьезно говорит. Странно ужасно...

— Не в насмешку? Не в насмешку?

— То-то и есть что нет; тем-то и странно.

— Знает она или не знает про старика, как ты думаешь?

— Что в доме у них не знают, так в этом нет для меня и сомнения; но ты мне мысль подал: Аглая, может быть, и знает. Одна она и знает, потому что сестры были тоже удивлены, когда она так серьезно передавала поклон отцу. И с какой стати именно ему? Если знает, так ей князь передал!

— Не хитро узнать, кто передал! Вор! Этого еще недоставало. Вор в нашем семействе, «глава семейства»!

— Ну, вздор! — крикнула Варя совсем рассердившись,— пьяная история, больше ничего. И кто это выдумал? Лебедев, князь... сами-то они хороши: ума палата. Я вот во столечко это ценю.

— Старик вор и пьяница,— желчно продолжал Ганя,— я нищий, муж сестры ростовщик,— было на что позариться Аглае! Нечего сказать, красиво!

— Этот муж сестры, ростовщик, тебя...

— Кормит, что ли? Ты не церемонься, пожалуйста.

— Чего ты злишься? — спохватилась Варя.— Ничего-то не понимаешь, точно школьник. Ты думаешь, все это могло повредить тебе в глазах Аглаи? Не знаешь ты ее характера; она от первейшего жениха отвернется, а к студенту какому-нибудь умирать с голоду, на чердак, с удовольствием бы побежала,— вот ее мечта! Ты никогда и понять не мог, как бы ты в ее глазах интересен стал, если бы с твердостью и гордостью умел переносить нашу обстановку. Князь ее на удочку тем и поймал, что, во-первых, совсем и не ловил, а во-вторых, что он на глаза всех идиот. Уж одно то, что она семью из-за него перемутит,— вот что ей теперь любо. Э-эх, ничего-то вы не понимаете!

— Ну, еще увидим, понимаем или не понимаем,— загадочно пробормотал Ганя,— только я все-таки бы не хотел, чтоб она узнала о старике. Я думал, князь удержится и не расскажет. Он и Лебедева сдержал; он и мне не хотел всего выговорить, когда я пристал...

— Стало быть, сам видишь, что и мимо его все уже известно. Да и чего тебе теперь? Чего надеешься? А если б и оставалась еще надежда, то это бы только страдальческий вид тебе в ее глазах придало.

— Ну, скандалу-то и она бы струсила, несмотря на весь романизм. Все до известной черты, и все до известной черты; все вы таковы.

— Аглая-то бы струсила? — вспылила Варя, презрительно поглядев на брата.— А низкая, однако же, у тебя душонка! Не стоите вы все ничего. Пусть она смешная и чудачка, да зато благороднее всех нас в тысячу раз.

— Ну, ничего, ничего, не сердись,— самодовольно пробормотал опять Ганя.

— Мне мать только жаль,— продолжала Варя,— боюсь, чтоб эта отцовская история до нее не дошла, ах, боюсь!

— И наверно дошла,— заметил Ганя.

Варя было встала, чтоб отправиться наверх к Нине Александровне, но остановилась и внимательно посмотрела на брата.

— Кто же ей мог сказать?

— Ипполит, должно быть. Первым удовольствием, я думаю, почел матери это отрапортовать, как только к нам переехал.

— Да почему он-то знает, скажи мне, пожалуйста? Князь и Лебедев никому решили не говорить, Коля даже ничего не знает.

— Ипполит-то? Сам узнал. Представить не можешь, до какой степени это хитрая тварь; какой он сплетник, какой у него нос, чтоб отыскать чутьем все дурное, все что скандально. Ну, верь не верь, а я убежден, что он Аглаю успел в руки взять! А не взял, так возьмет. Рогожин с ним тоже в сношения вошел. Как это князь не замечает! И уж как ему теперь хочется меня подсидеть! За личного врага меня почитает, я это давно раскусил, и с чего, что ему тут, ведь умрет, я понять не могу! Но я его надую; увидишь, что не он меня, а я его подсижу.

— Зачем же ты переманил его, когда так ненавидишь? И стоит он того, чтоб его подсиживать?

— Ты же переманить его к нам посоветовала.

— Я думала, что он будет полезен; а знаешь, что он сам теперь влюбился в Аглаю и писал к ней? Меня расспрашивали... чуть ли он к Лизавете Прокофьевне не писал.

— В этом смысле не опасен! — сказал Ганя, злобно засмеявшись.— Впрочем, верно, что-нибудь да не то. Что он влюблен, это очень может быть, потому что мальчишка! Но... он не станет анонимные письма старухе писать. Это такая злобная, ничтожная, самодовольная посредственность!.. Я убежден, я знаю наверно, что он меня пред нею интриганом выставил, с того и начал. Я, признаюсь, как дурак ему проговорился сначала; я думал, что он из одного мщения к князю в мои интересы войдет; он такая хитрая тварь! О, я раскусил его теперь совершенно. А про эту покражу он от своей же матери слышал, от капитанши. Старик, если и решился на это, так для капитанши. Вдруг мне, ни с того ни с сего, сообщает, что «генерал» его матери четыреста рублей обещал, и совершенно этак ни с того ни с сего, безо всяких церемоний. Тут я все понял. И так мне в глаза и заглядывает, с наслаждением с каким-

то; мамаше он, наверно, то же сказал, единственно из удовольствия сердце ей разорвать. И чего он не умирает, скажи мне, пожалуйста? Ведь обязался чрез три недели умереть, а здесь еще потолстел! Перестает кашлять; вчера вечером сам говорил, что другой уже день кровью не кашляет.

— Выгони его.

— Я не ненавижу его, а презираю,— гордо произнес Ганя.— Ну да, да, пусть я его ненавижу, пусть! — вскричал он вдруг с необыкновенною яростью,— и я ему выскажу это в глаза, когда он даже умирать будет, на своей подушке! Если бы ты читала его исповедь,— боже, какая наивность наглости! Это поручик Пирогов, это Ноздрев в трагедии, а главное — мальчишка! О, с каким бы наслаждением я тогда его высек, именно чтоб удивить его. Теперь он всем мстит, за то, что тогда не удалось... Но что это? Там опять шум! Да что это, наконец, такое? Я этого, наконец, не потерплю. Птицын! — вскричал он входящему в комнату Птицыну,— что это, до чего у нас дело дойдет, наконец,? Это... это...

Но шум быстро приближался, дверь вдруг распахнулась, и старик Иволгин, в гневе, багровый, потрясенный, вне себя, тоже набросился на Птицына. За стариком следовали Нина Александровна, Коля и сзади всех Ипполит.

II

Ипполит уже пять дней как переселился в дом Птицына. Это случилось как-то натурально, без особых слов и без всякой размолвки между ним и князем; они не только не поссорились, но с виду, как будто даже расстались друзьями. Гаврила Ардалионович, так враждебный к Ипполиту на тогдашнем вечере, сам пришел навестить его, уже на третий, впрочем, день после происшествия, вероятно руководимый какою-нибудь внезапною мыслью. Почему-то и Рогожин стал тоже приходить к больному. Князю в первое время казалось, что даже и лучше будет для «бедного мальчика», если он переселится из его дома. Но и во время своего переселения Ипполит уже выражался, что он переселяется к Птицыну, «который так добр, что дает ему угол», и ни разу, точно нарочно, не выразился, что переезжает к Гане, хотя Ганя-то и настоял, чтоб его приняли в дом. Ганя это тогда же заметил и обидчиво заключил в свое сердце.

Он был прав, говоря сестре, что больной поправился. Действительно, Ипполиту было несколько лучше прежнего, что заметно было с первого на него взгляда. Он вошел в комнату не торопясь, позади всех, с насмешливою и недоброю улыбкой. Нина Александровна вошла очень испуганная. (Она сильно переменилась в эти полгода, похудела; выдав замуж дочь и переехав к ней жить, она

почти перестала вмешиваться наружно в дела своих детей.) Коля был озабочен и как бы в недоумении; он многого не понимал в «сумасшествии генерала», как он выражался, конечно, не зная основных причин этой новой сумятицы в доме. Но ему ясно было, что отец до того уже вздорит, ежечасно и повсеместно, и до того вдруг переменился, что как будто совсем стал не тот человек, как прежде. Беспокоило его тоже, что старик в последние три дня совсем даже перестал пить. Он знал, что он разошелся и даже поссорился с Лебедевым и с князем. Коля только что воротился домой с полуштофом водки, который приобрел на собственные деньги.

— Право, мамаша,— уверял он еще наверху Нину Александровну,— право, лучше пусть выпьет. Вот уже три дня как не прикасался; тоска, стало быть. Право, лучше; я ему и в долговое носил...

Генерал растворил дверь наотлет и стал на пороге, как бы дрожа от негодования.

— Милостивый государь! — закричал он громовым голосом Птицыну.— Если вы действительно решились пожертвовать молокососу и атеисту почтенным стариком, отцом вашим, то есть, по крайней мере, отцом жены вашей, заслуженным у государя своего, то нога моя с сего же часу перестанет быть в доме вашем. Избирайте, сударь, избирайте немедленно: или я, или этот... винт! Да, винт! Я сказал нечаянно, но это — винт! Потому что он винтом сверлит мою душу, и безо всякого уважения... винтом!

— Не штопор ли? — вставил Ипполит.

— Нет, не штопор, ибо я пред тобой генерал, а не бутылка. Я знаки имею, знаки отличия... а ты шиш имеешь. Или он, или я! Решайте, сударь, сейчас же, сей же час! — крикнул он опять в исступлении Птицыну. Тут Коля подставил ему стул, и он опустился на него почти в изнеможении.

— Право бы, вам лучше... заснуть,— пробормотал было ошеломленный Птицын.

— Он же еще и угрожает! — проговорил сестре вполголоса Ганя.

— Заснуть! — крикнул генерал.— Я не пьян, милостивый государь, и вы меня оскорбляете. Я вижу,— продолжал он, вставая опять,— я вижу, что здесь все против меня, все и все. Довольно! Я ухожу... Но знайте, милостивый государь, знайте...

Ему не дали договорить и усадили опять; стали упрашивать успокоиться. Ганя в ярости ушел в угол. Нина Александровна трепетала и плакала.

— Да что я сделал ему? На что он жалуется? — вскричал Ипполит, скаля зубы.

— А разве не сделали? — заметила вдруг Нина Александровна,— уж вам-то особенно стыдно и... бесчеловечно старика мучить... да еще на вашем месте.

— Во-первых, какое такое мое место, сударыня! Я вас очень уважаю, вас именно, лично, но...

— Это винт! — кричал генерал. — Он сверлит мою душу и сердце! Он хочет, чтоб я атеизму поверил! Знай, молокосос, что еще ты не родился, а я уже был осыпан почестями; а ты только завистливый червь, перерванный надвое, с кашлем... и умирающий от злобы и от неверия... И зачем тебя Гаврила перевел сюда? Все на меня, от чужих до родного сына!

— Да полноте, трагедию завел! — крикнул Ганя. — Не срамили бы нас по всему городу, так лучше бы было!

— Как, я срамлю тебя, молокосос! Тебя? Я честь только сделать могу тебе, а не обесчестить тебя!

Он вскочил, и его уже не могли сдержать; но и Гаврила Ардалионович, видимо, прорвался.

— Туда же о чести! — крикнул он злобно.

— Что ты сказал? — загремел генерал, бледнея и шагнув к нему шаг.

— А то, что мне стоит только рот открыть, чтобы... — завопил вдруг Ганя и не договорил. Оба стояли друг пред другом, не в меру потрясенные, особенно Ганя.

— Ганя, что ты? — крикнула Нина Александровна, бросаясь останавливать сына.

— Экой вздор со всех сторон! — отрезала в негодовании Варя. — Полноте, мамаша, — схватила она ее.

— Только для матери и щажу, — трагически произнес Ганя.

— Говори! — ревел генерал в совершенном исступлении, — говори, под страхом отцовского проклятия... говори!

— Ну вот, так я испугался вашего проклятия! И кто в том виноват, что вы восьмой день как помешанный? Восьмой день, видите, я по числам знаю... Смотрите, не доведите меня до черты; все скажу... Вы зачем к Епанчиным вчера потащились? Еще стариком называется, седые волосы, отец семейства! Хорош!

— Молчи, Ганька! — закричал Коля, — молчи, дурак!

— Да чем я-то, я-то чем его оскорбил? — настаивал Ипполит, но все как будто тем же насмешливым тоном. — Зачем он меня винтом называет, вы слышали? Сам ко мне пристал; пришел сейчас и заговорил о каком-то капитане Еропегове. Я вовсе не желаю вашей компании, генерал; избегал и прежде, сами знаете. Что мне за дело до капитана Еропегова, согласитесь сами? Я не для капитана Еропегова сюда переехал. Я только выразил ему вслух мое мнение, что, может, этого капитана Еропегова совсем никогда не существовало. Он и поднял дым коромыслом.

— Без сомнения, не существовало! — отрезал Ганя.

Но генерал стоял как ошеломленный и только бессмысленно озирался кругом. Слова сына поразили его своею чрезвычайною

откровенностью. В первое мгновение он не мог даже и слов найти. И, наконец, только, когда Ипполит расхохотался на ответ Гани и прокричал: «Ну, вот, слышали, собственный ваш сын тоже говорит, что никакого капитана Епегова не было», — старик проболтал, совсем сбившись:

— Капитона Епегова, а не капитана... Капитона... подполковник в отставке, Епегов... Капитон.

— Да и Капитона не было! — совсем уж разозлился Ганя.

— По... почему не было? — пробормотал генерал, и краска бросилась ему в лицо.

— Да полноте! — унимали Птицын и Варя.

— Молчи, Ганька! — крикнул опять Коля.

Но заступничество как бы опамятовало и генерала.

— Как не было? Почему не существовало? — грозно вскинулся он на сына.

— Так, потому что не было. Не было да и только, да совсем и не может быть! Вот вам. Отстаньте, говорю вам.

— И это сын... это мой родной сын, которого я... о боже! Епегова, Ерошки Епегова не было!

— Ну, вот, то Ерошки, то Капитошки! — ввернул Ипполит.

— Капитошки, сударь, Капитошки, а не Ерошки! Капитон, Капитан Алексеевич, то бишь Капитон... подполковник... в отставке... женился на Марье... на Марье Петровне Су... Су... друг и товарищ... Сутуговой... с самого даже юнкерства. Я за него пролил... я заслонил... убит. Капитошки Епегова не было! Не существовало!

Генерал кричал в азарте, но так, что можно было подумать, что дело шло об одном, а крик шел о другом. Правда, в другое время он, конечно, вынес бы что-нибудь и гораздо пообиднее известия о совершенном небытии Капитона Епегова, покричал бы, затеял бы историю, вышел бы из себя, но все-таки в конце концов удалился бы к себе наверх спать. Но теперь, по чрезвычайной странности сердца человеческого, случилось так, что именно подобная обида, как сомнение в Епегове, и должна была переполнить чашу. Старик побагровел, поднял руки и прокричал:

— Довольно! Проклятие мое... прочь из этого дома! Николай, неси мой сак, иду... прочь!

Он вышел, торопясь и в чрезвычайном гневе. За ним бросились Нина Александровна, Коля и Птицын.

— Ну что ты наделал теперь! — сказала Варя брату. — Он опять, пожалуй, туда потащится. Сраму-то, сраму-то!

— А не воруй! — крикнул Ганя, чуть не захлебываясь от злости; вдруг взгляд его встретился с Ипполитом; Ганя чуть не затрясся. — А вам, милостивый государь, — крикнул он, — следовало бы помнить, что вы все-таки в чужом доме и... пользуетесь

гостеприимством, а не раздражать старика, который, очевидно, с ума сошел...

Ипполита тоже как будто передернуло, но он мигом сдержал себя.

— Я не совсем с вами согласен, что ваш папаша с ума сошел,— спокойно ответил он,— мне кажется, напротив, что ему ума даже прибыло за последнее время, ей-богу; вы не верите? Такой стал осторожный, мнительный, все-то выведывает, каждое слово взвешивает... Об этом Капитошке он со мной ведь с целью заговорил; представьте, он хотел навести меня на...

— Э, черт ли мне в том, на что он хотел вас навести! Прошу вас не хитрить и не вилять со мной, сударь! — взвизгнул Ганя,— если вы тоже знаете настоящую причину, почему старик в таком состоянии (а вы так у меня шпионили в эти пять дней, что наверно знаете), то вам вовсе бы не следовало раздражать... несчастного и мучить мою мать преувеличением дела, потому что все это дело вздор, одна только пьяная история, больше ничего, ничем даже не доказанная, и я вот во столечко ее не ценю... Но вам надо язвить и шпионить, потому что вы... вы...

— Винт,— усмехнулся Ипполит.

— Потому что вы дрянь, полчаса мучили людей, думая испугать их, что застрелитесь вашим незаряженным пистолетом, с которым вы так постыдно сбрендили, манкированный самоубийца, разлившаяся желчь... на двух ногах. Я вам гостеприимство дал, вы потолстели, кашлять перестали, и вы же платите...

— Два слова только, позвольте-с; я у Варвары Ардалионовны, а не у вас; вы мне не давали никакого гостеприимства, и я даже думаю, что вы сами пользуетесь гостеприимством господина Птицына. Четыре дня тому я просил мою мать отыскать в Павловске для меня квартиру и самой переехать, потому что я, действительно, чувствую себя здесь легче, хотя вовсе не потолстел и все-таки кашляю. Мать уведомила меня вчера вечером, что квартира готова, а я спешу вас уведомить с своей стороны, что, отблагодарив вашу маменьку и сестрицу, сегодня же переезжаю к себе, о чем и решил еще вчера вечером. Извините, я вас прервал; вам, кажется, хотелось еще много сказать.

— О, если так...— задрожал Ганя.

— А если так, то позвольте мне сесть,— прибавил Ипполит, преспокойно усаживаясь на стуле, на котором сидел генерал,— я ведь все-таки болен; ну, теперь готов вас слушать, тем более что это последний наш разговор и даже, может быть, последняя встреча.

Ганя вдруг стало совестно.

— Поверьте, что я не унижусь до счетов с вами,— сказал он,— и если вы...

— Напрасно вы так свысока,— прервал Ипполит,— я, с своей стороны, еще в первый день переезда моего сюда, дал себе слово не отказать себе в удовольствии отчеканить вам все и совершенно откровеннейшим образом, когда мы будем прощаться. Я намерен это исполнить именно теперь, после вас, разумеется.

— А я прошу вас оставить эту комнату.

— Лучше говорите, ведь будете раскаиваться, что не высказались.

— Перестаньте, Ипполит; все это ужасно стыдно; сделайте одолжение, перестаньте! — сказала Варя.

— Разве только для дамы,— рассмеялся Ипполит, вставая.— Извольте, Варвара Ардалионовна, для вас я готов сократить, но только сократить, потому что некоторое объяснение между мной и вашим братцем стало совершенно необходимым, а я ни за что не решусь уйти, оставив недоумения.

— Просто-запросто, вы сплетник,— вскричал Ганя,— оттого и не решаетесь без сплетен уйти!

— Вот видите,— хладнокровно заметил Ипполит,— вы уж и не удержались. Право, будете раскаиваться, что не высказались. Еще раз уступаю вам слово. Я подожду.

Гаврила Ардалионович молчал и смотрел презрительно.

— Не хотите. Выдержать характер намерены,— воля ваша. С своей стороны, буду краток по возможности. Два или три раза услышал я сегодня упрек в гостеприимстве; это несправедливо. Приглашая меня к себе, вы сами меня ловили в сети; вы рассчитывали, что я хочу отмстить князю. Вы услышали к тому же, что Аглая Ивановна изъявила ко мне участие и прочла мою исповедь. Рассчитывая почему-то, что я весь так и передамся в ваши интересы, вы надеялись, что, может быть, найдете во мне подмогу. Я не объясняюсь подробнее! С вашей стороны тоже не требую ни признания, ни подтверждения; довольно того, что я вас оставляю с вашею совестью и что мы отлично понимаем теперь друг друга.

— Но вы бог знает что из самого обыкновенного дела делаете! — вскричала Варя.

— Я сказал тебе: «сплетник и мальчишка»,— промолвил Ганя.

— Позвольте, Варвара Ардалионовна, я продолжаю. Князя я, конечно, не могу ни любить, ни уважать; но это человек решительно добрый, хотя и... смешной. Но ненавидеть мне его было бы совершенно не за что; я не подал виду вашему братцу, когда он сам подстрекал меня против князя; я именно рассчитывал посмеяться при развязке. Я знал, что ваш брат мне проговорится и промахнется в высшей степени. Так и случилось... Я готов теперь пощадить его, но единственно из уважения к вам, Варвара Ардалионовна. Но разъяснив вам, что меня не так-то легко поймать на удочку, я разъясню вам и то, почему мне так хотелось поставить вашего

братца пред собой в дураки. Знайте, что я исполнил это из ненависти, сознаюсь откровенно. Умирая (потому что я все-таки умру, хоть и потолстел, как вы уверяете), умирая, я почувствовал, что уйду в рай несравненно спокойнее, если успею одурачить хоть одного представителя того бесчисленного сорта людей, который преследовал меня всю мою жизнь, который я ненавидел всю мою жизнь и которого таким выпуклым изображением служит многоуважаемый брат ваш. Ненавижу я вас, Гаврила Ардалионович, единственно за то,— вам это, может быть, покажется удивительным,— *единственно за то*, что вы тип и воплощение, олицетворение и верх самой наглой, самой самодовольной, самой пошлой и гадкой ординарности! Вы ординарность напыщенная, ординарность не сомневающаяся и олимпически успокоенная; вы рутина из рутин! Ни малейшей собственной идеи не суждено воплотиться ни в уме, ни в сердце вашем никогда. Но вы завистливы бесконечно; вы твердо убеждены, что вы величайший гений, но сомнение все-таки посещает вас иногда в черные минуты, и вы злитесь и завидуете. О, у вас есть еще черные точки на горизонте; они пройдут, когда вы поглупеете окончательно, что недалеко; но все-таки вам предстоит длинный и разнообразный путь, не скажу веселый, и этому рад. Во-первых, предрекаю вам, что вы не достигнете известной особы...

— Ну, это невыносимо! — вскричала Варя.— Кончите ли вы, противная злючка?

Ганя побледнел, дрожал и молчал. Ипполит остановился, пристально и с наслаждением посмотрел на него, перевел свои глаза на Варю, усмехнулся, поклонился и вышел, не прибавив более ни единого слова.

Гаврила Ардалионович справедливо мог бы пожаловаться на судьбу и неудачу. Некоторое время Варя не решалась заговорить с ним, даже не взглянула на него, когда он шагал мимо нее крупными шагами; наконец, он отошел к окну и стал к ней спиной. Варя думала о русской пословице: «палка о двух концах». Наверху опять послышался шум.

— Идешь? — обернулся к ней вдруг Ганя, заслышав, что она встает с места.— Подожди; посмотри-ка это.

Он подошел и кинул пред нею на стул маленькую бумажку, сложенную в виде маленькой записочки.

— Господи! — вскричала Варя и всплеснула руками. В записке было ровно семь строк:

«Гаврила Ардалионович! Убедившись в вашем добром расположении ко мне, решаюсь спросить вашего совета в одном важном для меня деле. Я желала бы встретить вас завтра, ровно в семь часов утра, на зеленой скамейке. Это недалеко от нашей дачи.

Варвара Ардалионовна, которая *непременно* должна сопровождать вас, очень хорошо знает это место. *А. Е.*»

— Поди, считайся с ней после этого! — развела руками Варвара Ардалионовна.

Как ни хотелось пофанфаронить в эту минуту Гане, но не мог же он не выказать своего торжества, да еще после таких унизительных предреканий Ипполита. Самодовольная улыбка откровенно засияла на его лице, да и Варя сама вся просветлела от радости.

— И это в тот самый день, когда у них объявляют о помолвке! Поди, считайся с ней после этого!

— Как ты думаешь, о чем она завтра говорить собирается? — спросил Ганя.

— Это все равно, главное, видеться пожелала после шести месяцев в первый раз. Слушай же меня, Ганя: что бы там ни было, как бы ни обернулось, знай, что это *важно*! Слишком это важно! Не фанфаронь опять, не дай опять промаха, но и не струсь, смотри! Могла ли она не раскусить, зачем я полгода таскалась туда? И представь: ни слова мне не сказала сегодня, виду не подала. Я ведь и зашла-то к ним контрабандой, старуха не знала, что я сижу, а то, пожалуй, и прогнала бы. На риск для тебя ходила, во что бы ни стало узнать...

Опять крик и шум послышались сверху; несколько человек сходили с лестницы.

— Ни за что теперь этого не допускать! — вскричала Варя впопыхах и испуганная. — Чтоб и тени скандала не было! Ступай, прощения проси!

Но отец семейства был уже на улице. Коля тащил за ним сак. Нина Александровна стояла на крыльце и плакала; она хотела было бежать за ним, но Птицын удержал ее.

— Вы только еще более поджигаете его этим, — говорил он ей, — некуда ему идти, чрез полчаса его опять приведут, я с Колей уже говорил; дайте подурачиться.

— Что куражитесь-то, куда пойдете-то! — закричал Ганя из окна, — и идти-то вам некуда!

— Воротитесь, папаша! — крикнула Варя. — Соседи слышат.

Генерал остановился, обернулся, простер свою руку и воскликнул:

— Проклятие мое дому сему!

— И непременно на театральный тон! — пробормотал Ганя, со стуком запирая окно.

Соседи действительно слушали. Варя побежала из комнаты.

Когда Варя вышла, Ганя взял со стола записку, поцеловал ее, прищелкнул языком и сделал антраша.

III

Суматоха с генералом во всякое другое время кончилась бы ничем. И прежде бывали с ним случаи внезапной блажни, в этом же роде, хотя и довольно редко, потому что, вообще говоря, это был человек очень смирный и с наклонностями почти добрыми. Он сто раз, может быть, вступал в борьбу с овладевшим им в последние годы беспорядком. Он вдруг вспоминал, что он «отец семейства», мирился с женой, плакал искренно. Он до обожания уважал Нину Александровну за то, что она так много и молча прощала ему, и любила его даже в его шутовском и унизительном виде. Но великодушная борьба с беспорядком обыкновенно продолжалась недолго; генерал был тоже человек слишком «порывчатый», хотя и в своем роде; он обыкновенно не выносил покаянного и праздного житья в своем семействе и кончал бунтом; впадал в азарт, в котором сам, может быть, в те же самые минуты и упрекал себя, но выдержать не мог: ссорился, начинал говорить пышно и красноречиво, требовал безмерного и невозможного к себе почтения и в конце концов исчезал из дому, иногда даже на долгое время. В последние два года про дела своего семейства он знал разве только вообще или понаслышке; подробнее же перестал в них входить, не чувствуя к тому ни малейшего призвания.

Но на этот раз в «суматохе с генералом» проявилось нечто необыкновенное: все как будто про что-то знали и все как будто боялись про что-то сказать. Генерал «формально» явился в семейство, то есть к Нине Александровне, всего только три дня назад, но как-то не смиренно и не с покаянием, как это случалось всегда при прежних «явках», а напротив — с необыкновенною раздражительностью. Он был говорлив, беспокоен, заговаривал со всеми встречавшимися с ним с жаром и как будто так и набрасываясь на человека, но все о предметах до того разнообразных и неожиданных, что никак нельзя было добиться, что в сущности его так теперь беспокоит. Минутами бывал весел, но чаще задумывался, сам, впрочем, не зная, о чем именно; вдруг начинал о чем-то рассказывать,— о Епанчиных, о князе, о Лебедеве,— и вдруг обрывал и переставал совсем говорить, а на дальнейшие вопросы отвечал только тупою улыбкой, впрочем, даже и не замечая, что его спрашивают, а он улыбается. Последнюю ночь он провел охая и стоная и измучил Нину Александровну, которая всю ночь грела ему для чего-то припарки; под утро вдруг заснул, проспал четыре часа и проснулся в сильнейшем и беспорядочном припадке ипохондрии, который и кончился ссорой с Ипполитом и «проклятием дому сему». Заметили тоже, что в эти три дня он беспрерывно впадал в сильнейшее честолюбие, а вследствие того и в необыкновенную

обидчивость. Коля же настаивал, уверяя мать, что все это тоска по хмельном, а может, и по Лебедеве, с которым генерал необыкновенно сдружился в последнее время. Но три дня тому назад с Лебедевым он вдруг поссорился и разошелся в ужасной ярости; даже с князем была какая-то сцена. Коля просил у князя объяснения и стал, наконец, подозревать, что и тот чего-то как бы не хочет сказать ему. Если и происходил, как предполагал с совершенною вероятностью Ганя, какой-нибудь особенный разговор между Ипполитом и Ниной Александровной, то странно, что этот злой господин, которого Ганя так прямо назвал сплетником, не нашел удовольствия вразумить таким же образом и Колю. Очень может быть, что это был не такой уже злой «мальчишка», каким его очерчивал Ганя, говоря с сестрой, а злой какого-нибудь другого сорта; да и Нине Александровне вряд ли он сообщил какое-нибудь свое наблюдение, единственно для того только, чтобы «разорвать ей сердце». Не забудем, что причины действий человеческих обыкновенно бесчисленно сложнее и разнообразнее, чем мы их всегда потом объясняем, и редко определенно очерчиваются. Всего лучше иногда рассказчику ограничиваться простым изложением событий. Так и поступим мы при дальнейшем разъяснении теперешней катастрофы с генералом; ибо, как мы ни бились, а поставлены в решительную необходимость уделить и этому второстепенному лицу нашего рассказа несколько более внимания и места, чем до сих пор предполагали.

События эти следовали одно за другим в таком порядке:

Когда Лебедев, после поездки своей в Петербург для разыскания Фердыщенки, воротился в тот же день назад, вместе с генералом, то ничего особенного не сообщил князю. Если бы князь не был в то время слишком отвлечен и занят другими важными для него впечатлениями, то он мог бы скоро заметить, что и в следовавшие за тем два дня Лебедев не только не представил ему никаких разъяснений, но даже, напротив, как бы сам избегал почему-то встречи с ним. Обратив, наконец, на это внимание, князь подивился, что в эти два дня, при случайных встречах с Лебедевым, он припоминал его не иначе как в самом сияющем расположении духа и всегда почти вместе с генералом. Оба друга не расставались уже ни на минуту. Князь слышал иногда доносившиеся к нему сверху громкие и быстрые разговоры, хохотливый, веселый спор; даже раз, очень поздно вечером, донеслись к нему звуки внезапно и неожиданно раздавшейся военно-вакхической песни, и он тотчас же узнал сиплый бас генерала. Но раздавшаяся песня не состоялась и вдруг смолкла. Затем около часа еще продолжался сильно одушевленный и по всем признакам пьяный разговор. Угадать можно было, что забавлявшиеся наверху друзья обнимались и кто-то, наконец, заплакал. Затем вдруг последовала сильная ссора, тоже

быстро и скоро замолкшая. Все это время Коля был в каком-то особенно озабоченном настроении. Князь большею частью не бывал дома и возвращался к себе иногда очень поздно; ему всегда докладывали, что Коля весь день искал его и спрашивал. Но при встречах Коля ничего не мог сказать особенного, кроме того, что решительно «недоволен» генералом и теперешним его поведением: «Таскаются, пьянствуют здесь недалеко в трактире, обнимаются и бранятся на улице, поджигают друг друга и расстаться не могут». Когда князь заметил ему, что и прежде то же самое чуть ли не каждый день было, то Коля решительно не знал, что на это ответить и как объяснить, в чем именно заключается настоящее его беспокойство.

Наутро, после вакхической песни и ссоры, когда князь, часов около одиннадцати, выходил из дому, пред ним вдруг явился генерал, чрезвычайно чем-то взволнованный, почти потрясенный.

— Давно искал чести и случая встретить вас, многоуважаемый Лев Николаевич, давно, очень давно,— пробормотал он, чрезвычайно крепко, почти до боли сжимая руку князя,— очень, очень давно.

Князь попросил садиться.

— Нет, не сяду, к тому же я вас задерживаю, я — в другой раз. Кажется, я могу при этом поздравить с... исполнением... желаний сердца.

— Каких желаний сердца?

Князь смутился. Ему, как и очень многим в его положении, казалось, что решительно никто ничего не видит, не догадывается и не понимает.

— Будьте покойны, будьте покойны! Не потревожу деликатнейших чувств. Сам испытывал и сам знаю, когда чужой... так сказать, нос... по пословице... лезет туда, куда его не спрашивают. Я это каждое утро испытываю. Я по другому делу пришел, по важному. По очень важному делу, князь.

Князь еще раз попросил сесть и сел сам.

— Разве на одну секунду... Я пришел за советом. Я, конечно, живу без практических целей, но уважая самого себя и... деловитость, в которой так манкирует русский человек, говоря вообще... желаю поставить себя, и жену мою, и детей моих в положение... одним словом, князь, я ищу совета.

Князь с жаром похвалил его намерение.

— Ну, это все вздор,— быстро прервал генерал,— я, главное, не о том, я о другом и о важном. И именно решился разъяснить вам, Лев Николаевич, как человеку, в искренности приема и в благородстве чувств которого я уверен, как... как... Вы не удивляетесь моим словам, князь?

Князь если не с особенным удивлением, то с чрезвычайным вниманием и любопытством следил за своим гостем. Старик был не-

сколько бледен, губы его иногда слегка вздрагивали, руки как бы не могли найти спокойного места. Он сидел только несколько минут и уже раза два успел для чего-то вдруг подняться со стула и вдруг опять сесть, очевидно не обращая ни малейшего внимания на свои маневры. На столе лежали книги; он взял одну, продолжая говорить, заглянул в развернутую страницу, тотчас же опять сложил и положил на стол, схватил другую книгу, которую уже не развертывал, а продержал все остальное время в правой руке, беспрерывно махая ею по воздуху.

— Довольно! — вскричал он вдруг.— Вижу, что я вас сильно обеспокоил.

— Да нисколько же, помилуйте, сделайте одолжение, я, напротив, вслушиваюсь и желаю догадаться...

— Князь! Я желаю поставить себя в положение уважаемое... я желаю уважать самого себя и... права мои.

— Человек с таким желанием уже тем одним достоин всякого уважения.

Князь высказал свою фразу из прописей в твердой уверенности, что она произведет прекрасное действие. Он как-то инстинктивно догадался, что какою-нибудь подобною, пустозвонною, но приятною фразой, сказанною кстати, можно вдруг покорить и умирить душу такого человека и особенно в таком положении, как генерал. Во всяком случае, надо было отпустить такого гостя с облегченным сердцем, и в том была задача.

Фраза польстила, тронула и очень понравилась: генерал вдруг расчувствовался, мгновенно переменил тон и пустился в восторженно-длинные объяснения. Но как ни напрягался князь, как ни вслушивался, он буквально ничего не мог понять. Генерал говорил минут десять, горячо, быстро, как бы не успевая выговаривать свои теснившиеся толпой мысли; даже слезы заблистали под конец в его глазах, но все-таки это были одни фразы без начала и конца, неожиданные слова и неожиданные мысли, быстро и неожиданно прорывавшиеся и перескакивавшие одна чрез другую.

— Довольно! Вы меня поняли, и я спокоен,— заключил он вдруг вставая,— сердце, как ваше, не может не понять страждущего. Князь, вы благородны как идеал! Что пред вами другие? Но вы молоды, и я благословляю вас. В конце концов я пришел вас просить назначить мне час для важного разговора, и вот в чем главнейшая надежда моя. Я ищу одной дружбы и сердца, князь; я никогда не мог сладить с требованиями моего сердца.

— Но почему же не сейчас? Я готов выслушать...

— Нет, князь, нет! — горячо прервал генерал.— Не сейчас! Сейчас есть мечта! Это слишком, слишком важно, слишком важно! Этот час разговора будет часом окончательной судьбы. Это будет час *мой*, и я бы не желал, чтобы нас мог прервать в такую

святую минуту первый вошедший, первый наглец, и нередко такой наглец,— нагнулся он вдруг к князю со странным, таинственным и почти испуганным шепотом,— такой наглец, который не стоит каблука... с ноги вашей, возлюбленный князь! О, я не говорю: с моей ноги! Особенно заметьте себе, что я не упоминал про мою ногу; ибо слишком уважаю себя, чтобы высказать это без обиняков; но только вы один и способны понять, что, отвергая в таком случае и мой каблук, я выказываю, может быть, чрезвычайную гордость достоинства. Кроме вас, никто другой не поймет, а *он* во главе всех других. *Он* ничего не понимает, князь; совершенно, совершенно неспособен понять! Нужно иметь сердце, чтобы понять!

Под конец князь почти испугался и назначил генералу свидание на завтра в этот же час. Тот вышел с бодростью, чрезвычайно утешенный и почти успокоенный. Вечером, в седьмом часу, князь послал попросить к себе на минутку Лебедева.

Лебедев явился с чрезвычайною поспешностью «за честь почитая», как он тотчас же и начал при входе; как бы и тени не было того, что он три дня точно прятался и видимо избегал встречи с князем. Он сел на край стула, с гримасами, с улыбками, со смеющимися и выглядывающими глазками, с потиранием рук и с видом наивнейшего ожидания что-нибудь услышать, вроде какого-нибудь капитального сообщения, давно ожидаемого и всеми угаданного. Князя опять покоробило; ему становилось ясным, что все вдруг стали чего-то ждать от него, что все взглядывают на него, как бы желая его с чем-то поздравить, с намеками, улыбками и подмигиваниями. Келлер уже раза три забегал на минутку, и тоже с видимым желанием поздравить: начинал каждый раз восторженно и неясно, ничего не оканчивал и быстро стушевывался. (Он где-то особенно сильно запил в последние дни и гремел в какой-то биллиардной.) Даже Коля, несмотря на свою грусть, тоже начинал раза два о чем-то неясно заговаривать с князем.

Князь прямо и несколько раздражительно спросил Лебедева, что думает он о теперешнем состоянии генерала, и почему тот в таком беспокойстве? В нескольких словах он рассказал ему давешнюю сцену.

— Всякий имеет свое беспокойство, князь, и... особенно в наш странный и беспокойный век-с; так-с,— с некоторою сухостью ответил Лебедев и обиженно замолк, с видом человека, сильно обманутого в своих ожиданиях.

— Какая философия! — усмехнулся князь.

— Философия нужна-с, очень бы нужна была-с в нашем веке, в практическом приложении, но ею пренебрегают-с, вот что-с. С моей стороны, многоуважаемый князь, я хоть и бывал почтен вашею ко мне доверчивостью в некотором известном вам пункте-с, но до известной лишь степени и никак не далее обстоятельств,

касавшихся собственно одного того пункта... Это я понимаю и нисколько не жалуюсь.

— Лебедев, вы как будто за что-то сердитесь?

— Нисколько, нимало, многоуважаемый и лучезарнейший князь, нимало! — восторженно вскричал Лебедев, прикладывая руку к сердцу,— а напротив, именно и тотчас постиг, что ни положением в свете, ни развитием ума и сердца, ни накоплением богатств, ни прежним поведением моим, ниже познаниями,— ничем вашей почтенной и высоко предстоящей надеждам моим доверенности не заслуживаю; а что если и могу служить вам, то как раб и наемщик, не иначе... я не сержусь, а грущу-с.

— Лукьян Тимофеич, помилуйте!

— Не иначе! Так и теперь, так и в настоящем случае! Встречая вас и следя за вами сердцем и мыслью, говорил сам себе: дружеских сообщений я недостоин, но в качестве хозяина квартиры, может быть, и могу получить в надлежащее время к ожидаемому сроку, так сказать, предписание, или много что уведомление ввиду известных предстоящих и ожидаемых изменений...

Выговаривая это, Лебедев так и впился своими востренькими глазками в глядевшего на него с изумлением князя; он все еще был в надежде удовлетворить свое любопытство.

— Решительно ничего не понимаю,— вскричал князь чуть ли не с гневом,— и... вы ужаснейший интриган! — рассмеялся он вдруг самым искренним смехом.

Мигом рассмеялся и Лебедев, и просиявший взгляд его так и выразил, что надежды его прояснились и даже удвоились.

— И знаете, что я вам скажу, Лукьян Тимофеич? Вы только на меня не сердитесь, а я удивляюсь вашей наивности, да и не одной вашей! Вы с такою наивностью чего-то от меня ожидаете, вот именно теперь в эту минуту, что мне даже совестно и стыдно пред вами, что у меня нет ничего, чтоб удовлетворить вас; но клянусь же вам, что решительно нет ничего, можете себе это представить!

Князь опять засмеялся.

Лебедев приосанился. Это правда, что он бывал иногда даже слишком наивен и назойлив в своем любопытстве; но в то же время это был человек довольно хитрый и извилистый, а в некоторых случаях даже слишком коварно-молчаливый; беспрерывными отталкиваниями князь почти приготовил в нем себе врага. Но отталкивал его князь не потому, что его презирал, а потому что тема любопытства его была деликатна. На некоторые мечты свои князь смотрел еще назад тому несколько дней как на преступление, а Лукьян Тимофеич принимал отказы князя за одно лишь личное к себе отвращение и недоверчивость, уходил с сердцем уязвленным и ревновал к князю не только Колю и Келлера, но даже собственную дочь свою, Веру Лукьяновну. Даже в самую эту минуту он,

может быть, мог бы и желал искренно сообщить князю одно в высшей степени интересное для князя известие, но мрачно замолк и не сообщил.

— Чем же, собственно, могу услужить вам, многоуважаемый князь, так как все-таки вы меня теперь... кликнули? — проговорил он, наконец, после некоторого молчания.

— Да вот я, собственно, о генерале,— встрепенулся князь, тоже на минутку задумавшийся,— и... насчет вашей этой покражи, о которой вы мне сообщили...

— Это насчет чего же-с?

— Ну вот, точно вы теперь меня и не понимаете! Ах боже, что, Лукьян Тимофеич, у вас все за роли! Деньги, деньги, четыреста рублей, которые вы тогда потеряли, в бумажнике, и про которые приходили сюда рассказывать, поутру, отправляясь в Петербург,— поняли, наконец,?

— Ах, это вы про те четыреста рублей! — протянул Лебедев, точно лишь сейчас только догадался.— Благодарю вас, князь, за ваше искреннее участие; оно слишком для меня лестно, но... я их нашел-с, и давно уже.

— Нашли! Ах, слава богу!

— Восклицание с вашей стороны благороднейшее, ибо четыреста рублей — слишком немаловажное дело для бедного, живущего тяжким трудом человека, с многочисленным семейством сирот...

— Да я ведь не про то! Конечно, я и тому рад, что вы нашли,— поправился поскорее князь,— но... как же вы нашли?

— Чрезвычайно просто-с, нашел под стулом, на котором был повешен сюртук, так что, очевидно, бумажник скользнул из кармана на пол.

— Как под стул? Не может быть, ведь вы же мне говорили, что во всех углах обыскивали; как же вы в этом самом главном месте просмотрели?

— То-то и есть, что смотрел-с! Слишком, слишком хорошо помню, что смотрел-с! На карачках ползал, щупал на этом месте руками, отставив стул, собственным глазам своим не веруя: и вижу, что нет ничего, пустое и гладкое место, вот как моя ладонь-с, а все-таки продолжаю щупать. Подобное малодушие-с всегда повторяется с человеком, когда уж очень хочется отыскать... при значительных и печальных пропажах-с: и видит, что нет ничего, место пустое, а все-таки раз пятнадцать в него заглянет.

— Да, положим; только как же это, однако?.. Я все не понимаю,— бормотал князь, сбитый с толку,— прежде, вы говорили, тут не было, и вы на этом месте искали, а тут вдруг очутилось?

— А тут вдруг и очутилось-с.

Князь странно посмотрел на Лебедева.

— А генерал? — вдруг спросил он.

— То есть что же-с, генерал-с? — не понял опять Лебедев.

— Ах, боже мой! Я спрашиваю, что сказал генерал, когда вы отыскали под стулом бумажник? Ведь вы же вместе прежде отыскивали.

— Прежде вместе-с. Но в этот раз я, признаюсь, промолчал-с и предпочел не объявлять ему, что бумажник уже отыскан мною, наедине.

— По...почему же?.. А деньги целы?

— Я раскрывал бумажник; все целы, до единого даже рубля-с.

— Хоть бы мне-то пришли сказать,— задумчиво заметил князь.

— Побоялся лично обеспокоить, князь, при ваших личных и, может быть, чрезвычайных, так сказать, впечатлениях; а кроме того, я и сам-то-с принял вид, что как бы и не находил ничего. Бумажник развернул, осмотрел, потом закрыл да и опять под стул положил.

— Да для чего же?

— Т-так-с; из дальнейшего любопытства-с,— хихикнул вдруг Лебедев, потирая руки.

— Так он и теперь там лежит, с третьего дня?

— О, нет-с; полежал только сутки. Я, видите ли, отчасти хотел, чтоб и генерал отыскал-с. Потому что, если я, наконец, нашел, так почему же и генералу не заметить предмет, так сказать бросающийся в глаза, торчащий из-под стула. Я несколько раз поднимал этот стул и переставлял, так что бумажник уже совсем на виду оказывался, но генерал никак не замечал, и так продолжалось целые сутки. Очень уж он, видно, рассеян теперь, и не разберешь; говорит, рассказывает, смеется, хохочет, а то вдруг ужасно на меня рассердится, не знаю почему-с. Стали мы, наконец, выходить из комнаты, я дверь нарочно отпертою и оставляю; он таки поколебался, хотел что-то сказать, вероятно за бумажник с такими деньгами испугался, но ужасно вдруг рассердился и ничего не сказал-с; двух шагов по улице не прошли, он меня бросил и ушел в другую сторону. Вечером только в трактире сошлись.

— Но, наконец, вы все-таки взяли из-под стула бумажник?

— Нет-с; в ту же ночь он из-под стула пропал-с.

— Так где же он теперь-то?

— Да здесь-с,— засмеялся вдруг Лебедев, подымаясь во весь рост со стула и приятно смотря на князя,— очутился вдруг здесь, в поле собственного моего сюртука. Вот, извольте сами посмотреть, ощупайте-с.

Действительно, в левой поле сюртука, прямо спереди, на самом виду, образовался как бы целый мешок, и на ощупь тотчас же можно было угадать, что тут кожаный бумажник, провалившийся туда из прорвавшегося кармана.

— Вынимал и смотрел-с, все цело-с. Опять опустил, и так со вчерашнего утра и хожу, в поле ношу, по ногам даже бьет.

— А вы и не примечаете?

— А я и не примечаю-с, хе-хе! И представьте себе, многоуважаемый князь,— хотя предмет и недостоин такого особенного внимания вашего, всегда-то карманы у меня целехоньки, а тут вдруг в одну ночь такая дыра! Стал высматривать любопытнее,— как бы перочинным ножичком кто прорезал; невероятно почти-с.

— А... генерал?

— Целый день сердился, и вчера и сегодня; ужасно недоволен-с; то радостен и вакхичен даже до льстивости, то чувствителен даже до слез, а то вдруг рассердится, да так, что я даже и струшу-с, ей-богу-с; я, князь, все-таки человек не военный-с. Вчера в трактире сидим, а у меня как бы невзначай пола выставилась на самый вид, гора горой; косится он, сердится. Прямо в глаза он мне теперь давно уже не глядит-с, разве когда уж очень хмелен или расчувствуется; но вчера раза два так поглядел, что просто мороз по спине прошел. Я, впрочем, завтра намерен бумажник найти, а до завтра еще с ним вечерок погуляю.

— За что вы так его мучаете? — вскричал князь.

— Не мучаю, князь, не мучаю,— с жаром подхватил Лебедев,— я искренно его люблю-с и... уважаю-с; а теперь, вот верьте не верьте, он еще дороже мне стал-с; еще более стал ценить-с!

Лебедев проговорил все это до того серьезно и искренно, что князь пришел даже в негодование.

— Любите, а так мучаете! Помилуйте, да уж тем одним, что он так на вид положил вам пропажу, под стул да в сюртук, уж этим одним он вам прямо показывает, что не хочет с вами хитрить, а простодушно у вас прощения просит. Слышите: прощения просит! Он на деликатность чувств ваших, стало быть, надеется; стало быть, верит в дружбу вашу к нему. А вы до такого унижения доводите такого... честнейшего человека!

— Честнейшего, князь, честнейшего! — подхватил Лебедев, сверкая глазами.— И именно только вы один, благороднейший князь, в состоянии были такое справедливое слово сказать! За это-то я и предан вам даже до обожания-с, хоть и прогнил от разных пороков! Решено! Отыскиваю бумажник теперь же, сейчас же, а не завтра; вот, вынимаю его в ваших глазах-с; вот он, вот он; вот и деньги все налицо; вот, возьмите, благороднейший князь, возьмите и сохраните до завтра. Завтра или послезавтра возьму-с; а знаете, князь, очевидно, что у меня где-нибудь в садике под камушком пролежали в первую-то ночь пропажи-с; как вы думаете?

— Смотрите же, не говорите ему так прямо в глаза, что бумажник нашли. Пусть просто-запросто он увидит, что в поле больше нет ничего, и поймет.

— Так ли-с? Не лучше ли сказать, что нашел-с, и притвориться, что до сих пор не догадывался?

— Н-нет,— задумался князь,— н-нет, теперь уже поздно; это опаснее; право, лучше не говорите! А с ним будьте ласковы, но... не слишком делайте вид, и... и... знаете...

— Знаю, князь, знаю, то есть знаю, что, пожалуй, и не выполню; ибо тут надо сердце такое, как ваше, иметь. Да к тому же и сам раздражителен и повадлив, слишком уж он свысока стал со мной иногда теперь обращаться; то хнычет и обнимается, а то вдруг начнет унижать и презрительно издеваться; ну, тут я возьму да нарочно полу-то и выставлю, хе-хе! До свиданья, князь, ибо очевидно задерживаю и мешаю, так сказать, интереснейшим чувствам...

— Но, ради бога, прежний секрет!

— Тихими стопами-с, тихими стопами-с!

Но хоть дело было и кончено, а князь остался озабочен чуть ли не более прежнего. Он с нетерпением ждал завтрашнего свидания с генералом.

IV

Назначенный час был двенадцатый, но князь совершенно неожиданно опоздал. Воротясь домой, он застал у себя ожидавшего его генерала. С первого взгляда заметил он, что тот недоволен и, может быть, именно тем, что пришлось подождать. Извинившись, князь поспешил сесть, но как-то странно робея, точно гость его был фарфоровый, а он поминутно боялся его разбить. Прежде он никогда не робел с генералом, да и в ум не приходило робеть. Скоро князь разглядел, что это совсем другой человек, чем вчера: вместо смятения и рассеянности проглядывала какая-то необыкновенная сдержанность; можно было заключить, что это человек, на что-то решившийся окончательно. Спокойствие, впрочем, было более наружное, чем на самом деле. Но, во всяком случае, гость был благородно-развязен, хотя и со сдержанным достоинством; даже вначале обращался с князем как бы с видом некоторого снисхождения,— именно так, как бывают иногда благородно-развязны иные гордые, но несправедливо обиженные люди. Говорил ласково, хотя и не без некоторого прискорбия в выговоре.

— Ваша книга, которую я брал у вас намедни,— значительно кивнул он на принесенную им и лежавшую на столе книгу,— благодарен.

— Ах, да; прочли вы эту статью, генерал? Как вам понравилась? Ведь любопытно? — обрадовался князь возможности поскорее начать разговор попостороннее.

— Любопытно, пожалуй, но грубо и, конечно, вздорно. Может, и ложь на каждом шагу.

Генерал говорил с апломбом и даже немного растягивая слова.

— Ах, это такой простодушный рассказ; рассказ старого солдата-очевидца о пребывании французов в Москве; некоторые вещи прелесть. К тому же всякие записки очевидцев драгоценность, даже кто бы ни был очевидец. Не правда ли?

— На месте редактора я бы не напечатал; что же касается вообще до записок очевидцев, то поверят скорее грубому лгуну, но забавнику, чем человеку достойному и заслуженному. Я знаю некоторые записки о двенадцатом годе, которые... Я принял решение, князь, я оставляю этот дом — дом господина Лебедева.

Генерал значительно поглядел на князя.

— Вы имеете свою квартиру, в Павловске, у... у дочери вашей... — проговорил князь, не зная, что сказать. Он вспомнил, что ведь генерал пришел за советом по чрезвычайному делу, от которого зависит судьба его.

— У моей жены; другими словами, у себя и в доме моей дочери.

— Извините, я...

— Я оставляю дом Лебедева потому, милый князь, потому что с этим человеком порвал; порвал вчера вечером, с раскаянием, что не раньше. Я требую уважения, князь, и желаю получать его даже и от тех лиц, которым дарю, так сказать, мое сердце. Князь, я часто дарю мое сердце и почти всегда бываю обманут. Этот человек был недостоин моего подарка.

— В нем много беспорядка, — сдержанно заметил князь, — и некоторые черты... но среди всего этого замечается сердце, хитрый, а иногда и забавный ум.

Утонченность выражений, почтительный тон видимо польстили генералу, хотя он все еще иногда взглядывал со внезапною недоверчивостью. Но тон князя был так натурален и искренен, что невозможно было усомниться.

— Что в нем есть и хорошие качества, — подхватил генерал, — то я первый заявил об этом, чуть не подарив этому индивидууму дружбу мою. Не нуждаюсь же я в его доме и в его гостеприимстве, имея собственное семейство. Я свои пороки не оправдываю; я невоздержан; я пил с ним вино и теперь, может быть, плачу об этом. Но ведь не для одного же питья (извините, князь, грубость откровенности в человеке раздраженном), не для одного же питья я связался с ним? Меня именно прельстили, как вы говорите, качества. Но все до известной черты, даже и качества; и если он вдруг, в глаза, имеет дерзость уверять, что в двенадцатом году, еще ребенком, в детстве, он лишился левой своей ноги и похоронил ее на Ваганьковском кладбище, в Москве, то уж это заходит за пределы, является неуважение, показывает наглость...

— Может быть, это была только шутка для веселого смеха.

— Понимаю-с. Невинная ложь для веселого смеха, хотя бы и грубая, не обижает сердца человеческого. Иной и лжет-то, если хотите, из одной только дружбы, чтобы доставить тем удовольствие собеседнику; но если просвечивает неуважение, если именно, может быть, подобным неуважением хотят показать, что тяготятся связью, то человеку благородному остается лишь отвернуться и порвать связь, указав обидчику его настоящее место.

Генерал даже покраснел, говоря.

— Да Лебедев и не мог быть в двенадцатом году в Москве; он слишком молод для этого; это смешно.

— Во-первых, это; но, положим, он тогда уже мог родиться; но как же уверять в глаза, что французский шассер навел на него пушку и отстрелил ему ногу, так, для забавы; что он ногу эту поднял и отнес домой, потом похоронил ее на Ваганьковском кладбище, и говорит, что поставил над нею памятник, с надписью, с одной стороны: «Здесь погребена нога коллежского секретаря Лебедева», а с другой: «Покойся, милый прах, до радостного утра», и что, наконец, служит ежегодно по ней панихиду (что уже святотатство) и для этого ежегодно ездит в Москву. В доказательство же зовет в Москву, чтобы показать и могилу, и даже ту самую французскую пушку в Кремле, попавшую в плен; уверяет, что одиннадцатая от ворот, французский фальконет прежнего устройства.

— И притом же ведь у него обе ноги целы, на виду! — засмеялся князь.— Уверяю вас, что это невинная шутка; не сердитесь.

— Но позвольте же и мне понимать-с; насчет ног на виду,— то это еще, положим, не совсем невероятно; уверяет, что нога Черносвитовская...

— Ах, да, с Черносвитовскою ногой, говорят, танцевать можно.

— Совершенно знаю-с; Черносвитов, изобретя свою ногу, первым делом тогда забежал ко мне показать. Но Черносвитовская нога изобретена несравненно позже... И к тому же уверяет, что даже покойница жена его, в продолжение всего их брака, не знала, что у него, у мужа ее, деревянная нога. «Если ты,— говорит, когда я заметил ему все нелепости,— если ты в двенадцатом году был у Наполеона в камер-пажах, то и мне позволь похоронить ногу на Ваганьковском».

— А разве вы...— начал было князь и смутился.

Генерал посмотрел на князя решительно свысока и чуть не с насмешкой.

— Договаривайте, князь,— особенно плавно протянул он,— договаривайте. Я снисходителен, говорите все: признайтесь, что вам смешна даже мысль видеть пред собой человека в настоящем его унижении и... бесполезности и в то же время слышать, что этот человек был личным свидетелем... великих событий. *Он* ничего еще не успел вам... насплетничать?

— Нет; я ничего не слыхал от Лебедева,— если вы говорите про Лебедева...

— Гм, я полагал напротив. Собственно, и разговор-то зашел вчера между нами все по поводу этой... странной статьи в «Архиве». Я заметил ее нелепость, и так как я сам был личным свидетелем... вы улыбаетесь, князь, вы смотрите на мое лицо?

— Н-нет, я...

— Я моложав на вид,— тянул слова генерал,— но я несколько старее годами, чем кажусь в самом деле. В двенадцатом году я был лет десяти или одиннадцати. Лет моих я и сам хорошенько не знаю. В формуляре убавлено; я же имел слабость убавлять себе года и сам в продолжение жизни.

— Уверяю вас, генерал, что совсем не нахожу странным, что в двенадцатом году вы были в Москве и... конечно, вы можете сообщить... также как и все бывшие. Один из наших автобиографов начинает свою книгу именно тем, что в двенадцатом году его, грудного ребенка, в Москве, кормили хлебом французские солдаты.

— Вот видите,— снисходительно одобрил генерал,— случай со мной, конечно, выходит из обыкновенных, но не заключает в себе и ничего необычайного. Весьма часто правда кажется невозможною. Камер-паж! Странно слышать, конечно. Но приключение с десятилетним ребенком, может быть, именно объясняется его возрастом. С пятнадцатилетним того уже не было бы, и это непременно так, потому что пятнадцатилетний я бы не убежал из нашего деревянного дома, в Старой Басманной, в день вшествия Наполеона в Москву, от моей матери, опоздавшей выехать из Москвы и трепетавшей от страха. Пятнадцати лет и я бы струсил, а десяти я ничего не испугался и пробился сквозь толпу к самому даже крыльцу дворца, когда Наполеон слезал с лошади.

— Без сомнения, вы отлично заметили, что именно десяти лет можно было не испугаться...— поддакнул князь, робея и мучаясь мыслью, что сейчас покраснеет.

— Без сомнения, и все произошло так просто и натурально, как только может происходить в самом деле; возьмись за это дело романист, он наплетет небылиц и невероятностей.

— О, это так! — вскричал князь.— Эта мысль и меня поражала, и даже недавно. Я знаю одно истинное убийство за часы, оно уже теперь в газетах. Пусть бы выдумал это сочинитель,— знатоки народной жизни и критики тотчас же крикнули бы, что это невероятно; а прочтя в газетах как факт, вы чувствуете, что из таких-то именно фактов поучаетесь русской действительности. Вы это прекрасно заметили, генерал! — с жаром закончил князь, ужасно обрадовавшись, что мог ускользнуть от явной краски в лице.

— Не правда ли? Не правда ли? — вскричал генерал, засверкав даже глазами от удовольствия.— Мальчик, ребенок, не пони-

мающий опасности, пробирается сквозь толпу, чтоб увидеть блеск, мундиры, свиту и, наконец, великого человека, о котором так много накричали ему. Потому что тогда все, несколько лет сряду, только и кричали о нем. Мир был наполнен этим именем; я, так сказать, с молоком всосал. Наполеон, проходя в двух шагах, нечаянно различает мой взгляд; я же был в костюме барчонка, меня одевали хорошо. Один я такой, в этой толпе, согласитесь сами...

— Без сомнения, это должно было его поразить и доказало ему, что не все выехали, и что остались и дворяне с детьми.

— Именно, именно! Он хотел привлечь бояр! Когда он бросил на меня свой орлиный взгляд, мои глаза, должно быть, сверкнули в ответ ему: «Voilà un garçon bien éveillé! Qui est ton père?»[1]. Я тотчас отвечал ему, почти задыхаясь от волнения: «Генерал, умерший на полях своего отечества».— «Le fils d'un boyard et d'un brave pardessus le marché! J'aime les boyards. M'aimes-tu petit?»[2]. На этот быстрый вопрос я так же быстро ответил: «Русское сердце в состоянии даже в самом враге своего отечества отличить великого человека!» То есть, собственно, не помню, буквально ли я так выразился... я был ребенок... но смысл наверно был тот! Наполеон был поражен, он подумал и сказал своей свите: «Я люблю гордость этого ребенка! Но если все русские мыслят, как это дитя, то...»— он не договорил и вошел во дворец. Я тотчас же вмешался в свиту и побежал за ним. В свите уже расступались предо мной и смотрели на меня как на фаворита. Но все это только мелькнуло... Помню только, что, войдя в первую залу, император вдруг остановился пред портретом императрицы Екатерины, долго смотрел на него в задумчивости и, наконец, произнес: «Это была великая женщина!»— и прошел мимо. Чрез два дня меня все уже знали во дворце и в Кремле и звали «le petit boyard». Я только ночевать уходил домой. Дома чуть с ума не сошли. Еще чрез два дня умирает камер-паж Наполеона, барон де Базанкур, не вынесший похода. Наполеон вспомнил обо мне; меня взяли, привели, не объясняя дела, примерили на меня мундир покойного, мальчика лет двенадцати, и, когда уже привели меня в мундире к императору и он кивнул на меня головой, объявили мне, что я удостоен милостью и произведен в камер-пажи его величества. Я был рад, я действительно чувствовал к нему, и давно уже, горячую симпатию... ну, и кроме того, согласитесь, блестящий мундир, что для ребенка составляет многое... Я ходил в темно-зеленом фраке, с длинными и узкими фалдами; золотые пуговицы, красные опушки на рукавах с золотым шитьем, высокий, стоячий, открытый воротник, шитый золотом,

---

[1] Какой бойкий мальчик! Кто твой отец? (*фр.*)

[2] Сын боярина, к тому же храброго. Я люблю бояр. Любишь ли ты меня, малыш? (*фр.*)

шитье на фалдах; белые лосинные панталоны в обтяжку, белый шелковый жилет, шелковые чулки, башмаки с пряжками... а во время прогулок императора на коне, и если я участвовал в свите, высокие ботфорты. Хотя положение было не блестящее и предчувствовались уже огромные бедствия, но этикет соблюдался по возможности, и даже тем пунктуальнее, чем сильнее предчувствовались эти бедствия.

— Да, конечно...— пробормотал князь, почти с потерянным видом,— ваши записки были бы... чрезвычайно интересны.

Генерал, конечно, передавал уже то, что еще вчера рассказывал Лебедеву, и передавал, стало быть, плавно; но тут опять недоверчиво покосился на князя.

— Мои записки,— произнес он с удвоенною гордостью,— написать мои записки? Не соблазнило меня это, князь! Если хотите, мои записки уже написаны, но... лежат у меня в пюпитре. Пусть, когда засыплют мне глаза землей, пусть тогда появятся и, без сомнения, переведутся и на другие языки, не по литературному их достоинству, нет, но по важности громаднейших фактов, которых я был очевидным свидетелем, хотя и ребенком; но тем паче: как ребенок, я проникнул в самую интимную, так сказать, спальню «великого человека»! Я слышал по ночам стоны этого «великана в несчастии», он не мог совеститься стонать и плакать пред ребенком, хотя я уже и понимал, что причина его страданий — молчание императора Александра.

— Да, ведь он писал письма... с предложениями о мире...— робко поддакнул князь.

— Собственно, нам неизвестно, с какими именно предложениями он писал, но писал каждый день, каждый час, и письмо за письмом! Волновался ужасно. Однажды ночью, наедине, я бросился к нему со слезами (о, я любил его!): «Попросите, попросите прощения у императора Александра!» — закричал я ему. То есть мне надо бы было выразиться: «Помиритесь с императором Александром», но, как ребенок, я наивно высказал всю мою мысль. «О дитя мое! — отвечал он,— он ходил взад и вперед по комнате,— о дитя мое! — он как бы не замечал тогда, что мне десять лет, и даже любил разговаривать со мной.— О дитя мое, я готов целовать ноги императора Александра, но зато королю прусскому, но зато австрийскому императору, о, этим вечная ненависть, и... наконец... ты ничего не смыслишь в политике!» — Он как бы вспомнил вдруг, с кем говорит, и замолк, но глаза его еще долго метали искры. Ну, опиши я эти все факты,— а я бывал свидетелем и величайших фактов,— издай я их теперь, и все эти критики, все эти литературные тщеславия, все эти зависти, партии и... нет-с, слуга покорный!

— Насчет партий вы, конечно, справедливо заметили, и я с вами согласен,— тихо ответил князь, капельку помолчав,— я вот тоже

очень недавно прочел книгу Шарраса о Ватерлооской кампании. Книга, очевидно, серьезная, и специалисты уверяют, что с чрезвычайным знанием дела написана. Но проглядывает на каждой странице радость в унижении Наполеона, и если бы можно было оспорить у Наполеона даже всякий признак таланта и в других кампаниях, то Шаррас, кажется, был бы этому чрезвычайно рад; а это уж нехорошо в таком серьезном сочинении, потому что это дух партии. Очень вы были заняты тогда вашею службой у... императора?

Генерал был в восторге. Замечание князя своею серьезностью и простодушием рассеяло последние остатки его недоверчивости.

— Шаррас! О, я был сам в негодовании! Я тогда же написал к нему, но... я, собственно, не помню теперь... Вы спрашиваете, занят ли я был службой? О нет! Меня назвали камер-пажом, но я уже и тогда не считал это серьезным. Притом же Наполеон очень скоро потерял всякую надежду приблизить к себе русских, и уж, конечно, забыл бы и обо мне, которого приблизил из политики, если бы... если б он не полюбил меня лично, я смело говорю это теперь. Меня же влекло к нему сердце. Служба не спрашивалась: надо было являться иногда во дворец и... сопровождать верхом императора на прогулках, вот и все. Я ездил верхом порядочно. Выезжал он пред обедом, в свите обыкновенно бывали Даву, я, мамелюк Рустан...

— Констан,— выговорилось с чего-то вдруг у князя.

— Н-нет, Констана тогда не было; он ездил тогда с письмом... к императрице Жозефине; но вместо него два ординарца, несколько польских улан... ну, вот и вся свита, кроме генералов, разумеется, и маршалов, которых Наполеон брал с собой, чтоб осматривать с ними местность, расположение войск, советоваться... Всего чаще находился при нем Даву, как теперь помню: огромный, полный, хладнокровный человек в очках, с странным взглядом. С ним чаще всего советовался император. Он ценил его мысли. Помню, они совещались уже несколько дней; Даву приходил и утром, и вечером, часто даже спорили; наконец. Наполеон как бы стал соглашаться. Они были вдвоем в кабинете, я третий, почти не замеченный ими. Вдруг взгляд Наполеона случайно падает на меня, странная мысль мелькает в глазах его. «Ребенок! — говорит он мне вдруг,— как ты думаешь: если я приму православие и освобожу ваших рабов, пойдут за мной русские или нет?» — «Никогда!» — вскричал я в негодовании. Наполеон был поражен. «В заблиставших патриотизмом глазах этого ребенка,— сказал он,— я прочел мнение всего русского народа. Довольно, Даву! Все это фантазии! Изложите ваш другой проект».

— Да, но и этот проект была сильная мысль! — сказал князь, видимо интересуясь.— Так вы приписываете этот проект Даву?

— По крайней мере они совещались вместе. Конечно, мысль была наполеоновская, орлиная мысль, но и другой проект был тоже мысль... Это тот самый знаменитый «conseil du lion»[1], как сам Наполеон назвал этот совет Даву. Он состоял в том, чтобы затвориться в Кремле со всем войском, настроить бараков, окопаться укреплениями, расставить пушки, убить по возможности более лошадей и посолить их мясо; по возможности более достать и намародерничать хлеба и прозимовать до весны; а весной пробиться чрез русских. Этот проект сильно увлек Наполеона. Мы ездили каждый день кругом кремлевских стен, он указывал, где ломать, где строить, где люнет, где равелин, где ряд блокгаузов,— взгляд, быстрота, удар! Все было, наконец, решено; Даву приставал за окончательным решением. Опять они были наедине, и я третий. Опять Наполеон ходил по комнате, скрестя руки. Я не мог оторваться от его лица, сердце мое билось. «Я иду»,— сказал Даву. «Куда?» — спросил Наполеон. «Солить лошадей»,— сказал Даву. Наполеон вздрогнул, решалась судьба. «Дитя! — сказал он мне вдруг,— что ты думаешь о нашем намерении?» Разумеется, он спросил у меня так, как иногда человек величайшего ума, в последнее мгновение, обращается к орлу или решетке. Вместо Наполеона я обращаюсь к Даву и говорю как бы во вдохновении: «Улепетывайте-ка, генерал, восвояси!» Проект был разрушен. Даву пожал плечами и, выходя, сказал шепотом: «Bah! Il devient superstitieux!»[2] А на завтра же было объявлено выступление.

— Все это чрезвычайно интересно,— произнес князь ужасно тихо,— если это все так и было... то есть, я хочу сказать...— поспешил было он поправиться.

— О князь! — вскричал генерал, упоенный своим рассказом до того, что, может быть, уже не мог бы остановиться даже пред самою крайнею неосторожностью.— Вы говорите: «Все это было!» Но было более, уверяю вас, что было гораздо более! Все это только факты мизерные, политические. Но повторяю же вам, я был свидетелем ночных слез и стонов этого великого человека; а этого уж никто не видел, кроме меня! Под конец, правда, он уже не плакал, слез не было, но только стонал иногда; но лицо его все более и более подергивалось как бы мраком. Точно вечность уже осеняла его мрачным крылом своим. Иногда, по ночам, мы проводили целые часы одни, молча, — мамелюк Рустан храпит, бывало, в соседней комнате; ужасно крепко спал этот человек. «Зато он верен мне и династии»,— говорил про него Наполеон. Однажды мне было страшно больно, и вдруг он заметил слезы на глазах моих; он посмотрел на меня с умилением: «Ты жалеешь меня! — вскри-

---

[1] Совет льва (*фр.*).

[2] « Он становится суеверным!» (*фр.*).

чал он,— ты, дитя, да еще, может быть, пожалеет меня и другой ребенок, мой сын, le roi de Rome[1]; остальные все, все меня ненавидят, а братья первые продадут меня в несчастии!» Я зарыдал и бросился к нему; тут и он не выдержал; мы обнялись, и слезы наши смешались. «Напишите, напишите письмо к императрице Жозефине!» — прорыдал я ему. Наполеон вздрогнул, подумал и сказал мне: «Ты напомнил мне о третьем сердце, которое меня любит; благодарю тебя, друг мой!» Тут же сел и написал то письмо к Жозефине, с которым назавтра же был отправлен Констан.

— Вы сделали прекрасно,— сказал князь,— среди злых мыслей вы навели его на доброе чувство.

— Именно, князь, и как прекрасно вы это объясняете, сообразно с собственным вашим сердцем! — восторженно вскричал генерал, и, странно, настоящие слезы заблистали в глазах его.— Да, князь, да, это было великое зрелище! И знаете ли, я чуть не уехал за ним в Париж и, уж конечно, разделил бы с ним «знойный остров заточенья», но увы! судьбы наши разделились! Мы разошлись: он — на знойный остров, где хотя раз, в минуту ужасной скорби, вспомнил, может быть, о слезах бедного мальчика, обнимавшего и простившего его в Москве; я же был отправлен в кадетский корпус, где нашел одну муштровку, грубость товарищей и... Увы! Все пошло прахом! «Я не хочу тебя отнять у твоей матери и не беру с собой! — сказал он мне в день ретирады,— но я желал бы что-нибудь для тебя сделать». Он уже садился на коня: «Напишите мне что-нибудь в альбом моей сестры на память»,— произнес я, робея, потому что он был очень расстроен и мрачен. Он вернулся, спросил перо, взял альбом. «Каких лет твоя сестра?» — спросил он меня, уже держа перо. «Трех лет»,— отвечал я. «Petite fille alors»[2]. И черкнул в альбом:

«Ne mentez jamais!
Napoléon, votre ami sincère»[3].

Такой совет и в такую минуту, согласитесь, князь!

— Да, это знаменательно.

— Этот листок, в золотой рамке, под стеклом, всю жизнь провисел у сестры моей в гостиной, на самом видном месте, до самой смерти ее — умерла в родах; где он теперь — не знаю... но... ах, боже мой! Уже два часа! Как задержал я вас, князь! Это непростительно.

Генерал встал со стула.

---

[1] Римский король (*фр.*).

[2] Еще совсем девочка (*фр.*).

[3] «Никогда не лгите! *Наполеон, ваш искренний друг*». (*фр.*).

— О, напротив! — промямлил князь.— Вы так меня заняли и... наконец... это так интересно; я вам так благодарен!

— Князь! — сказал генерал, опять сжимая до боли его руку и сверкающими глазами пристально смотря на него, как бы сам вдруг опомнившись и точно ошеломленный какою-то внезапною мыслью.— Князь! Вы до того добры, до того простодушны, что мне становится даже вас жаль иногда. Я с умилением смотрю на вас; о, благослови вас Бог! Пусть жизнь ваша начнется и процветет... в любви. Моя же кончена! О, простите, простите!

Он быстро вышел, закрыв лицо руками. В искренности его волнения князь не мог усомниться. Он понимал также, что старик вышел в упоении от своего успеха; но ему все-таки предчувствовалось, что это был один из того разряда лгунов, которые хотя и лгут до сладострастия и даже до самозабвения, но и на самой высшей точке своего упоения все-таки подозревают про себя, что ведь им не верят, да и не могут верить. В настоящем положении своем старик мог опомниться, не в меру устыдиться, заподозрить князя в безмерном сострадании к нему, оскорбиться. «Не хуже ли я сделал, что довел его до такого вдохновения?» — тревожился князь и вдруг не выдержал и расхохотался ужасно, минут на десять. Он было стал укорять себя за этот смех; но тут же понял, что не в чем укорять, потому что ему бесконечно было жаль генерала.

Предчувствия его сбылись. Вечером же он получил странную записку, краткую, но решительную. Генерал уведомлял, что он и с ним расстается навеки, что уважает его и благодарен ему, но даже и от него не примет «знаков сострадания, унижающих достоинство и без того уже несчастного человека». Когда князь услышал, что старик заключился у Нины Александровны, то почти успокоился за него. Но мы уже видели, что генерал наделал каких-то бед и у Лизаветы Прокофьевны. Здесь мы не можем сообщить подробностей, но заметим вкратце, что сущность свидания состояла в том, что генерал испугал Лизавету Прокофьевну, а горькими намеками на Ганю привел ее в негодование. Он был выведен с позором. Вот почему он и провел такую ночь и такое утро, свихнулся окончательно и выбежал на улицу чуть не в помешательстве.

Коля все еще не понимал дела вполне и даже надеялся взять строгостию.

— Ну, куда мы теперь потащимся, как вы думаете, генерал? — сказал он.— К князю не хотите, с Лебедевым рассорились, денег у вас нет, у меня никогда не бывает: вот и сели теперь на бобах, среди улицы.

— Приятнее сидеть с бобами, чем на бобах,— пробормотал генерал,— этим... каламбуром я возбудил восторг... в офицерском обществе... сорок четвертого... Тысяча... восемьсот... сорок четвертого года, да!.. Я не помню... О, не напоминай, не напоминай! «Где

моя юность, где моя свежесть!» Как вскричал... кто это вскричал, Коля?

— Это у Гоголя, в «Мертвых душах», папаша,— ответил Коля и трусливо покосился на отца.

— Мертвые души! О да, мертвые! Когда похоронишь меня, напиши на могиле: «Здесь лежит мертвая душа!»

Позор преследует меня!

Это кто сказал, Коля?

— Не знаю, папаша.

— Епопегова не было! Ерошки Епопегова!..— вскричал он в исступлении, приостанавливаясь на улице.— И это сын, родной сын! Епопегов, человек, заменявший мне одиннадцать месяцев брата, за которого я на дуэль... Ему князь Выгорецкий, наш капитан, говорит за бутылкой: «Ты, Гриша, где свою Анну получил, вот что скажи?» — «На полях моего отечества, вот где получил!» Я кричу: «Браво, Гриша!» Ну, тут и вышла дуэль, а потом повенчался... с Марьей Петровной Су... Сутугиной и был убит на полях... Пуля отскочила от моего креста на груди и прямо ему в лоб. «Ввек не забуду!» — крикнул и пал на месте. Я... я служил честно, Коля; я служил благородно, но позор — «позор преследует меня!». Ты и Нина придете ко мне на могилку... «Бедная Нина!» Я прежде ее так называл, Коля, давно, в первое время еще, и она так любила... Нина, Нина! Что сделал я с твоею участью! За что ты можешь любить меня, терпеливая душа! У твоей матери душа ангельская, Коля, слышишь ли, ангельская!

— Это я знаю, папаша. Папаша, голубчик, воротимтесь домой к мамаше! Она бежала за нами! Ну что вы стали? Точно не понимаете... Ну чего вы-то плачете?

Коля сам плакал и целовал у отца руки.

— Ты целуешь мне руки, мне!

— Ну да, вам, вам. Ну что ж удивительного? Ну чего вы ревете-то среди улицы, а еще генерал называется, военный человек, ну, пойдемте!

— Благослови тебя Бог, милый мальчик, за то, что почтителен был к позорному,— да! к позорному старикашке, отцу своему... да будет и у тебя такой же мальчик... le roi de Rome... О, «проклятие, проклятие дому сему!»

— Да что ж это в самом деле здесь происходит! — закипел вдруг Коля.— Что такое случилось? Почему вы не хотите вернуться домой теперь? Чего вы с ума-то сошли?

— Я объясню, я объясню тебе... я все скажу тебе; не кричи, услышат... le roi de Rome... О, тошно мне, грустно мне!

Няня, где твоя могила!

Это кто воскликнул, Коля?

— Не знаю, не знаю, кто воскликнул! Пойдемте домой сейчас, сейчас! Я Ганьку исколочу, если надо... да куда ж вы опять?

Но генерал тянул его на крыльцо одного ближнего дома.

— Куда вы? это чужое крыльцо!

Генерал сел на крыльцо и за руку все притягивал к себе Колю.

— Нагнись, нагнись! — бормотал он.— Я тебе все скажу... позор... нагнись... ухом, ухом; я на ухо скажу...

— Да чего вы! — испугался ужасно Коля, подставляя, однако же, ухо.

— Le roi de Rome...— прошептал генерал, тоже как будто весь дрожа.

— Чего?.. Да какой вам дался le roi de Rome?.. Что?

— Я... я...— зашептал опять генерал, все крепче и крепче цепляясь за плечо «своего мальчика»,— я... хочу... я тебе... все, Марья, Марья... Петровна Су-су-су...

Коля вырвался, схватил сам генерала за плечи и, как помешанный, смотрел на него. Старик побагровел, губы его посинели, мелкие судороги пробегали еще по лицу. Вдруг он склонился и начал тихо падать на руку Коли.

— Удар! — вскричал тот на всю улицу, догадавшись, наконец, в чем дело.

V

По правде, Варвара Ардалионовна в разговоре с братом несколько преувеличила точность своих известий о сватовстве князя за Аглаю Епанчину. Может быть, как прозорливая женщина, она предугадала то, что должно было случиться в близком будущем; может быть, огорчившись из-за разлетевшейся дымом мечты (в которую и сама, по правде, не верила), она, как человек, не могла отказать себе в удовольствии преувеличением беды подлить еще более яду в сердце брата, впрочем, искренно и сострадательно ею любимого. Но во всяком случае она не могла получить от подруг своих, Епанчиных, таких точных известий; были только намеки, недосказанные слова, умолчания, загадки. А может быть, сестры Аглаи и намеренно в чем-нибудь проболтались, чтоб и самим что-нибудь узнать от Варвары Ардалионовны; могло быть, наконец, и то, что и они не хотели отказать себе в женском удовольствии немного подразнить подругу, хотя бы и детства: не могли же они не усмотреть во столько времени хоть маленького краюшка ее намерений.

С другой стороны, и князь, хотя и совершенно был прав, уверяя Лебедева, что ничего не может сообщить ему и что с ним ровно ничего не случилось особенного, тоже, может быть, ошибался. Действительно, со всеми произошло как бы нечто очень странное:

ничего не случилось и как будто в то же время и очень много случилось. Последнее-то и угадала Варвара Ардалионовна своим верным женским инстинктом.

Как вышло, однако же, что у Епанчиных все вдруг разом задались одною и согласною мыслию о том, что с Аглаей произошло нечто капитальное и что решается судьба ее,— это очень трудно изложить в порядке. Но только что блеснула эта мысль, разом у всех, как тотчас же все разом и стали на том, что давно уже все разглядели и все это ясно предвидели; что все ясно было еще с «бедного рыцаря», даже и раньше, только тогда еще не хотели верить в такую нелепость. Так утверждали сестры; конечно, и Лизавета Прокофьевна раньше всех все предвидела и узнала, и давно уже у ней «болело сердце», но — давно ли, нет ли — теперь мысль о князе вдруг стала ей слишком не по нутру, собственно потому, что сбивала ее с толку. Тут предстоял вопрос, который надо было немедленно разрешить; но не только разрешить его нельзя было, а даже и вопроса-то бедная Лизавета Прокофьевна не могла поставить пред собой в полной ясности, как ни билась. Дело было трудное: «хорош или не хорош князь? Хорошо все это или не хорошо? Если не хорошо (что несомненно), то чем же именно не хорошо? А если, может быть, и хорошо (что тоже возможно), то чем же опять хорошо?» Сам отец семейства, Иван Федорович, был, разумеется, прежде всего удивлен, но потом вдруг сделал признание, что ведь «ей-богу, и ему что-то в этом же роде все это время мерещилось, нет, нет и вдруг как будто и померещится!». Он тотчас же умолк под грозным взглядом своей супруги, но умолк он утром, а вечером наедине с супругой и принужденный опять говорить, вдруг и как бы с особенною бодростью выразил несколько неожиданных мыслей: «Ведь в сущности что ж?..» (Умолчание.) «Конечно, все это очень странно, если только правда, и что он не спорит, но...» (Опять умолчание.) «А с другой стороны, если глядеть на вещи прямо, то князь ведь, ей-богу, чудеснейший парень, и... и, и — ну, наконец, имя же, родовое наше имя, все это будет иметь вид, так сказать, поддержки родового имени, находящегося в унижении, в глазах света, то есть, смотря с этой тонки зрения, то есть, потому... конечно, свет; свет есть свет; но все же и князь не без состояния, хотя бы только даже и некоторого. У него есть... и... и... и...» (Продолжительное умолчание и решительная осечка.) Выслушав супруга, Лизавета Прокофьевна вышла из всяких границ.

По ее мнению, все происшедшее было «непростительным и даже преступным вздором, фантастическая картина, глупая и нелепая!». Прежде всего уж то, что «этот князишка — больной идиот, второе — дурак, ни света не знает, ни места в свете не имеет: кому его покажешь, куда приткнешь? Демократ какой-то непоз-

волительный, даже и чинишка-то нет, и... и... что скажет Белоконская? Да и такого ли, такого ли мужа воображали и прочили мы Аглае?» Последний аргумент был, разумеется, самый главный. Сердце матери дрожало от этого помышления, кровью обливалось и слезами, хотя в то же время что-то и шевелилось внутри этого сердца, вдруг говорившее ей: «А чем бы князь не такой, какого вам надо?» Ну, вот эти-то возражения собственного сердца и были всего хлопотливее для Лизаветы Прокофьевны.

Сестрам Аглаи почему-то понравилась мысль о князе; даже казалась не очень и странною; одним словом, они вдруг могли очутиться даже совсем на его стороне. Но обе они решились молчать. Раз навсегда замечено было в семействе, что чем упорнее и настойчивее возрастали иногда, в каком-нибудь общем и спорном семейном пункте, возражения и отпоры Лизаветы Прокофьевны, тем более это могло служить для всех признаком, что она, может быть, уж и соглашается с этим пунктом. Но Александре Ивановне нельзя было, впрочем, совершенно умолкнуть. Давно уже признав ее за свою советницу, мамаша поминутно призывала ее теперь и требовала ее мнений, а главное — воспоминаний, то есть: «Как же это все случилось? Почему этого никто не видал? Почему тогда не говорили? Что означал тогда этот скверный "бедный рыцарь"? Почему она одна, Лизавета Прокофьевна, осуждена обо всех заботиться, все замечать и предугадывать, а все прочие — одних ворон считать?» и пр., и пр. Александра Ивановна сначала была осторожна и заметила только, что ей кажется довольно верною идея папаши о том, что в глазах «света» может показаться очень удовлетворительным выбор князя Мышкина в мужья для одной из Епанчиных. Мало-помалу, разгорячившись, она прибавила даже, что князь вовсе не «дурачок» и никогда таким не был, а насчет значения,— то ведь еще бог знает, в чем будет полагаться, через несколько лет, значение порядочного человека у нас в России: в прежних ли обязательных успехах по службе или в чем другом? На все это мамаша немедленно отчеканила, что Александра «вольнодумка, и что все это их проклятый женский вопрос». Затем чрез полчаса отправилась в город, а оттуда на Каменный остров, чтобы застать Белоконскую, как нарочно в то время случившуюся в Петербурге, но скоро, впрочем, отъезжавшую. Белоконская была крестною матерью Аглаи.

«Старуха» Белоконская выслушала все лихорадочные и отчаянные признания Лизаветы Прокофьевны и нисколько не тронулась слезами сбитой с толку матери семейства, даже посмотрела на нее насмешливо. Это была страшная деспотка; в дружбе, даже в самой старинной, не могла терпеть равенства, а на Лизавету Прокофьевну смотрела решительно как на свою protégée, как и тридцать пять лет назад, и никак не могла примириться с резкос-

тью и самостоятельностью ее характера. Она заметила, между прочим, что, «кажется, они там все, по своей всегдашней привычке, слишком забежали вперед и из мухи сочинили слона; что сколько она ни вслушивалась, не убедилась, чтоб у них действительно произошло что-нибудь серьезное; что не лучше ли подождать, пока что-нибудь еще выйдет; что князь, по ее мнению, порядочный молодой человек, хотя больной, странный и слишком уж незначительный. Хуже всего, что он любовницу открыто содержит». Лизавета Прокофьевна очень хорошо поняла, что Белоконская немного сердита за неуспех Евгения Павловича, ею отрекомендованного. Воротилась она к себе в Павловск еще в большем раздражении, чем когда поехала, и тотчас же всем досталось, главное, за то, что «с ума сошли», что ни у кого решительно так не ведутся дела, только у них одних; «чего заторопились? Что вышло? Сколько я ни всматриваюсь, никак не могу заключить, что действительно что-нибудь вышло! Подождите, пока еще выйдет! Мало ли что Ивану Федоровичу могло померещиться, не из мухи же делать слона?» и пр., и пр.

Выходило, стало быть, что надобно успокоиться, смотреть хладнокровно и ждать. Но увы, спокойствие не продержалось и десяти минут. Первый удар хладнокровию был нанесен известиями о том, что произошло во время отсутствия мамаши на Каменный остров. (Поездка Лизаветы Прокофьевны происходила на другое же утро после того, как князь, накануне, приходил в первом часу, вместо десятого.) Сестры на нетерпеливые расспросы мамаши отвечали очень подробно, и, во-первых, что «ровно ничего, кажется, без нее не случилось», что князь приходил, что Аглая долго к нему не выходила, с полчаса, потом вышла, и как вышла, тотчас же предложила князю играть в шахматы; что в шахматы князь и ступить не умеет, и Аглая его тотчас же победила; стала очень весела и ужасно стыдила князя за его неуменье, ужасно смеялась над ним, так что на князя жалко стало смотреть. Потом предложила играть в карты, в дураки. Но тут вышло совсем наоборот: князь оказался в дураки такой силы, как... как профессор; играл мастерски; уж Аглая и плутовала, и карты подменяла, и в глазах у него же взятки воровала, а все-таки он каждый раз оставлял ее в дурах; раз пять сряду. Аглая взбесилась ужасно, даже совсем забылась; наговорила князю таких колкостей и дерзостей, что он уже перестал и смеяться, и совсем побледнел, когда она сказала ему, наконец, что «нога ее не будет в этой комнате, пока он тут будет сидеть, и что даже бессовестно с его стороны к ним ходить, да еще по ночам, в первом часу, *после всего, что случилось*». Затем хлопнула дверью и вышла. Князь ушел как с похорон, несмотря на все их утешения. Вдруг, четверть часа спустя как ушел князь, Аглая сбежала сверху на террасу, и с такою поспешностью, что даже глаз не вытерла, а глаза у ней были заплаканы; сбежала же потому, что пришел Коля

и принес ежа. Все они стали смотреть ежа; на вопросы их Коля объяснил, что еж не его, а что он идет теперь вместе с товарищем, другим гимназистом, Костей Лебедевым, который остался на улице и стыдится войти, потому что несет топор; что и ежа и топор они купили сейчас у встречного мужика. Ежа мужик продавал и взял за него пятьдесят копеек, а топор они уже сами уговорили его продать, потому что кстати, да и очень уж хороший топор. Тут вдруг Аглая начала ужасно приставать к Коле, чтоб он ей сейчас же продал ежа, из себя выходила, даже «милым» назвала Колю. Коля долго не соглашался, но, наконец, не выдержал и позвал Костю Лебедева, который действительно вошел с топором и очень сконфузился. Но тут вдруг оказалось, что еж вовсе не их, а принадлежит какому-то третьему мальчику, Петрову, который дал им обоим денег, чтобы купили ему у какого-то четвертого мальчика «Историю» Шлоссера, которую тот, нуждаясь в деньгах, выгодно продавал; что они пошли покупать «Историю» Шлоссера, но не утерпели и купили ежа, так что, стало быть, и еж и топор принадлежат тому третьему мальчику, которому они их теперь и несут, вместо «Истории» Шлоссера. Но Аглая так приставала, что, наконец, решились и продали ей ежа. Как только Аглая получила ежа, тотчас же уложила его с помощию Коли в плетеную корзинку, накрыла салфеткой и стала просить Колю, чтобы он сейчас же, и никуда не заходя, отнес ежа к князю, от ее имени, с просьбой принять в «знак глубочайшего ее уважения». Коля с радостию согласился и дал слово, что доставит, но стал немедленно приставать: «Что означает еж и подобный подарок?» Аглая отвечала ему, что не его дело. Он отвечал, что, убежден, тут заключается аллегория. Аглая рассердилась и отрезала ему, что он мальчишка и больше ничего. Коля тотчас же возразил ей, что если б он не уважал в ней женщину и, сверх того свои убеждения, то немедленно доказал бы ей, что умеет ответить на подобное оскорбление. Кончилось, впрочем, тем, что Коля все-таки с восторгом пошел относить ежа, а за ним бежал и Костя Лебедев; Аглая не вытерпела и, видя, что Коля слишком махает корзинкой, закричала ему вслед с террасы: «Пожалуйста, Коля, не выроните, голубчик!» — точно с ним и не бранилась сейчас; Коля остановился и тоже, точно и не бранился, закричал с величайшею готовностью: «Нет, не выроню, Аглая Ивановна. Будьте совершенно покойны!» — и побежал опять сломя голову. Аглая после того расхохоталась ужасно и побежала к себе чрезвычайно довольная, и весь день потом была очень веселая.

Такое известие совершенно ошеломило Лизавету Прокофьевну. Кажется, что бы? Но уж такое, видно, пришло настроение. Тревога ее была возбуждена в чрезвычайной степени, и главное — еж; что означает еж? Что тут условлено? Что тут подразумевается? Какой это знак? Что за телеграмма? К тому же бедный Иван Фе-

дорович, случившийся тут же при допросе, совершенно испортил все дело ответом. По его мнению, телеграммы тут не было никакой, а что еж — «просто еж, и только,— разве означает, кроме того, дружество, забвение обид и примирение, одним словом, все это шалость, но во всяком случае невинная и простительная».

В скобках заметим, что он угадал совершенно. Князь, воротившись домой от Аглаи, осмеянный и изгнанный ею, сидел уже с полчаса в самом мрачном отчаянии, когда вдруг явился Коля с ежом. Тотчас же прояснилось небо; князь точно из мертвых воскрес; расспрашивал Колю, висел над каждым словом его, переспрашивал по десяти раз, смеялся как ребенок и поминутно пожимал руки обоим смеющимся и ясно смотревшим на него мальчикам. Выходило, стало быть, что Аглая прощает и князю опять можно идти к ней сегодня же вечером, а для него это было не только главное, а даже и все.

— Какие мы еще дети, Коля! и... и... как это хорошо, что мы дети! — с упоением воскликнул он, наконец,.

— Просто-запросто, она в вас влюблена, князь, и больше ничего! — с авторитетом и внушительно ответил Коля.

Князь вспыхнул, но на этот раз не сказал ни слова, а Коля только хохотал и хлопал в ладоши; минуту спустя рассмеялся и князь, а потом до самого вечера каждые пять минут смотрел на часы, много ли прошло и много ли до вечера остается.

Но настроение взяло верх: Лизавета Прокофьевна, наконец, не выдержала и поддалась истерической минуте. Несмотря на все возражения супруга и дочерей, она немедленно послала за Аглаей, с тем чтоб уж задать ей последний вопрос и от нее получить самый ясный и последний ответ. «Чтобы все это разом и покончить, и с плеч долой, так чтоб уж и не поминать!» «Иначе,— объявила она,— я и до вечера не доживу!» И тут только все догадались, до какой бестолковщины довели дело. Кроме притворного удивления, негодования, хохота и насмешек над князем и надо всеми допрашивавшими,— ничего от Аглаи не добились. Лизавета Прокофьевна слегла в постель и вышла только к чаю, к тому времени, когда ожидали князя. Князя она ожидала с трепетом, и, когда он явился, с нею чуть не сделалась истерика.

А князь и сам вошел робко, чуть не ощупью, странно улыбаясь, засматривая всем в глаза и всем как бы задавая вопрос, потому что Аглаи опять не было в комнате, чего он тотчас же испугался. В этот вечер никого не было посторонних, одни только члены семейства. Князь Щ. был еще в Петербурге, по поводу дела о дяде Евгения Павловича. «Хоть бы он-то случился и что-нибудь сказал»,— горевала о нем Лизавета Прокофьевна. Иван Федорович сидел с чрезвычайно озабоченною миной; сестры были серьезны и, как нарочно, молчали. Лизавета Прокофьевна не знала, с чего начать

разговор. Наконец, вдруг энергически выбранила железную дорогу и посмотрела на князя с решительным вызовом.

Увы! Аглая не выходила, и князь пропадал. Чуть лепеча и потерявшись, он было выразил мнение, что починить дорогу чрезвычайно полезно, но Аделаида вдруг засмеялась, и князь опять уничтожился. В это-то самое мгновение и вошла Аглая спокойно и важно, церемонно отдала князю поклон и торжественно заняла самое видное место у круглого стола. Она вопросительно посмотрела на князя. Все поняли, что настало разрешение всех недоумений.

— Получили вы моего ежа? — твердо и почти сердито спросила она.

— Получил,— ответил князь, краснея и замирая.

— Объясните же немедленно, что вы об этом думаете? Это необходимо для спокойствия мамаши и всего нашего семейства.

— Послушай, Аглая...— забеспокоился вдруг генерал.

— Это, это из всяких границ! — испугалась вдруг чего-то Лизавета Прокофьевна.

— Никаких всяких границ тут нету, maman,— строго и тотчас же ответила дочка.— Я сегодня послала князю ежа и желаю знать его мнение. Что же, князь?

— То есть, какое мнение, Аглая Ивановна?

— Об еже.

— То есть... я думаю, Аглая Ивановна, что вы хотите узнать, как я принял... ежа... или, лучше сказать, как я взглянул... на эту присылку... ежа, то есть... в таком случае, я полагаю, что... одним словом...

Он задохся и умолк.

— Ну, немного сказали,— подождала секунд пять Аглая.— Хорошо, я согласна оставить ежа; но я очень рада, что могу, наконец, покончить все накопившиеся недоумения. Позвольте, наконец, узнать от вас самого и лично: сватаетесь вы за меня или нет?

— Ах, господи! — вырвалось у Лизаветы Прокофьевны.

Князь вздрогнул и отшатнулся; Иван Федорович остолбенел; сестры нахмурились.

— Не лгите, князь, говорите правду. Из-за вас меня преследуют странными допросами; имеют же эти допросы какое-нибудь основание? Ну!

— Я за вас не сватался, Аглая Ивановна,— проговорил князь, вдруг оживляясь,— но... вы знаете сами, как я люблю вас и верю в вас... даже теперь...

— Я вас спрашивала: просите вы моей руки или нет?

— Прошу,— замирая ответил князь.

Последовало общее и сильное движение.

— Все это не так, милый друг,— проговорил Иван Федорович, сильно волнуясь,— это... это почти невозможно, если это так, Гла-

ша... Извините, князь, извините, дорогой мой!.. Лизавета Прокофьевна! — обратился он к супруге за помощью,— надо бы... вникнуть...

— Я отказываюсь, я отказываюсь! — замахала руками Лизавета Прокофьевна.

— Позвольте же, maman, и мне говорить; ведь я и сама в таком деле что-нибудь значу: решается чрезвычайная минута судьбы моей (Аглая именно так и выразилась), и я хочу узнать сама и, кроме того, рада, что при всех... Позвольте же спросить вас, князь, если вы «питаете такие намерения», то чем же вы именно полагаете составить мое счастье?

— Я не знаю, право, Аглая Ивановна, как вам ответить; тут... тут что же отвечать? Да и... надо ли?

— Вы, кажется, сконфузились и задыхаетесь; отдохните немного и соберитесь с новыми силами; выпейте стакан воды; впрочем, вам сейчас чаю дадут.

— Я вас люблю, Аглая Ивановна, я вас очень люблю; я одну вас люблю и... не шутите, пожалуйста, я вас очень люблю.

— Но, однако же, это дело важное; мы не дети, и надо взглянуть положительно... Потрудитесь теперь объяснить, в чем заключается ваше состояние?

— Ну-ну-ну, Аглая! Что ты! Это не так, не так...— испуганно бормотал Иван Федорович.

— Позор! — громко прошептала Лизавета Прокофьевна.

— С ума сошла! — так же громко прошептала Александра.

— Состояние... то есть деньги? — удивился князь.

— Именно.

— У меня... у меня теперь сто тридцать пять тысяч,— пробормотал князь закрасневшись.

— Только-то? — громко и откровенно удивилась Аглая, нисколько не краснея.— впрочем, ничего; особенно если с экономией... Намерены служить?

— Я хотел держать экзамен на домашнего учителя...

— Очень кстати; конечно, это увеличит наши средства. Полагаете вы быть камер-юнкером?

— Камер-юнкером? Я никак этого не воображал, но...

Но тут не утерпели обе сестры и прыснули со смеху. Аделаида давно уже заметила в подергивающихся чертах лица Аглаи признаки быстрого и неудержимого смеха, который она сдерживала покамест изо всей силы. Аглая грозно было посмотрела на рассмеявшихся сестер, но и секунды сама не выдержала и залилась самым сумасшедшим, почти истерическим хохотом; наконец, вскочила и выбежала из комнаты.

— Я так и знала, что один только смех и больше ничего! — вскричала Аделаида.— с самого начала, с ежа.

— Нет, вот этого уж не позволю, не позволю! — вскипела вдруг гневом Лизавета Прокофьевна и быстро устремилась вслед за Аглаей. За нею тотчас же побежали и сестры. В комнате остались князь и отец семейства.

— Это, это... мог ты вообразить что-нибудь подобное, Лев Николаич? — резко вскричал генерал, видимо, сам не понимая, что хочет сказать,— нет, серьезно, серьезно говоря?

— Я вижу, что Аглая Ивановна надо мной смеялась,— грустно ответил князь.

— Подожди, брат; я пойду, а ты подожди... потому... объясни мне хоть ты, Лев Николаич, хоть ты: как все это случилось и что все это означает, во всем, так сказать, его целом? Согласись, брат, сам,— я отец; все-таки ведь отец же, потому я ничего не понимаю; так хоть ты-то объясни!

— Я люблю Аглаю Ивановну; она это знает и... давно кажется, знает.

Генерал вскинул плечами.

— Странно, странно... и очень любишь?

— Очень люблю.

— Странно, странно это мне все. То есть такой сюрприз и удар, что... Видишь ли, милый, я не насчет состояния (хоть и ожидал, что у тебя побольше), но... мне счастье дочери... наконец... способен ли ты, так сказать, составить это... счастье-то? И... и... что это: шутка или правда с ее-то стороны? То есть не с твоей, а с ее стороны?

Из-за дверей раздался голос Александры Ивановны: звали папашу.

— Подожди, брат, подожди! Подожди и обдумай, а я сейчас...— проговорил он второпях и почти испуганно устремился на зов Александры.

Он застал супругу и дочку в объятиях одну у другой и обливавших друг друга слезами. Это были слезы счастья, умиления и примирения. Аглая целовала у матери руки, щеки, губы; обе горячо прижимались друг ко дружке.

— Ну вот, погляди на нее, Иван Федорыч, вот она вся теперь! — сказала Лизавета Прокофьевна.

Аглая отвернула свое счастливое и заплаканное личико от мамашиной груди, взглянула на папашу, громко рассмеялась, прыгнула к нему, крепко обняла его и несколько раз поцеловала. Затем опять бросилась к мамаше и совсем уже спряталась лицом на ее груди, чтоб уж никто не видал, и тотчас опять заплакала. Лизавета Прокофьевна прикрыла ее концом своей шали.

— Ну, что же, что же ты с нами-то делаешь, жестокая ты девочка после этого, вот что! — проговорила она, но уже радостно, точно ей дышать стало вдруг легче.

— Жестокая! да, жестокая! — подхватила вдруг Аглая. — Дрянная! Избалованная! Скажите это папаше. Ах, да ведь он тут. Папа, вы тут? Слышите! — рассмеялась она сквозь слезы.

— Милый друг, идол ты мой! — целовал ее руку весь просиявший от счастья генерал. (Аглая не отнимала руки.) — Так ты, стало быть, любишь этого... молодого человека?..

— Ни-ни-ни! Терпеть не могу... вашего молодого человека, терпеть не могу! — вдруг вскипела Аглая и подняла голову. — и если вы, папа, еще раз осмелитесь... я вам серьезно говорю; слышите: серьезно говорю!

И она, действительно, говорила серьезно: вся даже покраснела, и глаза блистали. Папаша осекся и испугался, но Лизавета Прокофьевна сделала ему знак из-за Аглаи, и он понял в нем: «не расспрашивай».

— Если так, ангел мой, то ведь, как хочешь, воля твоя, он там ждет один; не намекнуть ли ему деликатно, чтоб он уходил?

Генерал в свою очередь мигнул Лизавете Прокофьевне.

— Нет, нет, это уж лишнее; особенно если «деликатно»: выйдите к нему сами; я выйду потом, сейчас. Я хочу у этого... молодого человека извинения попросить, потому что я его обидела.

— И очень обидела, — серьезно подтвердил Иван Федорович.

— Ну, так... оставайтесь лучше вы все здесь, а я пойду сначала одна, вы же сейчас за мной, в ту же секунду приходите; так лучше.

Она уже дошла до дверей, но вдруг воротилась.

— Я рассмеюсь! Я умру со смеху! — печально сообщила она.

Но в ту же секунду повернулась и побежала к князю.

— Ну, что ж это такое? Как ты думаешь? — наскоро проговорил Иван Федорович.

— Боюсь и выговорить, — так же наскоро ответила Лизавета Прокофьевна, — а по-моему, ясно.

— И по-моему, ясно. Ясно как день. Любит.

— Мало того что любит, влюблена! — отозвалась Александра Ивановна. — только в кого бы, кажется?

— Благослови ее Бог, коли ее такая судьба! — набожно перекрестилась Лизавета Прокофьевна.

— Судьба, значит, — подтвердил генерал, — и от судьбы не уйдешь!

И все пошли в гостиную, а там опять ждал сюрприз.

Аглая не только не расхохоталась, подойдя к князю, как опасалась того, но даже чуть не с робостью сказала ему:

— Простите глупую, дурную, избалованную девушку (она взяла его за руку) и будьте уверены, что все мы безмерно вас уважаем. А если я осмелилась обратить в насмешку ваше прекрасное... доброе простодушие, то простите меня как ребенка за шалость;

простите, что я настаивала на нелепости, которая, конечно, не может иметь ни малейших последствий...

Последние слова Аглая выговорила с особенным ударением.

Отец, мать и сестры, все поспели в гостиную, чтобы все это видеть и выслушать, и всех поразила «нелепость, которая не может иметь ни малейших последствий», а еще более серьезное настроение Аглаи, с каким она высказалась об этой нелепости. Все переглянулись вопросительно; но князь, кажется, не понял этих слов и был на высшей степени счастья.

— Зачем вы так говорите,— бормотал он,— зачем вы... просите... прощения...

Он хотел даже выговорить, что он недостоин, чтоб у него просили прощения. Кто знает, может, он и заметил значение слов «о нелепости, которая не может иметь ни малейших последствий», но как странный человек, может быть, даже обрадовался этим словам. Бесспорно, для него составляло уже верх блаженства одно то, что он опять будет беспрепятственно приходить к Аглае, что ему позволят с нею говорить, с нею сидеть, с нею гулять, и, кто знает, может быть, этим одним он остался бы доволен на всю свою жизнь! (Вот этого-то довольства, кажется, и боялась Лизавета Прокофьевна про себя; она угадывала его; многого она боялась про себя, чего и выговорить сама не умела.)

Трудно представить, до какой степени князь оживился и ободрился в этот вечер. Он был весел так, что уж на него глядя становилось весело,— так выражались потом сестры Аглаи. Он разговорился, а этого с ним еще не повторялось с того самого утра, когда полгода назад произошло его первое знакомство с Епанчиными; по возвращении же в Петербург он был заметно и намеренно молчалив и очень недавно при всех проговорился князю Щ., что ему надо сдерживать себя и молчать, потому что он не имеет права унижать мысль, сам излагая ее. Почти он один и говорил во весь этот вечер, много рассказывал; ясно, с радостью и подробно отвечал на вопросы. Но ничего, впрочем, похожего на любезный разговор не проглядывало в словах его. Все это были такие серьезные, такие даже мудреные иногда мысли. Князь изложил даже несколько своих взглядов, своих собственных затаенных наблюдений, так что все это было бы даже смешно, если бы не было так «хорошо изложено», как согласились потом все слушавшие. Генерал хоть и любил серьезные разговорные темы, но и он и Лизавета Прокофьевна нашли про себя, что уж слишком много учености, так что стали под конец вечера даже грустны. Впрочем, князь до того дошел под конец, что рассказал несколько пресмешных анекдотов, которым сам же первый и смеялся, так что другие смеялись более уже на его радостный смех, чем самим анекдотам. Что же касается Аглаи, то она почти даже и не говорила весь вечер; зато, не отрываясь, слу-

шала Льва Николаевича, и даже не столько слушала его, сколько смотрела на него.

— Так и глядит, глаз не сводит; над каждым-то словечком его висит; так и ловит, так и ловит! — говорила потом Лизавета Прокофьевна своему супругу.— А скажи ей, что любит, так и святых вон понеси!

— Что делать — судьба! — вскидывал плечами генерал, и долго еще он повторял это полюбившееся ему словечко. Прибавим, что, как деловому человеку, ему тоже многое чрезвычайно не понравилось в настоящем положении всех этих вещей, а главное — неясность дела; но до времени он тоже решился молчать и глядеть... в глаза Лизавете Прокофьевне.

Радостное настроение семейства продолжалось недолго. На другой же день Аглая опять поссорилась с князем, и так продолжалось беспрерывно, во все следующие дни. По целым часам она поднимала князя на смех и обращала его чуть не в шута. Правда, они просиживали иногда по часу и по два в их домашнем садике, в беседке, но заметили, что в это время князь почти всегда читает Аглае газеты или какую-нибудь книгу.

— Знаете ли,— сказала ему раз Аглая, прерывая газету,— я заметила, что вы ужасно необразованны; вы ничего хорошенько не знаете, если справляться у вас: ни кто именно, ни в котором году, ни по какому трактату? Вы очень жалки.

— Я вам сказал, что я небольшой учености,— ответил князь.

— Что же в вас после этого? Как же я могу вас уважать после этого? Читайте дальше; а впрочем, не надо, перестаньте читать.

И опять в тот же вечер промелькнуло что-то очень для всех загадочное с ее стороны. Воротился князь Щ. Аглая была к нему очень ласкова, много расспрашивала об Евгении Павловиче. (Князь Лев Николаевич еще не приходил.) Вдруг князь Щ. как-то позволил себе намекнуть на «близкий и новый переворот в семействе», на несколько слов, проскользнувших у Лизаветы Прокофьевны, что, может быть, придется опять оттянуть свадьбу Аделаиды, чтоб обе свадьбы пришлись вместе. Невозможно было и вообразить, как вспылила Аглая на «все эти глупые предположения»; и между прочим, у ней вырвались слова, что «она еще не намерена замещать собой ничьих любовниц».

Эти слова поразили всех, но преимущественно родителей. Лизавета Прокофьевна настаивала в тайном совете с мужем, чтоб объясниться с князем решительно насчет Настасьи Филипповны.

Иван Федорович клялся, что все это одна только «выходка» и произошла от Аглаиной «стыдливости»; что если б князь Щ. не заговорил о свадьбе, то не было бы и выходки, потому что Аглая и сама знает, знает достоверно, что все это одна клевета недобрых людей и что Настасья Филипповна выходит за Рогожина; что князь

тут не состоит ни при чем, не только в связях; и даже никогда и не состоял, если уж говорить всю правду-истину.

А князь все-таки ничем не смущался и продолжал блаженствовать. О, конечно, и он замечал иногда что-то как бы мрачное и нетерпеливое во взглядах Аглаи; но он более верил чему-то другому, и мрак исчезал сам собой. Раз уверовав, он уже не мог колебаться ничем. Может быть, он уже слишком был спокоен; так по крайней мере казалось и Ипполиту, однажды случайно встретившемуся с ним в парке.

— Ну, не правду ли я вам сказал тогда, что вы влюблены,— начал он, сам подойдя к князю и остановив его. Тот протянул ему руку и поздравил его с «хорошим видом». Больной казался и сам ободренным, что так свойственно чахоточным.

Он с тем и подошел к князю, чтобы сказать ему что-нибудь язвительное насчет его счастливого вида, но тотчас же сбился и заговорил о себе. Он стал жаловаться, жаловался много и долго и довольно бессвязно.

— Вы не поверите,— заключил он,— до какой степени они все там раздражительны, мелочны, эгоистичны, тщеславны, ординарны; верите ли, что они взяли меня не иначе как с тем условием, чтоб я как можно скорее помер, и вот все в бешенстве, что я не помираю и что мне, напротив, легче. Комедия! Бьюсь об заклад, что вы мне не верите?

Князю не хотелось возражать.

— Я даже иногда думаю опять к вам переселиться,— небрежно прибавил Ипполит.— Так вы, однако, не считаете их способными принять человека с тем, чтоб он непременно и как можно скорее помер?

— Я думал, они пригласили вас в каких-нибудь других видах.

— Эге! Да вы таки совсем не так просты, как вас рекомендуют! Теперь не время, а то бы я вам кое-что открыл про этого Ганечку и про надежды его. Под вас подкапываются, князь, безжалостно подкапываются и... даже жалко, что вы так спокойны. Но увы,— вы не можете иначе!

— Вот о чем пожалели! — засмеялся князь.— Что ж, по-вашему, я был бы счастливее, если б был беспокойнее?

— Лучше быть несчастным, но *знать*, чем счастливым и жить... в дураках. Вы, кажется, нисколько не верите, что с вами соперничают и... с той стороны?

— Ваши слова о соперничестве несколько циничны, Ипполит; мне жаль, что я не имею права отвечать вам. Что же касается Гаврилы Ардалионовича, то согласитесь сами, может ли он оставаться спокойным после всего, что он потерял, если вы только знаете его дела хоть отчасти? Мне кажется, что с этой точки зрения лучше взглянуть. Он еще успеет перемениться; ему много жить, а

жизнь богата... а впрочем... впрочем,— потерялся вдруг князь,— насчет подкопов... я даже и не понимаю, про что вы говорите; оставим лучше этот разговор, Ипполит.

— Оставим до времени; к тому же ведь нельзя и без благородства с вашей-то стороны. Да, князь, вам нужно самому пальцем пощупать, чтоб опять не поверить, ха-ха! А очень вы меня презираете теперь, как вы думаете?

— За что? За то, что вы больше нас страдали и страдаете?

— Нет, а за то, что недостоин своего страдания.

— Кто мог страдать больше, стало быть, и достоин страдать больше. Аглая Ивановна, когда прочла вашу исповедь, хотела вас видеть, но...

— Откладывает... ей нельзя, понимаю, понимаю...— перебил Ипполит, как бы стараясь поскорее отклонить разговор.— Кстати, говорят, вы сами читали ей всю эту галиматью вслух; подлинно, в бреду написано и... сделано. И не понимаю, до какой степени надо быть,— не скажу жестоким (это для меня унизительно), но детски тщеславным и мстительным, чтоб укорять меня этою исповедью и употреблять ее против меня же как оружие! Не беспокойтесь, я не на ваш счет говорю...

— Но мне жаль, что вы отказываетесь от этой тетрадки, Ипполит, она искренна, и, знаете что даже самые смешные стороны ее, а их много (Ипполит сильно поморщился), искуплены страданием, потому что признаваться в них было тоже страдание и... может быть, большое мужество. Мысль, вас подвигшая, имела непременно благородное основание, что бы там ни казалось. Чем далее, тем яснее я это вижу, клянусь вам. Я вас не сужу, я говорю, чтобы высказаться, и мне жаль, что я тогда молчал...

Ипполит вспыхнул. У него было мелькнула мысль, что князь притворяется и ловит его; но вглядевшись в лицо его, он не мог не поверить его искренности; лицо его прояснилось.

— А вот все-таки умирать! — проговорил он, чуть не прибавив: «такому человеку, как я!» — И вообразите, как меня допекает ваш Ганечка; он выдумал, в виде возражения, что, может быть, из тех, кто тогда слушал мою тетрадку, трое-четверо умрут, пожалуй, раньше меня! Каково! Он думает, что это мне утешение, ха-ха! Во-первых, еще не умерли; да если бы даже эти люди и перемерли, то какое же мне в этом утешение, согласитесь сами! Он по себе судит; впрочем, он еще дальше пошел, он теперь просто ругается, говорит, что порядочный человек умирает в таком случае молча и что во всем этом с моей стороны был один только эгоизм! Каково! Нет, каков эгоизм с его-то стороны! Какова утонченность или, лучше сказать, какова в то же время воловья грубость их эгоизма, которого они все-таки никак не могут заметить в себе!.. Чи-

тали вы, князь, про одну смерть, одного Степана Глебова, в восемнадцатом столетии? Я случайно вчера прочел...

— Какого Степана Глебова?

— Был посажен на кол при Петре.

— Ах,боже мой, знаю! Просидел пятнадцать часов на коле, в мороз, в шубе, и умер с чрезвычайным великодушием; как же, читал... а что?

— Дает же бог такие смерти людям, а нам таки нет! Вы, может быть, думаете, что я не способен умереть так, как Глебов?

— О, совсем нет,— сконфузился князь,— я хотел только сказать, что вы... то есть не то что вы не походили бы на Глебова, но... что вы... что вы скорее были бы тогда...

— Угадываю: Остерманом, а не Глебовым,— вы это хотите сказать?

— Каким Остерманом? — удивился князь.

— Остерманом, дипломатом Остерманом, петровским Остерманом,— пробормотал Ипполит, вдруг несколько сбившись. Последовало некоторое недоумение.

— О, н-н-нет! Я не то хотел сказать,— протянул вдруг князь после некоторого молчания,— вы, мне кажется... никогда бы не были Остерманом...

Ипполит нахмурился.

— Впрочем, я ведь почему это так утверждаю,— вдруг подхватил князь, видимо желая поправиться,— потому что тогдашние люди (клянусь вам, меня это всегда поражало) совсем точно и не те люди были, как мы теперь, не то племя было, какое теперь, в наш век, право, точно порода другая... Тогда люди были как-то об одной идее, а теперь нервнее, развитее, сенситивнее, как-то о двух, о трех идеях за раз... теперешний человек шире,— и, клянусь, это-то и мешает ему быть таким односоставным человеком, как в тех веках... Я... я это единственно к тому сказал, а не...

— Понимаю; за наивность, с которою вы не согласились со мной, вы теперь лезете утешать меня, ха-ха! Вы совершенное дитя, князь. Однако ж я замечаю, что вы все третируете меня как... как фарфоровую чашку... Ничего, ничего, я не сержусь. Во всяком случае, у нас очень смешной разговор вышел; вы совершенное иногда дитя, князь. Знайте, впрочем, что я, может быть, и получше желал быть чем-нибудь, чем Остерманом; для Остермана не стоило бы воскресать из мертвых... А впрочем, я вижу, что мне надо как можно скорее умирать, не то я сам... Оставьте меня. До свидания! Ну, хорошо, ну, скажите мне сами, ну, как, по-вашему: как мне всего лучше умереть? Чтобы вышло как можно... добродетельнее, то есть? Ну, говорите!

— Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье! — проговорил князь тихим голосом.

— Ха-ха-ха! Так я и думал! Непременно чего-нибудь ждал в этом роде! Однако же, вы... однако же, вы... Ну-ну! Красноречивые люди! До свиданья, до свиданья!

VI

О вечернем собрании на даче Епанчиных, на которое ждали Белоконскую, Варвара Ардалионовна тоже совершенно верно сообщила брату; гостей ждали именно в тот же день вечером; но опять-таки она выразилась об этом несколько резче, чем следовало. Правда, дело устроилось слишком поспешно и даже с некоторым, совсем бы ненужным, волнением, и именно потому, что в этом семействе «все делалось так, как ни у кого». Все объяснялось нетерпеливостью «не желавшей более сомневаться» Лизаветы Прокофьевны и горячими содроганиями обоих родительских сердец о счастии любимой дочери. К тому же Белоконская и в самом деле скоро уезжала; а так как ее протекция действительно много значила в свете, и так как надеялись, что она к князю будет благосклонна, то родители и рассчитывали, что «свет» примет жениха Аглаи прямо из рук всемощной «старухи», а стало быть, если и будет в этом что-нибудь странное, то под таким покровительством покажется гораздо менее странным. В том-то и состояло все дело, что родители никак не были в силах сами решить: «Есть ли, и насколько именно во всем этом деле есть странного? Или нет совсем странного?» Дружеское и откровенное мнение людей авторитетных и компетентных именно годилось бы в настоящий момент, когда, благодаря Аглае, еще ничего не было решено окончательно. Во всяком же случае, рано или поздно князя надо было ввести в свет, о котором он не имел ни малейшего понятия. Короче, его намерены были «показать». Вечер проектировался, однако же, запросто; ожидались одни только «друзья дома», в самом малом числе. Кроме Белоконской, ожидали одну даму, жену весьма важного барина и сановника. Из молодых людей рассчитывали чуть ли не на одного Евгения Павловича; он должен был явиться, сопровождая Белоконскую.

О том, что будет Белоконская, князь услыхал еще чуть ли не за три дня до вечера; о званом же вечере узнал только накануне. Он, разумеется, заметил и хлопотливый вид членов семейства, и даже по некоторым намекающим и озабоченным с ним заговариваниям, проник, что боятся за впечатление, которое он может произвести. Но у Епанчиных, как-то у всех до единого, составилось понятие, что он, по простоте своей, ни за что не в состоянии сам догадаться о том, что за него так беспокоятся. Потому, глядя на него, все внутренно тосковали. Впрочем, он и в самом деле почти не придавал никакого значения предстоящему событию; он был занят совер-

шенно другим: Аглая с каждым часом становилась все капризнее и мрачнее — это его убивало. Когда он узнал, что ждут и Евгения Павловича, то очень обрадовался и сказал, что давно желал его видеть. Почему-то эти слова никому не понравились; Аглая вышла в досаде из комнаты и только поздно вечером, часу в двенадцатом, когда князь уже уходил, она улучила случай сказать ему несколько слов наедине, провожая его.

— Я бы желала, чтобы вы завтра весь день не приходили к нам, а пришли бы вечером, когда уже соберутся эти... гости. Вы знаете, что будут гости?

Она заговорила нетерпеливо и усиленно сурово; в первый раз она заговорила об этом «вечере». Для нее тоже мысль о гостях была почти нестерпима; все это заметили. Может быть, ей и ужасно хотелось бы поссориться за это с родителями, но гордость и стыдливость помешали заговорить. Князь тотчас же понял, что и она за него боится (и не хочет признаться, что боится), и вдруг сам испугался.

— Да, я приглашен,— ответил он.

Она, видимо, затруднялась продолжением.

— С вами можно говорить о чем-нибудь серьезно? Хоть раз в жизни? — рассердилась она вдруг чрезвычайно, не зная за что, и не в силах сдержать себя.

— Можно, и я вас слушаю; я очень рад,— бормотал князь.

Аглая промолчала опять с минуту и начала с видимым отвращением:

— Я не захотела с ними спорить об этом; в иных случаях их не вразумишь. Отвратительны мне были всегда правила, какие иногда у maman бывают. Я про папашу не говорю, с него нечего и спрашивать. Maman, конечно, благородная женщина; осмельтесь ей предложить что-нибудь низкое, и увидите. Ну а пред этою... дрянью — преклоняется! Я не про Белоконскую одну говорю: дрянная старушонка и дрянная характером, да умна и их всех в руках умеет держать,— хоть тем хороша. О, низость! И смешно: мы всегда были люди среднего круга, самого среднего, какого только можно быть; зачем же лезть в тот великосветский круг? Сестры туда же; это князь Щ. всех смутил. Зачем вы радуетесь, что Евгений Павлыч будет?

— Послушайте, Аглая,— сказал князь,— мне кажется, вы за меня очень боитесь, чтоб я завтра не срезался... в этом обществе?

— За вас? Боюсь? — вся вспыхнула Аглая,— отчего мне бояться за вас, хоть бы вы... хоть бы вы совсем осрамились? Что мне? И как вы можете такие слова употреблять? Что значит: «срезался»? Это дрянное слово, пошлое.

— Это... школьное слово.

— Ну да, школьное слово! Дрянное слово! Вы намерены, кажется, говорить завтра все такими словами. Подыщите еще по-

больше дома в вашем лексиконе таких слов: то-то эффект произведете! Жаль, что вы, кажется, умеете войти хорошо; где это вы научились? Вы сумеете взять и выпить прилично чашку чаю, когда на вас все будут нарочно смотреть?

— Я думаю, что сумею.

— Это жаль; а то бы я посмеялась. Разбейте, по крайней мере, китайскую вазу в гостиной! Она дорого стоит; пожалуйста, разбейте; она дареная, мамаша с ума сойдет и при всех заплачет,— так она ей дорога. Сделайте какой-нибудь жест, как вы всегда делаете, ударьте и разбейте. Сядьте нарочно подле.

— Напротив, постараюсь сесть как можно дальше: спасибо, что предупреждаете.

— Стало быть, заранее боитесь, что будете большие жесты делать. Я бьюсь об заклад, что вы о какой-нибудь «теме» заговорите, о чем-нибудь серьезном, ученом, возвышенном? Как это будет... прилично!

— Я думаю, это было бы глупо... если некстати.

— Слушайте, раз навсегда,— не вытерпела, наконец, Аглая,— если вы заговорите о чем-нибудь вроде смертной казни, или об экономическом состоянии России, или о том, что «мир спасет красота», то... я, конечно, порадуюсь и посмеюсь очень, но... предупреждаю вас заранее: не кажитесь мне потом на глаза! Слышите: я серьезно говорю! На этот раз я уж серьезно говорю!

Она действительно *серьезно* проговорила свою угрозу, так что даже что-то необычайное послышалось в ее словах и проглянуло в ее взгляде, чего прежде никогда не замечал князь, и что уж, конечно, не походило на шутку.

— Ну, вы сделали так, что я теперь непременно «заговорю» и даже... может быть... и вазу разобью. Давеча я ничего не боялся, а теперь всего боюсь. Я непременно сгрежусь.

— Так молчите. Сидите и молчите.

— Нельзя будет; я уверен, что я от страха заговорю и от страха разобью вазу. Может быть, я упаду на гладком полу, или что-нибудь в этом роде выйдет, потому что со мной уж случалось; мне это будет сниться всю ночь сегодня; зачем вы заговорили!

Аглая мрачно на него посмотрела.

— Знаете что: я лучше завтра совсем не приду! Отрапортуюсь больным, и кончено! — решил он, наконец,.

Аглая топнула ногой и даже побледнела от гнева.

— Господи! Да видано ли где-нибудь это! Он не придет, когда нарочно для него же и... о боже! Вот удовольствие иметь дело с таким... бестолковым человеком, как вы!

— Ну, я приду, приду! — поскорее перебил князь.— И даю вам честное слово, что просижу весь вечер ни слова не говоря. Уж я так сделаю.

— Прекрасно сделаете. Вы сейчас сказали: «отрапортуюсь больным»; откуда вы берете в самом деле этакие выражения? Что у вас за охота говорить со мной такими словами? Дразните вы меня, что ли?

— Виноват; это тоже школьное слово; не буду. Я очень хорошо понимаю, что вы... за меня боитесь... (да не сердитесь же!), и я ужасно рад этому. Вы не поверите, как я теперь боюсь и — как радуюсь вашим словам. Но весь этот страх, клянусь вам, все это мелочь и вздор. Ей-богу, Аглая! А радость останется. Я ужасно люблю, что вы такой ребенок, такой хороший и добрый ребенок! Ах, как вы прекрасны можете быть, Аглая!

Аглая конечно бы рассердилась и уже хотела, но вдруг какое-то неожиданное для нее самой чувство захватило всю ее душу, в одно мгновение.

— А вы не попрекнете меня за теперешние грубые слова... когда-нибудь... после? — вдруг спросила она.

— Что вы, что вы! И чего вы опять вспыхнули? Вот и опять смотрите мрачно! Вы слишком мрачно стали иногда смотреть, Аглая, как никогда не смотрели прежде. Я знаю, отчего это...

— Молчите, молчите!

— Нет, лучше сказать. Я давно хотел сказать; я уже сказал, но... этого мало, потому что вы мне не поверили. Между нами все-таки стоит одно существо...

— Молчите, молчите, молчите, молчите! — вдруг перебила Аглая, крепко схватив его за руку и чуть не в ужасе смотря на него. В эту минуту ее кликнули; точно обрадовавшись, она бросила его и убежала.

Князь был всю ночь в лихорадке. Странно, уже несколько ночей сряду с ним была лихорадка. В этот же раз, в полубреду, ему пришла мысль: что если завтра, при всех, с ним случится припадок? Ведь бывали же с ним припадки наяву? Он леденел от этой мысли; всю ночь он представлял себя в каком-то чудном и неслыханном обществе, между какими-то странными людьми. Главное то, что он «заговорил»; он знал, что не надо говорить, но он все время говорил, он в чем-то их уговаривал. Евгений Павлович и Ипполит были тоже в числе гостей и казались в чрезвычайной дружбе.

Он проснулся в девятом часу с головною болью, с беспорядком в мыслях, с странными впечатлениями. Ему ужасно почему-то захотелось видеть Рогожина; видеть и много говорить с ним, — о чем именно, он и сам не знал; потом он уже совсем решился было пойти зачем-то к Ипполиту. Что-то смутное было в его сердце, до того, что приключения, случившиеся с ним в это утро, произвели на него хотя и чрезвычайно сильное, но все-таки какое-то неполное впечатление. Одно из этих приключений состояло в визите Лебедева.

Лебедев явился довольно рано, в начале десятого, и почти совсем хмельной. Хоть и не заметлив был князь в последнее время, но ему как-то в глаза бросилось, что со времени переселения от них генерала Иволгина, вот уже три дня, Лебедев очень дурно повел себя. Он стал как-то вдруг чрезвычайно сален и запачкан, галстук его сбивался на сторону, а воротник сюртука был надорван. У себя он даже бушевал, и это было слышно через дворик; Вера приходила раз в слезах и что-то рассказывала. Представ теперь, он как-то очень странно заговорил, бия себя в грудь, и в чем-то винился...

— Получил... получил возмездие за измену и подлость мою... Пощечину получил! — заключил он, наконец, трагически.

— Пощечину! От кого?.. И так спозаранку?

— Спозаранку? — саркастически улыбнулся Лебедев, — время тут ничего не значит... даже и для возмездия физического... но я нравственную... нравственную пощечину получил, а не физическую!

Он вдруг уселся без церемонии и начал рассказывать. Рассказ его был очень бессвязен; князь было поморщился и хотел уйти; но вдруг несколько слов поразили его. Он остолбенел от удивления... Странные вещи рассказал господин Лебедев.

Сначала дело шло, по-видимому, о каком-то письме; произнесено было имя Аглаи Ивановны. Потом вдруг Лебедев с горечью начал обвинять самого князя; можно было понять, что он обижен князем. Сначала, дескать, князь почтил его своею доверенностью в делах с известным «персонажем» (с Настасьей Филипповной); но потом совсем разорвал с ним и отогнал его от себя со срамом, и даже до такой обидной степени, что в последний раз с грубостью будто бы отклонил «невинный вопрос о ближайших переменах в доме». С пьяными слезами признавался Лебедев, что «после этого он уже никак не мог перенести, тем паче, что многое знал... очень многое... и от Рогожина, и от Настасьи Филипповны, и от приятельницы Настасьи Филипповны, и от Варвары Ардалионовны... самой-с... и от... и от самой даже Аглаи Ивановны, можете вы это вообразить-с, чрез посредство Веры-с, через дочь мою любимую Веру, единородную... да-с... а впрочем, не единородную, ибо у меня их три. А кто уведомлял письмами Лизавету Прокофьевну, даже в наиглубочайшем секрете-с, хе-хе! Кто отписывал ей про все отношения и... про движения персонажа Настасьи Филипповны, хе-хе-хе! Кто, кто сей аноним, позвольте спросить?»

— Неужто вы? — вскричал князь.

— Именно, — с достоинством ответил пьяница, — и сегодня же в половине девятого, всего полчаса... нет-с, три четверти уже часа как известил благороднейшую мать, что имею ей передать одно приключение... значительное. Запиской известил чрез девушку, с заднего крыльца-с. Приняла.

— Вы видели сейчас Лизавету Прокофьевну? — спросил князь, едва веря ушам своим.

— Видел сейчас и получил пощечину... нравственную. Воротила письмо назад, даже шваркнула, нераспечатанное... а меня прогнала в три шеи... впрочем, только нравственно, а не физически... а впрочем, почти что и физически, немного недостало!

— Какое письмо она вам шваркнула нераспечатанное?

— А разве... хе-хе-хе! Да ведь я еще вам не сказал! А я думал, что уж сказал... Я одно такое письмецо получил, для передачи-с...

— От кого? Кому?

Но некоторые «объяснения» Лебедева чрезвычайно трудно было разобрать и хоть что-нибудь в них понять. Князь, однако же, сообразил сколько мог, что письмо было передано рано утром, чрез служанку, Вере Лебедевой, для передачи по адресу... «так же как и прежде... так же как и прежде, известному персонажу и от того же лица-с... (ибо одну из них я обозначаю названием "лица"»-с, а другую лишь только "персонажа", для унижения и для различия; ибо есть великая разница между невинною и высоко благородною генеральскою девицей и... камелией-с) итак, письмо было от "лица"-с, начинающегося с буквы *А*»...

— Как это можно? Настасье Филипповне? Вздор! — вскричал князь.

— Было, было-с, а не ей, так Рогожину-с, все равно, Рогожину-с... и даже господину Терентьеву было, для передачи, однажды-с, от лица с буквы *А*,— подмигнул и улыбнулся Лебедев.

Так как он часто сбивался с одного на другое и позабывал, о чем начинал говорить, то князь затих, чтобы дать ему высказаться. Но все-таки было чрезвычайно неясно: чрез него ли именно шли письма, или чрез Веру? Если он сам уверял, что «к Рогожину все равно что к Настасье Филипповне», то, значит, вернее, что не чрез него шли они, если только были письма. Случай же, каким образом попалось к нему теперь письмо, остался решительно необъясненным; вернее всего надо было предположить, что он как-нибудь похитил его у Веры... тихонько украл и отнес с каким-то намерением к Лизавете Прокофьевне. Так сообразил и понял, наконец, князь.

— Вы с ума сошли! — вскричал он в чрезвычайном смятении.

— Не совсем, многоуважаемый князь,— не без злости ответил Лебедев,— правда, я хотел было вам вручить, вам, в ваши собственные руки, чтоб услужить... но рассудил лучше там услужить и обо всем объявить благороднейшей матери... так как и прежде однажды письмом известил, анонимным; и когда написал давеча на бумажке, предварительно, прося приема, в восемь часов двадцать минут, тоже подписался: «ваш тайный корреспондент»; тотчас допустили, немедленно, даже с усиленною поспешностью, задним ходом... к благороднейшей матери.

— Ну?..

— А там уж известно-с, чуть не прибила-с, то есть чуть-чуть-с, так что даже, можно считать, почти что и прибила-с. А письмо мне шваркнула. Правда, хотела было у себя удержать,— видел, заметил,— но раздумала и шваркнула: «коли тебе, такому, доверили передать, так и передай»... Обиделась даже. Уж коли предо мной не постыдилась сказать, то, значит, обиделась. Характером вспыльчивы!

— Где же письмо-то теперь?

— Да все у меня же, вот-с!

И он передал князю записку Аглаи к Гавриле Ардалионовичу, которую тот с торжеством, в это же утро, два часа спустя, показал сестре.

— Это письмо не может оставаться у вас.

— Вам, вам! Вам и приношу-с,— с жаром подхватил Лебедев,— теперь опять ваш, весь ваш с головы до сердца, слуга-с, после мимолетной измены-с! Казните сердце, пощадите бороду, как сказал Томас Морус... в Англии и в Великобритании-с. Mea culpa, mea culpa[1], как говорит римская папа... то есть он римский папа, а я его называю: «римская папа».

— Это письмо должно быть сейчас отослано,— захлопотал князь,— я передам.

— А не лучше ли, а не лучше ли, благовоспитаннейший князь, а не лучше ли-с... эфтово-с!

Лебедев сделал странную, умильную гримасу; он ужасно завозился вдруг на месте, точно его укололи вдруг иголкой, и, лукаво подмигивая глазами, делал и показывал что-то руками.

— Что такое? — грозно спросил князь.

— Предварительно бы вскрыть-с! — прошептал он умилительно и как бы конфиденциально.

Князь вскочил в такой ярости, что Лебедев пустился было бежать; но добежав до двери, приостановился, выжидая, не будет ли милости.

— Эх, Лебедев! Можно ли, можно ли доходить до такого низкого беспорядка, до которого вы дошли? — вскричал князь горестно. Черты Лебедева прояснились.

— Низок! Низок! — приблизился он тотчас же, со слезами бия себя в грудь.

— Ведь это мерзости!

— Именно мерзости-с. Настоящее слово-с!

— И что у вас за повадка так... странно поступать? Ведь вы... просто шпион! Почему вы писали анонимом и тревожили... такую благороднейшую и добрейшую женщину? Почему, наконец, Аглая

---

[1] Согрешил, согрешил (*лат.*).

Ивановна не имеет права писать кому ей угодно? Что вы жаловаться, что ли, ходили сегодня? Что вы надеялись там получить? Что подвинуло вас доносить?

— Единственно из приятного любопытства и... из услужливости благородной души, да-с! — бормотал Лебедев, — теперь же весь ваш, весь опять! Хоть повесьте!

— Вы таким, как теперь, и являлись к Лизавете Прокофьевне? — с отвращением полюбопытствовал князь.

— Нет-с... свежее-с... и даже приличнее-с; это я уже после унижения достиг... сего вида-с.

— Ну, хорошо, оставьте меня.

Впрочем, эту просьбу надо было повторить несколько раз, прежде чем гость решился, наконец, уйти. Уже совсем отворив дверь, он опять воротился, дошел до средины комнаты на цыпочках и снова начал делать знаки руками, показывая, как вскрывают письмо; проговорить же свой совет словами он не осмелился; затем вышел, тихо и ласково улыбаясь.

Все это было чрезвычайно тяжело услышать. Из всего выставлялся один главный и чрезвычайный факт: то, что Аглая была в большой тревоге, в большой нерешимости, в большой муке почему-то («от ревности» прошептал про себя князь). Выходило тоже, что ее, конечно, смущали и люди недобрые, и уж очень странно было, что она им так доверялась. Конечно, в этой неопытной, но горячей и гордой головке созревали какие-то особенные планы, может быть и пагубные и... ни на что не похожие. Князь был чрезвычайно испуган и в смущении своем не знал, на что решиться. Надо было непременно что-то предупредить, он это чувствовал. Он еще раз поглядел на адрес запечатанного письма; о, тут для него не было сомнений и беспокойств, потому что он верил; его другое беспокоило в этом письме: он не верил Гавриле Ардалионовичу. И, однако же, он сам было решился передать ему это письмо, лично, и уже вышел для этого из дому, но на дороге раздумал. Почти у самого дома Птицына, как нарочно, попался Коля, и князь поручил ему передать письмо в руки брата, как бы прямо от самой Аглаи Ивановны. Коля не расспрашивал и доставил, так что Ганя и не воображал, что письмо прошло чрез столько станций. Воротясь домой, князь попросил к себе Веру Лукьяновну, рассказал ей, что надо, и успокоил ее, потому что она до сих пор все искала письмо и плакала. Она пришла в ужас, когда узнала, что письмо унес отец. (Князь узнал от нее уже потом, что она не раз служила в секрете Рогожину и Аглае Ивановне; ей и в голову не приходило, что тут могло быть что-нибудь во вред князю...)

А князь стал, наконец, до того расстроен, что когда, часа два спустя, к нему прибежал посланный от Коли с известием о болезни отца, то в первую минуту он почти не мог понять, в чем дело. Но

это же происшествие и восстановило его, потому что сильно отвлекло. Он пробыл у Нины Александровны (куда, разумеется, перенесли больного) почти вплоть до самого вечера. Он не принес почти никакой пользы, но есть люди, которых почему-то приятно видеть подле себя в иную тяжелую минуту. Коля был ужасно поражен, плакал истерически, но, однако же, все время был на побегушках: бегал за доктором и сыскал троих, бегал в аптеку, в цирюльню. Генерала оживили, но не привели в себя; доктора выражались, что «во всяком случае пациент в опасности». Варя и Нина Александровна не отходили от больного; Ганя был смущен и потрясен, но не хотел всходить наверх и даже боялся увидеть больного; он ломал себе руки, и в бессвязном разговоре с князем ему удалось выразиться, что вот, дескать, «такое несчастье и, как нарочно, в такое время!». Князю показалось, что он понимает, про какое именно время тот говорит. Ипполита князь уже не застал в доме Птицына. К вечеру прибежал Лебедев, который после утреннего «объяснения» спал до сих пор без просыпу. Теперь он был почти трезв и плакал над больным настоящими слезами, точно над родным своим братом. Он винился вслух, не объясняя, однако же, в чем дело, и приставал к Нине Александровне, уверяя ее поминутно, что «это он, он сам причиной, и никто как он... единственно из приятного любопытства... и что "усопший" (так он почему-то упорно называл еще живого генерала) был даже гениальнейший человек!» Он особенно серьезно настаивал на гениальности, точно от этого могла произойти в эту минуту какая-нибудь необыкновенная польза. Нина Александровна, видя искренние слезы его, проговорила ему, наконец, безо всякого упрека и чуть ли даже не с лаской: «Ну, Бог с вами, ну, не плачьте, ну, Бог вас простит!» Лебедев был до того поражен этими словами и тоном их, что во весь этот вечер не хотел уже и отходить от Нины Александровны (и во все следующие дни, до самой смерти генерала, он почти с утра до ночи проводил время в их доме). В продолжение дня два раза приходил к Нине Александровне посланный от Лизаветы Прокофьевны узнать о здоровье больного. Когда же вечером, в девять часов, князь явился в гостиную Епанчиных, уже наполненную гостями, Лизавета Прокофьевна тотчас же начала расспрашивать его о больном, с участием и подробно, и с важностью ответила Белоконской на ее вопрос: «Кто таков больной и кто такая Нина Александровна?» Князю это очень понравилось. Сам он, объясняясь с Лизаветой Прокофьевной, говорил «прекрасно», как выражались потом сестры Аглаи: «скромно, тихо, без лишних слов, без жестов, с достоинством; вошел прекрасно; одет был превосходно», и не только не «упал на гладком полу», как боялся накануне, но видимо произвел на всех даже приятное впечатление.

С своей стороны, усевшись и осмотревшись, он тотчас же заметил, что все это собрание отнюдь не походило на вчерашние призраки, которыми его напугала Аглая, или на кошмары, которые ему снились ночью. В первый раз в жизни он видел уголок того, что называется страшным именем «света». Он давно уже, вследствие некоторых особенных намерений, соображений и влечений своих, жаждал проникнуть в этот заколдованный круг людей и потому был сильно заинтересован первым впечатлением. Это первое впечатление его было даже очаровательное. Как-то тотчас и вдруг ему показалось, что все эти люди как будто так и родились, чтоб быть вместе; что у Епанчиных нет никакого «вечера» в этот вечер и никаких званых гостей, что все это самые «свои люди» и что он сам как будто давно уже был их преданным другом и единомышленником и воротился к ним теперь после недавней разлуки. Обаяние изящных манер, простоты и кажущегося чистосердечия было почти волшебное. Ему и в мысль не могло прийти, что все это простосердечие и благородство, остроумие и высокое собственное достоинство есть, может быть, только великолепная художественная выделка. Большинство гостей состояло даже, несмотря на внушающую наружность, из довольно пустых людей, которые, впрочем, и сами не знали, в самодовольстве своем, что многое в них хорошее — одна выделка, в которой притом они не виноваты, ибо она досталась им бессознательно и по наследству. Этого князь даже и подозревать не хотел под обаянием прелести своего первого впечатления. Он видел, например, что этот старик, этот важный сановник, который по летам годился бы ему в деды, даже прерывает свой разговор, чтобы выслушать его, такого молодого и неопытного человека, и не только выслушивает его, но видимо ценит его мнение, так ласков с ним, так искренно добродушен, а между тем они чужие и видятся всего в первый раз. Может быть, на горячую восприимчивость князя подействовала наиболее утонченность этой вежливости. Может быть, он и заранее был слишком расположен и даже подкуплен к счастливому впечатлению.

А между тем все эти люди,— хотя, конечно, были «друзьями дома» и между собой,— были, однако же, далеко не такими друзьями ни дому, ни между собой, какими принял их князь, только что его представили и познакомили с ними. Тут были люди, которые никогда и ни за что не признали бы Епанчиных хоть сколько-нибудь себе равными. Тут были люди даже совершенно ненавидевшие друга друга; старуха Белоконская всю жизнь свою «презирала» жену «старичка сановника», а та, в свою очередь, далеко не любила Лизавету Прокофьевну. Этот «сановник», муж ее, почему-то покровитель Епанчиных с самой их молодости, председательствовавший тут же, был до того громадным лицом в глазах Ивана Федоровича, что тот, кроме благоговения и страху, ничего не мог

ощущать в его присутствии, и даже презирал бы себя искренно, если бы хоть одну минуту почел себя ему равным, а его не Юпитером Олимпийским. Были тут люди, не встречавшиеся друг с другом по нескольку лет и не ощущавшие друг к другу ничего, кроме равнодушия, если не отвращения, но встретившиеся теперь как будто вчера еще только виделись в самой дружеской и приятной компании. Впрочем, собрание было немногочисленное. Кроме Белоконской и «старичка сановника», в самом деле важного лица, кроме его супруги, тут был, во-первых, один очень солидный военный генерал, барон или граф, с немецким именем,— человек чрезвычайной молчаливости, с репутацией удивительного знания правительственных дел и чуть ли даже не с репутацией учености,— один из тех олимпийцев-администраторов, которые знают все, «кроме разве самой России», человек, говорящий в пять лет по одному «замечательному по глубине своей» изречению, но, впрочем, такому, которое непременно входит в поговорку и о котором узнается даже в самом чрезвычайном кругу; один из тех начальствующих чиновников, которые обыкновенно после чрезвычайно продолжительной (даже до странности) службы умирают в больших чинах, на прекрасных местах и с большими деньгами, хотя и без больших подвигов и даже с некоторою враждебностью к подвигам. Этот генерал был непосредственный начальник Ивана Федоровича по службе и которого тот, по горячности своего благодарного сердца и даже по особенному самолюбию, считал своим благодетелем, но который отнюдь не считал себя благодетелем Ивана Федоровича, относился к нему совершенно спокойно, хотя и с удовольствием пользовался многоразличными его услугами, и сейчас же заместил бы его другим чиновником, если б это потребовалось какими-нибудь соображениями, даже вовсе и не высшими. Тут был еще один пожилой, важный барин, как будто даже и родственник Лизаветы Прокофьевны, хотя это было решительно несправедливо; человек в хорошем чине и звании, человек богатый и родовой, плотный собою и очень хорошего здоровья, большой говорун и даже имевший репутацию человека недовольного (хотя, впрочем, в самом позволительном смысле слова), человека даже желчного (но и это в нем было приятно), с замашками английских аристократов и с английскими вкусами (относительно, например, кровавого ростбифа, лошадиной упряжи, лакеев и пр.). Он был большим другом «сановника», развлекал его, и, кроме того, Лизавета Прокофьевна почему-то питала одну странную мысль, что этот пожилой господин (человек несколько легкомысленный и отчасти любитель женского пола) вдруг да и вздумает осчастливить Александру своим предложением. За этим, самым высшим и солидным, слоем собрания следовал слой более молодых гостей, хотя и блестящих тоже весьма изящными качествами. Кроме князя Щ. и

Евгения Павловича, к этому слою принадлежал и известный, очаровательный князь N., бывший обольститель и победитель женских сердец во всей Европе, человек теперь уже лет сорока пяти, все еще прекрасной наружности, удивительно умевший рассказывать, человек с состоянием, несколько, впрочем, расстроенным, и, по привычке, проживавший более за границей. Тут были, наконец, люди, как будто составлявшие даже третий особенный слой и которые не принадлежали сами по себе к «заповедному кругу» общества, но которых, так же как и Епанчиных, можно было иногда встретить почему-то в этом «заповедном» круге. По некоторому такту, принятому ими за правило, Епанчины любили смешивать, в редких случаях бывавших у них званых собраний, общество высшее с людьми слоя более низшего, с избранными представителями «среднего рода людей». Епанчиных даже хвалили за это и относились об них, что они понимают свое место и люди с тактом, а Епанчины гордились таким об них мнением. Одним из представителей этого среднего рода людей был в этот вечер один техник, полковник, серьезный человек, весьма близкий приятель князю Щ. и им же введенный к Епанчиным, человек, впрочем, в обществе молчаливый и носивший на большом указательном пальце правой руки большой и видный перстень, по всей вероятности, пожалованный. Тут был, наконец, даже один литератор-поэт, из немцев, но русский поэт, и, сверх того, совершенно приличный, так что его можно было без опасения ввести в хорошее общество. Он был счастливой наружности, хотя почему-то несколько отвратительной, лет тридцати восьми, одевался безукоризненно, принадлежал к семейству немецкому, в высшей степени буржуазному, но и в высшей степени почтенному; умел пользоваться разными случаями, пробиться в покровительство высоких людей и удержаться в их благосклонности. Когда-то он перевел с немецкого какое-то важное сочинение какого-то важного немецкого поэта, в стихах умел посвятить свой перевод, умел похвастаться дружбой с одним знаменитым, но умершим русским поэтом (есть целый слой писателей, чрезвычайно любящих приписываться печатно в дружбу к великим, но умершим писателям) и введен был очень недавно к Епанчиным женой «старичка сановника». Эта барыня слыла за покровительницу литераторов и ученых и действительно одному или двум писателям доставила даже пенсион, чрез посредство высокопоставленных лиц, у которых имела значение. А значение в своем роде она имела. Это была дама лет сорока пяти (стало быть, весьма молодая жена для такого старого старичка, как ее муж), бывшая красавица, любившая и теперь, по мании, свойственной многим сорокапятилетним дамам, одеваться слишком уже пышно; ума была небольшого, а знания литературы весьма сомнительного. Но покровительство литераторам было в ней такого же рода

манией, как пышно одеваться. Ей посвящалось много сочинений и переводов; два-три писателя, с ее позволения, напечатали свои, писанные ими к ней письма о чрезвычайно важных предметах... И вот все-то это общество князь принял за самую чистую монету, за чистейшее золото, без лигатуры. Впрочем, все эти люди были тоже, как нарочно в самом счастливом настроении в этот вечер и весьма довольны собой. Все они до единого знали, что делают Епанчиным своим посещением великую честь. Но, увы, князь и не подозревал таких тонкостей. Он не подозревал, например, что Епанчины, имея в предположении такой важный шаг, как решение судьбы их дочери, и не посмели бы не показать его, князя Льва Николаевича, старичку сановнику, признанному покровителю их семейства. Старичок же сановник, хотя, с своей стороны, совершенно спокойно бы перенес известие даже о самом ужасном несчастьи с Епанчиными,— непременно бы обиделся, если б Епанчины помолвили свою дочь без его совета и, так сказать, без его спросу. Князь N., этот милый, этот бесспорно остроумный и такого высокого чистосердечия человек, был на высшей степени убеждения, что он — нечто вроде солнца, взошедшего в эту ночь над гостиной Епанчиных. Он считал их бесконечно ниже себя, и именно эта простодушная и благородная мысль и порождала в нем его удивительно милую развязность и дружелюбность к этим же самым Епанчиным. Он знал очень хорошо, что в этот вечер должен непременно что-нибудь рассказать, для очарования общества, и готовился к этому даже с некоторым вдохновением. Князь Лев Николаевич, выслушав потом этот рассказ, сознавал, что не слыхал никогда ничего подобного такому блестящему юмору и такой удивительной веселости и наивности, почти трогательной в устах такого Дон Жуана, как князь N. А между тем, если б он только ведал, как этот самый рассказ стар, изношен; как заучен наизусть и как уже истрепался и надоел во всех гостиных, и только у невинных Епанчиных являлся опять за новость, за внезапное, искреннее и блестящее воспоминание блестящего и прекрасного человека! Даже, наконец, немчик-поэтик, хоть и держал себя необыкновенно любезно и скромно, но и тот чуть не считал себя делающим честь этому дому своим посещением. Но князь не заметил оборотной стороны, не замечал никакой подкладки. Этой беды Аглая и не предвидела. Сама она была удивительно хороша собой в этот вечер. Все три барышни были приодеты, хоть и не очень пышно, и даже как-то особенно причесаны. Аглая сидела с Евгением Павловичем и необыкновенно дружески с ним разговаривала и шутила. Евгений Павлович держал себя как бы несколько солиднее, чем в другое время, тоже, может быть, из уважения к сановникам. Его, впрочем, в свете уже давно знали; это был там уже свой человек, хотя и молодой человек. В этот вечер он явился к Епанчиным с

крепом на шляпе, и Белоконская похвалила его за этот креп, другой светский племянник, при подобных обстоятельствах, может быть, и не надел бы по таком дяде крепа. Лизавета Прокофьевна тоже была этим довольна, но вообще она казалась как-то уж слишком озабоченною. Князь заметил, что Аглая раза два на него внимательно посмотрела и, кажется, осталась им довольною. Мало-помалу он становился ужасно счастлив. Давешние «фантастические» мысли и опасения его (после разговора с Лебедевым) казались ему теперь, при внезапных, но частых припоминаниях, таким несбыточным, невозможным и даже смешным сном! (И без того первым, хотя и бессознательным, желанием и влечением его, давеча и во весь день, было как-нибудь сделать так, чтобы не поверить этому сну!) Говорил он мало, и то только на вопросы, и, наконец, совсем замолк, сидел и все слушал, но видимо утопая в наслаждении. Мало-помалу в нем самом подготовилось нечто вроде какого-то вдохновения, готового вспыхнуть при случае... Заговорил же он случайно, тоже отвечая на вопрос, и, казалось, вовсе без особых намерений.

VII

Пока он с наслаждением засматривался на Аглаю, весело разговаривавшую с князем N. и Евгением Павловичем, вдруг пожилой барин-англоман, занимавший «сановника» в другом углу и рассказывавший ему о чем-то с одушевлением, произнес имя Николая Андреевича Павлищева. Князь быстро повернулся в их сторону и стал слушать.

Дело шло о нынешних порядках и о каких-то беспорядках по помещичьим имениям в —ской губернии. Рассказы англомана заключали в себе, должно быть, что-нибудь и веселое, потому что старичок начал, наконец, смеяться желчному задору рассказчика. Он рассказывал плавно и как-то брюзгливо растягивая слова, с нежными ударениями на гласные буквы, почему он принужден был, и именно теперешними порядками, продать одно великолепное свое имение в —ской губернии и даже, не нуждаясь особенно в деньгах, за полцены, и в то же время сохранить имение разоренное, убыточное и с процессом, и даже за него приплатить. «Чтоб избежать еще процесса и с павлищенским участком, я от них убежал. Еще одно или два такие наследства, и ведь я разорен. Мне там, впрочем, три тысячи десятин превосходной земли доставалось!»

— Ведь вот... Иван-то Петрович покойному Николаю Андреевичу Павлищеву родственник... ты ведь искал, кажется, родственников-то,— проговорил вполголоса князю Иван Федорович, вдруг очутившийся подле и заметивший чрезвычайное внимание князя к разговору. До сих пор он занимал своего генерала-начальника,

но давно уже замечал исключительное уединение Льва Николаевича и стал беспокоиться; ему захотелось ввести его до известной степени в разговор и таким образом второй раз показать и отрекомендовать «высшим лицам».

— Лев Николаич — воспитанник Николая Андреевича Павлищева, после смерти своих родителей,— ввернул он, встретив взгляд Ивана Петровича.

— О-очень при-ятно,— заметил тот,— и очень помню даже. Давеча, когда нас Иван Федорыч познакомил, я вас тотчас признал, и даже в лицо. Вы, право, мало изменились на вид, хоть я вас видел только ребенком, лет десяти или одиннадцати вы были. Что-то эдакое, напоминающее в чертах...

— Вы меня видели ребенком? — спросил князь с каким-то необыкновенным удивлением.

— О, очень уже давно,— продолжал Иван Петрович,— в Златоверховом, где вы проживали тогда у моих кузин. Я прежде довольно часто заезжал в Златоверхово,— вы меня не помните? О-очень может быть, что не помните... Вы были тогда... в какой-то болезни были тогда, так что я даже раз на вас подивился...

— Ничего не помню! — с жаром подтвердил князь.

Еще несколько слов объяснения, крайне спокойного со стороны Ивана Петровича и удивительно взволнованного со стороны князя, и оказалось, что две барыни, пожилые девушки, родственницы покойного Павлищева, проживавшие в его имении Златоверховом, и которым князь поручен был на воспитание, были в свою очередь кузинами Ивану Петровичу. Иван Петрович, тоже как и все, почти ничего не мог объяснить из причин, по которым Павлищев так заботился о маленьком князе, своем приемыше. «Да и забыл тогда об этом поинтересоваться», но все-таки оказалось, что у него превосходная память, потому что он даже припомнил, как строга была к маленькому воспитаннику старшая кузина, Марфа Никитишна, «так что я с ней даже побранился раз из-за вас за систему воспитания, потому что все розги и розги больному ребенку — ведь это... согласитесь сами...» — и как, напротив, нежна была к бедному мальчику младшая кузина, Наталья Никитишна... «Обе они теперь,— пояснил он дальше,— проживают уже в —ской губернии (вот не знаю только, живы ли теперь?), где им от Павлищева досталось весьма и весьма порядочное маленькое имение. Марфа Никитишна, кажется, в монастырь хотела пойти; впрочем, не утверждаю; может, я о другом о ком слышал... да, это я про докторшу намедни слышал...»

Князь выслушал это с глазами, блестевшими от восторга и умиления. С необыкновенным жаром возвестил он, в свою очередь, что никогда не простит себе, что в эти шесть месяцев поездки своей во внутренние губернии он не улучил случая отыскать и навес-

тить своих бывших воспитательниц. «Он каждый день хотел ехать и все был отвлечен обстоятельствами... но что теперь он дает себе слово... непременно... хотя бы в —скую губернию... Так вы знаете Наталью Никитишну? Какая прекрасная, какая святая душа! Но и Марфа Никитишна... простите меня, но вы, кажется, ошибаетесь в Марфе Никитишне! Она была строга, но... ведь нельзя же было не потерять терпение... с таким идиотом, каким я тогда был (хи-хи!). Ведь я был тогда совсем идиот, вы не поверите (ха-ха!). Впрочем... впрочем, вы меня тогда видели и... Как же это я вас не помню, скажите пожалуйста? Так вы... ах, боже мой, так неужели же вы в самом деле родственник Николаю Андреичу Павлищеву?

— У-ве-ряю вас,— улыбнулся Иван Петрович, оглядывая князя.

— О, я ведь не потому сказал, чтобы я... сомневался... и, наконец, в этом разве можно сомневаться (хе-хе!)... хоть сколько-нибудь? То есть даже хоть сколько-нибудь! (Хе-хе!) Но я к тому, что покойный Николай Андреич Павлищев был такой превосходный человек! Великодушнейший человек, право, уверяю вас!

Князь не то чтобы задыхался, а, так сказать, «захлебывался от прекрасного сердца», как выразилась об этом на другой день утром Аделаида, в разговоре с женихом своим, князем Щ.

— Ах, боже мой! — рассмеялся Иван Петрович,— почему же я не могу быть родственником даже и ве-ли-ко-душному человеку?

— Ах, боже мой! — вскричал князь, конфузясь, торопясь и воодушевляясь все больше и больше,— я... я опять сказал глупость, но... так и должно было быть, потому что я... я... я, впрочем, опять не к тому! Да и что теперь во мне, скажите, пожалуйста, при таких интересах... при таких огромных интересах! И в сравнении с таким великодушнейшим человеком, потому что ведь, ей-богу, он был великодушнейший человек, не правда ли? Не правда ли?

Князь даже весь дрожал. Почему он вдруг так растревожился, почему пришел в такой умиленный восторг, совершенно ни с того ни с сего и, казалось, нисколько не в меру с предметом разговора,— это трудно было бы решить. В таком уж он был настроении и даже чуть ли не ощущал в эту минуту, к кому-то и за что-то, самой горячей и чувствительной благодарности,— может быть, даже к Ивану Петровичу, а чуть ли и не ко всем гостям вообще. Слишком уж он «рассчастливился». Иван Петрович стал на него, наконец, заглядываться гораздо пристальнее; пристально очень рассматривал его и «сановник». Белоконская устремила на князя гневный взор и сжала губы. Князь N., Евгений Павлович, князь Щ., девицы, все прервали разговор и слушали. Казалось, Аглая была испугана, Лизавета же Прокофьевна просто струсила. Странны были и они, дочки с маменькой: они же предположили и решили, что князю бы лучше просидеть вечер молча; но только что уви-

дали его в углу, в полнейшем уединении и совершенно довольного своею участью, как тотчас же и растревожились. Александра уж хотела пойти к нему и осторожно, через всю комнату, присоединиться к их компании, то есть к компании князя N., подле Белоконской. И вот только что князь сам заговорил, они еще более растревожились.

— Что превосходнейший человек, то вы правы,— внушительно и уже не улыбаясь, произнес Иван Петрович,— да, да... это был человек прекрасный! Прекрасный и достойный,— прибавил он, помолчав.— Достойный даже, можно сказать, всякого уважения,— прибавил он еще внушительнее после третьей остановки,— и... и очень даже приятно видеть с вашей стороны...

— Не с этим ли Павлищевым история вышла какая-то... странная... с аббатом... с аббатом... забыл, с каким аббатом, только все тогда что-то рассказывали,— произнес, как бы припоминая, «сановник».

— С аббатом Гуро, иезуитом,— напомнил Иван Петрович,— да-с, вот-с превосходнейшие-то люди наши и достойнейшие-то! Потому что все-таки человек был родовой, с состоянием, камергер и если бы... продолжал служить... И вот бросает вдруг службу и все, чтобы перейти в католицизм и стать иезуитом, да еще чуть не открыто, с восторгом каким-то. Право, кстати умер... да; тогда все говорили...

Князь был вне себя.

— Павлищев... Павлищев перешел в католицизм? Быть этого не может! — вскричал он в ужасе.

— Ну, «быть не может»! — солидно прошамкал Иван Петрович.— Это уж много сказать и, согласитесь, мой милый князь, сами... Впрочем, вы так цените покойного... действительно, человек был добрейший, чему я и приписываю, в главных чертах, успех этого пройдохи Гуро. Но вы меня спросите, меня, сколько хлопот и возни у меня потом было по этому делу... и именно с этим самым Гуро! Представьте,— обратился он вдруг к старичку,— они даже претензии по завещанию хотели выставить, и мне даже приходилось тогда прибегать к самым, то есть, энергическим мерам... чтобы вразумить... потому что мастера дела! У-ди-вительные! Но, слава богу, это происходило в Москве, я тотчас к графу, и мы их... вразумили...

— Вы не поверите, как вы меня огорчили и поразили! — вскричал опять князь.

— Жалею; но, в сущности, все это, собственно говоря, пустяки и пустяками бы кончилось, как и всегда; я уверен. Прошлым летом,— обратился он опять к старичку,— графиня К. тоже, говорят, пошла в какой-то католический монастырь за границей; наши както не выдерживают, если раз поддадутся этим... пронырам... особенно за границей.

— Это все от нашей, я думаю... усталости,— авторитетно промямлил старичок,— ну, и манера у них проповедовать... изящная, своя... и напугать умеют. Меня тоже в тридцать втором году, в Вене, напугали, уверяю вас; только я не поддался и убежал от них, хаха! Право от них убежал...

— Я слышала, что ты тогда, батюшка, с красавицей графиней Ливицкой из Вены в Париж убежал, свой пост бросил, а не от иезуита,— вставила вдруг Белоконская.

— Ну, да ведь от иезуита же, все-таки выходит, что от иезуита! — подхватил старичок, рассмеявшись при приятном воспоминании.— Вы, кажется, очень религиозны, что так редко встретишь теперь в молодом человеке,— ласково обратился он к князю Льву Николаевичу, слушавшему раскрыв рот и все еще пораженному; старичку видимо хотелось разузнать князя ближе; по некоторым причинам он стал очень интересовать его.

— Павлищев был светлый ум и христианин, истинный христианин,— произнес вдруг князь,— как же мог он подчиниться вере... нехристианской?.. Католичество — все равно что вера нехристианская! — прибавил он вдруг, засверкав глазами и смотря пред собой, как-то вообще обводя глазами всех вместе.

— Ну, это слишком,— пробормотал старичок и с удивлением поглядел на Ивана Федоровича.

— Как так это католичество вера нехристианская? — повернулся на стуле Иван Петрович,— а какая же?

— Нехристианская вера, во-первых! — в чрезвычайном волнении и не в меру резко заговорил опять князь.— Это во-первых, а во-вторых, католичество римское даже хуже самого атеизма, таково мое мнение. Да! таково мое мнение! Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас! Это мое личное и давнишнее убеждение, и оно меня самого измучило... Римский католицизм верует, что без всемирной государственной власти церковь не устоит на земле, и кричит: Non possumus![1] По-моему, римский католицизм даже и не вера, а решительно продолжение Западной Римской империи, и в нем все подчинено этой мысли, начиная с веры. Папа захватил землю, земной престол и взял меч; с тех пор все так и идет, только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли самыми святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа, все, все променяли за деньги, за низкую земную власть. И это не учение антихристово?! Как же было не выйти от них атеизму? Атеизм от них вышел, из самого римско-

[1] Не можем! (*лат.*).

го католичества! Атеизм, прежде всего, с них самих начался: могли ли они веровать себе сами? Он укрепился из отвращения к ним; он порождение их лжи и бессилия духовного! Атеизм! У нас не веруют еще только сословия исключительные, как великолепно выразился намедни Евгений Павлович, корень потерявшие; а там уже страшные массы самого народа начинают не веровать,— прежде от тьмы и от лжи, а теперь уже из фанатизма, из ненависти к церкви и ко христианству!

Князь остановился перевести дух. Он ужасно скоро говорил. Он был бледен и задыхался. Все переглядывались; но, наконец, старичок откровенно рассмеялся. Князь N. вынул лорнет и, не отрываясь, рассматривал князя. Немчик-поэт выполз из угла и подвинулся поближе к столу, улыбаясь зловещею улыбкой.

— Вы очень пре-у-вели-чиваете,— протянул Иван Петрович с некоторою скукой и даже как будто чего-то совестясь,— в тамошней церкви тоже есть представители, достойные всякого уважения и до-бро-детельные...

— Я никогда и не говорил об отдельных представителях церкви. Я о римском католичестве в его сущности говорил, я о Риме говорю. Разве может церковь совершенно исчезнуть? Я никогда этого не говорил!

— Согласен, но все это известно и даже — не нужно и... принадлежит богословию...

— О нет, о нет! Не одному богословию, уверяю вас, что нет! Это гораздо ближе касается нас, чем вы думаете! В этом-то вся и ошибка наша, что мы не можем еще видеть, что это дело не исключительно одно только богословское! Ведь и социализм порождение католичества и католической сущности! Он тоже, как и брат его атеизм, вышел из отчаяния, в противоположность католичеству в смысле нравственном, чтобы заменить собой потерянную нравственную власть религии, чтоб утолить жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти его не Христом, а тоже насилием! Это тоже свобода чрез насилие, это тоже объединение чрез меч и кровь! «Не смей веровать в Бога, не смей иметь собственности, не смей иметь личности, fraternité ou la mort[1], два миллиона голов!» По делам их вы узнаете их — это сказано! И не думайте, чтоб это было все так невинно и бесстрашно для нас; о, нам нужен отпор, и скорей, скорей! Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они и не знали! Не рабски попадаясь на крючок иезуитам, а нашу русскую цивилизацию им неся, мы должны теперь стать пред ними, и пусть не говорят у нас, что проповедь их изящна, как сейчас сказал кто-то...

---

[1] Братство или смерть! (*фр.*).

— Но позвольте же, позвольте же,— забеспокоился ужасно Иван Петрович, озираясь кругом и даже начиная трусить,— все ваши мысли, конечно, похвальны и полны патриотизма, но все это в высшей степени преувеличено и... даже лучше об этом оставить...

— Нет, не преувеличено, а скорей уменьшено; именно уменьшено, потому что я не в силах выразиться, но...

— По-зволь-те же!

Князь замолчал. Он сидел, выпрямившись на стуле, и неподвижно, огненным взглядом глядел на Ивана Петровича.

— Мне кажется, что вас слишком уже поразил случай с вашим благодетелем,— ласково и не теряя спокойствия заметил старичок.— Вы воспламенены... может быть, уединением. Если бы вы пожили больше с людьми, а в свете, я надеюсь, вам будут рады, как замечательному молодому человеку, то, конечно, успокоите ваше одушевление и увидите, что все это гораздо проще... и к тому же такие редкие случаи... происходят, по моему взгляду, отчасти от нашего пресыщения, а отчасти от... скуки...

— Именно, именно так,— вскричал князь,— великолепнейшая мысль! Именно «от скуки, от нашей скуки», не от пресыщения, а, напротив, от жажды... не от пресыщения, вы в этом ошиблись! Не только от жажды, но даже от воспаления, от жажды горячешной! И... и не думайте, что это в таком маленьком виде, что можно только смеяться; извините меня, надо уметь предчувствовать! Наши как доберутся до берега, как уверуют, что это берег, то уж так обрадуются ему, что немедленно доходят до последних столпов; отчего это? Вы вот дивитесь на Павлищева, вы все приписываете его сумасшествию или доброте, но это не так! И не нас одних, а всю Европу дивит в таких случаях русская страстность наша: у нас коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще из самых подземных; коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием, то есть, стало быть, и мечом! Отчего это, отчего разом такое исступление? Неужто не знаете? От того, что он отечество нашел, которое здесь просмотрел, и обрадовался; берег, землю нашел и бросился ее целовать! Не из одного ведь тщеславия, не все ведь от одних скверных тщеславных чувств происходят русские атеисты и русские иезуиты, а и из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую веровать перестали, потому что никогда ее и не знали! Атеистом же так легко сделаться русскому человеку, легче чем всем остальным во всем мире! И наши не просто становятся атеистами, а непременно *уверуют* в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда! «Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет». Это не мое выражение. Это выражение одного купца из старообрядцев, с которым я встретился, когда ез-

дил. Он, правда, не так выразился, он сказал: «Кто от родной земли отказался, тот и от Бога своего отказался». Ведь подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались... Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже, может и поглубже еще! Но вот до чего доходила тоска!.. Откройте жаждущим и воспаленным Колумбовым спутникам берег «Нового Света», откройте русскому человеку русский «Свет», дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле! Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресение его, может быть, одною только русскою мыслью, русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий вырастет пред изумленным миром, изумленным и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что они представить себе нас не могут, судя по себе, без варварства. И это до сих пор, и это чем дальше, тем больше! И...

Но тут вдруг случилось одно событие, и речь оратора прервалась самым неожиданным образом.

Вся эта дикая тирада, весь этот наплыв странных и беспокойных слов и беспорядочно восторженных мыслей, как бы толкавшихся в какой-то суматохе и перескакивавших одна через другую, все это предрекало что-то опасное, что-то особенное в настроении так внезапно вскипевшего, повидимому ни с того ни с сего, молодого человека. Из присутствовавших в гостиной все знавшие князя боязливо (а иные и со стыдом) дивились его выходке, столь не согласовавшейся со всегдашнею и даже робкою его сдержанностью, с редким и особенным тактом его в иных случаях и с инстинктивным чутьем высших приличий. Понять не могли, отчего это вышло: не известие же о Павлищеве было причиной. В дамском углу смотрели на него, как на помешавшегося, а Белоконская призналась потом, что «еще минуту, и она уже хотела спасаться». «Старички» почти потерялись от первого изумления; генерал-начальник недовольно и строго смотрел с своего стула. Техник-полковник сидел в совершенной неподвижности. Немчик даже побледнел, но все еще улыбался своею фальшивой улыбкой, поглядывая на других: как другие отзовутся? Впрочем, все это и «весь скандал» могли бы разрешиться самым обыкновенным и естественным способом, может быть, даже чрез минуту; удивленный чрезвычайно, но раньше прочих спохватившийся Иван Федорович уже несколько раз пробовал было остановить князя; не достигнув успеха, он пробирался теперь к нему с целями твердыми и решительными. Еще минута, и если уж так бы понадобилось, то он, может быть, решился бы дружески вывести князя, под предлогом его болезни, что, может быть, и действительно было правда и чему очень верил про себя Иван Федорович... Но дело обернулось другим образом.

Еще вначале, как только князь вошел в гостиную, он сел как можно дальше от китайской вазы, которою так напугала его Аглая. Можно ли поверить, что после вчерашних слов Аглаи в него вселилось какое-то неизгладимое убеждение, какое-то удивительное и невозможное предчувствие, что он непременно и завтра же разобьет эту вазу, как бы ни сторонился от нее, как бы ни избегал беды! Но это было так. В продолжение вечера другие сильные, но светлые впечатления стали наплывать в его душу: мы уже говорили об этом. Он забыл свое предчувствие. Когда он услышал о Павлищеве и Иван Федорович подвел и показал его снова Ивану Петровичу, он пересел ближе к столу и прямо попал на кресло подле огромной, прекрасной китайской вазы, стоявшей на пьедестале, почти рядом с его локтем, чуть-чуть позади.

При последних словах своих он вдруг встал с места, неосторожно махнул рукой, как-то двинул плечом — и... раздался всеобщий крик! Ваза покачнулась, сначала как бы в нерешимости: упасть ли на голову которому-нибудь из старичков, но вдруг склонилась в противоположную сторону, в сторону едва отскочившего в ужасе немчика, и рухнула на пол. Гром, крик, драгоценные осколки, рассыпавшиеся по ковру, испуг, изумление,— о, что было с князем, то трудно, да почти и не надо изображать! Но не можем не упомянуть об одном странном ощущении, поразившем его именно в это самое мгновение и вдруг ему выяснившемся из толпы всех других смутных и страшных ощущений: не стыд, не скандал, не страх, не внезапность поразили его больше всего, а сбывшееся пророчество! Что именно было в этой мысли такого захватывающего, он не мог бы и разъяснить себе; он только чувствовал, что поражен до сердца, и стоял в испуге, чуть не мистическом. Еще мгновение, и как будто все пред ним расширилось, вместо ужаса — свет и радость, восторг; стало спирать дыхание, и... но мгновение прошло. Слава богу, это было не то! Он перевел дух и осмотрелся кругом.

Он долго как бы не понимал суматохи, кипевшей кругом него, то есть понимал совершенно и все видел, но стоял как бы особенным человеком, ни в чем не принимавшим участия, и который, как невидимка в сказке, пробрался в комнату и наблюдает посторонних, но интересных ему людей. Он видел, как убирали осколки, слышал быстрые разговоры, видел Аглаю, бледную и странно смотревшую на него, очень странно: в глазах ее совсем не было ненависти, нисколько не было гнева; она смотрела на него испуганным, но таким симпатичным взглядом, а на других таким сверкающим взглядом... сердце его вдруг сладко заныло. Наконец он увидел со странным изумлением, что все уселись и даже смеются, точно ничего и не случилось! Еще минута, и смех увеличился: смеялись уже на него глядя, на его остолбенелое онемение, но смеялись дружески, весело; многие с ним заговаривали и говорили так

ласково, во главе всех Лизавета Прокофьевна: она говорила смеясь и что-то очень, очень доброе. Вдруг он почувствовал, что Иван Федорович дружески треплет его по плечу; Иван Петрович тоже смеялся; еще лучше, еще привлекательнее и симпатичнее был старичок; он взял князя за руку и, слегка пожимая, слегка ударяя по ней ладонью другой руки, уговаривал его опомниться, точно маленького испуганного мальчика, что ужасно понравилось князю, и, наконец, посадил его вплоть возле себя. Князь с наслаждением вглядывался в его лицо и все еще не в силах был почему-то заговорить, ему дух спирало; лицо старика ему так нравилось.

— Как? — пробормотал он, наконец,— вы прощаете меня в самом деле? И... вы, Лизавета Прокофьевна?

Смех усилился, у князя выступили на глазах слезы; он не верил себе и был очарован.

— Конечно, ваза была прекрасная. Я ее помню здесь уже лет пятнадцать, да... пятнадцать...— произнес было Иван Петрович.

— Ну, вот беда какая! И человеку конец приходит, а тут из-за глиняного горшка! — громко сказала Лизавета Прокофьевна,— неужто уж ты так испугался, Лев Николаич? — даже с боязнью прибавила она,— полно, голубчик, полно; пугаешь ты меня в самом деле.

— И за *все* прощаете? За *все*, кроме вазы? — встал было князь вдруг с места, но старичок тотчас же опять притянул его за руку. Он не хотел упускать его.

— C'est très curieux et c'est très sérieux![1] — шепнул он через стол Ивану Петровичу, впрочем, довольно громко; князь, может, и слышал.

— Так я вас никого не оскорбил? Вы не поверите, как я счастлив от этой мысли; но так и должно быть! Разве мог я здесь кого-нибудь оскорбить? Я опять оскорблю вас, если так подумаю.

— Успокойтесь, мой друг, это — преувеличение. И вам вовсе не за что так благодарить; это чувство прекрасное, но преувеличенное.

— Я вас не благодарю, я только... любуюсь вами, я счастлив, глядя на вас; может быть, я говорю глупо, но — мне говорить надо, надо объяснить... даже хоть из уважения к самому себе.

Все в нем было порывисто, смутно и лихорадочно; очень может быть, что слова, которые он выговаривал, были часто не те, которые он хотел сказать. Взглядом он как бы спрашивал: можно ли ему говорить? Взгляд его упал на Белоконскую.

— Ничего, батюшка, продолжай, продолжай, только не задыхайся,— заметила она,— ты и давеча с одышки начал и вот до чего дошел; а говорить не бойся: эти господа и почудней тебя видыва-

[1] Это очень любопытно и очень серьезно! (*фр.*)

ли, не удивишь, а ты еще и не бог знает как мудрен, только вот вазу-то разбил, да напугал.

Князь, улыбаясь, ее выслушал.

— Ведь это вы,— обратился он вдруг к старичку,— ведь это вы студента Подкумова и чиновника Швабрина три месяца назад от ссылки спасли?

Старичок даже покраснел немного и пробормотал, что надо бы успокоиться.

— Ведь это я про вас слышал,— обратился он тотчас же к Ивану Петровичу,— в —ской губернии, что вы погоревшим мужикам вашим, уже вольным и наделавшим вам неприятностей, даром дали лесу обстроиться?

— Ну, это пре-у-ве-личение,— пробормотал Иван Петрович, впрочем, приятно приосанившись; но на этот раз он был совершенно прав, что «это преувеличение»; это был только неверный слух, дошедший до князя.

— А вы, княгиня,— обратился он вдруг к Белоконской со светлою улыбкой,— разве не вы, полгода назад, приняли меня в Москве как родного сына, по письму Лизаветы Прокофьевны, и действительно как родному сыну один совет дали, который я никогда не забуду. Помните?

— Что ты на стены-то лезешь? — досадливо проговорила Белоконская,— человек ты добрый, да смешной: два гроша тебе дадут, а ты благодаришь точно жизнь спасли. Ты думаешь это похвально, ан это противно.

Она было уж совсем рассердилась, но вдруг рассмеялась, и на этот раз добрым смехом. Просветлело лицо и Лизаветы Прокофьевны; просиял и Иван Федорович.

— Я говорил, что Лев Николаевич человек... человек... одним словом, только бы вот не задыхался, как княгиня заметила...— пробормотал генерал в радостном упоении, повторяя поразившие его слова Белоконской.

Одна Аглая была как-то грустна; но лицо ее все еще пылало, может быть и негодованием.

— Он, право, очень мил,— пробормотал опять старичок Ивану Петровичу.

— Я вошел сюда с мукой в сердце,— продолжал князь, все с каким-то возраставшим смятением, все быстрее и быстрее, все чуднее и одушевленнее,— я... я боялся вас, боялся и себя. Всего более себя. Возвращаясь сюда, в Петербург, я дал себе слово непременно увидеть наших первых людей, старших, исконных, к которым сам принадлежу, между которыми сам из первых по роду. Ведь я теперь с такими же князьями, как сам, сижу, ведь так? Я хотел вас узнать, и это было надо; очень, очень надо!.. Я всегда слышал про вас слишком много дурного, больше, чем хорошего, о ме-

лочности и исключительности ваших интересов, об отсталости, о мелкой образованности, о смешных привычках, — о, ведь так много о вас пишут и говорят! Я с любопытством шел сюда сегодня, со смятением: мне надо было видеть самому и лично убедиться: действительно ли весь этот верхний слой русских людей уж никуда не годится, отжил свое время, иссяк исконною жизнью и только способен умереть, но все еще в мелкой завистливой борьбе с людьми... будущими, мешая им, не замечая, что сам умирает? Я и прежде не верил этому мнению вполне, потому что у нас и сословия-то высшего никогда не бывало, разве придворное, по мундиру, или... по случаю, а теперь уж и совсем исчезло, ведь так, ведь так?

— Ну, это вовсе не так, — язвительно рассмеялся Иван Петрович.

— Ну, опять застучал! — не утерпела и проговорила Белоконская.

— Laissez le dire[1], он весь даже дрожит, — предупредил опять старичок вполголоса.

Князь был решительно вне себя.

— И что ж? Я увидел людей изящных, простодушных, умных; я увидел старца, который ласкает и выслушивает мальчика, как я; вижу людей, способных понимать и прощать, людей русских и добрых, почти таких же добрых и сердечных, каких я встретил там, почти не хуже. Судите же, как радостно я был удивлен! О, позвольте мне это высказать! Я много слышал и сам очень верил, что в свете все манера, все дряхлая форма, а сущность иссякла; но ведь я сам теперь вижу, что этого быть не может у нас; это где-нибудь, а только не у нас. Неужели же вы все теперь иезуиты и обманщики? Я слышал, как давеча рассказывал князь N: разве это не простодушный, не вдохновенный юмор, разве это не истинное добродушие? Разве такие слова могут выходить из уст человека... мертвого, с иссохшим сердцем и талантом? Разве мертвецы могли бы обойтись со мной, как вы обошлись? Разве это не материал... для будущего, для надежд? Разве такие люди могут не понять и отстать?

— Еще раз прошу, успокойтесь, мой милый, мы обо всем этом в другой раз, и я с удовольствием... — усмехнулся «сановник».

Иван Петрович крякнул и поворотился в своих креслах. Иван Федорович зашевелился; генерал-начальник разговаривал с супругой сановника, не обращая уже ни малейшего внимания на князя; но супруга сановника часто вслушивалась и поглядывала.

— Нет, знаете, лучше уж мне говорить! — с новым лихорадочным порывом продолжал князь, как-то особенно доверчиво и даже конфиденциально обращаясь к старичку. — Мне Аглая Ивановна

[1] Дайте ему говорить (*фр.*).

запретила вчера говорить и даже темы назвала, о которых нельзя говорить; она знает, что я в них смешон! Мне двадцать седьмой год, а ведь я знаю, что я как ребенок. Я не имею права выражать мою мысль, я это давно говорил; я только в Москве, с Рогожиным, говорил откровенно... Мы с ним Пушкина читали, всего прочли; он ничего не знал, даже имени Пушкина... Я всегда боюсь моим смешным видом скомпрометировать мысль и *главную идею*. Я не имею жеста. Я имею жест всегда противоположный, а это вызывает смех и унижает идею. Чувства меры тоже нет, а это главное; это даже самое главное... Я знаю, что мне лучше сидеть и молчать. Когда я упрусь и замолчу, то даже очень благоразумным кажусь, и к тому же обдумываю. Но теперь мне лучше говорить. Я потому заговорил, что вы так прекрасно на меня глядите; у вас прекрасное лицо! Я вчера Аглае Ивановне слово дал, что весь вечер буду молчать.

— Vraiment?[1] — улыбнулся старичок.

— Но я думаю минутами, что я и не прав, что так думаю: искренность ведь стоит жеста, так ли? Так ли?

— Иногда.

— Я хочу все объяснить, все, все, все! О да! Вы думаете — я утопист? идеолог? О, нет, у меня, ей-богу, все такие простые мысли... Вы не верите? Вы улыбаетесь? Знаете, что я подл иногда, потому что веру теряю; давеча я шел сюда и думал: «Ну как я с ними заговорю? С какого слова надо начать, чтоб они хоть что-нибудь поняли?» Как я боялся, но за вас я боялся больше, ужасно, ужасно! А между тем мог ли я бояться, не стыдно ли было бояться? Что в том, что на одного передового такая бездна отсталых и недобрых? В том-то и радость моя, что я теперь убежден, что вовсе не бездна, а все живой материал! Нечего смущаться и тем, что мы смешны, не правда ли? Ведь это действительно так, мы смешны, легкомысленны, с дурными привычками, скучаем, глядеть не умеем, понимать не умеем, мы ведь все таковы, все, и вы, и я, и они! Ведь вы вот не оскорбляетесь же тем, что я в глаза говорю вам, что вы смешны? А коли так, то разве вы не материал? Знаете, по-моему, быть смешным даже иногда хорошо, да и лучше: скорее простить можно друг другу, скорее и смириться; не все же понимать сразу, не прямо же начинать с совершенства! Чтобы достичь совершенства, надо прежде многого не понимать. А слишком скоро поймем, так, пожалуй, и не хорошо поймем. Это я вам говорю, вам, которые уже так много умели понять и... не понять. Я теперь не боюсь за вас; вы ведь не сердитесь, что вам такие слова говорит такой мальчик? Конечно, нет! О, вы сумеете забыть и простить тем, которые вас обидели, и тем, которые вас ничем не обидели; потому что всего ведь труднее простить тем, которые нас ничем не обиде-

[1] Неужели? (*фр.*).

ли, и именно потому что они не обидели, и что, стало быть, жалоба наша неосновательна: вот чего я ждал от высших людей, вот что торопился им, ехав сюда, сказать, и не знал, как сказать... Вы смеетесь, Иван Петрович? Вы думаете: я за *тех* боялся, *их* адвокат, демократ, равенства оратор? — засмеялся он истерически (он поминутно смеялся коротким и восторженным смехом). — Я боюсь за вас, за вас всех и за всех нас вместе. Я ведь сам князь исконный и с князьями сижу. Я, чтобы спасти всех нас, говорю, чтобы не исчезло сословие даром, в потемках, ни о чем не догадавшись, за все бранясь и все проиграв. Зачем исчезать и уступать другим место, когда можно остаться передовыми и старшими? Будем передовыми, так будем и старшими. Станем слугами, чтоб быть старшинами.

Он стал порываться встать с кресла, но старичок его постоянно удерживал, с возраставшим, однако ж, беспокойством смотря на него.

— Слушайте! Я знаю, что говорить нехорошо: лучше просто пример, лучше просто начать... я уже начал... и — и неужели в самом деле можно быть несчастным? О, что такое мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его! О, я только не умею высказать... а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными? Посмотрите на ребенка, посмотрите на божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят...

Он давно уже стоял, говоря. Старичок уже испуганно смотрел на него. Лизавета Прокофьевна вскрикнула: «Ах, боже мой!» прежде всех догадавшись, и всплеснула руками. Аглая быстро подбежала к нему, успела принять его в свои руки и с ужасом, с искаженным болью лицом, услышала дикий крик «духа сотрясшего и повергшего» несчастного. Больной лежал на ковре. Кто-то успел поскорее подложить ему под голову подушку.

Этого никто не ожидал. Чрез четверть часа князь N., Евгений Павлович, старичок попробовали оживить опять вечер, но еще чрез полчаса уже все разъехались. Было высказано много сочувственных слов, много сетований, несколько мнений. Иван Петрович выразился, между прочим, что «молодой человек сла-вя-нофил или в этом роде, но что, впрочем, это не опасно». Старичок ничего не высказал. Правда, уже потом, на другой и на третий день, все несколько и посердились; Иван Петрович даже обиделся, но немного. Начальник-генерал некоторое время был несколько холоден к Ивану Федоровичу. «Покровитель» семейства, сановник, тоже кое-что промямлил с своей стороны отцу семейства в назидание, причем лестно выразился, что очень и очень интересуется

судьбой Аглаи. Он был человек и в самом деле несколько добрый; но в числе причин его любопытства относительно князя, в течение вечера, была и давнишняя история князя с Настасьей Филипповной; об этой истории он кое-что слышал и очень даже интересовался, хотел бы даже и расспросить.

Белоконская, уезжая с вечера, сказала Лизавете Прокофьевне:

— Что ж, и хорош и дурен; а коли хочешь мое мнение знать, то больше дурен. Сама видишь, какой человек, больной человек!

Лизавета Прокофьевна решила про себя окончательно, что жених «невозможен», и за ночь дала себе слово, что, «покамест она жива, не быть князю мужем ее Аглаи». С этим и встала поутру. Но поутру же, в первом часу, за завтраком, она впала в удивительное противоречие самой себе.

На один, чрезвычайно, впрочем, осторожный, спрос сестер Аглая вдруг ответила холодно, но заносчиво, точно отрезала:

— Я никогда никакого слова не давала ему, никогда в жизни не считала его моим женихом. Он мне такой же посторонний человек, как и всякий.

Лизавета Прокофьевна вдруг вспыхнула.

— Этого я не ожидала от тебя,— проговорила она с огорчением,— жених он невозможный, я знаю, и славу богу, что так сошлось; но от тебя-то я таких слов не ждала! Я думала, другое от тебя будет. Я бы тех всех вчерашних прогнала, а его оставила, вот он какой человек!...

Тут она вдруг остановилась, испугавшись сама того, что сказала. Но если бы знала она, как была несправедлива в эту минуту к дочери? Уже все было решено в голове Аглаи; она тоже ждала своего часа, который должен был все решить, и всякий намек, всякое неосторожное прикосновение глубокою раной раздирали ей сердце.

VIII

И для князя это утро началось под влиянием тяжелых предчувствий; их можно было объяснить его болезненным состоянием, но он был слишком неопределенно грустен, и это было для него всего мучительнее. Правда, пред ним стояли факты яркие, тяжелые и язвительные, но грусть его заходила дальше всего, что он припоминал и соображал; он понимал, что ему не успокоить себя одному. Мало-помалу в нем укоренилось ожидание, что сегодня же с ним случится что-то особенное и окончательное. Припадок, бывший с ним накануне, был из легких; кроме ипохондрии, некоторой тягости в голове и боли в членах, он не ощущал никакого другого расстройства. Голова его работала довольно отчетливо, хотя душа и была больна. Встал он довольно поздно и тотчас же ясно при-

помнил вчерашний вечер; хоть и не совсем отчетливо, но все-таки припомнил и то, как через полчаса после припадка его довели домой. Он узнал, что уже являлся к нему посланный от Епанчиных узнать о его здоровье. В половине двенадцатого явился другой; это было ему приятно. Вера Лебедева из первых пришла навестить его и прислужить ему. В первую минуту, как она его увидала, она вдруг заплакала, но когда князь тотчас же успокоил ее,— рассмеялась. Его как-то вдруг поразило сильное сострадание к нему этой девушки; он схватил ее руку и поцеловал. Вера вспыхнула.

— Ах, что вы, что вы! — воскликнула она в испуге, быстро отняв свою руку.

Она скоро ушла в каком-то странном смущении. Между прочим, она успела рассказать, что отец ее сегодня, еще чем свет, побежал к «покойнику», как называл он генерала, узнать, не помер ли он за ночь, и что слышно, говорят, наверно, скоро помрет. В двенадцатом часу явился домой и к князю и сам Лебедев, но, собственно, «на минуту, чтоб узнать о драгоценном здоровье» и т. д., и кроме того, наведаться в «шкапчик». Он больше ничего, как ахал и охал, и князь скоро отпустил его, но все-таки он попробовал порасспросить о вчерашнем припадке, хотя и видно было, что об этом он уже знает в подробностях. За ним забежал Коля, тоже на минуту; этот в самом деле торопился и был в сильной и мрачной тревоге. Он начал с того, что прямо и настоятельно попросил у князя разъяснения всего, что от него скрывали, примолвив, что уже почти все узнал во вчерашний же день. Он был сильно и глубоко потрясен.

Со всем возможным сочувствием, к какому только был способен, князь рассказал все дело, восстановив факты в полной точности, и поразил бедного мальчика как громом. Он не мог вымолвить ни слова и молча заплакал. Князь почувствовал, что это было одно из тех впечатлений, которые остаются навсегда и составляют перелом в жизни юноши навеки. Он поспешил передать ему свой взгляд на дело, прибавив, что, по его мнению, может быть, и смерть-то старика происходит, главное, от ужаса, оставшегося в его сердце после проступка, и что к этому не всякий способен. Глаза Коли засверкали, когда он выслушал князя.

— Негодные Ганька, и Варя, и Птицын! Я с ними не буду ссориться, но у нас разные дороги с этой минуты! Ах, князь, я со вчерашнего очень много почувствовал нового; это мой урок! Мать я тоже считаю теперь прямо на моих руках; хотя она и обеспечена у Вари, но это все не то...

Он вскочил, вспомнив, что его ждут, наскоро спросил о состоянии здоровья князя и, выслушав ответ, вдруг с поспешностью прибавил:

— Нет ли и другого чего? Я слышал, вчера... (впрочем, я не имею права), но если вам когда-нибудь и в чем-нибудь понадобит-

ся верный слуга, то он перед вами. Кажется, мы оба не совсем-то счастливы, ведь так? Но... я не расспрашиваю, не расспрашиваю...

Он ушел, а князь еще больше задумался: все пророчествуют несчастия, все уже сделали заключения, все глядят, как бы что-то знают и такое, чего он не знает; Лебедев выспрашивает, Коля прямо намекает, а Вера плачет. Наконец, он в досаде махнул рукой. «Проклятая болезненная мнительность»,— подумал он. Лицо его просветлело, когда, во втором часу, он увидел Епанчиных, входящих навестить его, «на минутку». Эти уже действительно зашли на минуту. Лизавета Прокофьевна, встав от завтрака, объявила, что гулять пойдут все сейчас и все вместе. Уведомление было дано в форме приказания, отрывисто, сухо, без объяснений. Все вышли, то есть маменька, девицы, князь Щ. Лизавета Прокофьевна прямо направилась в сторону противоположную той, в которую направлялись каждодневно. Все понимали, в чем дело, и все молчали, боясь раздражить мамашу, а она, точно прячась от упрека и возражений, шла впереди всех, не оглядываясь. Наконец Аделаида заметила, что на прогулке нечего так бежать и что за мамашей не поспеешь.

— Вот что,— обернулась вдруг Лизавета Прокофьевна,— мы теперь мимо него проходим. Как бы там ни думала Аглая и что бы там ни случилось потом, а он нам не чужой, а теперь еще вдобавок и в несчастии и болен; я по крайней мере зайду навестить. Кто хочет со мной, тот иди, кто не хочет — проходи мимо; путь не загорожен.

Все вошли, разумеется. Князь, как следует, поспешил еще раз попросить прощения за вчерашнюю вазу и... скандал.

— Ну, это ничего,— ответила Лизавета Прокофьевна,— вазы не жаль, жаль тебя. Стало быть, сам теперь примечаешь, что был скандал: вот что значит «на другое-то утро»... но и это ничего, потому что всякий теперь видит, что с тебя нечего спрашивать. Ну, до свиданья однако ж; если в силах, так погуляй и опять засни — мой совет. А вздумаешь, заходи по-прежнему; уверен будь, раз навсегда, что что бы ни случилось, что бы ни вышло, ты все-таки останешься другом нашего дома: моим по крайней мере. За себя-то по крайней мере ответить могу...

На вызов ответили все и подтвердили мамашины чувства. Они ушли, но в этой простодушной поспешности сказать что-нибудь ласковое и ободряющее таилось много жестокого, о чем и не спохватилась Лизавета Прокофьевна. В приглашении приходить «по-прежнему» и в словах «моим по крайней мере» — опять зазвучало что-то предсказывающее. Князь стал припоминать Аглаю; правда, она ему удивительно улыбнулась, при входе и при прощанье, но не сказала ни слова, даже и тогда, когда все заявляли свои уверения в дружбе, хотя раза два пристально на него посмотрела. Лицо ее было бледнее обыкновенного, точно она худо проспала ночь. Князь решил вечером же идти к ним непременно

«по-прежнему» и лихорадочно взглянул на часы. Вошла Вера, ровно три минуты спустя по уходе Епанчиных.

— Мне, Лев Николаевич, Аглая Ивановна сейчас словечко к вам потихоньку передала.

Князь так и задрожал.

— Записка?

— Нет-с, на словах; и то едва успела. Просит вас очень весь сегодняшний день ни на одну минуту не отлучаться со двора, вплоть до семи часов по ечеру или даже до девяти, не совсем я тут расслышала.

— Да... для чего же это? Что это значит?

— Ничего этого я не знаю; только велела на-крепко передать.

— Так и сказала: «накрепко»?

— Нет-с, прямо не сказала: едва успела, отвернувшись, выговорить, благо я уж сама подскочила. Но уж по лицу видно было, как приказывала: накрепко или нет. Так на меня посмотрела, что у меня сердце замерло...

Несколько расспросов еще, и князь хотя ничего больше не узнал, но зато еще пуще встревожился. Оставшись один, он лег на диван и стал опять думать. «Может, там кто-нибудь будет у них до девяти часов, и она опять за меня боится, чтоб я чего при гостях не накуралесил»,— выдумал он, наконец, и опять стал нетерпеливо ждать вечера и глядеть на часы. Но разгадка последовала гораздо раньше вечера и тоже в форме нового визита, разгадка в форме новой, мучительной загадки: ровно полчаса по уходе Епанчиных к нему вошел Ипполит, до того усталый и изнуренный, что, войдя и ни слова не говоря, как бы без памяти, буквально упал в кресла и мгновенно погрузился в нестерпимый кашель. Он докашлялся до крови. Глаза его сверкали, и красные пятна зарделись на щеках. Князь пробормотал ему что-то, но тот не ответил и еще долго не отвечая, отмахивался только рукой, чтоб его покамест не беспокоили. Наконец он очнулся.

— Ухожу! — через силу произнес он наконец хриплым голосом.

— Хотите, я вас доведу,— сказал князь, привстав с места, и осекся, вспомнив недавний запрет уходить со двора.

Ипполит засмеялся.

— Я не от вас ухожу,— продолжал он с беспрерывною одышкой и перхотой,— я напротив нашел нужным к вам прийти и за делом... без чего не стал бы беспокоить. Я *туда* ухожу, и в этот раз, кажется, серьезно. Капут! Я не для сострадания, поверьте... я уж и лег сегодня, с десяти часов, чтоб уж совсем не вставать до самого *того* времени, да вот раздумал и встал еще раз, чтобы к вам идти... стало быть, надо.

— Жаль на вас смотреть; вы бы кликнули меня лучше, чем самим трудиться.

— Ну, вот и довольно. Пожалели, стало быть, и довольно для светской учтивости... Да, забыл: ваше-то как здоровье?

— Я здоров. Я вчера был... не очень...

— Слышал, слышал. Вазе досталось китайской; жаль, что меня не было! Я за делом. Во-первых, я сегодня имел удовольствие видеть Гаврилу Ардалионовича на свидании с Аглаей Ивановной, у зеленой скамейки. Подивился на то, до какой степени человеку можно иметь глупый вид. Заметил это самой Аглае Ивановне по уходе Гаврилы Ардалионовича... Вы, кажется, ничему не удивляетесь, князь,— прибавил он, недоверчиво смотря на спокойное лицо князя,— ничему не удивляться, говорят, есть признак большого ума; по-моему, это, в равной же мере, могло бы служить и признаком глупости... Я, впрочем, не на вас намекаю, извините... Я очень несчастлив сегодня в моих выражениях.

— Я еще вчера знал, что Гаврила Ардалионович...— осекся князь, видимо смутившись, хотя Ипполит и досадовал, зачем он не удивляется.

— Знали! Вот это новость! А впрочем, пожалуй, и не рассказывайте... А свидетелем свидания сегодня не были?

— Вы видели, что меня там не было, коли сами там были.

— Ну, может, за кустом где-нибудь просидели. Впрочем, во всяком случае я рад, за вас разумеется, а то я думал уже, что Гавриле Ардалионовичу — предпочтение!

— Я вас прошу не говорить об этом со мной, Ипполит, и в таких выражениях.

— Тем более, что уже все знаете.

— Вы ошибаетесь. Я почти ничего не знаю, и Аглая Ивановна знает наверно, что я ничего не знаю. Я даже и про свидание это ничего ровно не знал... Вы говорите, было свидание? Ну и хорошо, и оставим это...

— Да как же это, то знали, то не знали? Вы говорите: «хорошо и оставим»? Ну, нет, не будьте так доверчивы! Особенно, коли ничего не знаете. Вы и доверчивы потому, что не знаете. А знаете ли вы, какие расчеты у этих двух лиц, у братца с сестрицей? Это-то, может быть, подозреваете?.. Хорошо, хорошо, я оставлю...— прибавил он, заметив нетерпеливый жест князя,— но я пришел за собственным делом и про это хочу... объясниться. Черт возьми, никак нельзя умереть без объяснений; ужас как я много объясняюсь. Хотите выслушать?

— Говорите, я слушаю.

— И однако ж я опять переменяю мнение: я все-таки начну с Ганечки. Можете себе представить, что и мне сегодня назначено было тоже прийти на зеленую скамейку. Впрочем, лгать не хочу: я сам настоял на свидании, напросился, тайну открыть обещал. Не знаю, пришел ли я слишком рано (кажется, действительно рано

пришел), но только что я занял мое место, подле Аглаи Ивановны, смотрю, являются Гаврила Ардалионович и Варвара Ардалионовна, оба под ручку, точно гуляют. Кажется, оба были очень поражены, меня встретив, не того ожидали, даже сконфузились. Аглая Ивановна вспыхнула и, верьте не верьте, немножко даже потерялась, оттого ли, что я тут был, или просто увидав Гаврилу Ардалионовича, потому что уж ведь слишком хорош, но только вся вспыхнула и дело кончила в одну секунду, очень смешно: привстала, ответила на поклон Гаврилы Ардалионовича, на заигрывающую улыбку Варвары Ардалионовны и вдруг отрезала: «Я только затем, чтобы вам выразить лично мое удовольствие за ваши искренние и дружелюбные чувства, и если буду в них нуждаться, то, поверьте...» Тут она откланялась, и оба они ушли,— не знаю, в дураках или с торжеством; Ганечка, конечно, в дураках; он ничего не разобрал и покраснел как рак (удивительное у него иногда выражение лица!), но Варвара Ардалионовна, кажется, поняла, что надо поскорее улепетывать и что уж и этого слишком довольно от Аглаи Ивановны, и утащила брата. Она умнее его и, я уверен, теперь торжествует. Я же приходил поговорить с Аглаей Ивановной, чтоб условиться насчет свидания с Настасьей Филипповной!

— С Настасьей Филипповной! — вскричал князь.

— Ага! Вы, кажется, теряете хладнокровие и начинаете удивляться? Очень рад, что вы на человека хотите походить. За это я вас потешу. Вот что значит услуживать молодым и высоким душой девицам: я сегодня от нее пощечину получил!

— Нр-нравственную? — невольно как-то спросил князь.

— Да, не физическую. Мне кажется, ни у кого рука не подымется на такого, как я; даже и женщина теперь не ударит; даже Ганечка не ударит! Хоть одно время вчера я так и думал, что он на меня наскочит... Бьюсь об заклад, что знаю, о чем вы теперь думаете? Вы думаете: «Положим, его не надо бить, зато задушить его можно подушкой или мокрою тряпкою во сне,— даже должно...» У вас на лице написано, что вы это думаете, в эту самую секунду.

— Никогда я этого не думал! — с отвращением проговорил князь.

— Не знаю, мне ночью снилось сегодня, что меня задушил мокрою тряпкой... один человек... ну, я вам скажу кто: представьте себе — Рогожин! Как вы думаете, можно задушить мокрою тряпкой человека?

— Не знаю.

— Я слышал, что можно. Хорошо, оставим. Ну, за что же я сплетник? За что она сплетником меня обругала сегодня? И заметьте себе, когда уже все до последнего словечка выслушала и даже переспросила... Но таковы женщины! Для нее же я в сношения с Рогожиным вошел, с интересным человеком, для ее же ин-

тереса ей личное свидание с Настасьей Филипповной устроил. Уж не за то ли, что я самолюбие задел, намекнув, что она «объедкам» Настасьи Филипповны обрадовалась? Да я это в ее же интересах все время ей толковал, не отпираюсь, два письма ей написал в этом роде, и вот сегодня третье, свидание... Я ей давеча с того и начал, что это унизительно с ее стороны... Да к тому же и слово-то об «объедках», собственно, не мое, а чужое; по крайней мере, у Ганечки все говорили; да она же и сама подтвердила. Ну, так за что же я у ней сплетник? Вижу, вижу: вам ужасно смешно теперь, на меня глядя, и бьюсь об заклад, что вы ко мне глупые стихи примериваете:

И, может быть, на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Ха-ха-ха! — залился он вдруг истерическим смехом и закашлялся.— Заметьте себе,— прохрипел он сквозь кашель,— каков Ганечка: говорит про «объедки», а сам-то теперь чем желает воспользоваться!

Князь долго молчал; он был в ужасе.

— Вы сказали про свиданье с Настасьей Филипповной? — пробормотал он наконец,.

— Э, да неужели и вправду вам неизвестно, что сегодня будет свидание Аглаи Ивановны с Настасьей Филипповной, для чего Настасья Филипповна и выписана из Петербурга нарочно, чрез Рогожина, по приглашению Аглаи Ивановны и моими стараниями, и находится теперь, вместе с Рогожиным, весьма недалеко от вас, в прежнем доме, у той госпожи, у Дарьи Алексеевны... очень двусмысленной госпожи, подруги своей, и туда-то, сегодня, в этот двусмысленный дом, и направится Аглая Ивановна для приятельского разговора с Настасьей Филипповной и для разрешения разных задач. Арифметикой заниматься хотят. Не знали? Честное слово?

— Это невероятно!

— Ну и хорошо, коли невероятно; впрочем, откуда же вам знать? Хотя здесь муха пролетит — и уже известно: таково местечко! Но я вас, однако же, предупредил, и вы можете быть мне благодарны. Ну, до свиданья — на том свете, вероятно. Да вот еще что: я хоть и подличал пред вами, потому... для чего же я стану свое терять, рассудите на милость? В вашу пользу, что ли? Ведь я ей «Исповедь» мою посвятил (вы этого не знали?). Да еще как приняла-то! Хе-хе! Но уж пред нею-то я не подличал, пред ней-то уж ни в чем не виноват; она же меня осрамила и подвела... А, впрочем, и пред вами не виноват ни в чем; если там и упоминал насчет этих «объедков» и все в этом смысле, то зато теперь вам и день, и час, и адрес свидания сообщаю, и всю эту игру открываю... с досады, разумеется, а не из великодушия. Прощайте, я болтлив, как

заика или как чахоточный; смотрите же, принимайте меры и скорее, если вы только стóите названия человеческого. Свидание сегодня по вечеру, это верно.

Ипполит направился к двери, но князь крикнул ему, и тот остановился в дверях.

— Стало быть, Аглая Ивановна, по-вашему, сама придет сегодня к Настасье Филипповне? — спросил князь. Красные пятна выступили на щеках и на лбу его.

— В точности не знаю, но, вероятно, так,— ответил Ипполит, полуоглядываясь,— да иначе, впрочем, и не может быть. Не Настасья же Филипповна к ней? Да и не у Ганечки же; у того у самого почти покойник. Генерал-то каков?

— Уж по одному этому быть не может! — подхватил князь.— Как же она выйдет, если бы даже и хотела? Вы не знаете... обычаев в этом доме: она не может отлучиться одна к Настасье Филипповне; это вздор!

— Вот видите, князь: никто не прыгает из окошек, а случись пожар, так, пожалуй, и первейший джентльмен и первейшая дама выпрыгнет из окошка. Коли уж придет нужда, так нечего делать, и к Настасье Филипповне наша барышня отправится. А разве их там никуда не выпускают, ваших барышень-то?

— Нет, я не про то...

— А не про то, так ей стоит только сойти с крыльца и пойти прямо, а там хоть и не возвращаться домой. Есть случаи, что и корабли сжигать иногда можно, и домой можно даже не возвращаться; жизнь не из одних завтраков, да обедов, да князей Щ. состоит. Мне кажется, вы Аглаю Ивановну за барышню или за пансионерку какую-то принимаете; я уже про это ей говорил; она, кажется, согласилась. Ждите часов в семь или в восемь... Я бы на вашем месте послал туда посторожить, чтоб уж так ровно ту минуту улучить, когда она с крыльца сойдет. Ну, хоть Колю пошлите; он с удовольствием пошпионит, будьте уверены, для вас то есть... потому что все ведь это относительно... Ха-ха!

Ипполит вышел. Князю не для чего было просить кого-нибудь шпионить, если бы даже он был и способен на это. Приказание ему Аглаи сидеть дома теперь почти объяснялось: может быть, она хотела за ним зайти. Правда, может быть, она именно не хотела, чтоб он туда попал, а потому и велела ему дома сидеть... Могло быть и это. Голова его кружилась; вся комната ходила кругом. Он лег на диван и закрыл глаза.

Так или этак, а дело было решительное, окончательное. Нет, князь не считал Аглаю за барышню или за пансионерку; он чувствовал теперь, что давно уже боялся и именно чего-нибудь в этом роде; но для чего она хочет ее видеть? Озноб проходил по всему телу князя: опять он был в лихорадке.

Нет, он не считал ее за ребенка! Его ужасали иные взгляды ее в последнее время, иные слова. Иной раз ему казалось, что она как бы уж слишком крепилась, слишком сдерживалась, и он припоминал, что это его пугало. Правда, во все эти дни он старался не думать об этом, гнал тяжелые мысли, но что таилось в этой душе? Этот вопрос давно его мучил, хотя он и верил в эту душу. И вот все это должно было разрешиться и обнаружиться сегодня же. Мысль ужасная! И опять — «эта женщина»! Почему ему всегда казалось, что эта женщина явится именно в самый последний момент и разорвет всю судьбу его как гнилую нитку? Что ему всегда казалось это, в этом он готов был теперь поклясться, хотя был почти в полубреду. Если он старался забыть о ней в последнее время, то единственно потому, что боялся ее. Что же: любил он эту женщину или ненавидел? Этого вопроса он ни разу не задал себе сегодня; тут сердце его было чисто: он знал, кого он любил... Он не столько свидания их обеих боялся, не странности, не причины этого свидания, ему неизвестной, не разрешения его чем бы то ни было, — он самой Настасьи Филипповны боялся. Он вспомнил уже потом, чрез несколько дней, что в эти лихорадочные часы почти все время представлялись ему ее глаза, ее взгляд, слышались ее слова — странные какие-то слова, хоть и не много потом осталось у него в памяти после этих лихорадочных и тоскливых часов. Едва запомнил он, например, как Вера принесла ему обедать, и он обедал, не помнил, спал ли он после обеда или нет? Он знал только, что начал совершенно ясно все отличать в этот вечер только с той минуты, когда Аглая вдруг вошла к нему на террасу, и он вскочил с дивана и вышел на средину комнаты ее встретить: было четверть восьмого. Аглая была одна-одинешенька, одета просто и как бы наскоро, в легоньком бурнусике. Лицо ее было бледно, как и давеча, а глаза сверкали ярким и сухим блеском; такого выражения глаз он никогда не знал у нее. Она внимательно его оглядела.

— Вы совершенно готовы, — заметила она тихо и как бы спокойно, — одеты и шляпа в руках; стало быть, вас предупредили, и я знаю кто: Ипполит?

— Да, он мне говорил... — пробормотал князь почти полумертвый.

— Пойдемте же: вы знаете, что вы должны меня сопровождать непременно. Вы ведь настолько в силах, я думаю, чтобы выйти?

— Я в силах, но... разве это возможно?

Он оборвался в одно мгновение и уже ничего не мог вымолвить более. Это была единственная попытка его остановить безумную, а затем он сам пошел за нею как невольник. Как ни были смутны его мысли, он все-таки понимал, что она и без него пойдет *туда*, а стало быть, он во всяком случае должен был идти за нею. Он угадывал, какой силы ее решимость; не ему было остановить этот

дикий порыв. Они шли молчаливо, всю дорогу почти не сказали ни слова. Он только заметил, что она хорошо знает дорогу, и когда хотел было обойти одним переулком подальше, потому что там дорога была пустыннее, и предложил ей это, она выслушала, как бы напрягая внимание, и отрывисто ответила: «Все равно!» Когда они уже почти вплоть подошли к дому Дарьи Алексеевны (большому и старому деревянному дому), с крыльца вышла одна пышная барыня и с нею молодая девица; обе сели в ожидавшую у крыльца великолепную коляску, громко смеясь и разговаривая, и ни разу даже и не взглянули на подходивших, точно и не приметили. Только что коляска отъехала, дверь тотчас же отворилась в другой раз, и поджидавший Рогожин впустил князя и Аглаю и запер за ними дверь.

— Во всем доме никого теперь, кроме нас вчетвером,— заметил он вслух и странно посмотрел на князя.

В первой же комнате ждала и Настасья Филипповна, тоже одетая весьма просто и вся в черном; она встала навстречу, но не улыбнулась и даже князю не подала руки.

Пристальный и беспокойный ее взгляд нетерпеливо устремился на Аглаю. Обе сели поодаль одна от другой: Аглая на диване в углу комнаты, Настасья Филипповна у окна. Князь и Рогожин не садились, да их и не пригласили садиться. Князь с недоумением и как бы с болью опять поглядел на Рогожина, но тот улыбался все прежнею своею улыбкой. Молчание продолжалось еще несколько мгновений.

Какое-то зловещее ощущение прошло, наконец, по лицу Настасьи Филипповны; взгляд ее становился упорен, тверд и почти ненавистен, ни на одну минуту не отрывался он от гостьи. Аглая видимо была смущена, но не робела. Войдя, она едва взглянула на свою соперницу, и покамест все время сидела потупив глаза, как бы в раздумье. Раза два, как бы нечаянно, она окинула взглядом комнату; отвращение видимо изобразилось в ее лице, точно она боялась здесь замараться. Она машинально оправляла свою одежду и даже с беспокойством переменила однажды место, подвигаясь к углу дивана. Вряд ли она и сама сознавала все свои движения; но бессознательность еще усиливала их обиду. Наконец она твердо и прямо поглядела в глаза Настасьи Филипповны и тотчас же ясно прочла все, что сверкало в озлобившемся взгляде ее соперницы. Женщина поняла женщину; Аглая вздрогнула.

— Вы, конечно, знаете, зачем я вас приглашала,— выговорила она, наконец, но очень тихо и даже остановившись раза два на этой коротенькой фразе.

— Нет, ничего не знаю,— ответила Настасья Филипповна, сухо и отрывисто.

Аглая покраснела. Может быть, ей вдруг показалось ужасно странно и невероятно, что она сидит теперь с этою женщиной,

доме «этой женщины» и нуждается в ее ответе. При первых звуках голоса Настасьи Филипповны как бы содрогание прошло по ее телу. Все это, конечно, очень хорошо заметила «эта женщина».

— Вы все понимаете... но вы нарочно делаете вид, будто... не понимаете,— почти прошептала Аглая, угрюмо смотря в землю.

— Для чего же бы это? — чуть-чуть усмехнулась Настасья Филипповна.

— Вы хотите воспользоваться моим положением... что я у вас в доме,— смешно и неловко продолжала Аглая.

— В этом положении виноваты вы, а не я! — вспыхнула вдруг Настасья Филипповна.— не вы мною приглашены, а я вами, и до сих пор не знаю зачем?

Аглая надменно подняла голову:

— Удержите ваш язык; я не этим вашим оружием пришла с вами сражаться...

— А! Стало быть, вы все-таки пришли «сражаться»? Представьте, я, однако же, думала, что вы... остроумнее...

Обе смотрели одна на другую уже не скрывая злобы. Одна из этих женщин была та самая, которая еще так недавно писала к другой такие письма. И вот все рассеялось от первой встречи и с первых слов. Что же? В эту минуту, казалось, никто из всех четверых, находившихся в этой комнате, и не находил этого странным. Князь, который еще вчера не поверил бы возможности увидеть это даже во сне, теперь стоял, смотрел и слушал, как бы все это он давно уже предчувствовал. Самый фантастический сон обратился вдруг в самую яркую и резко обозначившуюся действительность. Одна из этих женщин до того уже презирала в это мгновение другую и до того желала ей это высказать (может быть, и приходила-то только для этого, как выразился на другой день Рогожин), что как ни фантастична была эта другая, с своим расстроенным умом и больною душой, никакая заранее предвзятая идея не устояла бы, казалось, против ядовитого, чистого женского презрения ее соперницы. Князь был уверен, что Настасья Филипповна не заговорит сама о письмах; по сверкающим взглядам ее он догадался, чего могут ей стоить теперь эти письма; но он отдал бы полжизни, чтобы не заговаривала о них теперь и Аглая.

Но Аглая вдруг как бы скрепилась и разом овладела собой.

— Вы не так поняли,— сказала она,— я с вами не пришла... ссориться, хотя я вас не люблю. Я... я пришла к вам... с человеческою речью. Призывая вас, я уже решила, о чем буду вам говорить, и от решения не отступлюсь, хотя бы вы и совсем меня не поняли. Тем для вас будет хуже, а не для меня. Я хотела вам ответить на то, что вы мне писали, и ответить лично, потому что мне это казалось удобнее. Выслушайте же мой ответ на все ваши письма: мне стало жаль князя Льва Николаевича в первый раз в тот

самый день, когда я с ним познакомилась и когда потом узнала обо всем, что произошло на вашем вечере. Мне потому его стало жаль, что он такой простодушный человек и по простоте своей поверил, что может быть счастлив... с женщиной... такого характера. Чего я боялась за него, то и случилось: вы не могли его полюбить, измучили его и кинули. Вы потому его не могли любить, что слишком горды... нет, не горды, я ошиблась, а потому что вы тщеславны... даже и не это: вы себялюбивы до... сумасшествия, чему доказательством служат и ваши письма ко мне. Вы его, такого простого, не могли полюбить, и даже, может быть, про себя презирали и смеялись над ним, могли полюбить только один свой позор и беспрерывную мысль о том, что вы опозорены и что вас оскорбили. Будь у вас меньше позору или не будь его вовсе, вы были бы несчастнее... (Аглая с наслаждением выговаривала эти слишком уж поспешно выскакивавшие, но давно уже приготовленные и обдуманные слова, тогда еще обдуманные, когда и во сне не представлялось теперешнего свидания; она ядовитым взглядом следила за эффектом их на искаженном от волнения лице Настасьи Филипповны.) Вы помните,— продолжала она,— тогда он написал мне письмо; он говорит, что вы про это письмо знаете и даже читали его? По этому письму я все поняла и верно поняла; он недавно мне подтвердил это сам, то есть все, что я теперь вам говорю, слово в слово даже. После письма я стала ждать. Я угадала, что вы должны приехать сюда, потому что вам нельзя же быть без Петербурга: вы еще слишком молоды и хороши собой для провинции... Впрочем, это тоже не мои слова,— прибавила она, ужасно покраснев, и с этой минуты краска уже не сходила с ее лица, вплоть до самого окончания речи.— Когда я увидала опять князя, мне стало ужасно за него больно и обидно. Не смейтесь, если вы будете смеяться, то вы недостойны это понять...

— Вы видите, что я не смеюсь,— грустно и строго проговорила Настасья Филипповна.

— Впрочем, мне все равно, смейтесь, как вам угодно. Когда я стала его спрашивать сама, он мне сказал, что давно уже вас не любит, что даже воспоминание о вас ему мучительно, но что ему вас жаль и что когда он припоминает о вас, то его сердце точно «пронзено навеки». Я вам должна еще сказать, что я ни одного человека не встречала в жизни, подобного ему по благородному простодушию и безграничной доверчивости. Я догадалась после его слов, что всякий, кто захочет, тот и может его обмануть, и кто бы ни обманул его, он потом всякому простит, и вот за это-то я его и полюбила...

Аглая остановилась на мгновение, как бы пораженная, как бы самой себе не веря, что она могла выговорить такое слово; но в то же время почти беспредельная гордость засверкала в ее взгляде;

казалось, ей теперь было уже все равно, хотя бы даже «эта женщина» засмеялась сейчас над вырвавшимся у нее признанием.

— Я вам все сказала, и уж, конечно, вы теперь поняли, чего я от вас хочу?

— Может быть, и поняла, но скажите сами,— тихо ответила Настасья Филипповна.

Гнев загорелся в лице Аглаи.

— Я хотела от вас узнать,— твердо и раздельно произнесла она,— по какому праву вы вмешиваетесь в его чувства ко мне? По какому праву вы осмелились ко мне писать письма? По какому праву вы заявляете поминутно, ему и мне, что вы его любите, после того как сами же его кинули и от него с такою обидой и... позором убежали?

— Я не заявляла ни ему, ни вам, что его люблю,— с усилием выговорила Настасья Филипповна,— и... вы правы, я от него убежала...— прибавила она едва слышно.

— Как не заявляли «ни ему, ни мне»? — вскричала Аглая.— а письма-то ваши? Кто вас просил нас сватать и меня уговаривать идти за него? Разве это не заявление? Зачем вы к нам напрашиваетесь? Я сначала было подумала, что вы хотите, напротив, отвращение во мне к нему поселить тем, что к нам замешались, и чтоб я его бросила; и потом только догадалась, в чем дело: вам просто вообразилось, что вы высокий подвиг делаете всеми этими кривляниями... Ну, могли ли вы его любить, если так любите свое тщеславие? Зачем вы просто не уехали отсюда, вместо того, чтобы мне смешные письма писать? Зачем вы не выходите теперь за благородного человека, который вас так любит и сделал вам честь, предложив свою руку? Слишком ясно зачем: выйдете за Рогожина, какая же тогда обида останется? Даже слишком уж много чести получите! Про вас Евгений Павлыч сказал, что вы слишком много поэм прочли и «слишком много образованы для вашего... положения»; что вы книжная женщина и белоручка; прибавьте ваше тщеславие, вот и все ваши причины...

— А вы не белоручка?

Слишком поспешно, слишком обнаженно дошло дело до такой неожиданной точки, неожиданной, потому что Настасья Филипповна, отправляясь в Павловск, еще мечтала о чем-то, хотя, конечно, предполагала скорее дурное, чем хорошее; Аглая же решительно была увлечена порывом в одну минуту, точно падала с горы, и не могла удержаться пред ужасным наслаждением мщения. Настасье Филипповне даже странно было так увидеть Аглаю; она смотрела на нее и точно себе не верила, и решительно не нашлась в первое мгновение. Была ли она женщина, прочитавшая много поэм, как предположил Евгений Павлович, или просто была сумасшедшая, как уверен был князь, во всяком случае эта женщи-

на,— иногда с такими циническими и дерзкими приемами,— на самом деле была гораздо стыдливее, нежнее и доверчивее, чем бы можно было о ней заключить. Правда, в ней было много книжного, мечтательного, затворившегося в себе и фантастического, но зато сильного и глубокого... Князь понимал это; страдание выразилось в лице его. Аглая это заметила и задрожала от ненависти.

— Как вы смеете так обращаться ко мне? — проговорила она с невыразимым высокомерием, отвечая на замечание Настасьи Филипповны.

— Вы, вероятно, ослышались,— удивилась Настасья Филипповна.— Как обращалась я к вам?

— Если вы хотели быть честною женщиной, так отчего вы не бросили тогда вашего обольстителя, Тоцкого, просто... без театральных представлений? — сказала вдруг Аглая ни с того ни с сего.

— Что вы знаете о моем положении, чтобы сметь судить меня? — вздрогнула Настасья Филипповна, ужасно побледнев.

— Знаю то, что вы не пошли работать, а ушли с богачом Рогожиным, чтобы падшего ангела из себя представить. Не удивляюсь, что Тоцкий от падшего ангела застрелиться хотел!

— Оставьте! — с отвращением и как бы чрез боль проговорила Настасья Филипповна.— Вы так же меня поняли, как... горничная Дарьи Алексеевны, которая с женихом своим намедни у мирового судилась. Та бы лучше вас поняла...

— Вероятно, честная девушка и живет своим трудом. Почему вы-то с таким презрением относитесь к горничной?

— Я не к труду с презрением отношусь, а к вам, когда вы об труде говорите.

— Захотела быть честною, так в прачки бы шла.

Обе поднялись и бледные смотрели друг на друга.

— Аглая, остановитесь! Ведь это несправедливо,— вскричал князь как потерянный. Рогожин уже не улыбался, но слушал, сжав губы и скрестив руки.

— Вот, смотрите на нее,— говорила Настасья Филипповна, дрожа от озлобления,— на эту барышню! И я ее за ангела почитала! Вы без гувернантки ко мне пожаловали, Аглая Ивановна?.. А хотите... хотите я вам скажу сейчас прямо, без прикрас, зачем вы ко мне пожаловали? Струсили, оттого и пожаловали.

— Вас струсила? — спросила Аглая, вне себя от наивного и дерзкого изумления, что та смела с нею так заговорить.

— Конечно, меня! Меня боитесь, если решились ко мне прийти. Кого боишься, того не презираешь. И подумать, что я вас уважала, даже до этой самой минуты! А знаете, почему вы боитесь меня и в чем теперь ваша главная цель? Вы хотели сами лично удостовериться: больше ли он меня, чем вас, любит или нет, потому что вы ужасно ревнуете...

— Он мне уже сказал, что вас ненавидит... — едва пролепетала Аглая.

— Может быть; может быть, я и не стою его, только... только солгали вы, я думаю! Не может он меня ненавидеть, и не мог он так сказать! Я, впрочем, готова вам простить... во внимание к вашему положению... только все-таки я о вас лучше думала; думала, что вы и умнее, да и получше даже собой, ей-богу!.. Ну, возьмите же ваше сокровище... вот он, на вас глядит, опомниться не может, берите его себе, но под условием: ступайте сейчас же прочь! Сию же минуту!..

Она упала в кресла и залилась слезами. Но вдруг что-то новое заблистало в глазах ее; она пристально и упорно посмотрела на Аглаю и встала с места:

— А хочешь, я сейчас... при-ка-жу, слышишь ли? только ему при-ка-жу, и он тотчас же бросит тебя и останется при мне навсегда и женится на мне, а ты побежишь домой одна? Хочешь, хочешь? — крикнула она как безумная, может быть, почти сама не веря, что могла выговорить такие слова.

Аглая в испуге бросилась было к дверям, но остановилась в дверях, как бы прикованная, и слушала.

— Хочешь, я прогоню Рогожина? Ты думала, что я уж и повенчалась с Рогожиным для твоего удовольствия? Вот сейчас при тебе крикну: «Уйди, Рогожин!», а князю скажу: «Помнишь, что ты обещал?» Господи! Да для чего же я себя так унизила пред ними? Да не ты ли же, князь, меня сам уверял, что пойдешь за мною, что бы ни случилось со мной, и никогда меня не покинешь; что ты меня любишь, и все мне прощаешь и меня у... ува... Да, ты и это говорил! И я, чтобы только тебя развязать, от тебя убежала, а теперь не хочу! За что она со мной как с беспутной поступила? Беспутная ли я, спроси у Рогожина, он тебе скажет! Теперь, когда она опозорила меня, да еще в твоих же глазах, и ты от меня отвернешься, а ее под ручку с собой уведешь? Да будь же ты проклят после того за то, что я в тебя одного поверила. Уйди, Рогожин, тебя не нужно! — кричала она почти без памяти, с усилием выпуская слова из груди, с исказившимся лицом и с запекшимися губами, очевидно, сама не веря ни на каплю своей фанфаронаде, но в то же время хоть секунду еще желая продлить мгновение и обмануть себя. Порыв был так силен, что, может быть, она бы и умерла, так, по крайней мере, показалось князю.— Вот он, смотри! — прокричала она, наконец, Аглае, указывая рукой на князя.— Если он сейчас не подойдет ко мне, не возьмет меня и не бросит тебя, то бери же его себе, уступаю, мне его не надо.

И она и Аглая остановились как бы в ожидании, и обе, как помешанные, смотрели на князя. Но он, может быть, и не понимал всей силы этого вызова, даже наверно можно сказать. Он только

видел пред собой отчаянное, безумное лицо, от которого, как проговорился он раз Аглае, у него «пронзено навсегда сердце». Он не мог более вынести и с мольбой и упреком обратился к Аглае, указывая на Настасью Филипповну:

— Разве это возможно! Ведь она... сумасшедшая!

Но только это и успел выговорить, онемев под ужасным взглядом Аглаи. В этом взгляде выразилось столько страдания и в то же время бесконечной ненависти, что он всплеснул руками, вскрикнул и бросился к ней, но уже было поздно! Она не перенесла даже и мгновения его колебания, закрыла руками лицо, вскрикнула: «ах, боже мой!» и бросилась вон из комнаты, за ней Рогожин, чтоб отомкнуть ей задвижку у дверей на улицу.

Побежал и князь, но на пороге обхватили его руками. Убитое, искаженное лицо Настасьи Филипповны глядело на него в упор, и посиневшие губы шевелились, спрашивая:

— За ней? За ней?..

Она упала без чувств ему на руки. Он поднял ее, внес в комнату, положил в кресла и стал над ней в тупом ожидании. На столике стоял стакан с водой; воротившийся Рогожин схватил его и брызнул ей в лицо воды; она открыла глаза и с минуту ничего не понимала; но вдруг осмотрелась, вздрогнула, вскрикнула и бросилась к князю.

— Мой! Мой! — вскричала она.— Ушла гордая барышня? Ха-ха-ха! — смеялась она в истерике,— ха-ха-ха! Я его этой барышне отдавала! Да зачем? Для чего? Сумасшедшая! Сумасшедшая!.. Поди прочь, Рогожин, ха-ха-ха!

Рогожин пристально посмотрел на них, не сказал ни слова, взял свою шляпу и вышел. Чрез десять минут князь сидел подле Настасьи Филипповны, не отрываясь смотрел на нее и гладил ее по головке и по лицу обеими руками, как малое дитя. Он хохотал на ее хохот и готов был плакать на ее слезы. Он ничего не говорил, но пристально вслушивался в ее порывистый, восторженный и бессвязный лепет, вряд ли понимал что-нибудь, но тихо улыбался, и чуть только ему казалось, что она начинала опять тосковать или плакать, упрекать или жаловаться, тотчас же начинал ее опять гладить по головке и нежно водить руками по ее щекам, утешая и уговаривая ее как ребенка.

IX

Прошло две недели после события, рассказанного в последней главе, и положение действующих лиц нашего рассказа до того изменилось, что нам чрезвычайно трудно приступать к продолжению без особых объяснений. И однако, мы чувствуем, что должны ограничиться простым изложением фактов, по возможности, без

особых объяснений, и по весьма простой причине: потому что сами, во многих случаях, затрудняемся объяснить происшедшее. Такое предуведомление с нашей стороны должно показаться весьма странным и неясным читателю: как рассказывать то, о чем не имеешь ни ясного понятия, ни личного мнения? Чтобы не ставить себя еще в более фальшивое положение, лучше постараемся объясниться на примере и, может быть, благосклонный читатель поймет, в чем именно мы затрудняемся, тем более что этот пример не будет отступление, а, напротив, прямым и непосредственным продолжением рассказа.

Две недели спустя, то есть уже в начале июля, и в продолжение этих двух недель история нашего героя, и особенно последнее приключение этой истории, обращаются в странный, весьма увеселительный, почти невероятный и в то же время почти наглядный анекдот, распространяющийся мало-помалу по всем улицам, соседним с дачами Лебедева, Птицына, Дарьи Алексеевны, Епанчиных, короче сказать, почти по всему городу и даже по окрестностям его. Почти все общество,— туземцы, дачники, приезжающие на музыку,— все принялись рассказывать одну и ту же историю, на тысячу разных вариаций, о том, как один князь, произведя скандал в честном и известном доме и отказавшись от девицы из этого дома, уже невесты своей, увлекся известною лореткой, порвал все прежние связи и, несмотря ни на что, несмотря на угрозы, несмотря на всеобщее негодование публики, намеревается обвенчаться на днях с опозоренною женщиной, здесь же в Павловске, открыто, публично, подняв голову и смотря всем прямо в глаза. Анекдот до того становился изукрашен скандалами, до того много вмешано было в него известных и значительных лиц, до того придано было ему разных фантастических и загадочных оттенков, а с другой стороны, он представлялся в таких неопровержимых и наглядных фактах, что всеобщее любопытство и сплетни были, конечно, очень извинительны. Самое тонкое, хитрое и в то же время правдоподобное толкование оставалось за несколькими серьезными сплетниками, из того слоя разумных людей, которые всегда, в каждом обществе, спешат прежде всего уяснить другим событие, в чем находят свое призвание, а нередко и утешение. По их толкованию, молодой человек, хорошей фамилии, князь, почти богатый, дурачок, но демократ и помешавшийся на современном нигилизме, обнаруженном господином Тургеневым, почти не умеющий говорить по-русски, влюбился в дочь генерала Епанчина и достиг того, что его приняли в доме как жениха. Но подобно тому французу-семинаристу, о котором только что напечатан был анекдот и который нарочно допустил посвятить себя в сан священника, нарочно сам просил этого посвящения, исполнил все обряды, все поклонения, лобызания, клятвы и пр., чтобы на другой же день публично объя-

вить письмом своему епископу, что он, не веруя в Бога, считает бесчестным обманывать народ и кормиться от него даром, а потому слагает с себя вчерашний сан, а письмо свое печатает в либеральных газетах,— подобно этому атеисту, сфальшивил будто бы в своем роде и князь. Рассказывали, будто он нарочно ждал торжественного званого вечера у родителей своей невесты, на котором он был представлен весьма многим значительным лицам, чтобы вслух и при всех заявить свой образ мыслей, обругать почтенных сановников, отказаться от своей невесты публично и с оскорблением, и, сопротивляясь выводившим его слугам, разбить прекрасную китайскую вазу. К этому прибавляли, в виде современной характеристики нравов, что бестолковый молодой человек действительно любил свою невесту, генеральскую дочь, но отказался от нее единственно из нигилизма и ради предстоящего скандала, чтобы не отказать себе в удовольствии жениться пред всем светом на потерянной женщине и тем доказать, что в его убеждении нет ни потерянных, ни добродетельных женщин, а есть только одна свободная женщина; что он в светское и старое разделение не верит, а верует в один только «женский вопрос». Что, наконец, потерянная женщина в глазах его даже еще несколько выше, чем непотерянная. Это объяснение показалось весьма вероятным и было принято большинством дачников, тем более что подтверждалось ежедневными фактами. Правда, множество вещей оставались неразъясненными: рассказывали, что бедная девушка до того любила своего жениха, по некоторым — «обольстителя», что прибежала к нему на другой же день, как он ее бросил и когда он сидел у своей любовницы; другие уверяли, напротив, что она им же была нарочно завлечена к любовнице, единственно из нигилизма, то есть для срама и оскорбления. Как бы то ни было, а интерес события возрастал ежедневно, тем более что не оставалось ни малейшего сомнения в том, что скандальная свадьба действительно совершится.

И вот, если бы спросили у нас разъяснения,— не насчет нигилистических оттенков события, о, нет! — а просто лишь насчет того, в какой степени удовлетворяет назначенная свадьба действительным желаниям князя, в чем именно состоят в настоящую минуту эти желания, как именно определить состояние духа нашего героя в настоящий момент и прочее и прочее в этом же роде, то мы, признаемся, были бы в большом затруднении ответить. Мы знаем только одно, что свадьба назначена действительно, и что сам князь уполномочил Лебедева, Келлера и какого-то знакомого Лебедева, которого тот представил князю на этот случай, принять на себя все хлопоты по этому делу, как церковные, так и хозяйственные; что денег велено было не жалеть, что торопила и настаивала на свадьбе Настасья Филипповна; что шафером князя назначен был Келлер, по собственной его пламенной просьбе, а к

Настасье Филипповне — Бурдовский, принявший это назначение с восторгом, и что день свадьбы назначен был в начале июля. Но кроме этих, весьма точных обстоятельств, нам известны и еще некоторые факты, которые решительно нас сбивают с толку, именно потому, что противоречат с предыдущими. Мы крепко подозреваем, например, что, уполномочив Лебедева и прочих принять на себя все хлопоты, князь чуть ли не забыл в тот же самый день, что у него есть и церемониймейстер, и шафера, и свадьба, и что если он и распорядился поскорее, передав другим хлопоты, то единственно для того, чтоб уж самому и не думать об этом и даже, может быть, поскорее забыть об этом. О чем же думал он сам, в таком случае, о чем хотел помнить и к чему стремился? Сомнения нет тоже, что тут не было над ним никакого насилия (со стороны, например, Настасьи Филипповны), что Настасья Филипповна действительно непременно пожелала скорей свадьбы и что она свадьбу выдумала, а вовсе не князь; но князь согласился свободно; даже как-то рассеянно и вроде того, как если бы попросили у него какую-нибудь довольно обыкновенную вещь. Таких странных фактов пред нами очень много, но они не только не разъясняют, а, по нашему мнению, даже затемняют истолкование дела, сколько бы мы их ни приводили; но, однако, представим еще пример.

Так, нам совершенно известно, что в продолжение этих двух недель князь целые дни и вечера проводил вместе с Настасьей Филипповной, что она брала его с собой на прогулки, на музыку; что он разъезжал с нею каждый день в коляске; что он начинал беспокоиться о ней, если только час не видел ее (стало быть, по всем признакам, любил ее искренно); что слушал ее с тихою и кроткою улыбкой, о чем бы она ему ни говорила, по целым часам, и сам ничего почти не говоря. Но мы знаем также, что он, в эти же дни, несколько раз, и даже много раз, вдруг отправлялся к Епанчиным, не скрывая этого от Настасьи Филипповны, отчего та приходила чуть не в отчаяние. Мы знаем, что у Епанчиных, пока они оставались в Павловске, его не принимали, в свидании с Аглаей Ивановной ему постоянно отказывали; что он уходил, ни слова не говоря, а на другой же день шел к ним опять, как бы совершенно позабыв о вчерашнем отказе, и, разумеется, получал новый отказ. Нам известно также, что час спустя после того как Аглая Ивановна выбежала от Настасьи Филипповны, а, может, даже и раньше часу, князь уже был у Епанчиных, конечно, в уверенности найти там Аглаю, и что появление его у Епанчиных произвело тогда чрезвычайное смущение и страх в доме, потому что Аглая домой еще не возвратилась и от него только в первый раз и услышали, что она уходила с ним к Настасье Филипповне. Рассказывали, что Лизавета Прокофьевна, дочери и даже князь Щ. обошлись тогда с князем чрезвычайно жестко, неприязненно, и что тогда же и отказали

ему в горячих выражениях, и в знакомстве, и в дружбе, особенно когда Варвара Ардалионовна вдруг явилась к Лизавете Прокофьевне и объявила, что Аглая Ивановна уже с час как у ней в доме в положении ужасном, и домой, кажется, идти не хочет. Это последнее известие поразило Лизавету Прокофьевну более всего и было совершенно справедливо: выйдя от Настасьи Филипповны, Аглая действительно скорей согласилась бы умереть, чем показаться теперь на глаза своим домашним, и потому кинулась к Нине Александровне. Варвара же Ардалионовна тотчас нашла с своей стороны необходимым уведомить обо всем этом, нимало не медля, Лизавету Прокофьевну. И мать и дочери, все тотчас же бросились к Нине Александровне, за ними сам отец семейства, Иван Федорович, только что явившийся домой; за ними же поплелся и князь Лев Николаевич, несмотря на изгнание и жесткие слова; но, по распоряжению Варвары Ардалионовны, его и там не пустили к Аглае. Дело кончилось, впрочем, тем, что когда Аглая увидала мать и сестер, плачущих над нею и нисколько ее не упрекающих, то бросилась к ним в объятия и тотчас же воротилась с ними домой. Рассказывали, хотя слухи были и не совершенно точные, что Гавриле Ардалионовичу и тут ужасно не посчастливилось; что, улучив время, когда Варвара Ардалионовна бегала к Лизавете Прокофьевне, он, наедине с Аглаей, вздумал было заговорить о любви своей; что, слушая его, Аглая, несмотря на всю свою тоску и слезы, вдруг расхохоталась и вдруг предложила ему странный вопрос: сожжет ли он, в доказательство своей любви, свой палец сейчас же на свечке? Гаврила Ардалионович был, говорили, ошеломлен предложением и до того не нашелся, выразил до того чрезвычайное недоумение в своем лице, что Аглая расхохоталась на него как в истерике и убежала от него наверх к Нине Александровне, где уже и нашли ее родители. Этот анекдот дошел до князя чрез Ипполита, на другой день. Уже не встававший с постели Ипполит нарочно послал за князем, чтобы передать ему это известие. Как дошел до Ипполита этот слух, нам неизвестно, но когда и князь услышал о свечке и о пальце, то рассмеялся так, что даже удивил Ипполита; потом вдруг задрожал и залился слезами... Вообще он был в эти дни в большом беспокойстве и в необыкновенном смущении, неопределенном и мучительном. Ипполит утверждал прямо, что находит его не в своем уме; но этого еще никак нельзя было сказать утвердительно.

Представляя все эти факты и отказываясь их объяснить, мы вовсе не желаем оправдать нашего героя в глазах наших читателей. Мало того, мы вполне готовы разделить и самое негодование, которое он возбудил к себе даже в друзьях своих. Даже Вера Лебедева некоторое время негодовала на него; даже Коля негодовал; негодовал даже Келлер, до того времени как выбран был в шафе-

ра, не говоря уже о самом Лебедеве, который даже начал интриговать против князя, и тоже от негодования, и даже весьма искреннего. Но об этом мы скажем после. Вообще же мы вполне и в высшей степени сочувствуем некоторым, весьма сильным и даже глубоким по своей психологии словам Евгения Павловича, которые тот прямо и без церемонии высказал князю в дружеском разговоре, на шестой или на седьмой день после события у Настасьи Филипповны. Заметим кстати, что не только сами Епанчины, но и все принадлежавшие прямо или косвенно к дому Епанчиных нашли нужным совершенно порвать с князем всякие отношения. Князь Щ., например, даже отвернулся, встретив князя, и не отдал ему поклона. Но Евгений Павлович не побоялся скомпрометировать себя, посетив князя, несмотря на то, что опять стал бывать у Епанчиных каждый день и был принят даже с видимым усилением радушия. Он пришел к князю ровно на другой день после выезда всех Епанчиных из Павловска. Входя, он уже знал обо всех распространившихся в публике слухах, даже, может, и сам им отчасти способствовал. Князь ему ужасно обрадовался и тотчас же заговорил об Епанчиных; такое простодушное и прямое начало совершенно развязало и Евгения Павловича, так что и он без обиняков приступил прямо к делу.

Князь еще и не знал, что Епанчины выехали; он был поражен, побледнел; но чрез минуту покачал головой, в смущении и в раздумье, и сознался, что «так и должно было быть»; затем быстро осведомился «куда же выехали?».

Евгений Павлович между тем пристально его наблюдал, и все это, то есть быстрота вопросов, простодушие их, смущение и в то же время какая-то странная откровенность, беспокойство и возбуждение,— все это немало удивило его. Он, впрочем, любезно и подробно сообщил обо всем князю: тот многого еще не знал, и это был первый вестник из дома. Он подтвердил, что Аглая действительно была больна и трое суток почти напролет не спала все ночи, в жару; что теперь ей легче и она вне всякой опасности, но в положении нервном, истерическом... «Хорошо еще, что в доме полнейший мир! О прошедшем стараются не намекать даже и промежду себя, не только при Аглае. Родители уже переговорили между собой о путешествии за границу, осенью, тотчас после свадьбы Аделаиды; Аглая молча приняла первые заговаривания об этом». Он, Евгений Павлович, тоже, может быть, за границу поедет. Даже князь Щ., может быть, соберется, месяца на два, с Аделаидой, если позволят дела. Сам генерал останется. Переехали все теперь в Колмино, их имение, верстах в двадцати от Петербурга, где поместительный господский дом. Белоконская еще не уезжала в Москву и даже, кажется, нарочно осталась. Лизавета Прокофьевна сильно настаивала на том, что нет возможности оставаться в Пав-

ловске после всего происшедшего; он, Евгений Павлович, сообщал ей каждодневно о слухах по городу. На Елагинской даче тоже не нашли возможным поселиться.

— Ну, да и в самом деле,— прибавил Евгений Павлович,— согласитесь сами, можно ли выдержать... особенно зная все, что у вас здесь ежечасно делается, в вашем доме, князь, и после ежедневных ваших посещений *туда,* несмотря на отказы...

— Да, да, да, вы правы, я хотел видеть Аглаю Ивановну...— закачал опять головою князь.

— Ах, милый князь,— воскликнул вдруг Евгений Павлович с одушевлением и с грустью,— как могли вы тогда допустить... все, что произошло? Конечно, конечно, все это было для вас так неожиданно... Я согласен, что вы должны были потеряться и... не могли же вы остановить безумную девушку, это было не в ваших силах! Но ведь должны же вы были понять, до какой степени серьезно и сильно эта девушка... к вам относилась. Она не захотела делиться с другой, и вы... и вы могли покинуть и разбить такое сокровище!

— Да, да, вы правы; да, я виноват,— заговорил опять князь в ужасной тоске,— и знаете: ведь она одна, одна только Аглая смотрела так на Настасью Филипповну... Остальные никто ведь так не смотрели.

— Да тем-то и возмутительно все это, что тут и серьезного не было ничего! — вскричал Евгений Павлович, решительно увлекаясь.— Простите меня, князь, но... я... я думал об этом, князь; я много передумал, я знаю все, что происходило прежде, я знаю все, что было полгода назад, все, и — все это было не серьезно! Все это было одно только головное увлечение, картина, фантазия, дым, и только одна испуганная ревность совершенно неопытной девушки могла принять это за что-то серьезное!..

Тут Евгений Павлович, уже совершенно без церемонии, дал волю всему своему негодованию. Разумно и ясно и, повторяем, с чрезвычайною даже психологией, развернул он пред князем картину всех бывших собственных отношений князя к Настасье Филипповне. Евгений Павлович и всегда владел даром слова; теперь же достиг даже красноречия. «С самого начала,— провозгласил он,— началось у вас ложью; что ложью началось, то ложью и должно было кончиться; это закон природы. Я не согласен, и даже в негодовании, когда вас,— ну там кто-нибудь,— называют идиотом; вы слишком умны для такого названия; но вы и настолько странны, чтобы не быть, как все люди: согласитесь сами. Я решил, что фундамент всего происшедшего составился, во-первых, из вашей, так сказать, врожденной неопытности (заметьте, князь, это слово: "врожденной"), потом из необычайного вашего простодушия, далее из феноменального отсутствия чувства меры (в чем вы не-

сколько раз уже сознавались сами) — и, наконец, из огромной, наплывной массы головных убеждений, которые вы, со всею необычайною честностью вашею, принимаете до сих пор за убеждения истинные, природные и непосредственные! Согласитесь сами, князь, что в ваши отношения к Настасье Филипповне с самого начала легло нечто *условно-демократическое* (я выражаюсь для краткости), так сказать, обаяние "женского вопроса" (чтобы выразиться еще короче). Я ведь в точности знаю всю эту странную скандальную сцену, происшедшую у Настасьи Филипповны, когда Рогожин принес свои деньги. Хотите, я разберу вам вас самих как по пальцам, покажу вам вас же самого как в зеркале, до такой точности я знаю, в чем было дело и почему оно так обернулось! Вы, юноша, жаждали в Швейцарии родины, стремились в Россию, как в страну неведомую, но обетованную; прочли много книг о России, книг, может быть, превосходных, но для вас вредных; явились с первым пылом жажды деятельности, так сказать, набросились на деятельность! И вот, в тот же день вам передают грустную и подымающую сердце историю об обиженной женщине, передают вам, то есть рыцарю, девственнику, — и о женщине! В тот же день вы видите эту женщину; вы околдованы ее красотой, фантастическою, демоническою красотой (я ведь согласен, что она красавица). Прибавьте нервы, прибавьте вашу падучую, прибавьте нашу петербургскую, потрясающую нервы оттепель; прибавьте весь этот день в незнакомом и почти фантастическом для вас городе, день встреч и сцен, день неожиданных знакомств, день самой неожиданной действительности, день трех красавиц Епанчиных и в их числе Аглаи; прибавьте усталость, головокружение; прибавьте гостиную Настасьи Филипповны и тон этой гостиной, и... чего же вы могли ожидать от себя самого в ту минуту, как вы думаете?»

— Да, да; да, да,— качал головою князь, начиная краснеть,— да, это почти что ведь так; и, знаете, я действительно почти всю ночь накануне не спал, в вагоне, и всю запрошлую ночь, и очень был расстроен...

— Ну да, конечно, к чему же я и клоню? — продолжал горячась Евгений Павлович.— Ясное дело, что вы, так сказать, в упоении восторга, набросились на возможность заявить публично великодушную мысль, что вы, родовой князь и чистый человек, не считаете бесчестною женщину, опозоренную не по ее вине, а по вине отвратительного великосветского развратника. О, господи, да ведь это понятно! Но не в том дело, милый князь, а в том, была ли тут правда, была ли истина в вашем чувстве, была ли натура, или один только головной восторг? Как вы думаете: во храме прощена была женщина, такая же женщина, но ведь не сказано же ей было, что она хорошо делает, достойна всяких почестей и уважения? Разве не подсказал вам самим здравый смысл, чрез три ме-

сяца, в чем было дело? Да пусть она теперь невинна,— я настаивать не буду, потому что не хочу,— но разве все ее приключения могут оправдать такую невыносимую, бесовскую гордость ее, такой наглый, такой алчный ее эгоизм? Простите, князь, я увлекаюсь, но...

— Да, все это может быть; может быть, вы и правы...— забормотал опять князь,— она действительно очень раздражена, и вы правы, конечно, но...

— Сострадания достойна? Это хотите вы сказать, добрый мой князь? Но ради сострадания и ради ее удовольствия разве можно было опозорить другую, высокую и чистую девушку, унизить ее в *тех* надменных, в тех ненавистных глазах? Да до чего же после того будет доходить сострадание? Ведь это невероятное преувеличение! Да разве можно, любя девушку, так унизить ее пред ее же соперницей, бросить ее для другой, в глазах той же другой, после того как уже сами сделали ей честное предложение... а ведь вы сделали ей предложение, вы высказали ей это при родителях и при сестрах! После этого честный ли вы человек, князь, позвольте вас спросить? И... и разве вы не обманули божественную девушку, уверив, что любили ее?

— Да, да, вы правы, ах, я чувствую, что я виноват! — проговорил князь в невыразимой тоске.

— Да разве этого довольно? — вскричал Евгений Павлович в негодовании,— разве достаточно только вскричать: «Ах, я виноват!» Виноваты, а сами упорствуете! И где у вас сердце было тогда, ваше «христианское»-то сердце! Ведь вы видели же ее лицо в ту минуту: что она, меньше ли страдала, чем *та*, чем ваша другая, разлучница? Как же вы видели и допустили? Как?

— Да... ведь я и не допускал...— пробормотал несчастный князь.

— Как не допускали?

— Я, ей-богу, ничего не допускал. Я до сих пор не понимаю, как все это сделалось... я — я побежал тогда за Аглаей Ивановной, а Настасья Филипповна упала в обморок; а потом меня все не пускают до сих пор к Аглае Ивановне.

— Все равно! Вы должны были бежать за Аглаей, хотя бы другая и в обмороке лежала!

— Да... да, я должен был... она ведь умерла бы! Она бы убила себя, вы ее не знаете, и... все равно, я бы все рассказал потом Аглае Ивановне и... Видите, Евгений Павлович, я вижу, что вы, кажется, всего не знаете. Скажите, зачем меня не пускают к Аглае Ивановне? Я бы ей все объяснил. Видите: обе они говорили тогда не про то, совсем не про то, потому так у них и вышло... Я никак не могу вам этого объяснить; но я, может быть, и объяснил бы Аглае... Ах, боже мой, боже мой! Вы говорите про ее лицо в ту мину-

ту, как она тогда выбежала... о, боже мой, я помню!.. Пойдемте, пойдемте! — потащил он вдруг за рукав Евгения Павловича, торопливо вскакивая с места.

— Куда?

— Пойдемте к Аглае Ивановне, пойдемте сейчас!..

— Да ведь ее же в Павловске нет, я говорил, и зачем идти?

— Она поймет, она поймет! — бормотал князь, складывая в мольбе свои руки,— она поймет, что все это не *то*, а совершенно, совершенно другое!

— Как совершенно другое? Ведь вот вы все-таки женитесь? Стало быть упорствуете... Женитесь вы или нет?

— Ну да... женюсь; да, женюсь!

— Так как же не то?

— О нет, не то, не то! Это, это все равно что я женюсь, это ничего!

— Как все равно и ничего? Не пустяки же ведь и это? Вы женитесь на любимой женщине, чтобы составить ее счастье, а Аглая Ивановна это видит и знает, так как же все равно?

— Счастье? О, нет! Я так только просто женюсь; она хочет; да и что в том, что я женюсь: я... Ну, да это все равно! Только она непременно умерла бы. Я вижу теперь, что этот брак с Рогожиным был сумасшествие! Я *теперь* все понял, чего прежде не понимал, и видите: когда они обе стояли тогда одна против другой, то я тогда лица Настасьи Филипповны не мог вынести... Вы не знаете, Евгений Павлович (понизил он голос таинственно), я этого никому не говорил, никогда, даже Аглае, но я не могу лица Настасьи Филипповны выносить... Вы давеча правду говорили про этот, тогдашний вечер у Настасьи Филипповны; но тут было еще одно, что вы пропустили, потому что не знаете: я смотрел на *ее лицо*! Я еще утром, на портрете, не мог его вынести... Вот у Веры, у Лебедевой, совсем другие глаза; я... я боюсь ее лица! — прибавил он с чрезвычайным страхом.

— Боитесь?

— Да; она — сумасшедшая! — прошептал он бледнея.

— Вы наверно это знаете? — спросил Евгений Павлович с чрезвычайным любопытством.

— Да, наверно; теперь уже наверно; теперь, в эти дни, совсем уже наверно узнал!

— Что же вы над собой делаете? — в испуге вскричал Евгений Павлович,— стало быть, вы женитесь с какого-то страху? Тут понять ничего нельзя... Даже и не любя, может быть?

— О нет, я люблю ее всей душой! Ведь это... дитя; теперь она дитя, совсем дитя! О, вы ничего не знаете!

— И в то же время уверяли в своей любви Аглаю Ивановну?

— О да, да!

— Как же? Стало быть, обеих хотите любить?

— О да, да!

— Помилуйте, князь, что вы говорите, опомнитесь!

— Я без Аглаи... я непременно должен ее видеть! Я... я скоро умру во сне; я думал, что я нынешнюю ночь умру во сне. О, если б Аглая знала, знала бы все... то есть непременно все. Потому что тут надо знать все, это первое дело! Почему мы никогда не можем *всего* узнать про другого, когда это надо, когда этот другой виноват!... Я, впрочем, не знаю, что говорю, я запутался; вы ужасно поразили меня... И неужели у ней и теперь такое лицо, как тогда, когда она выбежала? О да, я виноват! Вероятнее всего, что я во всем виноват! Я еще не знаю, в чем именно, но я виноват... Тут есть что-то такое, чего я не могу вам объяснить, Евгений Павлович, и слов не имею, но... Аглая Ивановна поймет! О, я всегда верил, что она поймет.

— Нет, князь, не поймет! Аглая Ивановна любила как женщина, как человек, а не как... отвлеченный дух. Знаете ли что, бедный мой князь: вернее всего, что вы ни ту, ни другую никогда не любили!

— Я не знаю... может быть, может быть; вы во многом правы, Евгений Павлович. Вы чрезвычайно умны, Евгений Павлович; ах, у меня голова начинает опять болеть, пойдемте к ней! Ради бога, ради бога!

— Да говорю же вам, что ее в Павловске нет, она в Колмине.

— Поедемте в Колмино, поедемте сейчас!

— Это не-воз-можно! — протянул Евгений Павлович, вставая.

— Послушайте, я напишу письмо; отвезите письмо!

— Нет, князь, нет! Избавьте от таких поручений, не могу!

Они расстались. Евгений Павлович ушел с убеждениями странными: и по его мнению выходило, что князь несколько не в своем уме. И что такое значит это *лицо*, которого он боится и которое так любит! И в то же время ведь он действительно, может быть, умрет без Аглаи, так что, может быть, Аглая никогда и не узнает, что он ее до такой степени любит! Ха-ха! И как это любить двух? Двумя разными любвями какими-нибудь? Это интересно... бедный идиот! И что с ним будет теперь?

X

Князь, однако же, не умер до своей свадьбы, ни наяву, ни «во сне», как предсказал Евгению Павловичу. Может, он и в самом деле спал нехорошо и видел дурные сны; но днем, с людьми, казался добрым и даже довольным, иногда только очень задумчивым, но это когда бывал один. Со свадьбой спешили; она пришлась около недели спустя после посещения Евгения Павловича. При такой

поспешности, даже самые лучшие друзья князя, если б он имел таковых, должны были бы разочароваться в своих усилиях «спасти» несчастного сумасброда. Ходили слухи, будто бы в визите Евгения Павловича были отчасти виновны генерал Иван Федорович и супруга его, Лизавета Прокофьевна. Но если б они оба, по безмерной доброте своего сердца, и могли пожелать спасти жалкого безумца от бездны, то, конечно, должны были ограничиться только одною этою слабою попыткой; ни положение их, ни даже, может быть, сердечное расположение (что натурально) не могли соответствовать более серьезным усилиям. Мы упоминали, что даже и окружавшие князя отчасти восстали против него. Вера Лебедева, впрочем, ограничилась одними слезами наедине да еще тем, что больше сидела у себя дома и меньше заглядывала к князю, чем прежде. Коля в это время хоронил своего отца; старик умер от второго удара, дней восемь спустя после первого. Князь принял большое участие в горе семейства и в первые дни по нескольку часов проводил у Нины Александровны; был на похоронах и в церкви. Многие заметили, что публика, бывшая в церкви, с невольным шепотом встречала и провожала князя; то же бывало и на улицах и в саду: когда он проходил или проезжал, раздавался говор, называли его, указывали, слышалось имя Настасьи Филипповны. Ее искали и на похоронах, но на похоронах ее не было. Не было на похоронах и капитанши, которую успел-таки остановить и сократить вовремя Лебедев. Отпевание произвело на князя впечатление сильное и болезненное; он шепнул Лебедеву еще в церкви, в ответ на какой-то его вопрос, что в первый раз присутствует при православном отпевании и только в детстве помнит еще другое отпевание в какой-то деревенской церкви.

— Да-с, точно ведь и не тот самый человек лежит, во гробе-то-с, которого мы еще так недавно к себе председателем посадили, помните-с? — шепнул Лебедев князю.— Кого ищете-с?

— Так, ничего, мне показалось...

— Не Рогожина?

— Разве он здесь?

— В церкви-с.

— То-то мне как будто его глаза показались,— пробормотал князь в смущении,— да что ж... Зачем он? Приглашен?

— И не думали-с. Он ведь и не знакомый совсем-с. Здесь ведь всякие-с, публика-с. Да чего вы так изумились? Я его теперь часто встречаю; раза четыре уже в последнюю неделю здесь встречал, в Павловске.

— Я его ни разу еще не видал... с того времени,— пробормотал князь.

Так как Настасья Филипповна тоже ни разу еще не сообщала ему о том, что встречала «с тех пор» Рогожина, то князь и заключил те-

перь, что Рогожин нарочно почему-нибудь на глаза не кажется. Весь этот день он был в сильной задумчивости; Настасья же Филипповна была необыкновенно весела весь тот день и в тот вечер.

Коля, помирившийся с князем еще до смерти отца, предложил ему пригласить в шафера (так как дело было насущное и неотлагательное) Келлера и Бурдовского. Он ручался за Келлера, что тот будет вести себя прилично, а может быть, и «пригодится», а про Бурдовского и говорить было нечего, человек тихий и скромный. Нина Александровна и Лебедев замечали князю, что если уж решена свадьба, то, по крайней мере, зачем в Павловске, да еще в дачный, в модный сезон, зачем так публично? Не лучше ли в Петербурге, и даже на дому? Князю слишком ясно было, к чему клонились все эти страхи; но он ответил коротко и просто, что таково непременное желание Настасьи Филипповны.

Назавтра явился к князю и Келлер, повещенный о том, что он шафер. Прежде чем войти, он остановился в дверях и, как только увидел князя, поднял кверху правую руку с разогнутым указательным пальцем и прокричал в виде клятвы:

— Не пью!

Затем подошел к князю, крепко сжал и потряс ему обе руки и объявил, что, конечно, он вначале, как услышал, был враг, что и провозгласил за бильярдом, и не почему другому, как потому, что прочил за князя и ежедневно, с нетерпением друга, ждал видеть за ним не иначе как принцессу де Роган, или по крайней мере де Шабо; но теперь видит сам, что князь мыслит, по крайней мере, в двенадцать раз благороднее, чем все они «вместе взятые»! Ибо ему нужны не блеск, не богатство и даже не почесть, а только — истина! Симпатии высоких особ слишком известны, а князь слишком высок своим образованием, чтобы не быть высокою особой, говоря вообще! «Но сволочь и всякая шушера судят иначе; в городе, в домах, в собраниях, на дачах, на музыке, в распивочных, за бильярдами только и толку, только и крику, что о предстоящем событии. Слышал, что хотят даже шаривари устроить под окнами, и это, так сказать, в первую ночь! Если вам нужен, князь, пистолет честного человека, то с полдюжины благородных выстрелов готов обменять, прежде еще чем вы поднимитесь на другое утро с медового ложа». Советовал тоже, в опасении большого прилива жаждущих, по выходе из церкви, пожарную трубу на дворе приготовить; но Лебедев воспротивился: «Дом, говорит, на щепки разнесут, в случае пожарной-то трубы».

— Этот Лебедев интригует против вас, князь, ей-богу! Они хотят вас под казенную опеку взять, можете вы себе это представить, со всем, со свободною волей и с деньгами, то есть с двумя предметами, отличающими каждого из нас от четвероногого! Слышал, доподлинно слышал! Одна правда истинная!

Князь припомнил, что как будто и сам он что-то в этом роде уже слышал, но, разумеется, не обратил внимания. Он и теперь только рассмеялся и тут же опять забыл. Лебедев действительно некоторое время хлопотал; расчеты этого человека всегда зарождались как бы по вдохновению и от излишнего жару усложнялись, разветвлялись и удалялись от первоначального пункта во все стороны; вот почему ему мало что и удавалось в его жизни. Когда он пришел потом, почти уже в день свадьбы, к князю каяться (у него была непременная привычка приходить всегда каяться к тем, против кого он интриговал, и особенно если не удавалось), то объявил ему, что он рожден Талейраном и неизвестно каким образом остался лишь Лебедевым. Затем обнаружил пред ним всю игру, причем заинтересовал князя чрезвычайно. По словам его, он начал с того, что принялся искать покровительства высоких особ, на которых бы в случае надобности ему опереться, и ходил к генералу Ивану Федоровичу. Генерал Иван Федорович был в недоумении, очень желал добра «молодому человеку», но объявил, что «при всем желании спасти, ему здесь действовать неприлично». Лизавета Прокофьевна ни слышать, ни видеть его не захотела; Евгений Павлович и князь Щ. только руками отмахивались. Но он, Лебедев, духом не упал и советовался с одним тонким юристом, почтенным старичком, большим ему приятелем и почти благодетелем; тот заключил, что это дело совершенно возможное, лишь бы были свидетели компетентные умственного расстройства и совершенного помешательства, да при этом, главное, покровительство высоких особ. Лебедев не уныл и тут и однажды привел к князю даже доктора, тоже почтенного старичка, дачника, с Анной на шее, единственно для того, чтоб осмотреть, так сказать, самую местность, ознакомиться с князем и покамест не официально, но, так сказать, дружески сообщить о нем свое заключение. Князь помнил это посещение к нему доктора; он помнил, что Лебедев еще накануне приставал к нему, что он нездоров, и когда князь решительно отказался от медицины, то вдруг явился с доктором, под предлогом, что сейчас они оба от господина Терентьева, которому очень худо, и что доктор имеет кое-что сообщить о больном князю. Князь похвалил Лебедева и принял доктора с чрезвычайным радушием. Тотчас же разговорились о больном Ипполите; доктор попросил рассказать подробнее тогдашнюю сцену самоубийства, и князь совершенно увлек его своим рассказом и объяснением события. Заговорили о петербургском климате, о болезни самого князя, о Швейцарии, о Шнейдере. Изложением системы лечения Шнейдера и рассказами князь до того заинтересовал доктора, что тот просидел два часа; при этом курил превосходные сигары князя, а со стороны Лебедева явилась превкусная наливка, которую принесла Вера, причем доктор, женатый и семейный человек, пустился

перед Верой в особые комплименты, чем и возбудил в ней глубокое негодование. Расстались друзьями. Выйдя от князя, доктор сообщил Лебедеву, что если все таких брать в опеку, так кого же бы приходилось делать опекунами? На трагическое же изложение, со стороны Лебедева, предстоящего вскорости события доктор лукаво и коварно качал головой и, наконец, заметил, что не говоря уже о том «мало ли кто на ком женится», «обольстительная особа, сколько он, по крайней мере, слышал, кроме непомерной красоты, что уже одно может увлечь человека с состоянием, обладает и капиталами, от Тоцкого и от Рогожина, жемчугами и бриллиантами, шалями и мебелями, а потому предстоящий выбор не только не выражает со стороны дорогого князя, так сказать, особенной, бьющей в очи глупости, но даже свидетельствует о хитрости тонкого светского ума и расчета, а стало быть способствует к заключению противоположному и для князя совершенно приятному...» Эта мысль поразила и Лебедева; с тем он и остался, и теперь, прибавил он князю: «Теперь, кроме преданности и пролития крови, ничего от меня не увидите; с тем и явился».

Развлекал в эти последние дни князя и Ипполит; он слишком часто присылал за ним. Они жили недалеко, в маленьком домике; маленькие дети, брат и сестра Ипполита, были по крайней мере тем рады даче, что спасались от больного в сад; бедная же капитанша оставалась во всей его воле и вполне его жертвой; князь должен был их делить и мирить ежедневно, и больной продолжал называть его своею «нянькой», в то же время как бы не смея и не презирать его за его роль примирителя. Он был в чрезвычайной претензии на Колю за то, что почти не ходил к нему, оставаясь сперва с умиравшим отцом, а потом с овдовевшею матерью. Наконец он поставил целью своих насмешек ближайший брак князя с Настасьей Филипповной и кончил тем, что оскорбил князя и вывел его, наконец, из себя: тот перестал посещать его. Через два дня приплелась поутру капитанша и в слезах просила князя пожаловать к ним, не то тот ее сгложет. Она прибавила, что он желает открыть большой секрет. Князь пошел. Ипполит желал помириться, заплакал и после слез, разумеется, еще пуще озлобился, но только трусил выказать злобу. Он был очень плох, и по всему было видно, что теперь уже умрет скоро. Секрета не было никакого, кроме одних чрезвычайных, так сказать, задыхающихся от волнения (может быть, выделанного) просьб «беречься Рогожина». «Это человек такой, который своего не уступит; это, князь, не нам с вами чета: этот если захочет, то уж не дрогнет...» и пр. и пр. Князь стал расспрашивать подробнее, желал добиться каких-нибудь фактов; но фактов не было никаких, кроме личных ощущений и впечатлений Ипполита. К чрезвычайному удовлетворению своему, Ипполит кончил тем, что напугал, наконец, князя ужасно. Снача-

ла князь не хотел отвечать на некоторые особенные его вопросы и только улыбался на советы: «бежать даже хоть за границу; русские священники есть везде, и там обвенчаться можно». Но, наконец, Ипполит кончил следующею мыслью: «Я ведь боюсь лишь за Аглаю Ивановну: Рогожин знает, как вы ее любите; любовь за любовь; вы у него отняли Настасью Филипповну, он убьет Аглаю Ивановну; хоть она теперь и не ваша, а все-таки ведь вам тяжело будет, не правда ли?» Он достиг цели; князь ушел от него сам не свой.

Эти предостережения о Рогожине пришлись уже накануне свадьбы. В этот же вечер, в последний раз пред венцом, виделся князь и с Настасьей Филипповной; но Настасья Филипповна не в состоянии была успокоить его, и даже напротив, в последнее время все более и более усиливала его смущение. Прежде, то есть несколько дней назад, она, при свиданиях с ним, употребляла все усилия, чтобы развеселить его, боялась ужасно его грустного вида: пробовала даже петь ему; всего же чаще рассказывала ему все, что могла запомнить смешного. Князь всегда почти делал вид, что очень смеется, а иногда и в самом деле смеялся блестящему уму и светлому чувству, с которым она иногда рассказывала, когда увлекалась, а она увлекалась часто. Видя же смех князя, видя произведенное на него впечатление, она приходила в восторг и начинала гордиться собой. Но теперь грусть и задумчивость ее возрастали почти с каждым часом. Мнения его о Настасье Филипповне были установлены, не то, разумеется, все в ней показалось бы ему теперь загадочным и непонятным. Но он искренно верил, что она может еще воскреснуть. Он совершенно справедливо сказал Евгению Павловичу, что искренно и вполне ее любит, и в любви его к ней заключалось действительно как бы влечение к какому-то жалкому и больному ребенку, которого трудно и даже невозможно оставить на свою волю. Он не объяснял никому своих чувств к ней и даже не любил говорить об этом, если и нельзя было миновать разговора; с самою же Настасьей Филипповной они никогда, сидя вместе, не рассуждали «о чувстве», точно оба слово себе такое дали. В их обыкновенном, веселом и оживленном разговоре мог всякий участвовать. Дарья Алексеевна рассказывала потом, что все это время только любовалась и радовалась, на них глядя.

Но этот же взгляд его на душевное и умственное состояние Настасьи Филипповны избавлял его отчасти и от многих других недоумений. Теперь это была совершенно иная женщина, чем та, какую он знал месяца три назад. Он уже не задумывался теперь, например, почему она тогда бежала от брака с ним, со слезами, с проклятиями и упреками, а теперь настаивает сама скорее на свадьбе? «Стало быть, уж не боится, как тогда, что браком с ним составит его несчастье»,— думал князь. Такая быстро возродив-

шаяся уверенность в себе, на его взгляд, не могла быть в ней натуральною. Не из одной же ненависти к Аглае, опять-таки, могла произойти эта уверенность: Настасья Филипповна несколько глубже умела чувствовать. Не из страху же перед участью с Рогожиным? Одним словом, тут могли иметь участие и все эти причины вместе с прочим; но для него было всего яснее, что тут именно то, что он подозревает уже давно, и что бедная, больная душа не вынесла. Все это, хоть и избавляло, в своем роде, от недоумений, не могло дать ему ни спокойствия, ни отдыха во все это время. Иногда он как бы старался ни о чем не думать; на брак он, кажется, и в самом деле смотрел как бы на какую-то неважную формальность; свою собственную судьбу он слишком дешево ценил. Что же касается до возражений, до разговоров, вроде разговора с Евгением Павловичем, то тут он решительно бы ничего не мог ответить и чувствовал себя вполне некомпетентным, а потому и удалялся от всякого разговора в этом роде.

Он, впрочем, заметил, что Настасья Филипповна слишком хорошо знала и понимала, что значила для него Аглая. Она только не говорила, но он видел ее «лицо» в то время, когда она заставала его иногда, еще вначале, собирающимся к Епанчиным. Когда выехали Епанчины, она точно просияла. Как ни был он незаметлив и недогадлив, но его стала было беспокоить мысль, что Настасья Филипповна решится на какой-нибудь скандал, чтобы выжить Аглаю из Павловска. Шум и грохот по всем дачам о свадьбе был, конечно, отчасти поддержан Настасьей Филипповной для того, чтобы раздражить соперницу. Так как Епанчиных трудно было встретить, то Настасья Филипповна, посадив однажды в свою коляску князя, распорядилась проехать с ним мимо самых окон их дачи. Это было для князя ужасным сюрпризом; он спохватился, по своему обыкновению, когда уже нельзя было поправить дела и когда коляска уже проезжала мимо самых окон. Он не сказал ничего, но после этого был два дня сряду болен; Настасья Филипповна уже не повторяла более опыта. В последние дни пред свадьбой она сильно стала задумываться; она кончала всегда тем, что побеждала свою грусть и становилась опять весела, но как-то тише, не так шумно, не так счастливо весела, как прежде, еще так недавно. Князь удвоил свое внимание. Любопытно было ему, что она никогда не заговаривала с ним о Рогожине. Только раз, дней за пять до свадьбы, к нему вдруг прислали от Дарьи Алексеевны, чтоб он шел немедля, потому что с Настасьей Филипповной очень дурно. Он нашел ее в состоянии, похожем на совершенное помешательство: она вскрикивала, дрожала, кричала, что Рогожин спрятан в саду, у них же в доме, что она его сейчас видела, что он ее убьет ночью... зарежет! Целый день она не могла успокоиться. Но в тот же вечер, когда князь на минуту зашел к Ипполиту, капитанша, только

что возвратившаяся из города, куда ездила по каким-то своим делишкам, рассказала, что к ней в Петербурге заходил сегодня на квартиру Рогожин и расспрашивал о Павловске. На вопрос князя: когда именно заходил Рогожин, капитанша назвала почти тот самый час, в который видела будто бы его сегодня, в своем саду, Настасья Филипповна. Дело объяснялось простым миражем; Настасья Филипповна сама ходила к капитанше подробнее справиться и была чрезвычайно утешена.

Накануне свадьбы князь оставил Настасью Филипповну в большом одушевлении: из Петербурга прибыли от модистки завтрашние наряды, венчальное платье, головной убор и прочее и прочее. Князь и не ожидал, что она будет до такой степени возбуждена нарядами; сам он все хвалил, и от похвал его она становилась еще счастливее. Но она проговорилась: она уже слышала, что в городе негодование, и что действительно устраивается какими-то повесами шаривари, с музыкой и чуть ли не со стихами, нарочно сочиненными, и что все это чуть ли не одобряется и остальным обществом. И вот ей именно захотелось теперь еще больше поднять пред ними голову, затмить всех вкусом и богатством своего наряда,— «пусть же кричат, пусть свистят, если осмелятся!» От одной мысли об этом у ней сверкали глаза. Была у ней еще одна тайная мечта, но вслух она ее не высказывала: ей мечталось, что Аглая, или по крайней мере кто-нибудь из посланных ею, будет тоже в толпе, инкогнито, в церкви, будет смотреть и видеть, и она про себя приготовлялась. Рассталась она с князем вся занятая этими мыслями, часов в одиннадцать вечера; но еще не пробило и полуночи, как прибежали к князю от Дарьи Алексеевны, чтобы «шел скорее, что очень худо». Князь застал невесту запертою в спальне, в слезах, в отчаянии, в истерике; она долго ничего не слыхала, что говорили ей сквозь запертую дверь, наконец, отворила, впустила одного князя, заперла за ним дверь и пала пред ним на колени. (Так, по крайней мере, передавала потом Дарья Алексеевна, успевшая кое-что подглядеть.)

— Что я делаю! Что я делаю! Что я с тобой-то делаю! — восклицала она, судорожно обнимая его ноги.

Князь целый час просидел с нею; мы не знаем, про что они говорили. Дарья Алексеевна рассказывала, что они расстались через час примиренно и счастливо. Князь присылал еще раз в эту ночь осведомиться; но Настасья Филипповна уже заснула. Наутро, еще до пробуждения ее, являлись еще два посланные к Дарье Алексеевне от князя, и уже третьему посланному поручено было передать, что «около Настасьи Филипповны теперь целый рой модисток и парикмахеров из Петербурга, что вчерашнего и следу нет, что она занята, как только может быть занята своим нарядом такая красавица пред венцом, и что теперь, именно в сию минуту, идет чрез-

вычайный конгресс о том, что именно надеть из бриллиантов и как надеть?» Князь успокоился совершенно.

Весь последующий анекдот об этой свадьбе рассказывался людьми знающими следующим образом и, кажется, верно.

Венчание назначено было в восемь часов пополудни; Настасья Филипповна готова была еще в семь. Уже с шести часов начали мало-помалу, собираться толпы зевак кругом дачи Лебедева, но особенно у дома Дарьи Алексеевны; с семи часов начала наполняться и церковь. Вера Лебедева и Коля были в ужаснейшем страхе за князя; у них, однако, было много хлопот дома: они распоряжались в комнатах князя приемом и угощением. Впрочем, после венца почти и не предполагалось никакого собрания; кроме необходимых лиц, присутствующих при бракосочетании, приглашены были Лебедевым Птицыны, Ганя, доктор с Анной на шее, Дарья Алексеевна. Когда князь полюбопытствовал у Лебедева, для чего он вздумал позвать доктора, «почти вовсе незнакомого», то Лебедев самодовольно отвечал: «Орден на шее, почтенный человек-с, для виду-с» — и рассмешил князя. Келлер и Бурдовский, во фраках и в перчатках, смотрели очень прилично; только Келлер все еще смущал немного князя и своих доверителей некоторыми откровенными наклонностями к битве и смотрел на зевак, собиравшихся около дома, очень враждебно. Наконец, в половине восьмого, князь отправился в церковь, в карете. Заметим кстати, что он сам нарочно не хотел пропустить ни одного из принятых обычаев и обыкновений; все делалось гласно, явно, открыто и «как следует». В церкви, пройдя кое-как сквозь толпу, при беспрерывном шепоте и восклицаниях публики, под руководством Келлера, бросавшего направо и налево грозные взгляды, князь скрылся на время в алтаре, а Келлер отправился за невестой, где у крыльца дома Дарьи Алексеевны нашел толпу не только вдвое или втрое погуще, чем у князя, но даже, может быть, и втрое поразвязнее. Подымаясь на крыльцо, он услышал такие восклицания, что не мог выдержать и уже совсем было обратился к публике с намерением произнести надлежащую речь, но, к счастию, был остановлен Бурдовским и самою Дарьей Алексеевной, выбежавшею с крыльца; они подхватили и увели его силой в комнаты. Келлер был раздражен и торопился. Настасья Филипповна поднялась, взглянула еще раз в зеркало, заметила с «кривою» улыбкой, как передавал потом Келлер, что она «бледна как мертвец», набожно поклонилась образу и вышла на крыльцо. Гул голосов приветствовал ее появление. Правда, в первое мгновение послышался смех, аплодисменты, чуть не свистки; но через мгновение же раздались и другие голоса.

— Экая красавица! — кричали в толпе.

— Не она первая, не она и последняя!

— Венцом все прикрывается, дураки!

— Нет, вы найдите-ка такую раскрасавицу, ура! — кричали ближайшие.

— Княгиня! За такую княгиню я бы душу продал! — закричал какой-то канцелярист.— «Ценою жизни ночь мою!..»

Настасья Филипповна вышла действительно бледная, как платок, но большие черные глаза ее сверкали на толпу как раскаленные угли; этого-то взгляда толпа и не вынесла; негодование обратилось в восторженные крики. Уже отворились дверцы кареты, уже Келлер подал невесте руку, как вдруг она вскрикнула и бросилась с крыльца прямо в народ. Все провожавшие ее оцепенели от изумления, толпа раздвинулась пред нею, и в пяти, в шести шагах от крыльца показался вдруг Рогожин. Его-то взгляд и поймала в толпе Настасья Филипповна. Она добежала до него как безумная и схватила его за обе руки:

— Спаси меня! Увези меня! Куда хочешь, сейчас!

Рогожин подхватил ее почти на руки и чуть не поднес к карете. Затем, в один миг, вынул из портмоне сторублевую и протянул ее к кучеру.

— На железную дорогу, а поспеешь к машине, так еще сторублевую!

И сам прыгнул в карету за Настасьей Филипповной и затворил дверцы. Кучер не сомневался ни одной минуты и ударил по лошадям. Келлер сваливал потом на нечаянность: «Еще одна секунда, и я бы нашелся, я бы не допустил!» — объяснял он, рассказывая приключение. Он было схватил с Бурдовским другой экипаж, тут же случившийся, и бросился было в погоню, но раздумал, уже дорогой, что «во всяком случае поздно! Силой не воротишь».

— Да и князь не захочет! — решил потрясенный Бурдовский.

А Рогожин и Настасья Филипповна доскакали до станции вовремя. Выйдя из кареты, Рогожин, почти садясь на машину, успел еще остановить одну проходившую девушку в старенькой, но приличной темной мантильке и в фуляровом платочке, накинутом на голову.

— Угодно пятьдесят рублев за вашу мантилью! — протянул он вдруг деньги девушке. Покамест та успела изумиться, пока еще собиралась понять, он уже всунул ей в руку пятидесятирублевую, снял мантилью с платком и накинул все на плечи и на голову Настасье Филипповне. Слишком великолепный наряд ее бросался в глаза, остановил бы внимание в вагоне, и потом только поняла девушка, для чего у нее купили, с таким для нее барышом, ее старую, ничего не стоившую рухлядь.

Гул о приключении достиг в церковь с необыкновенною быстротой. Когда Келлер проходил к князю, множество людей, совершенно ему незнакомых, бросались его расспрашивать. Шел громкий говор, покачиванья головами, даже смех; никто не выходил из

церкви, все ждали, как примет известие жених. Он побледнел, но принял известие тихо, едва слышно проговорив: «Я боялся, но я все-таки не думал, что будет это...»,— и потом, помолчав немного, прибавил: «Впрочем... в ее состоянии... это совершенно в порядке вещей». Такой отзыв уже сам Келлер называл потом «беспримерною философией». Князь вышел из церкви, по-видимому, спокойный и бодрый; так, по крайней мере, многие заметили и потом рассказывали. Казалось, ему очень хотелось добраться до дому и остаться поскорей одному, но этого ему не дали. Вслед за ним вошли в комнату некоторые из приглашенных, между прочими Птицын, Гаврила Ардалионович и с ними доктор, который тоже не располагал уходить. Кроме того, весь дом был буквально осажден праздною публикой. Еще с террасы услыхал князь, как Келлер и Лебедев вступили в жестокий спор с некоторыми, совершенно неизвестными, хотя на вид и чиновными людьми, во что бы то ни стало желавшими войти на террасу. Князь подошел к спорившим, осведомился в чем дело, и, вежливо отстранив Лебедева и Келлера, деликатно обратился к одному уже седому и плотному господину, стоявшему на ступеньках крыльца во главе нескольких других желающих, и пригласил его сделать честь удостоить его своим посещением. Господин законфузился, но, однако ж, пошел; за ним другой, третий. Из всей толпы выискалось человек семь-восемь посетителей, которые и вошли, стараясь сделать это как можно развязнее, но более охотников не оказалось, и вскоре, в толпе же, стали осуждать выскочек. Вошедших усадили, начался разговор, стали подавать чай,— все это чрезвычайно прилично, скромно, к некоторому удивлению вошедших. Было, конечно, несколько попыток подвеселить разговор и навести на «надлежащую» тему; произнесено было несколько нескромных вопросов, сделано несколько «лихих» замечаний. Князь отвечал всем так просто и радушно и в то же время с таким достоинством, с такою доверчивостью к порядочности своих гостей, что нескромные вопросы затихли сами собой. Мало-помалу разговор начал становиться почти серьезным. Один господин, привязавшись к слову, вдруг поклялся, в чрезвычайном негодовании, что не продаст имения, что бы там ни случилось; что, напротив, будет ждать и выждет и что «предприятия лучше денег»; «вот-с, милостивый государь, в чем состоит моя экономическая система-с, можете узнать-с». Так как он обращался к князю, то князь с жаром похвалил его, несмотря на то, что Лебедев шептал ему на ухо, что у этого господина ни кола ни двора и никогда никакого имения не бывало. Прошел почти час, чай отпили, и после чаю гостям стало, наконец, совестно еще дольше сидеть. Доктор и седой господин с жаром простились с князем; да и все прощались с жаром и с шумом. Произносились пожелания и мнения, вроде того, что «горевать нечего и что, может быть,

оно все этак и к лучшему», и прочее. Были, правда, попытки спросить шампанского, но старшие из гостей остановили младших. Когда все разошлись, Келлер нагнулся к Лебедеву и сообщил ему: «Мы бы с тобой затеяли крик, подрались, осрамились, притянули бы полицию; а он вон друзей себе приобрел новых, да еще каких; я их знаю!» Лебедев, который был довольно «готов», вздохнул и произнес: «Утаил от премудрых и разумных и открыл младенцам, я это говорил еще и прежде про него, но теперь прибавляю, что и самого младенца Бог сохранил, спас от бездны, он и все святые его!»

Наконец, около половины одиннадцатого, князя оставили одного, у него болела голова; всех позже ушел Коля, помогший ему переменить подвенечное одеяние на домашнее платье. Они расстались горячо. Коля не распространялся о событии, но обещался прийти завтра пораньше. Он же засвидетельствовал потом, что князь ни о чем не предупредил его в последнее прощанье, стало быть, и от него даже скрывал свои намерения. Скоро во всем доме почти никого не осталось: Бурдовский ушел к Ипполиту, Келлер и Лебедев куда-то отправились. Одна только Вера Лебедева оставалась еще некоторое время в комнатах, приводя их наскоро из праздничного в обыкновенный вид. Уходя, она заглянула к князю. Он сидел за столом, опершись на него обоими локтями и закрыв руками голову. Она тихо подошла к нему и тронула его за плечо; князь в недоумении посмотрел на нее и почти с минуту как бы припоминал, но припомнив и все сообразив, он вдруг пришел в чрезвычайное волнение. Все, впрочем, разрешилось чрезвычайною и горячею просьбой к Вере, чтобы завтра утром, с первой машиной, в семь часов, постучались к нему в комнату. Вера обещалась; князь начал с жаром просить ее никому об этом не сообщать; она пообещалась и в этом, и, наконец, когда уже совсем отворила дверь, чтобы выйти, князь остановил ее еще в третий раз, взял за руки, поцеловал их, потом поцеловал ее самое в лоб и с каким-то «необыкновенным» видом выговорил ей: «До завтра!» Так, по крайней мере, передавала потом Вера. Она ушла в большом за него страхе. Поутру она несколько ободрилась, когда в восьмом часу по уговору постучалась в его дверь и возвестила ему, что машина в Петербург уйдет через четверть часа; ей показалось, что он отворил ей совершенно бодрый, и даже с улыбкой. Он почти не раздевался ночью, но, однако же, спал. По его мнению, он мог возвратиться сегодня же. Выходило, стало быть, что одной ей он нашел возможным и нужным сообщить в эту минуту, что отправляется в город.

XI

Час спустя он уже был в Петербурге, а в десятом часу звонил к Рогожину. Он вошел с парадного входа, и ему долго не отворяли.

Наконец, отворилась дверь из квартиры старушки Рогожиной, и показалась старенькая, благообразная служанка.

— Парфена Семеновича дома нет,— возвестила она из двери,— вам кого?

— Парфена Семеновича.

— Их дома нет-с.

Служанка осматривала князя с диким любопытством.

— По крайней мере, скажите, ночевал ли он дома? И... один ли воротился вчера?

Служанка продолжала смотреть, но не отвечала.

— Не было ли с ним, вчера, здесь... ввечеру... Настасьи Филипповны?

— А позвольте спросить, вы кто таков сами изволите быть?

— Князь Лев Николаевич Мышкин, мы очень хорошо знакомы.

— Их нету дома-с.

Служанка потупила глаза.

— А Настасьи Филипповны?

— Ничего я этого не знаю-с.

— Постойте, постойте! Когда же воротится?

— И этого не знаем-с.

Двери затворились.

Князь решил зайти через час. Заглянув во двор, он повстречал дворника.

— Парфен Семенович дома?

— Дома-с.

— Как же мне сейчас сказали, что нет дома?

— У него сказали?

— Нет, служанка, от матушки ихней, а к Парфену Семеновичу я звонил, никто не отпер.

— Может, и вышел,— решил дворник,— ведь не сказывается. А иной раз и ключ с собой унесет, по три дня комнаты запертые стоят.

— Вчера ты наверно знаешь, что дома был?

— Был. Иной раз с парадного хода зайдет, и не увидишь.

— А Настасьи Филипповны с ним вчера не было ли?

— Этого не знаем-с. Жаловать-то не часто изволит; кажись бы, знамо было, кабы пожаловала.

Князь вышел и некоторое время ходил в раздумье по тротуару. Окна комнат, занимаемых Рогожиным, были все заперты; окна половины, занятой его матерью, почти все были отперты; день был ясный, жаркий; князь перешел через улицу на противоположный тротуар и остановился взглянуть еще раз на окна: не только они были заперты, но почти везде были опущены белые сторы.

Он стоял с минуту и — странно — вдруг ему показалось, что край одной сторы приподнялся, и мелькнуло лицо Рогожина,

мелькнуло и исчезло в то же мгновение. Он подождал еще и уже решил было идти и звонить опять, но раздумал и отложил на час: «А кто знает, может, оно только померещилось...»

Главное, он спешил теперь в Измайловский полк, на бывшую недавно квартиру Настасьи Филипповны. Ему известно было, что она, переехав, по его просьбе, три недели назад из Павловска, поселилась в Измайловском полку у одной бывшей своей доброй знакомой, вдовы учительши, семейной и почтенной дамы, которая отдавала от себя хорошую меблированную квартиру, чем почти и жила. Вероятнее всего, что Настасья Филипповна, переселяясь опять в Павловск, оставила квартиру за собой; по крайней мере, весьма вероятно, что она ночевала в этой квартире, куда, конечно, доставил ее вчера Рогожин. Князь взял извозчика. Дорогой ему пришло в голову, что отсюда и следовало бы начать, потому что невероятно, чтоб она приехала прямо ночью к Рогожину. Тут припомнились ему и слова дворника, что Настасья Филипповна не часто изволила жаловать. Если и без того не часто, то с какой стати теперь останавливаться у Рогожина? Ободряя себя этими утешениями, князь приехал, наконец, в Измайловский полк ни жив ни мертв.

К совершенному поражению его, у учительши не только не слыхали ни вчера, ни сегодня о Настасье Филипповне, но на него самого выбежали смотреть как на чудо. Все многочисленное семейство учительши,— все девочки и погодки, начиная с пятнадцати до семи лет,— высыпало вслед за матерью и окружило его, разинув на него рты. За ними вышла тощая, желтая тетка их, в черном платке, и, наконец, показалась бабушка семейства, старенькая старушка в очках. Учительша очень просила войти и сесть, что князь и исполнил. Он тотчас догадался, что им совершенно известно, кто он такой, и что они отлично знают, что вчера должна была быть его свадьба, и умирают от желания расспросить и о свадьбе, и о том чуде, что вот он спрашивает у них о той, которая должна бы быть теперь не иначе как с ним вместе, в Павловске, но деликатятся. В кратких чертах он удовлетворил их любопытство насчет свадьбы. Начались удивления, ахи и вскрикивания, так что он принужден был рассказать почти и все остальное, в главных чертах, разумеется. Наконец совет премудрых и волновавшихся дам решил, что надо непременно и прежде всего достучаться к Рогожину и узнать от него обо всем положительно. Если же его нет дома (о чем узнать наверно), или он не захочет сказать, то съездить в Семеновский полк, к одной даме, немке, знакомой Настасьи Филипповны, которая живет с матерью: может быть, Настасья Филипповна, в своем волнении и желая скрыться, заночевала у них. Князь встал совершенно убитый; они рассказывали потом, что он «ужасно как побледнел»; действительно, у него почти подсекались

ноги. Наконец сквозь ужасную трескотню голосов, он различил, что они уговариваются действовать вместе с ним и спрашивают его городской адрес. Адреса у него не оказалось; посоветовали где-нибудь остановиться в гостинице. Князь подумал и дал адрес своей прежней гостиницы, той самой, где с ним недель пять назад был припадок. Затем отправился опять к Рогожину.

На этот раз не только не отворили у Рогожина, но не отворилась даже и дверь в квартиру старушки. Князь сошел к дворнику и насилу отыскал его на дворе; дворник был чем-то занят и едва отвечал, едва даже глядел, но все-таки объявил положительно, что Парфен Семенович «вышел с самого раннего утра, уехал в Павловск и домой сегодня не будет».

— Я подожду; может, он к вечеру будет?

— А может и неделю не будет, кто его знает.

— Стало быть, все-таки ночевал же сегодня?

— Ночевал-то он ночевал...

Все это было подозрительно и нечисто. Дворник, очень могло быть, успел в этот промежуток получить новые инструкции: давеча даже был болтлив, а теперь просто отворачивается. Но князь решил еще раз зайти часа через два и даже постеречь у дома, если надо будет, а теперь оставалась еще надежда у немки, и он поскакал в Семеновский полк.

Но у немки его даже и не поняли. По некоторым промелькнувшим словечкам он даже мог догадаться, что красавица немка, недели две тому назад, рассорилась с Настасьей Филипповной, так что во все эти дни о ней ничего не слыхала и всеми силами давала теперь знать, что и не интересуется слышать,«хотя бы она за всех князей в мире вышла». Князь поспешил выйти. Ему пришла между прочим, мысль, что она, может быть, уехала, как тогда, в Москву, а Рогожин, разумеется, за ней, а может, и с ней. «По крайней мере хоть какие-нибудь следы отыскать!» Он вспомнил, однако, что ему нужно остановиться в трактире, и поспешил на Литейную; там тотчас же отвели ему нумер. Коридорный осведомился, не желает ли он закусить; он в рассеяньи ответил, что желает, и, спохватившись, ужасно бесился на себя, что закуска задержала его лишних полчаса, и только потом догадался, что его ничто не связывало оставить поданную закуску и не закусывать. Странное ощущение овладело им в этом тусклом и душном коридоре, ощущение, мучительно стремившееся осуществиться в какую-то мысль, но он все не мог догадаться, в чем состояла эта новая напрашивающаяся мысль. Он вышел, наконец, сам не свой из трактира; голова его кружилась; но — куда, однако же, ехать? Он бросился опять к Рогожину.

Рогожин не возвращался; на звон не отпирали; он позвонил к старушке Рогожиной; отперли и тоже объявили, что Парфена Се-

меновича нет и, может, дня три не будет. Смущало князя то, что его, по-прежнему, с таким диким любопытством осматривали. Дворника, на этот раз, он совсем не нашел. Он вышел, как давеча, на противоположный тротуар, смотрел на окна и ходил на мучительном зное с полчаса, может, и больше; на этот раз ничего не шевельнулось, окна не отворились, белые сторы были неподвижны. Ему окончательно пришло в голову, что наверно и давеча ему только так померещилось, что даже и окна, по всему видно, были так тусклы и так давно не мыты, что трудно было бы различить, если бы даже и в самом деле посмотрел кто-нибудь сквозь стекла. Обрадовавшись этой мысли, он поехал опять в Измайловский полк к учительше.

Там его уже ждали. Учительша уже перебывала в трех, в четырех местах, и даже заезжала к Рогожину: ни слуху ни духу. Князь выслушал молча, вошел в комнату, сел на диван и стал смотреть на всех, как бы не понимая, о чем ему говорят. Странно: то был он чрезвычайно заметлив, то вдруг становился рассеян до невозможности. Все семейство заявляло потом, что это был «на удивление» странный человек в этот день, так что «может, тогда уже все и обозначилось». Он, наконец, поднялся и попросил, чтоб ему показали комнаты Настасьи Филипповны.

Это были две большие, светлые, высокие комнаты, весьма порядочно меблированные и не дешево стоившие. Все эти дамы рассказывали потом, что князь осматривал в комнатах каждую вещь, увидал на столике развернутую книгу из библиотеки для чтения, французский роман «Madame Bovary», заметил, загнул страницу, на которой была развернута книга, попросил позволения взять ее с собой и тут же, не выслушав возражения, что книга из библиотеки, положил ее себе в карман. Сел у отворенного окна и, увидав ломберный столик, исписанный мелом, спросил: кто играл? Они рассказали ему, что играла Настасья Филипповна каждый вечер с Рогожиным в дураки, в преферанс, в мельники, в вист, в свои козыри,— во все игры, и что карты завелись только в самое последнее время, по переезде из Павловска в Петербург, потому что Настасья Филипповна все жаловалась, что скучно, и что Рогожин сидит целые вечера, молчит и говорить ни о чем не умеет, и часто плакала; и вдруг на другой вечер Рогожин вынимает из кармана карты; тут Настасья Филипповна рассмеялась, и стали играть. Князь спросил: где карты, в которые играли? Но карт не оказалось; карты привозил всегда сам Рогожин в кармане, каждый день по новой колоде, и потом увозил с собой.

Эти дамы посоветовали съездить еще раз к Рогожину и еще раз покрепче постучаться, но не сейчас, а уже вечером: «Может, что и окажется». Сама же учительша вызвалась между тем съездить до вечера в Павловск к Дарье Алексеевне: не знают ли там чего?

Князя просили пожаловать часов в десять вечера, во всяком случае, чтобы сговориться на завтрашний день. Несмотря на все утешения и обнадеживания, совершенное отчаяние овладело душой князя. В невыразимой тоске дошел он пешком до своего трактира. Летний, пыльный, душный Петербург давил его как в тисках; он толкался между суровым или пьяным народом, всматривался без цели в лица, может быть, прошел гораздо больше, чем следовало; был уже совсем почти вечер, когда он вошел в свой нумер. Он решил отдохнуть немного и потом идти опять к Рогожину, как советовали, сел на диван, облокотился обоими локтями на стол и задумался.

Бог знает сколько времени, и бог знает, о чем он думал. Много он боялся и чувствовал, больно и мучительно, что боится ужасно. Пришла ему в голову Вера Лебедева; потом подумалось, что, может, Лебедев и знает что-нибудь в этом деле, а если не знает, то может узнать и скорее и легче его. Потом вспомнился ему Ипполит и то, что Рогожин к Ипполиту ездил. Потом вспомнился сам Рогожин: недавно на отпевании, потом в парке, потом — вдруг здесь в коридоре, когда он спрятался тогда в углу и ждал его с ножом. Глаза его теперь ему вспоминались, глаза, смотревшие тогда в темноте. Он вздрогнул: давешняя напрашивавшаяся мысль вдруг вошла ему теперь в голову.

Она состояла отчасти в том, что если Рогожин в Петербурге, то хотя бы он и скрывался на время, а все-таки непременно кончит тем, что придет к нему, к князю, с добрым или с дурным намерением, пожалуй, хоть как тогда. По крайней мере, если бы Рогожину почему-нибудь понадобилось прийти, то ему некуда больше идти как сюда, опять в этот же коридор. Адреса он не знает; стало быть, очень может подумать, что князь в прежнем трактире остановился; по крайней мере, попробует здесь поискать... если уж очень понадобится. А почем знать, может быть, ему и очень понадобится?

Так он думал, и мысль эта казалась ему почему-то совершенно возможною. Он ни за что бы не дал себе отчета, если бы стал углубляться в свою мысль: «Почему, например, он так вдруг понадобится Рогожину и почему даже быть того не может, чтоб они, наконец, не сошлись?» Но мысль была тяжелая: «Если ему хорошо, то он не придет, — продолжал думать князь, — он скорее придет, если ему нехорошо; а ему ведь наверно нехорошо...»

Конечно, при таком убеждении, следовало бы ждать Рогожина дома, в нумере; но он как будто не мог вынести своей новой мысли, вскочил, схватил шляпу и побежал. В коридоре было уже почти совсем темно: «Что если он вдруг теперь выйдет из того угла и остановит меня у лестницы?» — мелькнуло ему, когда он подходил к знакомому месту. Но никто не вышел. Он спустился под ворота, вышел на тротуар, подивился густой толпе народа, высыпавшего с закатом солнца на улицу (как и всегда в Петербурге в канику-

лярное время), и пошел по направлению к Гороховой. В пятидесяти шагах от трактира, на первом перекрестке, в толпе, кто-то вдруг тронул его за локоть и вполголоса проговорил над самым ухом:

— Лев Николаевич, ступай, брат, за мной, надоть.

Это был Рогожин.

Странно: князь начал ему вдруг, с радости, рассказывать, лепеча и почти не договаривая слов, как он ждал его сейчас в коридоре, в трактире.

— Я там был,— неожиданно ответил Рогожин,— пойдем.

Князь удивился ответу, но он удивился спустя уже по крайней мере две минуты, когда сообразил. Сообразив ответ, он испугался и стал приглядываться к Рогожину. Тот уже шел почти на полшага впереди, смотря прямо пред собой и не взглядывая ни на кого из встречных, с машинальною осторожностию давая всем дорогу.

— Зачем же ты меня в нумере не спросил... коли был в трактире? — спросил вдруг князь.

Рогожин остановился, посмотрел на него, подумал, и, как бы совсем не поняв вопроса, сказал:

— Вот что, Лев Николаевич, ты иди здесь прямо, вплоть до дому, знаешь? А я пойду по той стороне. Да поглядывай, чтобы нам вместе...

Сказав это, он перешел через улицу, ступил на противоположный тротуар, поглядел, идет ли князь, и, видя, что он стоит и смотрит на него во все глаза, махнул ему рукой к стороне Гороховой, и пошел, поминутно поворачиваясь взглянуть на князя и приглашая его за собой. Он был, видимо, ободрен, увидев, что князь понял его и не переходит к нему с другого тротуара. Князю пришло в голову, что Рогожину надо кого-то высмотреть и не пропустить на дороге, и что потому он и перешел на другой тротуар. «Только зачем же он не сказал, кого смотреть надо?» Так прошли они шагов пятьсот, и вдруг князь начал почему-то дрожать; Рогожин хоть и реже, но не переставал оглядываться; князь не выдержал и поманил его рукой. Тот тотчас же перешел к нему через улицу.

— Настасья Филипповна разве у тебя?

— У меня.

— А давеча это ты в окно на меня из-за гардины смотрел?

— Я...

— Как же ты...

Но князь не знал, что спросить дальше и чем окончить вопрос; к тому же сердце его так стучало, что и говорить трудно было. Рогожин тоже молчал и смотрел на него по-прежнему, то есть как бы в задумчивости.

— Ну, я пойду,— сказал он вдруг, приготовляясь опять переходить,— а ты себе иди. Пусть мы на улице розно будем... так нам лучше... по розным сторонам... увидишь.

Когда, наконец, они повернули с двух разных тротуаров в Гороховую и стали подходить к дому Рогожина, у князя стали опять подсекаться ноги, так что почти трудно было уж и идти. Было уже около десяти часов вечера. Окна на половине старушки стояли, как и давеча, отпертые, у Рогожина запертые, и в сумерках как бы еще заметнее становились на них белые спущенные сторы. Князь подошел к дому с противоположного тротуара; Рогожин же с своего тротуара ступил на крыльцо и махал ему рукой. Князь перешел к нему на крыльцо.

— Про меня и дворник не знает теперь, что я домой воротился. Я сказал давеча, что в Павловск еду, и у матушки тоже сказал,— прошептал он с хитрою и почти довольною улыбкой,— мы войдем, и не услышит никто.

В руках его уже был ключ. Поднимаясь по лестнице, он обернулся и погрозил князю, чтобы тот шел тише, тихо отпер дверь в свои комнаты, впустил князя, осторожно прошел за ним, запер дверь за собой и положил ключ в карман.

— Пойдем,— произнес он шепотом.

Он еще с тротуара на Литейной заговорил шепотом. Несмотря на все свое наружное спокойствие, он был в какой-то глубокой внутренней тревоге. Когда вошли в залу, пред самым кабинетом, он подошел к окну и таинственно поманил к себе князя:

— Вот ты как давеча ко мне зазвонил, я тотчас здесь и догадался, что это ты самый и есть; подошел к дверям на цыпочках и слышу, что ты с Пафнутьевной разговариваешь, а я уж той чем свет заказал: если ты, или от тебя кто, али кто бы то ни был начнет ко мне стукать, так чтобы не сказываться ни под каким видом, а особенно если ты сам придешь меня спрашивать, и имя твое ей объявил. А потом, как ты вышел, мне пришло в голову: что если он тут теперь стоит и выглядывает али сторожит чего с улицы? Подошел я к этому самому окну, отвернул гардину-то, глядь, а ты там стоишь, прямо на меня смотришь... Вот как это дело было.

— Где же... Настасья Филипповна? — выговорил князь задыхаясь.

— Она... здесь,— медленно проговорил Рогожин, как бы капельку выждав ответить.

— Где же?

Рогожин поднял глаза на князя и пристально посмотрел на него:

— Пойдем...

Он все говорил шепотом и не торопясь, медленно и, по-прежнему, как-то странно задумчиво. Даже когда про стору рассказывал, то как будто рассказом своим хотел высказать что-то другое, несмотря на всю экспансивность рассказа.

Вошли в кабинет. В этой комнате, с тех пор как был в ней князь, произошла некоторая перемена: через всю комнату протянута была

зеленая, штофная, шелковая занавеска, с двумя входами по обоим концам, и отделяла от кабинета альков, в котором устроена была постель Рогожина. Тяжелая занавеска была спущена и входы закрыты. Но в комнате было очень темно: летние «белые» петербургские ночи начинали темнеть, и если бы не полная луна, то в темных комнатах Рогожина, с опущенными сторами, трудно было бы что-нибудь разглядеть. Правда, можно было еще различать лица, хотя очень неотчетливо. Лицо Рогожина было бледно, по обыкновению; глаза смотрели на князя пристально, с сильным блеском, но как-то неподвижно.

— Ты бы свечку зажег? — сказал князь.

— Нет, не надо,— ответил Рогожин, и, взяв князя за руку, нагнул его к стулу; сам сел напротив, придвинув стул так, что почти соприкасался с князем коленями. Между ними, несколько сбоку, приходился маленький, круглый столик.— Садись, посидим пока! — сказал он, словно уговаривая посидеть. С минуту молчали.— Я так и знал, что ты в эфтом же трактире остановишься,— заговорил он, как иногда, приступая к главному разговору, начинают с посторонних подробностей, не относящихся прямо к делу,— как в коридор зашел, то и подумал: а ведь, может, и он сидит, меня ждет теперь, как я его, в эту же самую минуту? У учительши-то был?

— Был,— едва мог выговорить князь от сильного биения сердца.

— Я и об том подумал. Еще разговор пойдет, думаю... а потом еще думаю: я его ночевать сюда приведу, так чтоб эту ночь вместе...

— Рогожин! Где Настасья Филипповна? — прошептал вдруг князь и встал, дрожа всеми членами. Поднялся и Рогожин.

— Там,— шепнул он, кивнув головой на занавеску.

— Спит? — шепнул князь.

Опять Рогожин посмотрел на него пристально, как давеча.

— Аль уж пойдем!.. Только ты... ну, да пойдем!

Он приподнял портьеру, остановился и оборотился опять к князю.

— Входи! — кивал он за портьеру, приглашая проходить вперед. Князь прошел.

— Тут темно,— сказал он.

— Видать! — пробормотал Рогожин.

— Я чуть вижу... кровать.

— Подойди ближе-то,— тихо предложил Рогожин.

Князь шагнул еще ближе, шаг, другой, и остановился. Он стоял и всматривался минуту или две; оба, во все время, у кровати ничего не выговорили; у князя билось сердце так, что, казалось, слышно было в комнате, при мертвом молчании комнаты. Но он уже пригляделся, так что мог различать всю постель; на ней кто-то спал,

совершенно неподвижным сном; не слышно было ни малейшего шелеста, ни малейшего дыхания. Спавший был закрыт с головой белою простыней, но члены как-то неясно обозначались; видно только было, по возвышению, что лежит протянувшись человек. Кругом, в беспорядке, на постели, в ногах, у самой кровати на креслах, на полу даже, разбросана была снятая одежда, богатое белое шелковое платье, цветы, ленты. На маленьком столике, у изголовья, блистали снятые и разбросанные бриллианты. В ногах сбиты были в комок какие-то кружева, и на белевших кружевах, выглядывая из-под простыни, обозначался кончик обнаженной ноги; он казался как бы выточенным из мрамора и ужасно был неподвижен. Князь глядел и чувствовал, что чем больше он глядит, тем еще мертвее и тише становится в комнате. Вдруг зажужжала проснувшаяся муха, пронеслась над кроватью и затихла у изголовья. Князь вздрогнул.

— Выйдем,— тронул его за руку Рогожин.

Они вышли, уселись опять в тех же стульях, опять один против другого. Князь дрожал все сильнее и сильнее и не спускал своего вопросительного взгляда с лица Рогожина.

— Ты вот, я замечаю, Лев Николаевич, дрожишь,— проговорил, наконец, Рогожин,— почти так, как когда с тобой бывает твое расстройство, помнишь, в Москве было? Или как раз было перед припадком. И не придумаю, что теперь с тобой буду делать...

Князь вслушивался, напрягая все силы, чтобы понять, и все спрашивая взглядом.

— Это ты? — выговорил он, наконец, кивнув головой на портьеру.

— Это... я...— прошептал Рогожин и потупился.

Помолчали минут пять.

— Потому,— стал продолжать вдруг Рогожин, как будто и не прерывал речи,— потому как если твоя болезнь, и припадок, и крик теперь, то, пожалуй, с улицы аль со двора кто и услышит, и догадаются, что в квартире ночуют люди; станут стучать, войдут... потому они все думают, что меня дома нет. Я и свечи не зажег, чтобы с улицы аль со двора не догадались. Потому, когда меня нет, я и ключи увожу, и никто без меня по три, по четыре дня и прибирать не входит, таково мое заведение. Так вот, чтоб не узнали, что мы заночуем...

— Постой,— сказал князь,— я давеча и дворника и старушку спрашивал: не ночевала ли Настасья Филипповна? Они, стало быть, уже знают.

— Знаю, что ты спрашивал. Я Пафнутьевне сказал, что вчера заехала Настасья Филипповна и вчера же в Павловск уехала, а что у меня десять минут пробыла. И не знают они, что она ночевала — никто. Вчера мы так же вошли, совсем потихоньку, как сегодня с

тобой. Я еще про себя подумал дорогой, что она не захочет потихоньку входить,— куды! Шепчет, на цыпочках прошла, платье обобрала около себя, чтобы не шумело, в руках несет, мне сама пальцем на лестнице грозит,— это она тебя все пужалась. На машине как сумасшедшая совсем была, все от страху, и сама сюда ко мне пожелала заночевать; я думал сначала на квартиру к учительше везти,— куды! «Там он меня, говорит, чем свет разыщет, а ты меня скроешь, а завтра чем свет в Москву», а потом в Орел куда-то хотела. И ложилась, все говорила, что в Орел поедем...

— Постой; что же ты теперь, Парфен, как же хочешь?

— Да вот сумлеваюсь на тебя, что ты все дрожишь. Ночь мы здесь заночуем, вместе. Постели, окромя той, тут нет, а я так придумал, что с обоих диванов подушки снять, и вот тут, у занавески, рядом и постелю, и тебе и мне, так чтобы вместе. Потому, коли войдут, станут осматривать али искать, ее тотчас увидят и вынесут. Станут меня опрашивать, я расскажу, что я, и меня тотчас отведут. Так пусть уж она теперь тут лежит подле нас, подле меня и тебя...

— Да, да! — с жаром подтвердил князь.

— Значит, не признаваться и выносить не давать.

— Н-ни за что! — решил князь.— ни-ни-ни!

— Так я и порешил, чтоб ни за что, парень, и никому не отдавать! Ночью проночуем тихо. Я сегодня только на час один и из дому вышел, поутру, а то все при ней был. Да потом повечеру за тобой пошел. Боюсь вот тоже еще, что душно и дух пойдет. Слышишь ты дух или нет?

— Может, и слышу, не знаю. К утру наверно пойдет.

— Я ее клеенкой накрыл, хорошею, американскою клеенкой, а сверх клеенки уж простыней, и четыре склянки ждановской жидкости откупоренной поставил, там и теперь стоят.

— Это как там... в Москве?

— Потому, брат, дух. А она ведь как лежит... К утру, как посветлеет, посмотри. Что ты, и встать не можешь? — с боязливым удивлением спросил Рогожин, видя, что князь так дрожит, что и подняться не может.

— Ноги не идут,— пробормотал князь,— это от страху, это я знаю... Пройдет страх, я и стану...

— Постой же, я пока нам постель постелю, и пусть уж ты ляжешь... и я с тобой... и будем слушать... потому я, парень, еще не знаю... я, парень, еще всего не знаю теперь, так и тебе заранее говорю, чтобы ты все про это заранее знал...

Бормоча эти неясные слова, Рогожин начал стлать постели. Видно было, что он эти постели, может, еще утром про себя придумал. Прошлую ночь он сам ложился на диване. Но на диване двоим рядом нельзя было лечь, а он непременно хотел постлать теперь рядом, вот почему и стащил теперь, с большими усилиями,

через всю комнату, к самому входу за занавеску, разнокалиберные подушки с обоих диванов. Кое-как постель устроилась; он подошел к князю, нежно и восторженно взял его под руку, приподнял и подвел к постели; но оказалось, что князь и сам мог ходить; значит, «страх проходил»; и, однако же, он все-таки продолжал дрожать.

— Потому оно, брат,— начал вдруг Рогожин, уложив князя на левую лучшую подушку и протянувшись сам с правой стороны, не раздеваясь и закинув обе руки за голову,— ноне жарко, и известно, дух... Окна я отворять боюсь; а есть у матери горшки с цветами, много цветов, и прекрасный от них такой дух; думал перенести, да Пафнутьевна догадается, потому она любопытная.

— Она любопытная...— поддакнул князь.

— Купить разве...— пукетами и цветами всю обложить? Да думаю, жалко будет, парень, в цветах-то!

— Слушай...— спросил князь, точно запутываясь, точно отыскивая, что именно надо спросить и как бы тотчас же забывая,— слушай, скажи мне: чем ты ее? Ножом? Тем самым?

— Тем самым...

— Стой еще! Я, Парфен, еще хочу тебя спросить... я много буду тебя спрашивать, обо всем... но ты лучше мне сначала скажи, с первого начала, чтоб я знал: хотел ты убить ее перед свадьбой, перед венцом, на паперти, ножом? Хотел или нет?

— Не знаю, хотел или нет...— сухо ответил Рогожин, как бы даже несколько подивившись на вопрос и не уразумевая его.

— Ножа с собой никогда в Павловск не привозил?

— Никогда не привозил. Я про нож этот только вот что могу тебе сказать, Лев Николаевич,— прибавил он помолчав,— я его из запертого ящика ноне утром достал, потому что все дело было утром, в четвертом часу. Он у меня все в книге заложен лежал... И... и... и вот еще, что мне чудно: совсем нож как бы на полтора... али даже на два вершка прошел... под самую левую грудь... а крови всего этак с пол-ложки столовой на рубашку вытекло; больше не было...

— Это, это, это,— приподнялся вдруг князь в ужасном волнении,— это, это я знаю, это я читал... это внутреннее излияние называется... Бывает, что даже и ни капли. Это коль удар прямо в сердце...

— Стой, слышишь? — быстро перебил вдруг Рогожин и испуганно присел на подстилке.— Слышишь?

— Нет! — так же быстро и испуганно выговорил князь, смотря на Рогожина.

— Ходит! Слышишь? В зале...

Оба стали слушать.

— Слышу,— твердо прошептал князь.

— Ходит?

— Ходит.

— Затворить али нет дверь?

— Затворить...

Двери затворили, и оба опять улеглись. Долго молчали.

— Ах, да! — зашептал вдруг князь прежним взволнованным и торопливым шепотом, как бы поймав опять мысль и ужасно боясь опять потерять ее, даже привскочив на постели,— да... я ведь хотел... эти карты! карты... Ты, говорят, с нею в карты играл?

— Играл,— сказал Рогожин после некоторого молчания.

— Где же... карты?

— Здесь карты...— выговорил Рогожин, помолчав еще больше,— вот...

Он вынул игранную, завернутую в бумажку, колоду из кармана и протянул к князю. Тот взял, но как бы с недоумением. Новое, грустное и безотрадное чувство сдавило ему сердце; он вдруг понял, что в эту минуту, и давно уже, все говорит не о том, о чем надо ему говорить, и делает все не то, что бы надо делать; и что вот эти карты, которые он держит в руках и которым он так обрадовался, ничему, ничему не помогут теперь. Он встал и всплеснул руками, Рогожин лежал неподвижно и как бы не слыхал и не видал его движения; но глаза его ярко блистали сквозь темноту и были совершенно открыты и неподвижны. Князь сел на стул и стал со страхом смотреть на него. Прошло с полчаса; вдруг Рогожин громко и отрывисто закричал и захохотал, как бы забыв, что надо говорить шепотом:

— Офицера-то, офицера-то... помнишь, как она офицера того, на музыке, хлестнула, помнишь, ха, ха, ха! Еще кадет... кадет... кадет подскочил...

Князь вскочил со стула в новом испуге. Когда Рогожин затих (а он вдруг затих), князь тихо нагнулся к нему, уселся с ним рядом и с сильно бьющимся сердцем, тяжело дыша, стал его рассматривать. Рогожин не поворачивал к нему головы и как бы даже и забыл о нем. Князь смотрел и ждал; время шло, начинало светать. Рогожин изредка и вдруг начинал иногда бормотать, громко, резко и бессвязно; начинал вскрикивать и смеяться; князь протягивал к нему тогда свою дрожащую руку и тихо дотрогивался до его головы, до его волос, гладил их и гладил его щеки... больше он ничего не мог сделать! Он сам опять начал дрожать, и опять как бы вдруг отнялись его ноги. Какое-то совсем новое ощущение томило его сердце бесконечною тоской. Между тем совсем рассвело; наконец, он прилег на подушку, как бы совсем уже в бессилии и в отчаянии, и прижался своим лицом к бледному и неподвижному лицу Рогожина; слезы текли из его глаз на щеки Рогожина, но, может быть, он уж и не слыхал тогда своих собственных слез и уже не знал ничего о них...

По крайней мере, когда, уже после многих часов, отворилась дверь и вошли люди, то они застали убийцу в полном беспамятстве

и горячке. Князь сидел подле него неподвижно на подстилке и тихо, каждый раз при взрывах крика или бреда больного, спешил провесть дрожащею рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его. Но он уже ничего не понимал, о чем его спрашивали, и не узнавал вошедших и окруживших его людей. И если бы сам Шнейдер явился теперь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика и пациента, то и он, припомнив то состояние, в котором бывал иногда князь в первый год лечения своего в Швейцарии, махнул бы теперь рукой и сказал бы, как тогда: «Идиот!»

XII
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учительша, прискакав в Павловск, явилась прямо к расстроенной со вчерашнего дня Дарье Алексеевне и, рассказав ей все, что знала, напугала ее окончательно. Обе дамы немедленно решились войти в сношения с Лебедевым, тоже бывшим в волнении, в качестве друга своего жильца и в качестве хозяина квартиры. Вера Лебедева сообщила все, что знала. По совету Лебедева, решили отправиться в Петербург всем троим для скорейшего предупреждения того, «что очень могло случиться». Таким образом вышло, что на другое уже утро, часов около одиннадцати, квартира Рогожина была отперта при полиции, при Лебедеве, при дамах и при братце Рогожина, Семене Семеновиче Рогожине, квартировавшем во флигеле. Успеху дела способствовало всего более показание дворника, что он видел вчера ввечеру Парфена Семеновича с гостем, вошедших с крыльца и как бы потихоньку. После этого показания уже не усомнились сломать двери, не отворявшиеся по звонку.

Рогожин выдержал два месяца воспаления в мозгу, а когда выздоровел, — следствие и суд. Он дал во всем прямые, точные и совершенно удовлетворительные показания, вследствие которых князь, с самого начала, от суда был устранен. Рогожин был молчалив во время своего процесса. Он не противоречил ловкому и красноречивому своему адвокату, ясно и логически доказывавшему, что совершившееся преступление было следствием воспаления мозга, начавшегося еще задолго до преступления, вследствие огорчений подсудимого. Но он ничего не прибавил от себя в подтверждение этого мнения и по-прежнему, ясно и точно, подтвердил и припомнил все малейшие обстоятельства совершившегося события. Он был осужден, с допущением облегчительных обстоятельств, в Сибирь, в каторгу, на пятнадцать лет, и выслушал свой приговор сурово, безмолвно и «задумчиво». Все огромное состояние его, кроме некоторой, сравнительно говоря, весьма малой доли, истраченной в первоначальном кутеже, перешло к братцу

его, Семену Семеновичу, к большому удовольствию сего последнего. Старушка Рогожина продолжает жить на свете и как будто вспоминает иногда про любимого сына Парфена, но неясно: Бог спас ее ум и сердце от сознания ужаса, посетившего грустный дом ее.

Лебедев, Келлер, Ганя, Птицын и многие другие лица нашего рассказа живут по-прежнему, изменились мало, и нам почти нечего о них передать. Ипполит скончался в ужасном волнении и несколько раньше, чем ожидал, недели две спустя после смерти Настасьи Филипповны. Коля был глубоко поражен происшедшим; он окончательно сблизился с своею матерью. Нина Александровна боится за него, что он не по летам задумчив; из него, может быть, выйдет человек деловой. Между прочим, отчасти по его старанию, устроилась и дальнейшая судьба князя: давно уже отличил он, между всеми лицами, которых узнал в последнее время, Евгения Павловича Радомского; он первый пошел к нему и передал ему все подробности совершившегося события, какие знал, и о настоящем положении князя. Он не ошибся: Евгений Павлович принял самое горячее участие в судьбе несчастного «идиота», и, вследствие его стараний и попечений, князь попал опять за границу в швейцарское заведение Шнейдера. Сам Евгений Павлович, выехавший за границу, намеревающийся очень долго прожить в Европе и откровенно называющий себя «совершенно лишним человеком в России», — довольно часто, по крайней мере, в несколько месяцев раз, посещает своего больного друга у Шнейдера; но Шнейдер все более и более хмурится и качает головой; он намекает на совершенное повреждение умственных органов; он не говорит еще утвердительно о неизлечимости, но позволяет себе самые грустные намеки. Евгений Павлович принимает это очень к сердцу, а у него есть сердце, что он доказал уже тем, что получает письма от Коли и даже отвечает иногда на эти письма. Но, кроме того, стала известна и еще одна странная черта его характера; и так как эта черта хорошая, то мы и поспешим ее обозначить: после каждого посещения Шнейдерова заведения, Евгений Павлович, кроме Коли, посылает и еще одно письмо одному лицу в Петербург, с самым подробнейшим и симпатичным изложением состояния болезни князя в настоящий момент. Кроме самого почтительного изъявления преданности, в письмах этих начинают иногда появляться (и все чаще и чаще) некоторые откровенные изложения взглядов, понятий, чувств, — одним словом, начинает проявляться нечто похожее на чувства дружеские и близкие. Это лицо, состоящее в переписке (хотя все-таки довольно редкой) с Евгением Павловичем и заслужившее настолько его внимание и уважение, есть Вера Лебедева. Мы никак не могли узнать в точности, каким образом могли завязаться подобные отношения; завязались они, конечно, по поводу все той же истории с князем, когда Вера Лебедева была поражена

горестью до того, что даже заболела; но при каких подробностях произошло знакомство и дружество, нам неизвестно. Упомянули же мы об этих письмах наиболее с тою целью, что в некоторых из них заключались сведения о семействе Епанчиных и, главное, об Аглае Ивановне Епанчиной. Про нее уведомлял Евгений Павлович в одном довольно нескладном письме из Парижа, что она, после короткой и необычайной привязанности к одному эмигранту, польскому графу, вышла вдруг за него замуж, против желания своих родителей, если и давших, наконец, согласие, то потому, что дело угрожало каким-то необыкновенным скандалом. Затем, почти после полугодового молчания, Евгений Павлович уведомил свою корреспондентку, опять в длинном и подробном письме, о том, что он, во время последнего своего приезда к профессору Шнейдеру, в Швейцарию, съехался у него со всеми Епанчиными (кроме, разумеется, Ивана Федоровича, который, по делам, остается в Петербурге) и князем Щ. Свидание было странное; Евгения Павловича встретили они все с каким-то восторгом; Аделаида и Александра сочли себя почему-то даже благодарными ему за его «ангельское попечение о несчастном князе». Лизавета Прокофьевна, увидав князя в его больном и униженном состоянии, заплакала от всего сердца. По-видимому, ему уже все было прощено. Князь Щ. сказал при этом несколько счастливых и умных истин. Евгению Павловичу показалось, что он и Аделаида еще не совершенно сошлись друг с другом; но в будущем казалось неминуемым совершенно добровольное и сердечное подчинение пылкой Аделаиды уму и опыту князя Щ. К тому же и уроки, вынесенные семейством, страшно на нее подействовали, и, главное, последний случай с Аглаей и эмигрантом-графом. Все, чего трепетало семейство, уступая этому графу Аглаю, все уже осуществилось в полгода, с прибавкой таких сюрпризов, о которых даже и не мыслили. Оказалось, что этот граф даже и не граф, а если и эмигрант действительно, то с какою-то темною и двусмысленною историей. Пленил он Аглаю необычайным благородством своей истерзавшейся страданиями по отчизне души, и до того пленил, что та, еще до выхода замуж, стала членом какого-то заграничного комитета по восстановлению Польши и сверх того попала в католическую исповедальню какого-то знаменитого патера, овладевшего ее умом до исступления. Колоссальное состояние графа, о котором он представлял Лизавете Прокофьевне и князю Щ. почти неопровержимые сведения, оказалось совершенно небывалым. Мало того, в какие-нибудь полгода после брака граф и друг его, знаменитый исповедник, успели совершенно поссорить Аглаю с семейством, так что те ее несколько месяцев уже и не видали... Одним словом, много было бы чего рассказать, но Лизавета Прокофьевна, ее дочери и даже князь Щ. были до того уже поражены всем этим «террором», что

даже боялись и упоминать об иных вещах в разговоре с Евгением Павловичем, хотя и знали, что он и без них хорошо знает историю последних увлечений Аглаи Ивановны. Бедной Лизавете Прокофьевне хотелось бы в Россию и, по свидетельству Евгения Павловича, она желчно и пристрастно критиковала ему все заграничное: «Хлеба нигде испечь хорошо не умеют, зиму, как мыши в подвале, мерзнут,— говорила она,— по крайней мере вот здесь, над этим бедным, хоть по-русски поплакала»,— прибавила она, в волнении указывая на князя, совершенно ее не узнававшего. «Довольно увлекаться-то, пора и рассудку послужить. И все это, и вся эта заграница, и вся эта ваша Европа, все это одна фантазия, и все мы, за границей, одна фантазия... помяните мое слово, сами увидите!» — заключила она чуть не гневно, расставаясь с Евгением Павловичем.

ИГРОК

(Из записок молодого человека)

Глава I

Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже три дня как были в Рулетенбурге. Я думал, что они и бог знает как ждут меня, однако ж ошибся. Генерал смотрел чрезвычайно независимо, поговорил со мной свысока и отослал меня к сестре. Было ясно, что они где-нибудь перехватили денег. Мне показалось даже, что генералу несколько совестно глядеть на меня. Марья Филипповна была в чрезвычайных хлопотах и поговорила со мною слегка; деньги, однако ж, приняла, сосчитала и выслушала весь мой рапорт. К обеду ждали Мезенцова, французика и еще какого-то англичанина; как водится, деньги есть, так тотчас и званый обед, по-московски. Полина Александровна, увидев меня, спросила, что я так долго? и, не дождавшись ответа, ушла куда-то. Разумеется, она сделала это нарочно. Нам, однако ж, надо объясниться. Много накопилось.

Мне отвели маленькую комнатку, в четвертом этаже отеля. Здесь известно, что я принадлежу к *свите генерала*. По всему видно, что они успели-таки дать себя знать. Генерала считают здесь все богатейшим русским вельможей. Еще до обеда он успел, между другими поручениями, дать мне два тысячефранковых билета разменять. Я разменял их в конторе отеля. Теперь на нас будут смотреть, как на миллионеров, по крайней мере, целую неделю. Я хотел было взять Мишу и Надю и пойти с ними гулять, но с лестницы меня позвали к генералу; ему заблагорассудилось осведомиться, куда я их поведу. Этот человек решительно не может смотреть мне прямо в глаза; он бы и очень хотел, но я каждый раз отвечаю ему таким пристальным, то есть непочтительным, взглядом, что он как будто конфузится. В весьма напыщенной речи, насаживая одну фразу на другую и, наконец, совсем запутавшись, он дал мне понять, чтоб я гулял с детьми где-нибудь, подальше от воксала, в парке. Наконец, он рассердился совсем и круто прибавил:

— А то вы, пожалуй, их в воксал, на рулетку, поведете. Вы меня извините, — прибавил он, — но я знаю, вы еще довольно легкомысленны и способны, пожалуй, играть. Во всяком случае, хоть я и не ментор ваш, да и роли такой на себя брать не желаю, но, по крайней мере, имею право пожелать, чтобы вы, так сказать, меня-то не окомпрометировали...

— Да ведь у меня и денег нет, — отвечал я спокойно, — чтобы проиграться, нужно их иметь.

— Вы их немедленно получите, — ответил генерал, покраснев немного, порылся у себя в бюро, справился в книжке, и оказалось, что за ним моих денег около ста двадцати рублей.

— Как же мы сосчитаемся, — заговорил он, — надо переводить на талеры. Да вот возьмите сто талеров, круглым счетом, — остальное, конечно, не пропадет.

Я молча взял деньги.

— Вы, пожалуйста, не обижайтесь моими словами, вы так обидчивы... Если я вам заметил, то я, так сказать, вас предостерег и уж, конечно, имею на то некоторое право...

Возвращаясь пред обедом с детьми домой, я встретил целую кавалькаду. Наши ездили осматривать какие-то развалины. Две превосходные коляски, великолепные лошади. Mademoiselle Blanche[1] в одной коляске с Марьей Филипповной и Полиной; французик, англичанин и наш генерал верхами. Прохожие останавливались и смотрели; эффект был произведен; только генералу несдобровать. Я рассчитал, что с четырьмя тысячами франков, которые я привез, да прибавив сюда то, что они, очевидно, успели перехватить, у них теперь есть семь или восемь тысяч франков; этого слишком мало для m-lle Blanche.

M-lle Blanche стоит тоже в нашем отеле, вместе с матерью; где-то тут же и наш французик. Лакеи называют его «m-r le comte»[2], мать m-lle Blanche называется «m-me la comtesse»[3]; что ж, может быть, и в самом деле они comte et comtesse[4].

Я так и знал, что m-r le comte меня не узнает, когда мы соединимся за обедом. Генерал, конечно, и не подумал бы нас знакомить или хоть меня ему отрекомендовать; а m-r le comte сам бывал в России и знает, как невелика птица — то, что они называют outchitel[5]. Он, впрочем, меня очень хорошо знает. Но, признаться, я и к обеду-то явился непрошеным; кажется, генерал позабыл

---

[1] мадемуазель Бланш (*фр.*).
[2] господин граф (*фр.*).
[3] госпожа графиня (*фр.*).
[4] граф и графиня (*фр.*).
[5] учитель (*якобы фр.*).

распорядиться, а то бы, наверно, послал меня обедать за table d'hôt'ом [1]. Я явился сам, так что генерал посмотрел на меня с неудовольствием. Добрая Марья Филипповна тотчас же указала мне место; но встреча с мистером Астлеем меня выручила, и я поневоле оказался принадлежащим к их обществу.

Этого странного англичанина я встретил сначала в Пруссии, в вагоне, где мы сидели друг против друга, когда я догонял наших; потом я столкнулся с ним, въезжая во Францию, наконец — в Швейцарии; в течение этих двух недель — два раза, и вот теперь я вдруг встретил его уже в Рулетенбурге. Я никогда в жизни не встречал человека более застенчивого; он застенчив до глупости и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе не глуп. Впрочем, он очень милый и тихий. Я заставил его разговориться при первой встрече в Пруссии. Он объявил мне, что был нынешним летом на Норд-Капе и что весьма хотелось ему быть на Нижегородской ярмарке. Не знаю, как он познакомился с генералом; мне кажется, что он беспредельно влюблен в Полину. Когда она вошла, он вспыхнул, как зарево. Он был очень рад, что за столом я сел с ним рядом, и, кажется, уже считает меня своим закадычным другом.

За столом французик тонировал необыкновенно; он со всеми небрежен и важен. А в Москве, я помню, пускал мыльные пузыри. Он ужасно много говорил о финансах и о русской политике. Генерал иногда осмеливался противоречить, но скромно, единственно настолько, чтобы не уронить окончательно своей важности.

Я был в странном настроении духа; разумеется, я еще до половины обеда успел задать себе мой обыкновенный и всегдашний вопрос: зачем я валандаюсь с этим генералом и давным-давно не отхожу от них? Изредка я взглядывал на Полину Александровну; она совершенно не примечала меня. Кончилось тем, что я разозлился и решился грубить.

Началось тем, что я вдруг, ни с того ни с сего, громко и без спросу ввязался в чужой разговор. Мне, главное, хотелось поругаться с французиком. Я оборотился к генералу и вдруг совершенно громко и отчетливо, и, кажется, перебив его, заметил, что нынешним летом русским почти совсем нельзя обедать в отелях за табльдотами. Генерал устремил на меня удивленный взгляд.

— Если вы человек себя уважающий,— пустился я далее,— то непременно напроситесь на ругательства и должны выносить чрезвычайные щелчки. В Париже и на Рейне, даже в Швейцарии, за табльдотами так много полячишек и им сочувствующих фран-

[1] общим столом (*фр.*).

цузиков, что нет возможности вымолвить слова, если вы только русский.

Я проговорил это по-французски. Генерал смотрел на меня в недоумении, не зная, рассердиться ли ему, или только удивиться, что я так забылся.

— Значит, вас кто-нибудь и где-нибудь проучил,— сказал французик небрежно и презрительно.

— Я в Париже сначала поругался с одним поляком,— ответил я,— потом с одним французским офицером, который поляка поддерживал. А затем уж часть французов перешла на мою сторону, когда я им рассказал, как я хотел плюнуть в кофе монсиньора.

— Плюнуть? — спросил генерал с важным недоумением и даже осматриваясь. Французик оглядывал меня недоверчиво.

— Точно так-с,— отвечал я.— Так как я целых два дня был убежден, что придется, может быть, отправиться по нашему делу на минутку в Рим, то и пошел в канцелярию посольства святейшего отца в Париже, чтоб визировать паспорт. Там меня встретил аббатик, лет пятидесяти, сухой и с морозом в физиономии, и, выслушав меня вежливо, но чрезвычайно сухо, просил подождать. Я хоть и спешил, но, конечно, сел ждать, вынул «Opinion nationale»[1] и стал читать страшнейшее ругательство против России. Между тем я слышал, как чрез соседнюю комнату кто-то прошел к монсиньору; я видел, как мой аббат раскланивался. Я обратился к нему с прежнею просьбою; он еще суше попросил меня опять подождать. Немного спустя вошел кто-то еще незнакомый, но за делом,— какой-то австриец, его выслушали и тотчас же проводили наверх. Тогда мне стало очень досадно; я встал, подошел к аббату и сказал ему решительно, что так как монсиньор принимает, то может кончить и со мною. Вдруг аббат отшатнулся от меня с необычайным удивлением. Ему просто непонятно стало, каким это образом смеет ничтожный русский равнять себя с гостями монсиньора? Самым нахальным тоном, как бы радуясь, что может меня оскорбить, обмерил он меня с ног до головы и вскричал: «Так неужели ж вы думаете, что монсиньор бросит для вас свой кофе?» Тогда и я закричал, но еще сильнее его: «Так знайте ж, что мне наплевать на кофе вашего монсиньора! Если вы сию же минуту не кончите с моим паспортом, то я пойду к нему самому».

«Как! в то же время, когда у него сидит кардинал!» — закричал аббатик, с ужасом от меня отстраняясь, бросился к дверям и расставил крестом руки, показывая вид, что скорее умрет, чем меня пропустит.

---

[1] «Народное мнение» (*фр.*).

Тогда я ответил ему, что я еретик и варвар, «que je suis hérétique et barbare» и что мне все эти архиепископы, кардиналы, монсиньоры и проч., и проч.— все равно. Одним словом, я показал вид, что не отстану. Аббат поглядел на меня с бесконечною злобою, потом вырвал мой паспорт и унес его наверх. Чрез минуту он был уже визирован. Вот-с, не угодно ли посмотреть? — Я вынул паспорт и показал римскую визу.

— Вы это, однако же,— начал было генерал...

— Вас спасло, что вы объявили себя варваром и еретиком,— заметил, усмехаясь, французик.— «Cela n'était pas si bête»[1].

— Так неужели смотреть на наших русских? Они сидят здесь — пикнуть не смеют и готовы, пожалуй, отречься от того, что они русские. По крайней мере, в Париже в моем отеле со мною стали обращаться гораздо внимательнее, когда я всем рассказал о моей драке с аббатом. Толстый польский пан, самый враждебный ко мне человек за табльдотом, стушевался на второй план. Французы даже перенесли, когда я рассказал, что года два тому назад видел человека, в которого французский егерь в двенадцатом году выстрелил — единственно только для того, чтоб разрядить ружье. Этот человек был тогда еще десятилетним ребенком, и семейство его не успело выехать из Москвы.

— Этого быть не может,— вскипел французик,— французский солдат не станет стрелять в ребенка!

— Между тем это было,— отвечал я.— Это мне рассказал почтенный отставной капитан, и я сам видел шрам на его щеке от пули.

Француз начал говорить много и скоро. Генерал стал было его поддерживать, но я рекомендовал ему прочесть хоть, например, отрывки из «Записок» генерала Перовского, бывшего в двенадцатом году в плену у французов. Наконец, Марья Филипповна о чем-то заговорила, чтоб перебить разговор. Генерал был очень недоволен мною, потому что мы с французом уже почти начали кричать. Но мистеру Астлею мой спор с французом, кажется, очень понравился; вставая из-за стола, он предложил мне выпить с ним рюмку вина. Вечером, как и следовало, мне удалось с четверть часа поговорить с Полиной Александровной. Разговор наш состоялся на прогулке. Все пошли в парк к воксалу. Полина села на скамейку против фонтана, а Наденьку пустила играть недалеко от себя с детьми. Я тоже отпустил к фонтану Мишу, и мы остались наконец одни.

Сначала начали, разумеется, о делах. Полина просто рассердилась, когда я передал ей всего только семьсот гульденов. Она была

---

[1] Это было не так глупо (*фр.*).

уверена, что я ей привезу из Парижа, под залог ее бриллиантов, по крайней мере, две тысячи гульденов или даже более.

— Мне во что бы ни стало нужны деньги,— сказала она,— и их надо добыть; иначе я просто погибла.

Я стал расспрашивать о том, что сделалось в мое отсутствие.

— Больше ничего, что получены из Петербурга два известия: сначала, что бабушке очень плохо, а через два дня, что, кажется, она уже умерла. Это известие от Тимофея Петровича,— прибавила Полина,— а он человек точный. Ждем последнего, окончательного известия.

— Итак, здесь все в ожидании? — спросил я.

— Конечно: все и всё; целые полгода на одно это только и надеялись.

— И вы надеетесь? — спросил я.

— Ведь я ей вовсе не родня, я только генералова падчерица. Но я знаю наверно, что она обо мне вспомнит в завещании.

— Мне кажется, вам очень много достанется,— сказал я утвердительно.

— Да, она меня любила; но почему *вам* это кажется?

— Скажите,— отвечал я вопросом,— наш маркиз, кажется, тоже посвящен во все семейные тайны?

— А вы сами к чему об этом интересуетесь? — спросила Полина, поглядев на меня сурово и сухо.

— Еще бы; если не ошибаюсь, генерал успел уже занять у него денег.

— Вы очень верно угадываете.

— Ну, так дал ли бы он денег, если бы не знал про бабуленьку? Заметили ли вы, за столом: он раза три, что-то говоря о бабушке, назвал ее бабуленькой: *«la baboulinka»*. Какие короткие и какие дружественные отношения!

— Да, вы правы. Как только он узнает, что и мне что-нибудь по завещанию досталось, то тотчас же ко мне и посватается. Это, что ли, вам хотелось узнать?

— Еще только посватается? Я думал, что он давно сватается.

— Вы отлично хорошо знаете, что нет! — с сердцем сказала Полина.— Где вы встретили этого англичанина? — прибавила она после минутного молчания.

— Я так и знал, что вы о нем сейчас спросите.

Я рассказал ей о прежних моих встречах с мистером Астлеем по дороге.

— Он застенчив и влюбчив и уж, конечно, влюблен в вас?

— Да, он влюблен в меня,— отвечала Полина.

— И уж, конечно, он в десять раз богаче француза. Что, у француза действительно есть что-нибудь? Не подвержено это сомнению?

— Не подвержено. У него есть какой-то château[1]. Мне еще вчера генерал говорил об этом решительно. Ну что, довольно с вас?

— Я бы, на вашем месте, непременно вышла замуж за англичанина.

— Почему? — спросила Полина.

— Француз красивее, но он подлее; а англичанин, сверх того, что честен, еще в десять раз богаче, — отрезал я.

— Да; но зато француз — маркиз и умнее, — ответила она наиспокойнейшим образом.

— Да верно ли? — продолжал я по-прежнему.

— Совершенно так.

Полине ужасно не нравились мои вопросы, и я видел, что ей хотелось разозлить меня тоном и дикостию своего ответа; я об этом ей тотчас же сказал.

— Что ж, меня действительно развлекает, как вы беситесь. Уж за одно то, что я позволяю вам делать такие вопросы и догадки, следует вам расплатиться.

— Я действительно считаю себя вправе делать вам всякие вопросы, — отвечал я спокойно, — именно потому, что готов как угодно за них расплатиться, и свою жизнь считаю теперь ни во что.

Полина захохотала:

— Вы мне в последний раз, на Шлангенберге, сказали, что готовы по первому моему слову броситься вниз головою, а там, кажется, до тысячи футов. Я когда-нибудь произнесу это слово единственно затем, чтоб посмотреть, как вы будете расплачиваться, и уж будьте уверены, что выдержу характер. Вы мне ненавистны, — именно тем, что я так много вам позволила, и еще ненавистнее тем, что так мне нужны. Но покамест вы мне нужны — мне надо вас беречь.

Она стала вставать. Она говорила с раздражением. В последнее время она всегда кончала со мною разговор со злобою и раздражением, с настоящею злобою.

— Позвольте вас спросить, что такое mademoiselle Blanche? — спросил я, не желая отпустить ее без объяснения.

— Вы сами знаете, что такое mademoiselle Blanche. Больше ничего с тех пор не прибавилось. Mademoiselle Blanche, наверно, будет генеральшей, — разумеется, если слух о кончине бабушки подтвердится, потому что и mademoiselle Blanche, и ее матушка, и троюродный cousin-маркиз — все очень хорошо знают, что мы разорились.

---

[1] за́мок (*фр.*).

— А генерал влюблен окончательно?

— Теперь не в этом дело. Слушайте и запомните: возьмите эти семьсот флоринов и ступайте играть, выиграйте мне на рулетке сколько можете больше; мне деньги во что бы ни стало теперь нужны.

Сказав это, она кликнула Наденьку и пошла к воксалу, где и присоединилась ко всей нашей компании. Я же свернул на первую попавшуюся дорожку влево, обдумывая и удивляясь. Меня точно в голову ударило после приказания идти на рулетку. Странное дело: мне было о чем раздуматься, а между тем я весь погрузился в анализ ощущений моих чувств к Полине. Право, мне было легче в эти две недели отсутствия, чем теперь, в день возвращения, хотя я, в дороге, и тосковал как сумасшедший, метался как угорелый, и даже во сне поминутно видел ее пред собою. Раз (это было в Швейцарии), заснув в вагоне, я, кажется, заговорил вслух с Полиной, чем рассмешил всех сидевших со мной проезжих. И еще раз теперь я задал себе вопрос: люблю ли я ее? И еще раз не сумел на него ответить, то есть, лучше сказать, я опять, в сотый раз, ответил себе, что я ее ненавижу. Да, она была мне ненавистна. Бывали минуты (а именно каждый раз при конце наших разговоров), что я отдал бы полжизни, чтоб задушить ее! Клянусь, если б возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением. А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы на Шлангенберге, на модном пуанте, она действительно сказала мне: «бросьтесь вниз», то я бы тотчас же бросился, и даже с наслаждением. Я знал это. Так или эдак, но это должно было разрешиться. Все это она удивительно понимает, и мысль о том, что я вполне верно и отчетливо сознаю всю ее недоступность для меня, всю невозможность исполнения моих фантазий,— эта мысль, я уверен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение; иначе могла ли бы она, осторожная и умная, быть со мною в таких короткостях и откровенностях? Мне кажется, она до сих пор смотрела на меня как та древняя императрица, которая стала раздеваться при своем невольнике, считая его не за человека. Да, она много раз считала меня не за человека...

Однако ж у меня было ее поручение — выиграть на рулетке во что бы ни стало. Мне некогда было раздумывать: для чего и как скоро надо выиграть и какие новые соображения родились в этой вечно рассчитывающей голове? К тому же в эти две недели, очевидно, прибавилась бездна новых фактов, об которых я еще не имел понятия. Все это надо было угадать, во все проникнуть, и как можно скорее. Но покамест теперь было некогда: надо было отправляться на рулетку.

Глава II

Признаюсь, мне это было неприятно; я хоть и решил, что буду играть, но вовсе не располагал начинать для других. Это даже сбивало меня несколько с толку, и в игорные залы я вошел с предосадным чувством. Мне там, с первого взгляда, все не понравилось. Терпеть я не могу этой лакейщины в фельетонах целого света и преимущественно в наших русских газетах, где почти каждую весну наши фельетонисты рассказывают о двух вещах: во-первых, о необыкновенном великолепии и роскоши игорных зал в рулеточных городах на Рейне, а во-вторых, о грудах золота, которые будто бы лежат на столах. Ведь не платят же им за это; это так просто рассказывается из бескорыстной угодливости. Никакого великолепия нет в этих дрянных залах, а золота не только нет грудами на столах, но и чуть-чуть-то едва ли бывает. Конечно, кой-когда, в продолжение сезона, появится вдруг какой-нибудь чудак, или англичанин, или азиат какой-нибудь, турок, как нынешним летом, и вдруг проиграет или выиграет очень много; остальные же все играют на мелкие гульдены, и средним числом на столе всегда лежит очень мало денег. Как только я вошел в игорную залу (в первый раз в жизни), я некоторое время еще не решался играть. К тому же теснила толпа. Но если б я был и один, то и тогда бы, я думаю, скорее ушел, а не начал играть. Признаюсь, у меня стукало сердце, и я был не хладнокровен; я наверное знал и давно уже решил, что из Рулетенбурга так не выеду; что-нибудь непременно произойдет в моей судьбе радикальное и окончательное. Так надо, и так будет. Как это ни смешно, что я так много жду для себя от рулетки, но мне кажется, еще смешнее рутинное мнение, всеми признанное, что глупо и нелепо ожидать чего-нибудь от игры. И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег, например, хоть торговли? Оно правда, что выигрывает из сотни один. Но — какое мне до того дело?

Во всяком случае, я определил сначала присмотреться и не начинать ничего серьезного в этот вечер. В этот вечер, если б что и случилось, то случилось бы нечаянно и слегка,— и я так и положил. К тому же надо было и самую игру изучить; потому что, несмотря на тысячи описаний рулетки, которые я читал всегда с такою жадностию, я решительно ничего не понимал в ее устройстве до тех пор, пока сам не увидел.

Во-первых, мне все показалось так грязно — как-то нравственно скверно и грязно. Я отнюдь не говорю про эти жадные и беспокойные лица, которые десятками, даже сотнями, обступают игорные столы. Я решительно не вижу ничего грязного в желании вы-

играть поскорее и побольше; мне всегда казалось очень глупою мысль одного отъевшегося и обеспеченного моралиста, который на чье-то оправдание, что «ведь играют по маленькой»,— отвечал: тем хуже, потому что мелкая корысть. Точно мелкая корысть и крупная корысть — не все равно. Это дело пропорциональное. Что для Ротшильда мелко, то для меня очень богато, а насчет наживы и выигрыша, так люди и не на рулетке, а и везде только и делают, что друг у друга что-нибудь отбивают или выигрывают. Гадки ли вообще нажива и барыш — это другой вопрос. Но здесь я его не решаю. Так как я и сам был в высшей степени одержан желанием выигрыша, то вся эта корысть и вся эта корыстная грязь, если хотите, была мне, при входе в залу, как-то сподручнее, родственнее. Самое милое дело, когда друг друга не церемонятся, а действуют открыто и нараспашку. Да и к чему самого себя обманывать? Самое пустое и нерасчетливое занятие! Особенно некрасиво, на первый взгляд, во всей этой рулеточной сволочи было то уважение к занятию, та серьезность и даже почтительность, с которыми все обступали столы. Вот почему здесь резко различено, какая игра называется mauvais genre'ом[1] и какая позволительна порядочному человеку. Есть две игры, одна — джентльменская, а другая, плебейская, корыстная, игра всякой сволочи. Здесь это строго различено и — как это различие, в сущности, подло! Джентльмен, например, может поставить пять или десять луидоров, редко более, впрочем, может поставить и тысячу франков, если очень богат, но собственно для одной игры, для одной только забавы, собственно для того, чтобы посмотреть на процесс выигрыша или проигрыша; но отнюдь не должен интересоваться своим выигрышем. Выиграв, он может, например, вслух засмеяться, сделать кому-нибудь из окружающих свое замечание, даже может поставить еще раз и еще раз удвоить, но единственно только из любопытства, для наблюдения над шансами, для вычислений, а не из плебейского желания выиграть. Одним словом, на все эти игорные столы, рулетки и trente et quarante[2] он должен смотреть не иначе, как на забаву, устроенную единственно для его удовольствия. Корысти и ловушки, на которых основан и устроен банк, он должен даже и не подозревать. Очень и очень недурно было бы даже, если б ему, например, показалось, что и все эти остальные игроки, вся эта дрянь, дрожащая над гульденом, совершенно такие же богачи и джентльмены, как и он сам, и играют единственно для одного только развлечения и забавы. Это совершенное незнание действительности и невинный взгляд на людей были бы,

---

[1] дурным тоном (*фр.*).
[2] тридцать и сорок (*фр.*).

конечно, чрезвычайно аристократичными. Я видел, как многие маменьки выдвигали вперед невинных и изящных, пятнадцати- и шестнадцатилетних мисс, своих дочек, и, давши им несколько золотых монет, учили их, как играть. Барышня выигрывала или проигрывала, непременно улыбалась и отходила очень довольная. Наш генерал солидно и важно подошел к столу; лакей бросился было подать ему стул, но он не заметил лакея; очень долго вынимал кошелек, очень долго вынимал из кошелька триста франков золотом, поставил их на черную и выиграл. Он не взял выигрыша и оставил его на столе. Вышла опять черная; он и на этот раз не взял, и когда в третий раз вышла красная, то потерял разом тысячу двести франков. Он отошел с улыбкою и выдержал характер. Я убежден, что кошки у него скребли на сердце, и будь ставка вдвое или втрое больше — он не выдержал бы характера и выказал бы волнение. Впрочем, при мне один француз выиграл и потом проиграл тысяч до тридцати франков весело и без всякого волнения. Настоящий джентльмен, если бы проиграл и все свое состояние, не должен волноваться. Деньги до того должны быть ниже джентльменства, что почти не стоит об них заботиться. Конечно, весьма аристократично совсем бы не замечать всю эту грязь всей этой сволочи и всей обстановки. Однако же иногда не менее аристократичен и обратный прием, замечать, то есть присматриваться, даже рассматривать, например хоть в лорнет, всю эту сволочь: но не иначе, как принимая всю эту толпу и всю эту грязь за своего рода развлечение, как бы за представление, устроенное для джентльменской забавы. Можно самому тесниться в этой толпе, но смотреть кругом с совершенным убеждением, что собственно вы сами наблюдатель и уж нисколько не принадлежите к ее составу. Впрочем, и очень пристально наблюдать опять-таки не следует: опять уже это будет не по-джентльменски, потому что это во всяком случае зрелище не стоит большого и слишком пристального наблюдения. Да и вообще мало зрелищ, достойных слишком пристального наблюдения для джентльмена. А между тем мне лично показалось, что все это и очень стоит весьма пристального наблюдения, особенно для того, кто пришел не для одного наблюдения, а сам искренно и добросовестно причисляет себя ко всей этой сволочи. Что же касается до моих сокровеннейших нравственных убеждений, то в настоящих рассуждениях моих им, конечно, нет места. Пусть уж это будет так; говорю для очистки совести. Но вот что я замечу: что во все последнее время мне как-то ужасно противно было прикидывать поступки и мысли мои к какой бы то ни было нравственной мерке. Другое управляло мною...

Сволочь действительно играет очень грязно. Я даже не прочь от мысли, что тут у стола происходит много самого обыкновенно-

го воровства. Круперам, которые сидят по концам стола, смотрят за ставками и рассчитываются, ужасно много работы. Вот еще сволочь-то! это большею частью французы. Впрочем, я здесь наблюдаю и замечаю вовсе не для того, чтобы описывать рулетку; я приноравливаюсь для себя, чтобы знать, как себя вести на будущее время. Я заметил, например, что нет ничего обыкновеннее, когда из-за стола протягивается вдруг чья-нибудь рука и берет себе то, что вы выиграли. Начинается спор, нередко крик, и — прошу покорно доказать, сыскать свидетелей, что ставка ваша!

Сначала вся эта штука была для меня тарабарскою грамотою; я только догадывался и различал кое-как, что ставки бывают на числа, на чет и нечет и на цвета. Из денег Полины Александровны я в этот вечер решился попытать сто гульденов. Мысль, что я приступаю к игре не для себя, как-то сбивала меня с толку. Ощущение было чрезвычайно неприятное, и мне захотелось поскорее развязаться с ним. Мне все казалось, что, начиная для Полины, я подрываю собственное счастье. Неужели нельзя прикоснуться к игорному столу, чтобы тотчас же не заразиться суеверием? Я начал с того, что вынул пять фридрихсдоров, то есть пятьдесят гульденов, и поставил их на четку. Колесо обернулось, и вышло тринадцать — я проиграл. С каким-то болезненным ощущением, единственно чтобы как-нибудь развязаться и уйти, я поставил еще пять фридрихсдоров на красную. Вышла красная. Я поставил все десять фридрихсдоров — вышла опять красная. Я поставил опять все за раз, вышла опять красная. Получив сорок фридрихсдоров, я поставил двадцать на двенадцать средних цифр, не зная, что из этого выйдет. Мне заплатили втрое. Таким образом, из десяти фридрихсдоров у меня появилось вдруг восемьдесят. Мне стало до того невыносимо от какого-то необыкновенного и странного ощущения, что я решился уйти. Мне показалось, что я вовсе бы не так играл, если б играл для себя. Я, однако ж, поставил все восемьдесят фридрихсдоров еще раз на четку. На этот раз вышло четыре; мне отсыпали еще восемьдесят фридрихсдоров, и, захватив всю кучу в сто шестьдесят фридрихсдоров, я отправился отыскивать Полину Александровну.

Они все где-то гуляли в парке, и я успел увидеться с нею только за ужином. На этот раз француза не было, и генерал развернулся: между прочим, он почел нужным опять мне заметить, что он бы не желал меня видеть за игорным столом. По его мнению, его очень скомпрометирует, если я как-нибудь слишком проиграюсь; «но если б даже вы и выиграли очень много, то и тогда я буду тоже скомпрометирован,— прибавил он значительно.— Конеч-

но, я не имею права располагать вашими поступками, но согласитесь сами...» Тут он по обыкновению своему не докончил. Я сухо ответил ему, что у меня очень мало денег и что, следовательно, я не могу слишком приметно проиграться, если б даже и стал играть. Придя к себе наверх, я успел передать Полине ее выигрыш и объявил ей, что в другой раз уже не буду играть для нее.

— Почему же? — спросила она тревожно.

— Потому что хочу играть для себя,— отвечал я, рассматривая ее с удивлением,— а это мешает.

— Так вы решительно продолжаете быть убеждены, что рулетка ваш единственный исход и спасение? — спросила она насмешливо. Я отвечал опять очень серьезно, что да; что же касается до моей уверенности непременно выиграть, то пускай это будет смешно, я согласен, «но чтоб оставили меня в покое».

Полина Александровна настаивала, чтоб я непременно разделил с нею сегодняшний выигрыш пополам, и отдавала мне восемьдесят фридрихсдоров, предлагая и впредь продолжать игру на этом условии. Я отказался от половины решительно и окончательно и объявил, что для других не могу играть не потому, чтоб не желал, а потому, что наверное проиграю.

— И, однако ж, я сама, как ни глупо это, почти тоже надеюсь на одну рулетку,— сказала она задумываясь.— А потому вы непременно должны продолжать игру со мною вместе пополам, и — разумеется — будете.— Тут она ушла от меня, не слушая дальнейших моих возражений.

Глава III

И, однако ж, вчера целый день она не говорила со мной об игре ни слова. Да и вообще она избегала со мной говорить вчера. Прежняя манера ее со мною не изменилась. Та же совершенная небрежность в обращении при встречах, и даже что-то презрительное и ненавистное. Вообще она не желает скрывать своего ко мне отвращения; я это вижу. Несмотря на это, она не скрывает тоже от меня, что я ей для чего-то нужен и что она для чего-то меня бережет. Между нами установились какие-то странные отношения, во многом для меня непонятные,— взяв в соображение ее гордость и надменность со всеми. Она знает, например, что я люблю ее до безумия, допускает меня даже говорить о моей страсти — и уж, конечно, ничем она не выразила бы мне более своего презрения, как этим позволением говорить ей беспрепятственно и бесцензурно о моей любви. «Значит, дескать, до того считаю ни

во что твои чувства, что мне решительно все равно, об чем бы ты ни говорил со мною и что бы ко мне ни чувствовал». Про свои собственные дела она разговаривала со мною много и прежде, но никогда не была вполне откровенна. Мало того, в пренебрежении ее ко мне были, например, вот какие утонченности: она знает, положим, что мне известно какое-нибудь обстоятельство ее жизни или что-нибудь о том, что сильно ее тревожит; она даже сама расскажет мне что-нибудь из ее обстоятельств, если надо употребить меня как-нибудь для своих целей, вроде раба, или на побегушки; но расскажет всегда ровно столько, сколько надо знать человеку, употребляющемуся на побегушки, и если мне еще неизвестна целая связь событий, если она и сама видит, как я мучусь и тревожусь ее же мучениями и тревогами, то никогда не удостоит меня успокоить вполне своей дружеской откровенностию, хотя, употребляя меня нередко по поручениям не только хлопотливым, но даже опасным, она, по моему мнению, обязана быть со мной откровенною. Да и стоит ли заботиться о моих чувствах, о том, что я тоже тревожусь и, может быть, втрое больше забочусь и мучусь ее же заботами и неудачами, чем она сама!

Я недели за три еще знал об ее намерении играть на рулетке. Она меня даже предуведомила, что я должен буду играть вместо нее, потому что ей самой играть неприлично. По тону ее слов я тогда же заметил, что у ней какая-то серьезная забота, а не просто желание выиграть деньги. Что ей деньги сами по себе! Тут есть цель, тут какие-то обстоятельства, которые я могу угадывать, но которых я до сих пор не знаю. Разумеется, то унижение и рабство, в которых она меня держит, могли бы мне дать (весьма часто дают) возможность грубо и прямо самому ее расспрашивать. Так как я для нее раб и слишком ничтожен в ее глазах, то нечего ей и обижаться грубым моим любопытством. Но дело в том, что она, позволяя мне делать вопросы, на них не отвечает. Иной раз и вовсе их не замечает. Вот как у нас!

Вчерашний день у нас много говорилось о телеграмме, пущенной еще четыре дня назад в Петербург и на которую не было ответа. Генерал видимо волнуется и задумчив. Дело идет, конечно, о бабушке. Волнуется и француз. Вчера, например, после обеда они долго и серьезно разговаривали. Тон француза со всеми нами необыкновенно высокомерный и небрежный. Тут именно по пословице: посади за стол, и ноги на стол. Он даже с Полиной небрежен до грубости; впрочем, с удовольствием участвует в общих прогулках в воксале или в кавалькадах и поездках за город. Мне известны давно кой-какие из обстоятельств, связавших француза с генералом: в России они затевали вместе завод; я не знаю, лоп-

нул ли их проект, или все еще об нем у них говорится. Кроме того, мне случайно известна часть семейной тайны: француз действительно выручил прошлого года генерала и дал ему тридцать тысяч для пополнения недостающего в казенной сумме при сдаче должности. И уж разумеется, генерал у него в тисках; но теперь, собственно теперь, главную роль во всем этом играет все-таки m-lle Blanche, и я уверен, что и тут не ошибаюсь.

Кто такая m-lle Blanche? Здесь у нас говорят, что она знатная француженка, имеющая с собой свою мать и колоссальное состояние. Известно тоже, что она какая-то родственница нашему маркизу, только очень дальняя, какая-то кузина или троюродная сестра. Говорят, что до моей поездки в Париж француз и m-lle Blanche сносились между собой как-то гораздо церемоннее, были как будто на более тонкой и деликатной ноге; теперь же знакомство их, дружба и родственность выглядывают как-то грубее, как-то короче. Может быть, наши дела кажутся им до того уж плохими, что они и не считают нужным слишком с нами церемониться и скрываться. Я еще третьего дня заметил, как мистер Астлей разглядывал m-lle Blanche и ее матушку. Мне показалось, что он их знает. Мне показалось даже, что и наш француз встречался прежде с мистером Астлеем. Впрочем, мистер Астлей до того застенчив, стыдлив и молчалив, что на него почти можно понадеяться, — из избы сора не вынесет. По крайней мере, француз едва ему кланяется и почти не глядит на него; а — стало быть, не боится. Это еще понятно; но почему m-lle Blanche тоже почти не глядит на него? Тем более что маркиз вчера проговорился: он вдруг сказал в общем разговоре, не помню по какому поводу, что мистер Астлей колоссально богат и что он про это знает; тут-то бы и глядеть m-lle Blanche на мистера Астлея! Вообще генерал находится в беспокойстве. Понятно, что может значить для него теперь телеграмма о смерти тетки!

Мне хоть и показалось наверное, что Полина избегает разговора со мною, как бы с целью, но я и сам принял на себя вид холодный и равнодушный: все думал, что она нет-нет, да и подойдет ко мне. Зато вчера и сегодня я обратил все мое внимание преимущественно на m-lle Blanche. Бедный генерал, он погиб окончательно! Влюбиться в пятьдесят пять лет, с такою силою страсти, — конечно, несчастие. Прибавьте к тому его вдовство, его детей, совершенно разоренное имение, долги и, наконец, женщину, в которую ему пришлось влюбиться. M-lle Blanche красива собою. Но я не знаю, поймут ли меня, если я выражусь, что у ней одно из тех лиц, которых можно испугаться. По крайней мере, я всегда боялся таких женщин. Ей, наверно, лет двадцать пять. Она рос-

лая и широкоплечая, с крутыми плечами; шея и грудь у нее роскошны; цвет кожи смугло-желтый, цвет волос черный, как тушь, и волос ужасно много, достало бы на две куафюры. Глаза черные, белки глаз желтоватые, взгляд нахальный, зубы белейшие, губы всегда напомажены; от нее пахнет мускусом. Одевается она эффектно, богато, с шиком, но с большим вкусом. Ноги и руки удивительные. Голос ее — сиплый контральто. Она иногда расхохочется и при этом покажет все свои зубы, но обыкновенно смотрит молчаливо и нахально — по крайней мере, при Полине и при Марье Филипповне. (Странный слух: Марья Филипповна уезжает в Россию.) Мне кажется, m-lle Blanche безо всякого образования, может быть даже и не умна, но зато подозрительна и хитра. Мне кажется, ее жизнь была-таки не без приключений. Если уж говорить все, то может быть, что маркиз вовсе ей не родственник, а мать совсем не мать. Но есть сведения, что в Берлине, где мы с ними съехались, она и мать ее имели несколько порядочных знакомств. Что касается до самого маркиза, то хоть я и до сих пор сомневаюсь, что он маркиз, но принадлежность его к порядочному обществу, как у нас, например, в Москве и кое-где и в Германии, кажется, не подвержена сомнению. Не знаю, что он такое во Франции? Говорят, у него есть шато́. Я думал, что в эти две недели много воды уйдет, и, однако ж, я все еще не знаю наверно, сказано ли у m-lle Blanche с генералом что-нибудь решительное? Вообще все зависит теперь от нашего состояния, то есть от того, много ли может генерал показать им денег. Если бы, например, пришло известие, что бабушка не умерла, то я уверен, m-lle Blanche тотчас бы исчезла. Удивительно и смешно мне самому, какой я, однако ж, стал сплетник. О, как мне все это противно! С каким наслаждением я бросил бы всех и всё! Но разве я могу уехать от Полины, разве я могу не шпионить кругом нее? Шпионство, конечно, подло, но — какое мне до этого дело!

Любопытен мне тоже был вчера и сегодня мистер Астлей. Да, я убежден, что он влюблен в Полину! Любопытно и смешно, сколько иногда может выразить взгляд стыдливого и болезненно-целомудренного человека, тронутого любовью, и именно в то время, когда человек уж, конечно, рад бы скорее сквозь землю провалиться, чем что-нибудь высказать или выразить, словом или взглядом. Мистер Астлей весьма часто встречается с нами на прогулках. Он снимает шляпу и проходит мимо, умирая, разумеется, от желания к нам присоединиться. Если же его приглашают, то он тотчас отказывается. На местах отдыха, в воксале, на музыке или пред фонтаном он уже непременно останавливается где-нибудь недалеко от нашей скамейки, и где бы мы ни были: в парке ли, в лесу ли, или

на Шлангенберге,— стоит только вскинуть глазами, посмотреть кругом, и непременно где-нибудь, или на ближайшей тропинке, или из-за куста, покажется уголок мистера Астлея. Мне кажется, он ищет случая со мной говорить особенно. Сегодня утром мы встретились и перекинули два слова. Он говорит иной раз как-то чрезвычайно отрывисто. Еще не сказав «здравствуйте», он начал с того, что проговорил:

— А, mademoiselle Blanche!.. Я много видел таких женщин, как mademoiselle Blanche!

Он замолчал, знаменательно смотря на меня. Что он этим хотел сказать, не знаю, потому что на вопрос мой: что это значит? — он с хитрой улыбкой кивнул головою и прибавил:

— Уж это так. Mademoiselle Blanche очень любит цветы?

— Не знаю, совсем не знаю,— отвечал я.

— Как! Вы и этого не знаете! — вскричал он с величайшим изумлением.

— Не знаю, совсем не заметил,— повторил я смеясь.

— Гм, это дает мне одну особую мысль.— Тут он кивнул головою и прошел далее. Он, впрочем, имел довольный вид. Говорим мы с ним на сквернейшем французском языке.

Глава IV

Сегодня был день смешной, безобразный, нелепый. Теперь одиннадцать часов ночи. Я сижу в своей каморке и припоминаю. Началось с того, что утром принужден-таки был идти на рулетку, чтоб играть для Полины Александровны. Я взял все ее сто шестьдесят фридрихсдоров, но под двумя условиями: первое — что я не хочу играть в половине, то есть если выиграю, то ничего не возьму себе, второе — что вечером Полина разъяснит мне, для чего именно ей так нужно выиграть и сколько именно денег. Я все-таки никак не могу предположить, чтобы это было просто для денег. Тут, видимо, деньги необходимы, и как можно скорее, для какой-то особенной цели. Она обещалась разъяснить, и я отправился. В игорных залах толпа была ужасная. Как нахальны они и как все они жадны! Я протеснился к середине и стал возле самого крупера; затем стал робко пробовать игру, ставя по две и по три монеты. Между тем я наблюдал и замечал; мне показалось, что собственно расчет довольно мало значит и вовсе не имеет той важности, которую ему придают многие игроки. Они сидят с разграфленными бумажками, замечают удары, считают, выводят шансы, рассчитывают, наконец ставят и — проигрывают точно так

же, как и мы, простые смертные, играющие без расчету. Но зато я вывел одно заключение, которое, кажется, верно: действительно, в течении случайных шансов бывает хоть и не система, но как будто какой-то порядок, что, конечно, очень странно. Например, бывает, что после двенадцати средних цифр наступают двенадцать последних; два раза, положим, удар ложится на эти двенадцать последних и переходит на двенадцать первых. Упав на двенадцать первых, переходит опять на двенадцать средних, ударяет сряду три, четыре раза по средним и опять переходит на двенадцать последних, где, опять после двух раз, переходит к первым, на первых опять бьет один раз и опять переходит на три удара средних, и таким образом продолжается в течение полутора или двух часов. Один, три и два, один, три и два. Это очень забавно. Иной день или иное утро идет, например, так, что красная сменяется черною и обратно почти без всякого порядка, поминутно, так что больше двух-трех ударов сряду на красную или на черную не ложится. На другой же день или на другой вечер бывает сряду одна красная; доходит, например, больше чем до двадцати двух раз сряду и так идет непременно в продолжение некоторого времени, например, в продолжение целого дня. Мне много в этом объяснил мистер Астлей, который целое утро простоял у игорных столов, но сам не поставил ни разу. Что же касается до меня, то я весь проигрался дотла и очень скоро. Я прямо сразу поставил на четку двадцать фридрихсдоров и выиграл, поставил пять и опять выиграл и таким образом еще раза два или три. Я думаю, у меня сошлось в руках около четырехсот фридрихсдоров в какие-нибудь пять минут. Тут бы мне и отойти, но во мне родилось какое-то странное ощущение, какой-то вызов судьбе, какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык. Я поставил самую большую позволенную ставку, в четыре тысячи гульденов, и проиграл. Затем, разгорячившись, вынул все, что у меня оставалось, поставил на ту же ставку и проиграл опять, после чего отошел от стола, как оглушенный. Я даже не понимал, что это со мною было, и объявил о моем проигрыше Полине Александровне только пред самым обедом. До того времени я все шатался в парке.

За обедом я был опять в возбужденном состоянии, так же как и три дня тому назад. Француз и m-lle Blanche опять обедали с нами. Оказалось, что m-lle Blanche была утром в игорных залах и видела мои подвиги. В этот раз она заговорила со мною как-то внимательнее. Француз пошел прямее и просто спросил меня, неужели я проиграл свои собственные деньги? Мне кажется, он подозревает Полину. Одним словом, тут что-то есть. Я тотчас же солгал и сказал, что свои.

Генерал был чрезвычайно удивлен: откуда я взял такие деньги? Я объяснил, что начал с десяти фридрихсдоров, что шесть или семь ударов сряду, надвое, довели меня до пяти или до шести тысяч гульденов и что потом я все спустил с двух ударов.

Все это, конечно, было вероятно. Объясняя это, я посмотрел на Полину, но ничего не мог разобрать в ее лице. Однако ж она мне дала солгать и не поправила меня; из этого я заключил, что мне и надо было солгать и скрыть, что я играл за нее. Во всяком случае, думал я про себя, она обязана мне объяснением и давеча обещала мне кое-что открыть.

Я думал, что генерал сделает мне какое-нибудь замечание, но он промолчал; зато я заметил в лице его волнение и беспокойство. Может быть, при крутых его обстоятельствах ему просто тяжело было выслушать, что такая почтительная груда золота пришла и ушла в четверть часа у такого нерасчетливого дурака, как я.

Я подозреваю, что у него вчера вечером вышла с французом какая-то жаркая контра. Они долго и с жаром говорили о чем-то, запершись. Француз ушел как будто чем-то раздраженный, а сегодня рано утром опять приходил к генералу — и, вероятно, чтоб продолжать вчерашний разговор.

Выслушав о моем проигрыше, француз едко и даже злобно заметил мне, что надо было быть благоразумнее. Не знаю, для чего он прибавил, что хоть русских и много играет, но, по его мнению, русские даже и играть не способны.

— А по моему мнению, рулетка только и создана для русских, — сказал я, и когда француз на мой отзыв презрительно усмехнулся, я заметил ему, что, уж конечно, правда на моей стороне, потому что, говоря о русских как об игроках, я гораздо более ругаю их, чем хвалю, и что мне, стало быть, можно верить.

— На чем же вы основываете ваше мнение? — спросил француз.

— На том, что в катехизис добродетелей и достоинств цивилизованного западного человека вошла исторически и чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. Тем не менее нам, русским, деньги тоже нужны, — прибавил я, — а следственно, мы очень рады и очень падки на такие способы, как, например, рулетки, где можно разбогатеть вдруг, в два часа, не трудясь. Это нас очень прельщает; а так как мы и играем зря, без труда, то и проигрываемся!

— Это отчасти справедливо, — заметил самодовольно француз.

— Нет, это несправедливо, и вам стыдно так отзываться о своем отечестве, — строго и внушительно заметил генерал.

— Помилуйте,— отвечал я ему,— ведь, право, неизвестно еще, что гаже: русское ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом?

— Какая безобразная мысль! — воскликнул генерал.

— Какая русская мысль! — воскликнул француз.

Я смеялся, мне ужасно хотелось их раззадорить.

— А я лучше захочу всю жизнь прокочевать в киргизской палатке,— вскричал я,— чем поклоняться немецкому идолу.

— Какому идолу? — вскричал генерал, уже начиная серьезно сердиться.

— Немецкому способу накопления богатств. Я здесь недолго, но, однако ж, все-таки, что я здесь успел подметить и проверить, возмущает мою татарскую породу. Ей-богу, не хочу таких добродетелей! Я здесь успел уже вчера обойти верст на десять кругом. Ну, точь-в-точь то же самое, как в нравоучительных немецких книжечках с картинками: есть здесь везде у них в каждом доме свой фатер, ужасно добродетельный и необыкновенно честный. Уж такой честный, что подойти к нему страшно. Терпеть не могу честных людей, к которым подходить страшно. У каждого эдакого фатера есть семья, и по вечерам все они вслух поучительные книги читают. Над домиком шумят вязы и каштаны. Закат солнца, на крыше аист, и все необыкновенно поэтическое и трогательное...

Уж вы не сердитесь, генерал, позвольте мне рассказать потрогательнее. Я сам помню, как мой отец, покойник, тоже под липками, в палисаднике, по вечерам вслух читал мне и матери подобные книжки... Я ведь сам могу судить об этом как следует. Ну, так всякая эдакая здешняя семья в полнейшем рабстве и повиновении у фатера. Все работают, как волы, и все копят деньги, как жиды. Положим, фатер скопил уже столько-то гульденов и рассчитывает на старшего сына, чтобы ему ремесло аль землишку передать; для этого дочери приданого не дают, и она остается в девках. Для этого же младшего сына продают в кабалу аль в солдаты и деньги приобщают к домашнему капиталу. Право, это здесь делается; я расспрашивал. Все это делается не иначе, как от честности, от усиленной честности, до того, что и младший проданный сын верует, что его не иначе, как от честности, продали,— а уж это идеал, когда сама жертва радуется, что ее на заклание ведут. Что же дальше? Дальше то, что и старшему тоже не легче: есть там у него такая Амальхен, с которою он сердцем соединился,— но жениться нельзя, потому что гульденов еще столько не накоплено. Тоже ждут благонравно и искренно и с улыбкой на заклание идут. У Амальхен уж щеки ввалились, сохнет. Наконец, лет через двадцать, благосостояние умножилось; гульдены честно и добро-

детельно скоплены. Фатер благословляет сорокалетнего старшего и тридцатипятилетнюю Амальхен, с иссохшей грудью и красным носом... При этом плачет, мораль читает и умирает. Старший превращается сам в добродетельного фатера, и начинается опять та же история. Лет эдак чрез пятьдесят или чрез семьдесят внук первого фатера действительно уже осуществляет значительный капитал и передает своему сыну, тот своему, тот своему, и поколений чрез пять или шесть выходит сам барон Ротшильд или Гоппе и Комп., или там черт знает кто. Ну-с, как же не величественное зрелище: столетний или двухсотлетний преемственный труд, терпение, ум, честность, характер, твердость, расчет, аист на крыше! Чего же вам еще, ведь уж выше этого нет ничего, и с этой точки они сами начинают весь мир судить и виновных, то есть чуть-чуть на них не похожих, тотчас же казнить. Ну-с, так вот в чем дело: я уж лучше хочу дебоширить по-русски или разживаться на рулетке. Не хочу я быть Гоппе и Комп. чрез пять поколений. Мне деньги нужны для меня самого, а я не считаю всего себя чем-то необходимым и придаточным к капиталу. Я знаю, что я ужасно наврал, но пусть так оно и будет. Таковы мои убеждения.

— Не знаю, много ли правды в том, что вы говорили,— задумчиво заметил генерал,— но знаю наверное, что вы нестерпимо начинаете форсить, чуть лишь вам капельку позволят забыться...

По обыкновению своему, он не договорил. Если наш генерал начинал о чем-нибудь говорить, хотя капельку позначительнее обыкновенного обыденного разговора, то никогда не договаривал. Француз небрежно слушал, немного выпучив глаза. Он почти ничего не понял из того, что я говорил. Полина смотрела с каким-то высокомерным равнодушием. Казалось, она не только меня, но и ничего не слыхала из сказанного в этот раз за столом.

Глава V

Она была в необыкновенной задумчивости, но тотчас по выходе из-за стола велела мне сопровождать себя на прогулку. Мы взяли детей и отправились в парк к фонтану.

Так как я был в особенно возбужденном состоянии, то и брякнул глупо и грубо вопрос: почему наш маркиз Де-Грие, французик, не только не сопровождает ее теперь, когда она выходит куда-нибудь, но даже и не говорит с нею по целым дням?

— Потому что он подлец,— странно ответила она мне. Я никогда еще не слышал от нее такого отзыва о Де-Грие и замолчал, побоявшись понять эту раздражительность.

— А заметили ли вы, что он сегодня не в ладах с генералом?

— Вам хочется знать, в чем дело,— сухо и раздражительно отвечала она.— Вы знаете, что генерал весь у него в закладе, все имение — его, и если бабушка не умрет, то француз немедленно войдет во владение всем, что у него в закладе.

— А, так это действительно правда, что все в закладе? Я слышал, но не знал, что решительно все.

— А то как же?

— И при этом прощай mademoiselle Blanche,— заметил я.— Не будет она тогда генеральшей! Знаете ли что: мне кажется, генерал так влюбился, что, пожалуй, застрелится, если mademoiselle Blanche его бросит. В его лета так влюбляться опасно.

— Мне самой кажется, что с ним что-нибудь будет,— задумчиво заметила Полина Александровна.

— И как это великолепно,— вскричал я,— грубее нельзя доказать, что она согласилась выйти только за деньги. Тут даже приличий не соблюдалось, совсем без церемонии происходило. Чудо! А насчет бабушки, что комичнее и грязнее, как посылать телеграмму за телеграммою и спрашивать: умерла ли, умерла ли? А? как вам это нравится, Полина Александровна?

— Это все вздор,— сказала она с отвращением, перебивая меня.— Я, напротив того, удивляюсь, что вы в таком развеселом расположении духа. Чему вы рады? Неужели тому, что мои деньги проиграли?

— Зачем вы давали их мне проигрывать? Я вам сказал, что не могу играть для других, тем более для вас. Я послушаюсь, что бы вы мне ни приказали; но результат не от меня зависит. Я ведь предупредил, что ничего не выйдет. Скажите, вы очень убиты, что потеряли столько денег? Для чего вам столько?

— К чему эти вопросы?

— Но ведь вы сами обещали мне объяснить... Слушайте: я совершенно убежден, что когда начну играть для себя (а у меня есть двенадцать фридрихсдоров), то я выиграю. Тогда сколько вам надо, берите у меня.

Она сделала презрительную мину.

— Вы не сердитесь на меня,— продолжал я,— за такое предложение. Я до того проникнут сознанием того, что я нуль пред вами, то есть в ваших глазах, что вам можно даже принять от меня и деньги. Подарком от меня вам нельзя обижаться. Притом же я проиграл ваши.

Она быстро поглядела на меня и, заметив, что я говорю раздражительно и саркастически, опять перебила разговор:

— Вам нет ничего интересного в моих обстоятельствах. Если хотите знать, я просто должна. Деньги взяты мною взаймы, и я

хотела бы их отдать. У меня была безумная и странная мысль, что я непременно выиграю, здесь, на игорном столе. Почему была эта мысль у меня — не понимаю, но я в нее верила. Кто знает, может быть, потому и верила, что у меня никакого другого шанса при выборе не оставалось.

— Или потому, что уж слишком *надо* было выиграть. Это точь-в-точь, как утопающий, который хватается за соломинку. Согласитесь сами, что, если б он не утопал, то он не считал бы соломинку за древесный сук.

Полина удивилась.

— Как же,— спросила она,— вы сами-то на то же самое надеетесь? Две недели назад вы сами мне говорили однажды, много и долго, о том, что вы вполне уверены в выигрыше здесь на рулетке, и убеждали меня, чтоб я не смотрела на вас как на безумного; или вы тогда шутили? Но я помню, вы говорили так серьезно, что никак нельзя было принять за шутку.

— Это правда,— отвечал я задумчиво,— я до сих пор уверен вполне, что выиграю. Я даже вам признаюсь, что вы меня теперь навели на вопрос: почему именно мой сегодняшний, бестолковый и безобразный проигрыш не оставил во мне никакого сомнения? Я все-таки вполне уверен, что чуть только я начну играть для себя, то выиграю непременно.

— Почему же вы так наверно убеждены?

— Если хотите — не знаю. Я знаю только, что мне *надо* выиграть, что это тоже единственный мой исход. Ну вот потому, может быть, мне и кажется, что я непременно должен выиграть.

— Стало быть, вам тоже слишком *надо,* если вы фанатически уверены?

— Бьюсь об заклад, что вы сомневаетесь, что я в состоянии ощущать серьезную надобность?

— Это мне все равно,— тихо и равнодушно ответила Полина.— Если хотите — *да,* я сомневаюсь, чтоб вас мучило что-нибудь серьезно. Вы можете мучиться, но не серьезно. Вы человек беспорядочный и неустановившийся. Для чего вам деньги? Во всех резонах, которые вы мне тогда представили, я ничего не нашла серьезного.

— Кстати,— перебил я,— вы говорили, что вам долг нужно отдать. Хорош, значит, долг! Не французу ли?

— Что за вопросы? Вы сегодня особенно резки. Уж не пьяны ли?

— Вы знаете, что я все себе позволяю говорить, и спрашиваю иногда очень откровенно. Повторяю, я ваш раб, а рабов не стыдятся, и раб оскорбить не может.

— Все это вздор! И терпеть я не могу этой вашей «рабской» теории.

— Заметьте себе, что я не потому говорю про мое рабство, чтоб желал быть вашим рабом, а просто — говорю, как о факте, совсем не от меня зависящем.

— Говорите прямо, зачем вам деньги?

— А вам зачем это знать?

— Как хотите,— ответила она и гордо повела головой.

— Рабской теории не те́рпите, а рабства требуете: «Отвечать и не рассуждать!» Хорошо, пусть так. Зачем деньги, вы спрашиваете? Как зачем? Деньги — все!

— Понимаю, но не впадать же в такое сумасшествие, их желая! Вы ведь тоже доходите до исступления, до фатализма. Тут есть что-нибудь, какая-то особая цель. Говорите без извилин, я так хочу.

Она как будто начинала сердиться, и мне ужасно понравилось, что она так с сердцем допрашивала.

— Разумеется, есть цель,— сказал я,— но я не сумею объяснить — какая. Больше ничего, что с деньгами я стану и для вас другим человеком, а не рабом.

— Как? как вы этого достигнете?

— Как достигну? как, вы даже не понимаете, как могу я достигнуть, чтоб вы взглянули на меня иначе, как на раба! Ну вот этого-то я и не хочу, таких удивлений и недоумений.

— Вы говорили, что вам это рабство наслаждение. Я так и сама думала.

— Вы так думали,— вскричал я с каким-то странным наслаждением.— Ах, как эдакая наивность от вас хороша! Ну да, да, мне от вас рабство — наслаждение. Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества! — продолжал я бредить.— Черт знает, может быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет в клочки мясо... Но я хочу, может быть, попытать и других наслаждений. Мне давеча генерал при вас за столом наставление читал за семьсот рублей в год, которых я, может быть, еще и не получу от него. Меня маркиз Де-Грие, поднявши брови, рассматривает и в то же время не замечает. А я, с своей стороны, может быть, желаю страстно взять маркиза Де-Грие при вас за нос?

— Речи молокососа. При всяком положении можно поставить себя с достоинством. Если тут борьба, то она еще возвысит, а не унизит.

— Прямо из прописи! Вы только предположите, что я, может быть, не умею поставить себя с достоинством. То есть я, пожалуй, и достойный человек, а поставить себя с достоинством не умею.

Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы, и знаете почему: потому что русские слишком богато и многосторонне одарены, чтоб скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну а гениальности-то всего чаще и не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит. Француз перенесет оскорбление, настоящее, сердечное оскорбление и не поморщится, но щелчка в нос ни за что не перенесет, потому что это есть нарушение принятой и увековеченной формы приличий. Оттого-то так и падки наши барышни до французов, что форма у них хороша. По-моему, впрочем, никакой формы и нет, а один только петух, le coq gaulois[1]. Впрочем, этого я понимать не могу, я не женщина. Может быть, петухи и хороши. Да и вообще я заврался, а вы меня не останавливаете. Останавливайте меня чаще; когда я с вами говорю, мне хочется высказать все, все, все. Я теряю всякую форму. Я даже согласен, что я не только формы, но и достоинств никаких не имею. Объявляю вам об этом. Даже не забочусь ни о каких достоинствах. Теперь все во мне остановилось. Вы сами знаете отчего. У меня ни одной человеческой мысли нет в голове. Я давно уж не знаю, что на свете делается, ни в России, ни здесь. Я вот Дрезден проехал и не помню, какой такой Дрезден. Вы сами знаете, что меня поглотило. Так как я не имею никакой надежды и в глазах ваших нуль, то и говорю прямо: я только вас везде вижу, а остальное мне все равно. За что и как я вас люблю — не знаю. Знаете ли, что, может быть, вы вовсе не хороши? Представьте себе, я даже не знаю, хороши ли вы или нет, даже лицом? Сердце, наверное, у вас нехорошее; ум неблагородный; это очень может быть.

— Может быть, вы потому и рассчитываете закупить меня деньгами, — сказала она, — что не верите в мое благородство?

— Когда я рассчитывал купить вас деньгами? — вскричал я.

— Вы зарапортовались и потеряли вашу нитку. Если не меня купить, то мое уважение вы думаете купить деньгами.

— Ну нет, это не совсем так. Я вам сказал, что мне трудно объясняться. Вы подавляете меня. Не сердитесь на мою болтовню. Вы понимаете, почему на меня нельзя сердиться: я просто сумасшедший. А, впрочем, мне все равно, хоть и сердитесь. Мне у

---

[1] галльский петух (*фр.*).

себя наверху, в каморке, стоит вспомнить и вообразить только шум вашего платья, и я руки себе искусать готов. И за что вы на меня сердитесь? За то, что я называю себя рабом? Пользуйтесь, пользуйтесь моим рабством, пользуйтесь! Знаете ли вы, что я когда-нибудь вас убью? Не потому убью, что разлюблю иль приревную, а — так, просто убью, потому что меня иногда тянет вас съесть. Вы смеетесь...

— Совсем не смеюсь,— сказала она с гневом.— Я приказываю вам молчать.

Она остановилась, едва переводя дух от гнева. Ей-богу, я не знаю, хороша ли она была собой, но я всегда любил смотреть, когда она так предо мною останавливалась, а потому и любил часто вызывать ее гнев. Может быть, она заметила это и нарочно сердилась. Я ей это высказал.

— Какая грязь! — воскликнула она с отвращением.

— Мне все равно,— продолжал я.— Знаете ли еще, что нам вдвоем ходить опасно: меня много раз непреодолимо тянуло прибить вас, изуродовать, задушить. И что вы думаете, до этого не дойдет? Вы доведете меня до горячки. Уж не скандала ли я побоюсь? Гнева вашего? Да что мне ваш гнев? Я люблю без надежды и знаю, что после этого в тысячу раз больше буду любить вас. Если я вас когда-нибудь убью, то надо ведь и себя убить будет; ну так — я себя как можно дольше буду не убивать, чтоб эту нестерпимую боль без вас ощутить. Знаете ли вы невероятную вещь: я вас с каждым днем люблю *больше*, а ведь это почти невозможно. И после этого мне не быть фаталистом? Помните, третьего дня, на Шлангенберге, я прошептал вам, вызванный вами: скажите слово, и я соскочу в эту бездну. Если б вы сказали это слово, я бы тогда соскочил. Неужели вы не верите, что я бы соскочил?

— Какая глупая болтовня! — вскричала она.

— Мне никакого дела нет до того, глупа ли она иль умна,— вскричал я.— Я знаю, что при вас мне надо говорить, говорить, говорить — и я говорю. Я все самолюбие при вас теряю, и мне все равно.

— К чему мне заставлять вас прыгать с Шлангенберга? — сказала она сухо и как-то особенно обидно.— Это совершенно для меня бесполезно.

— Великолепно! — вскричал я,— вы нарочно сказали это великолепное «бесполезно», чтоб меня придавить. Я вас насквозь вижу. Бесполезно, говорите вы? Но ведь удовольствие всегда полезно, а дикая, беспредельная власть — хоть над мухой — ведь это тоже своего рода наслаждение. Человек — деспот от природы и любит быть мучителем. Вы ужасно любите.

Помню, она рассматривала меня с каким-то особенно пристальным вниманием. Должно быть, лицо мое выражало тогда все мои бестолковые и нелепые ощущения. Я припоминаю теперь, что и действительно у нас почти слово в слово так шел тогда разговор, как я здесь описал. Глаза мои налились кровью. На окраинах губ запекалась пена. А что касается Шлангенберга, то клянусь честью, даже и теперь: если б она тогда приказала мне броситься вниз, я бы бросился! Если б для шутки одной сказала, если б с презрением, с плевком на меня сказала,— я бы и тогда соскочил!

— Нет, почему ж, я вам верю,— произнесла она, но так, как она только умеет иногда выговорить, с таким презрением и ехидством, с таким высокомерием, что, ей-богу, я мог убить ее в эту минуту. Она рисковала. Про это я тоже не солгал, говоря ей.

— Вы не трус? — спросила она меня вдруг.

— Не знаю, может быть, и трус. Не знаю... я об этом давно не думал.

— Если б я сказала вам: убейте этого человека, вы бы убили его?

— Кого?

— Кого я захочу.

— Француза?

— Не спрашивайте, а отвечайте,— кого я укажу. Я хочу знать, серьезно ли вы сейчас говорили? — Она так серьезно и нетерпеливо ждала ответа, что мне как-то странно стало.

— Да скажете ли вы мне, наконец, что такое здесь происходит! — вскричал я.— Что вы, боитесь, что ли, меня? Я сам вижу все здешние беспорядки. Вы падчерица разорившегося и сумасшедшего человека, зараженного страстью к этому дьяволу — Blanche; потом тут — этот француз, с своим таинственным влиянием на вас и — вот теперь вы мне так серьезно задаете... такой вопрос. По крайней мере, чтоб я знал; иначе я здесь помешаюсь и что-нибудь сделаю. Или вы стыдитесь удостоить меня откровенности? Да разве вам можно стыдиться меня?

— Я с вами вовсе не о том говорю. Я вас спросила и жду ответа.

— Разумеется, убью,— вскричал я,— кого вы мне только прикажете, но разве вы можете... разве вы это прикажете?

— А что вы думаете, вас пожалею? Прикажу, а сама в стороне останусь. Перенесете вы это? Да нет, где вам! Вы, пожалуй, и убьете по приказу, а потом и меня придете убить за то, что я смела вас посылать.

Мне как бы что-то в голову ударило при этих словах. Конечно, я и тогда считал ее вопрос наполовину за шутку, за вызов; но все-

таки она слишком серьезно проговорила. Я все-таки был поражен, что она так высказалась, что она удерживает такое право надо мной, что она соглашается на такую власть надо мною и так прямо говорит: «Иди на погибель, а я в стороне останусь». В этих словах было что-то такое циническое и откровенное, что, по-моему, было уж слишком много. Так, стало быть, как же смотрит она на меня после этого? Это уж перешло за черту рабства и ничтожества. После такого взгляда человека возносят до себя. И как ни нелеп, как ни невероятен был весь наш разговор, но сердце у меня дрогнуло.

Вдруг она захохотала. Мы сидели тогда на скамье, пред игравшими детьми, против самого того места, где останавливались экипажи и высаживали публику в аллею, пред воксалом.

— Видите вы эту толстую баронессу? — вскричала она.— Это баронесса Вурмергельм. Она только три дня как приехала. Видите ее мужа: длинный, сухой пруссак, с палкой в руке. Помните, как он третьего дня нас оглядывал? Ступайте сейчас, подойдите к баронессе, снимите шляпу и скажите ей что-нибудь по-французски.

— Зачем?

— Вы клялись, что соскочили бы с Шлангенберга; вы клянетесь, что вы готовы убить, если я прикажу. Вместо всех этих убийств и трагедий я хочу только посмеяться. Ступайте без отговорок. Я хочу посмотреть, как барон вас прибьет палкой.

— Вы вызываете меня; вы думаете, что я не сделаю?

— Да, вызываю, ступайте, я так хочу!

— Извольте, иду, хоть это и дикая фантазия. Только вот что: чтобы не было неприятности генералу, а от него вам? Ей-богу, я не о себе хлопочу, а об вас, ну — и об генерале. И что за фантазия идти оскорблять женщину?

— Нет, вы только болтун, как я вижу,— сказала она презрительно.— У вас только глаза кровью налились давеча,— впрочем, может быть, оттого, что вы вина много выпили за обедом. Да разве я не понимаю сама, что это и глупо, и пошло, и что генерал рассердится? Я просто смеяться хочу. Ну, хочу да и только! И зачем вам оскорблять женщину? Скорее вас прибьют палкой.

Я повернулся и молча пошел исполнять ее поручение. Конечно, это было глупо, и, конечно, я не сумел вывернуться, но когда я стал подходить к баронессе, помню, меня самого как будто что-то подзадорило, именно школьничество подзадорило. Да и раздражен я был ужасно, точно пьян.

Глава VI

Вот уже два дня прошло после того глупого дня. И сколько крику, шуму, толку, стуку! И какая все это беспорядица, неурядица, глупость и пошлость, и я всему причиною. А впрочем, иногда бывает смешно — мне, по крайней мере. Я не умею себе дать отчета, что со мной сделалось, в исступленном ли я состоянии нахожусь, в самом деле, или просто с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут. Порой мне кажется, что у меня ум мешается. А порой кажется, что я еще не далеко от детства, от школьной скамейки, и просто грубо школьничаю.

Это Полина, это все Полина! Может быть, не было бы и школьничества, если бы не она. Кто знает, может быть, я это все с отчаяния (как ни глупо, впрочем, так рассуждать). И не понимаю, не понимаю, что в ней хорошего! Хороша-то она, впрочем, хороша; кажется, хороша. Ведь она и других с ума сводит. Высокая и стройная. Очень тонкая только. Мне кажется, ее можно всю в узел завязать или перегнуть надвое. Следок ноги у ней узенький и длинный — мучительный. Именно мучительный. Волосы с рыжим оттенком. Глаза — настоящие кошачьи, но как она гордо и высокомерно умеет ими смотреть. Месяца четыре тому назад, когда я только что поступил, она, раз вечером, в зале с Де-Грие долго и горячо разговаривала. И так на него смотрела... что потом я, когда к себе пришел ложиться спать, вообразил, что она дала ему пощечину,— только что дала, стоит перед ним и на него смотрит... Вот с этого-то вечера я ее и полюбил.

Впрочем, к делу.

Я спустился по дорожке в аллею, стал посредине аллеи и выжидал баронессу и барона. В пяти шагах расстояния я снял шляпу и поклонился.

Помню, баронесса была в шелковом необъятной окружности платье, светло-серого цвета, с оборками, в кринолине и с хвостом. Она мала собой и толстоты необычайной, с ужасно толстым и отвислым подбородком, так что совсем не видно шеи. Лицо багровое. Глаза маленькие, злые и наглые. Идет — точно всех чести удостоивает. Барон сух, высок. Лицо, по немецкому обыкновению, кривое и в тысяче мелких морщинок; в очках; сорока пяти лет. Ноги у него начинаются чуть ли не с самой груди; это, значит, порода. Горд, как павлин. Мешковат немного. Что-то баранье в выражении лица, по-своему заменяющее глубокомыслие.

Все это мелькнуло мне в глаза в три секунды.

Мой поклон и моя шляпа в руках сначала едва-едва остановили их внимание. Только барон слегка насупил брови. Баронесса так и плыла прямо на меня.

— Madame la baronne,— проговорил я отчетливо вслух, отчеканивая каждое слово,— j'ai l'honneur d'être votre esclave[1].

Затем поклонился, надел шляпу и прошел мимо барона, вежливо обращая к нему лицо и улыбаясь.

Шляпу снять велела мне она, но поклонился и сошкольничал я уж сам от себя. Черт знает, что меня подтолкнуло? Я точно с горы летел.

— Гейн! — крикнул, или лучше сказать, крякнул барон, оборачиваясь ко мне с сердитым удивлением.

Я обернулся и остановился в почтительном ожидании, продолжая на него смотреть и улыбаться. Он, видимо, недоумевал и подтянул брови до nec plus ultra [2]. Лицо его все более и более омрачалось. Баронесса тоже повернулась в мою сторону и тоже посмотрела в гневном недоумении. Из прохожих стали засматриваться. Иные даже приостанавливались.

— Гейн! — крякнул опять барон с удвоенным кряктом и с удвоенным гневом.

— Jawohl [3], — протянул я, продолжая смотреть ему прямо в глаза.

— Sind Sie rasend?[4] — крикнул он, махнув своей палкой и, кажется, немного начиная трусить. Его, может быть, смущал мой костюм. Я был очень прилично, даже щегольски одет, как человек, вполне принадлежащий к самой порядочной публике.

— Jawo-o-ohl! — крикнул я вдруг изо всей силы, протянув *о*, как протягивают берлинцы, поминутно употребляющие в разговоре фразу «jawohl» и при этом протягивающие букву *о* более или менее, для выражения различных оттенков мыслей и ощущений.

Барон и баронесса быстро повернулись и почти побежали от меня в испуге. Из публики иные заговорили, другие смотрели на меня в недоумении. Впрочем, не помню хорошо.

Я оборотился и пошел обыкновенным шагом к Полине Александровне. Но еще не доходя шагов сотни до ее скамейки, я увидел, что она встала и отправилась с детьми к отелю.

Я настиг ее у крыльца.

— Исполнил... дурачество,— сказал я, поравнявшись с нею.

---

[1] Госпожа баронесса... честь имею быть вашим рабом (*фр.*).

[2] до крайности (*лат.*).

[3] Да (*нем.*).

[4] Вы что, взбесились? (*нем.*)

— Ну, так что ж? Теперь и разделывайтесь,— ответила она, даже и не взглянув на меня, и пошла по лестнице.

Весь этот вечер я проходил в парке. Чрез парк и потом чрез лес я прошел даже в другое княжество. В одной избушке ел яичницу и пил вино: за эту идиллию с меня содрали целых полтора талера.

Только в одиннадцать часов я воротился домой. Тотчас же за мною прислали от генерала.

Наши в отеле занимают два номера; у них четыре комнаты. Первая — большая,— салон, с роялем. Рядом с нею тоже большая комната — кабинет генерала. Здесь ждал он меня, стоя среди кабинета в чрезвычайно величественном положении. Де-Грие сидел, развалясь на диване.

— Милостивый государь, позвольте спросить, что вы наделали? — начал генерал, обращаясь ко мне.

— Я бы желал, генерал, чтобы вы приступили прямо к делу,— сказал я.— Вы, вероятно, хотите говорить о моей встрече сегодня с одним немцем?

— С одним немцем?! Этот немец — барон Вурмергельм и важное лицо-с! Вы наделали ему и баронессе грубостей.

— Никаких.

— Вы испугали их, милостивый государь,— крикнул генерал.

— Да совсем же нет. Мне еще в Берлине запало в ухо беспрерывно повторяемое ко всякому слову «jawohl», которое они так отвратительно протягивают. Когда я встретился с ним в аллее, мне вдруг это «jawohl», не знаю почему, вскочило на память, ну и подействовало на меня раздражительно... Да к тому же баронесса вот уж три раза, встречаясь со мною, имеет обыкновение идти прямо на меня, как будто бы я был червяк, которого можно ногою давить. Согласитесь, я тоже могу иметь свое самолюбие. Я снял шляпу и вежливо (уверяю вас, что вежливо) сказал: «Madame, j'ai l'honneur d'être votre esclave». Когда барон обернулся и закричал «гейн!» — меня вдруг так и подтолкнуло тоже закричать: «Jawohl!» Я и крикнул два раза: первый раз обыкновенно, а второй — протянув изо всей силы. Вот и все.

Признаюсь, я ужасно был рад этому в высшей степени мальчишескому объяснению. Мне удивительно хотелось размазывать всю эту историю как можно нелепее.

И чем далее, тем я более во вкус входил.

— Вы смеетесь, что ли, надо мною,— крикнул генерал. Он обернулся к французу и по-французски изложил ему, что я решительно напрашиваюсь на историю. Де-Грие презрительно усмехнулся и пожал плечами.

— О, не имейте этой мысли, ничуть не бывало! — вскричал я генералу,— мой поступок, конечно, нехорош, я в высшей степени

откровенно вам сознаюсь в этом. Мой поступок можно назвать даже глупым и неприличным школьничеством, но — не более. И знаете, генерал, я в высшей степени раскаиваюсь. Но тут есть одно обстоятельство, которое в моих глазах почти избавляет меня даже и от раскаяния. В последнее время, эдак недели две, даже три, я чувствую себя нехорошо: больным, нервным, раздражительным, фантастическим и, в иных случаях, теряю совсем над собою волю. Право, мне иногда ужасно хотелось несколько раз вдруг обратиться к маркизу Де-Грие и... А впрочем, нечего договаривать; может, ему будет обидно. Одним словом, это признаки болезни. Не знаю, примет ли баронесса Вурмергельм во внимание это обстоятельство, когда я буду просить у нее извинения (потому что я намерен просить у нее извинения)? Я полагаю, не примет, тем более что, сколько известно мне, этим обстоятельством начали в последнее время злоупотреблять в юридическом мире: адвокаты при уголовных процессах стали весьма часто оправдывать своих клиентов, преступников, тем, что они в момент преступления ничего не помнили и что это будто бы такая болезнь. «Прибил, дескать, и ничего не помнит». И представьте себе, генерал, медицина им поддакивает — действительно подтверждает, что бывает такая болезнь, такое временное помешательство, когда человек почти ничего не помнит, или полупомнит, или четверть помнит. Но барон и баронесса — люди поколения старого, притом прусские юнкеры и помещики. Им, должно быть, этот прогресс в юридически-медицинском мире еще неизвестен, а потому они и не примут моих объяснений. Как вы думаете, генерал?

— Довольно, сударь! — резко и с сдержанным негодованием произнес генерал,— довольно! Я постараюсь раз навсегда избавить себя от вашего школьничества. Извиняться перед баронессою и бароном вы не будете. Всякие сношения с вами, даже хотя бы они состояли единственно в вашей просьбе о прощении, будут для них слишком унизительны. Барон, узнав, что вы принадлежите к моему дому, объяснялся уж со мною в воксале и, признаюсь вам, еще немного, и он потребовал бы у меня удовлетворения. Понимаете ли вы, чему подвергали вы меня,— меня, милостивый государь? Я, я принужден был просить у барона извинения и дал ему слово, что немедленно, сегодня же, вы не будете принадлежать к моему дому...

— Позвольте, позвольте, генерал, так это он сам непременно потребовал, чтоб я не принадлежал к вашему дому, как вы изволите выражаться?

— Нет; но я сам почел себя обязанным дать ему это удовлетворение, и, разумеется, барон остался доволен. Мы расстаемся,

милостивый государь. Вам следует дополучить с меня эти четыре фридрихсдора и три флорина на здешний расчет. Вот деньги, а вот и бумажка с расчетом; можете это проверить. Прощайте. С этих пор мы чужие. Кроме хлопот и неприятностей, я не видал от вас ничего. Я позову сейчас кельнера и объявлю ему, что с завтрашнего дня не отвечаю за ваши расходы в отеле. Честь имею пребыть вашим слугою.

Я взял деньги, бумажку, на которой был карандашом написан расчет, поклонился генералу и весьма серьезно сказал ему:

— Генерал, дело так окончиться не может. Мне очень жаль, что вы подвергались неприятностям от барона, но — извините меня — виною этому вы сами. Каким образом взяли вы на себя отвечать за меня барону? Что значит выражение, что я принадлежу к вашему дому? Я просто учитель в вашем доме, и только. Я не сын родной, не под опекой у вас, и за поступки мои вы не можете отвечать. Я сам — лицо юридически компетентное. Мне двадцать пять лет, я кандидат университета, я дворянин, я вам совершенно чужой. Только одно мое безграничное уважение к вашим достоинствам останавливает меня потребовать от вас теперь же удовлетворения и дальнейшего отчета в том, что вы взяли на себя право за меня отвечать.

Генерал был до того поражен, что руки расставил, потом вдруг оборотился к французу и торопливо передал ему, что я чуть не вызвал его сейчас на дуэль. Француз громко захохотал.

— Но барону я спустить не намерен, — продолжал я с полным хладнокровием, нимало не смущаясь смехом мсье Де-Грие, — и так как вы, генерал, согласившись сегодня выслушать жалобы барона и войдя в его интерес, поставили сами себя как бы участником во всем этом деле, то я честь имею вам доложить, что не позже как завтра поутру потребую у барона, от своего имени, формального объяснения причин, по которым он, имея дело со мною, обратился мимо меня к другому лицу, точно я не мог или был недостоин отвечать ему сам за себя.

Что я предчувствовал, то и случилось. Генерал, услышав эту новую глупость, струсил ужасно.

— Как, неужели вы намерены еще продолжать это проклятое дело! — вскричал он, — но что ж со мной-то вы делаете, о господи! Не смейте, не смейте, милостивый государь, или, клянусь вам!.. здесь есть тоже начальство, и я... я... одним словом, по моему чину... и барон тоже... одним словом, вас заарестуют и вышлют отсюда с полицией, чтоб вы не буянили! Понимаете это-с! — И хоть ему захватило дух от гнева, но все-таки он трусил ужасно.

— Генерал,— отвечал я с нестерпимым для него спокойствием,— заарестовать нельзя за буйство прежде совершения буйства. Я еще не начинал моих объяснений с бароном, а вам еще совершенно неизвестно, в каком виде и на каких основаниях я намерен приступить к этому делу. Я желаю только разъяснить обидное для меня предположение, что я нахожусь под опекой у лица, будто бы имеющего власть над моей свободной волею. Напрасно вы так себя тревожите и беспокоите.

— Ради бога, ради бога, Алексей Иванович, оставьте это бессмысленное намерение! — бормотал генерал, вдруг изменяя свой разгневанный тон на умоляющий и даже схватив меня за руки.— Ну, представьте, что из этого выйдет? опять неприятность! Согласитесь сами, я должен здесь держать себя особенным образом, особенно теперь!.. особенно теперь!.. О, вы не знаете, не знаете всех моих обстоятельств!.. Когда мы отсюда поедем, я готов опять принять вас к себе. Я теперь только так, ну, одним словом,— ведь вы понимаете же причины! — вскричал он отчаянно,— Алексей Иванович, Алексей Иванович!..

Ретируясь к дверям, я еще раз усиленно просил его не беспокоиться, обещал, что все обойдется хорошо и прилично, и поспешил выйти.

Иногда русские за границей бывают слишком трусливы и ужасно боятся того, что скажут и как на них поглядят, и будет ли прилично вот то-то и то-то? — одним словом, держат себя точно в корсете, особенно претендующие на значение. Самое любое для них — какая-нибудь предвзятая, раз установленная форма, которой они рабски следуют — в отелях, на гуляньях, в собраниях, в дороге... Но генерал проговорился, что у него, сверх того, были какие-то особые обстоятельства, что ему надо как-то «особенно держаться». Оттого-то он так вдруг малодушно и струсил и переменил со мной тон. Я это принял к сведению и заметил. И конечно, он мог сдуру обратиться завтра к каким-нибудь властям, так что мне надо было в самом деле быть осторожным.

Мне, впрочем, вовсе не хотелось сердить собственно генерала; но мне захотелось теперь посердить Полину. Полина обошлась со мною так жестоко и сама толкнула меня на такую глупую дорогу, что мне очень хотелось довести ее до того, чтобы она сама попросила меня остановиться. Мое школьничество могло, наконец, и ее компрометировать. Кроме того, во мне сформировались кой-какие другие ощущения и желания; если я, например, исчезаю пред нею самовольно в ничто, то это вовсе ведь не значит, что пред людьми я мокрая курица и уж, конечно, не барону «бить меня палкой». Мне захотелось над всеми ними насмеяться, а самому вый-

ти молодцом. Пусть посмотрят. Небось! она испугается скандала и кликнет меня опять. А и не кликнет, так все-таки увидит, что я не мокрая курица...

(Удивительное известие: сейчас только услышал от нашей няни, которую встретил на лестнице, что Марья Филипповна отправилась сегодня, одна-одинешенька, в Карлсбад, с вечерним поездом, к двоюродной сестре. Это что за известие? Няня говорит, что она давно собиралась; но как же этого никто не знал? Впрочем, может, я только не знал. Няня проговорилась мне, что Марья Филипповна с генералом еще третьего дня крупно поговорила. Понимаю-с. Это, наверное,— mademoiselle Blanche. Да, у нас наступает что-то решительное.)

Глава VII

Наутро я позвал кельнера и объявил, чтобы счет мне писали особенно. Номер мой был не так еще дорог, чтоб очень пугаться и совсем выехать из отеля. У меня было шестнадцать фридрихсдоров, а там... там, может быть, богатство! Странное дело, я еще не выиграл, но поступаю, чувствую и мыслю, как богач, и не могу представлять себя иначе.

Я располагал, несмотря на ранний час, тотчас же отправиться к мистеру Астлею в отель d'Angleterre[1], очень недалеко от нас, как вдруг вошел ко мне Де-Грие. Этого никогда еще не случалось, да, сверх того, с этим господином во все последнее время мы были в самых чуждых и в самых натянутых отношениях. Он явно не скрывал своего ко мне пренебрежения, даже старался не скрывать; а я — я имел свои собственные причины его не жаловать. Одним словом, я его ненавидел. Приход его меня очень удивил. Я тотчас же смекнул, что тут что-нибудь особенное заварилось.

Вошел он очень любезно и сказал мне комплимент насчет моей комнаты. Видя, что я со шляпой в руках, он осведомился, неужели я так рано выхожу гулять. Когда же услышал, что я иду к мистеру Астлею по делу, подумал, сообразил, и лицо его приняло чрезвычайно озабоченный вид.

Де-Грие был, как все французы, то есть веселый и любезный, когда это надо и выгодно, и нестерпимо скучный, когда быть веселым и любезным переставала необходимость. Француз редко натурально любезен; он любезен всегда как бы по приказу, из рас-

[1] «Англетер» (*фр.*).

чета. Если, например, видит необходимость быть фантастичным, оригинальным, понеобыденнее, то фантазия его, самая глупая и неестественная, слагается из заранее принятых и давно уже опошлившихся форм. Натуральный же француз состоит из самой мещанской, мелкой, обыденной положительности,— одним словом, скучнейшее существо в мире. По-моему, только новички и особенно русские барышни прельщаются французами. Всякому же порядочному существу тотчас же заметна и нестерпима эта казенщина раз установившихся форм салонной любезности, развязности и веселости.

— Я к вам по делу,— начал он чрезвычайно независимо, хотя, впрочем, вежливо,— и не скрою, что к вам послом или, лучше сказать, посредником от генерала. Очень плохо зная русский язык, я ничего почти вчера не понял; но генерал мне подробно объяснил, и признаюсь...

— Но послушайте, monsieur Де-Грие,— перебил я его,— вы вот и в этом деле взялись быть посредником. Я, конечно, «un outchitel» и никогда не претендовал на честь быть близким другом этого дома или на какие-нибудь особенно интимные отношения, а потому и не знаю всех обстоятельств; но разъясните мне: неужели вы уж теперь совсем принадлежите к членам этого семейства? Потому что вы, наконец, во всем берете такое участие, непременно, сейчас же во всем посредником...

Вопрос мой ему не понравился. Для него он был слишком прозрачен, а проговариваться он не хотел.

— Меня связывают с генералом отчасти дела, отчасти *некоторые особенные* обстоятельства,— сказал он сухо.— Генерал прислал меня просить вас оставить ваши вчерашние намерения. Все, что вы выдумали, конечно, очень остроумно; но он именно просил меня представить вам, что вам совершенно не удастся; мало того — вас барон не примет, и, наконец, во всяком случае, он ведь имеет все средства избавиться от дальнейших неприятностей с вашей стороны. Согласитесь сами. К чему же, скажите, продолжать? Генерал же вам обещает, наверное, принять вас опять в свой дом, при первых удобных обстоятельствах, а до того времени зачесть ваше жалованье, vos appointements[1]. Ведь это довольно выгодно, не правда ли?

Я возразил ему весьма спокойно, что он несколько ошибается; что, может быть, меня от барона и не прогонят, а, напротив, выслушают, и попросил его признаться, что, вероятно, он затем и пришел, чтоб выпытать: как именно я примусь за все это дело?

---

[1] Вашу заработную плату (*фр.*).

— О боже, если генерал так заинтересован, то, разумеется, ему приятно будет узнать, что и как вы будете делать? Это так естественно!

Я принялся объяснять, а он начал слушать, развалясь, несколько склонив ко мне набок голову, с явным, нескрываемым ироническим оттенком в лице. Вообще он держал себя чрезвычайно свысока. Я старался всеми силами притвориться, что смотрю на дело с самой серьезной точки зрения. Я объяснил, что так как барон обратился к генералу с жалобою на меня, точно на генеральскую слугу, то, во-первых,— лишил меня этим места, а во-вторых, третировал меня как лицо, которое не в состоянии за себя ответить и с которым не стоит и говорить. Конечно, я чувствую себя справедливо обиженным; однако, понимая разницу лет, положения в обществе и прочее и прочее (я едва удерживался от смеха в этом месте), не хочу брать на себя еще нового легкомыслия, то есть прямо потребовать от барона или даже только предложить ему об удовлетворении. Тем не менее я считаю себя совершенно вправе предложить ему, и особенно баронессе, мои извинения, тем более что действительно в последнее время я чувствую себя нездоровым, расстроенным, фантастическим и прочее, и прочее. Однако ж сам барон вчерашним обидным для меня обращением к генералу и настоянием, чтобы генерал лишил меня места, поставил меня в такое положение, что теперь я уже не могу представить ему и баронессе мои извинения, потому что и он, и баронесса, и весь свет, наверно, подумают, что я пришел с извинениями со страха, чтоб получить назад свое место. Из всего этого следует, что я нахожусь теперь вынужденным просить барона, чтобы он первоначально извинился предо мною сам, в самых умеренных выражениях,— например, сказал бы, что он вовсе не желал меня обидеть. И когда барон это выскажет, тогда я уже, с развязанными руками, чистосердечно и искренно принесу ему и мои извинения. Одним словом, заключил я, я прошу только, чтобы барон развязал мне руки.

— Фи, какая щепетильность и какие утонченности! И чего вам извиняться? Ну согласитесь, monsieur... monsieur... что вы затеваете все это нарочно, чтобы досадить генералу... а может быть, имеете какие-нибудь особые цели... mon cher monsieur, pardon, j'ai oublié votre nom, monsieur Alexis?.. n'est ce pas?[1]

— Но позвольте, mon cher marquis [2], да вам что за дело?

— Mais le général...[3]

---

[1] дорогой мой, простите, я забыл ваше имя, Алексей?.. Не так ли? (*фр.*)

[2] дорогой маркиз (*фр.*).

[3] Но генерал... (*фр.*).

— А генералу что? Он вчера что-то говорил, что держать себя на какой-то ноге должен... и так тревожился... но я ничего не понял.

— Тут есть, — тут именно существует особое обстоятельство, — подхватил Де-Грие просящим тоном, в котором все более и более слышалась досада. — Вы знаете mademoiselle de Cominges?

— То есть mademoiselle Blanche?

— Ну да, mademoiselle Blanche de Cominges... et madame sa mère...[1] согласитесь сами, генерал... одним словом, генерал влюблен и даже... даже, может быть, здесь совершится брак. И представьте при этом разные скандалы, истории...

— Я не вижу тут ни скандалов, ни историй, касающихся брака.

— Но le baron est si irascible, un caractère prussien, vous savez, enfin il fera une querelle d'Allemand[2].

— Так мне же, а не вам, потому что я уже не принадлежу к дому... (Я нарочно старался быть как можно бестолковее.) Но позвольте, так это решено, что mademoiselle Blanche выходит за генерала? Чего же ждут? Я хочу сказать — что скрывать об этом, по крайней мере, от нас, от домашних?

— Я вам не могу... впрочем, это еще не совсем... однако... вы знаете, ждут из России известия; генералу надо устроить дела...

— А, a! la baboulinka!

Де-Грие с ненавистью посмотрел на меня.

— Одним словом, — перебил он, — я вполне надеюсь на вашу врожденную любезность, на ваш ум, на такт... вы, конечно, сделаете это для того семейства, в котором вы были приняты как родной, были любимы, уважаемы...

— Помилуйте, я был выгнан! Вы вот утверждаете теперь, что это для виду; но согласитесь, если вам скажут: «Я, конечно, не хочу тебя выдрать за уши, но для виду позволь себя выдрать за уши...» Так ведь это почти все равно?

— Если так, если никакие просьбы не имеют на вас влияния, — начал он строго и заносчиво, — то позвольте вас уверить, что будут приняты меры. Тут есть начальство, вас вышлют сегодня же, — que diable! un blan-bec comme vous [3] хочет вызвать на дуэль такое лицо, как барон! И вы думаете, что вас оставят в покое? И поверьте, вас никто здесь не боится! Если я просил, то более от себя, потому что вы беспокоили генерала. И неужели, неужели вы думаете, что барон не велит вас просто выгнать лакею?

---

[1] мадемуазель Бланш де Коменж... и ее мамашу (*фр.*).

[2] Барон так вспыльчив, прусский характер, знаете, он может устроить ссору из-за пустяков (*фр.*).

[3] кой черт! молокосос, как вы (*фр.*).

— Да ведь я не сам пойду,— отвечал я с чрезвычайным спокойствием,— вы ошибаетесь, monsieur Де-Грие, все это обойдется гораздо приличнее, чем вы думаете. Я вот сейчас же отправлюсь к мистеру Астлею и попрошу его быть моим посредником, одним словом, быть моим second [1]. Этот человек меня любит и, наверное, не откажет. Он пойдет к барону, и барон его примет. Если сам я un outchitel и кажусь чем-то subalterne [2], ну и, наконец, без защиты, то мистер Астлей — племянник лорда, настоящего лорда, это известно всем, лорда Пиброка, и лорд этот здесь. Поверьте, что барон будет вежлив с мистером Астлеем и выслушает его. А если не выслушает, то мистер Астлей почтет это себе за личную обиду (вы знаете, как англичане настойчивы) и пошлет к барону от себя приятеля, а у него приятели хорошие. Разочтите теперь, что выйдет, может быть, и не так, как вы полагаете.

Француз решительно струсил; действительно, все это было очень похоже на правду, а стало быть, выходило, что я и в самом деле был в силах затеять историю.

— Но прошу же вас,— начал он совершенно умоляющим голосом,— оставьте все это! Вам точно приятно, что выйдет история! Вам не удовлетворения надобно, а истории! Я сказал, что все это выйдет забавно и даже остроумно, чего, может быть, вы и добиваетесь, но, одним словом,— заключил он, видя, что я встал и беру шляпу,— я пришел вам передать эти два слова от одной особы, прочтите,— мне поручено ждать ответа.

Сказав это, он вынул из кармана и подал мне маленькую, сложенную и запечатанную облаткою записочку.

Рукою Полины было написано:

«Мне показалось, что вы намерены продолжать эту историю. Вы рассердились и начинаете школьничать. Но тут есть особые обстоятельства, и я вам их потом, может быть, объясню; а вы, пожалуйста, перестаньте и уймитесь. Какие все это глупости! Вы мне нужны и сами обещались слушаться. Вспомните Шлангенберг. Прошу вас быть послушным и, если надо, приказываю. *Ваша П.*

P. S. Если на меня за вчерашнее сердитесь, то простите меня».

У меня как бы все перевернулось в глазах, когда я прочел эти строчки. Губы у меня побелели, и я стал дрожать. Проклятый француз смотрел с усиленно скромным видом и отводя от меня глаза, как бы для того, чтобы не видеть моего смущения. Лучше бы он захохотал надо мною.

---

[1] секундантом (*фр.*).
[2] подчиненным (*фр.*).

— Хорошо, — ответил я, — скажите, чтобы mademoiselle была спокойна. Позвольте же, однако, вас спросить, — прибавил я резко, — почему вы так долго не передавали мне эту записку? Вместо того чтобы болтать о пустяках, мне кажется, вы должны были начать с этого... если вы именно и пришли с этим поручением.

— О, я хотел... вообще все это так странно, что вы извините мое натуральное нетерпение. Мне хотелось поскорее узнать самому лично, от вас самих, ваши намерения. Я, впрочем, не знаю, что в этой записке, и думал, что всегда успею передать.

— Понимаю, вам просто-запросто велено передать это только в крайнем случае, а если уладите на словах, то и не передавать. Так ли? Говорите прямо, monsieur Де-Грие!

— Peut-être[1], — сказал он, принимая вид какой-то особенной сдержанности и смотря на меня каким-то особенным взглядом.

Я взял шляпу; он кивнул головой и вышел. Мне показалось, что на губах его насмешливая улыбка. Да и как могло быть иначе?

— Мы с тобой еще сочтемся, французишка, померимся! — бормотал я, сходя с лестницы. Я еще ничего не мог сообразить, точно что мне в голову ударило. Воздух несколько освежил меня.

Минуты через две, чуть-чуть только я стал ясно соображать, мне ярко представились две мысли: *первая*, — что из таких пустяков, из нескольких школьнических, невероятных угроз мальчишки, высказанных вчера на лету, поднялась такая *всеобщая* тревога! и *вторая* мысль — каково же, однако, влияние этого француза на Полину? Одно его слово — и она делает все, что ему нужно, пишет записку и даже *просит* меня. Конечно, их отношения и всегда для меня были загадкою с самого начала, с тех пор как я их знать начал; однако ж в эти последние дни я заметил в ней решительное отвращение и даже презрение к нему, а он даже и не смотрел на нее, даже просто бывал с ней невежлив. Я это заметил. Полина сама мне говорила об отвращении; у ней уже прорывались чрезвычайно значительные признания... Значит, он просто владеет ею, она у него в каких-то цепях...

Глава VIII

На променаде, как здесь называют, то есть в каштановой аллее, я встретил моего англичанина.

— О, о! — начал он, завидя меня, — я к вам, а вы ко мне. Так вы уж расстались с вашими?

---

[1] Может быть (*фр.*)

— Скажите, во-первых, почему все это вы знаете,— спросил я в удивлении,— неужели все это всем известно?

— О нет, всем неизвестно; да и не стоит, чтоб было известно. Никто не говорит.

— Так почему вы это знаете?

— Я знаю, то есть имел случай узнать. Теперь куда вы отсюда уедете? Я люблю вас и потому к вам пришел.

— Славный вы человек, мистер Астлей,— сказал я (меня, впрочем, ужасно поразило: откуда он знает?),— и так как я еще не пил кофе, да и вы, вероятно, его плохо пили, то пойдемте к воксалу в кафе, там сядем, закурим, и я вам все расскажу, и... вы тоже мне расскажете.

Кафе был во ста шагах. Нам принесли кофе, мы уселись, я закурил папиросу, мистер Астлей ничего не закурил и, уставившись на меня, приготовился слушать.

— Я никуда не еду, я здесь остаюсь,— начал я.

— И я был уверен, что вы останетесь,— одобрительно произнес мистер Астлей.

Идя к мистеру Астлею, я вовсе не имел намерения и даже нарочно не хотел рассказывать ему что-нибудь о моей любви к Полине. Во все эти дни я не сказал с ним об этом почти ни одного слова. К тому же он был очень застенчив. Я с первого раза заметил, что Полина произвела на него чрезвычайное впечатление, но он никогда не упоминал ее имени. Но странно, вдруг, теперь, только что он уселся и уставился на меня своим пристальным оловянным взглядом, во мне, неизвестно почему, явилась охота рассказать ему все, то есть всю мою любовь и со всеми ее оттенками. Я рассказывал целые полчаса, и мне было это чрезвычайно приятно, в первый раз я об этом рассказывал! Заметив же, что в некоторых, особенно пылких местах, он смущается, я нарочно усиливал пылкость моего рассказа. В одном раскаиваюсь: я, может быть, сказал кое-что лишнее про француза...

Мистер Астлей слушал, сидя против меня, неподвижно, не издавая ни слова, ни звука и глядя мне в глаза; но когда я заговорил про француза, он вдруг осадил меня и строго спросил: имею ли я право упоминать об этом постороннем обстоятельстве? Мистер Астлей всегда очень странно задавал вопросы.

— Вы правы: боюсь, что нет,— ответил я.

— Об этом маркизе и о мисс Полине вы ничего не можете сказать точного, кроме одних предположений?

Я опять удивился такому категорическому вопросу от такого застенчивого человека, как мистер Астлей.

— Нет, точного ничего,— ответил я,— конечно, ничего.

— Если так, то вы сделали дурное дело не только тем, что заговорили об этом со мною, но даже и тем, что про себя это подумали.

— Хорошо, хорошо! Сознаюсь; но теперь не в том дело,— перебил я, про себя удивляясь. Тут я ему рассказал всю вчерашнюю историю, во всех подробностях, выходку Полины, мое приключение с бароном, мою отставку, необыкновенную трусость генерала и, наконец, в подробности изложил сегодняшнее посещение Де-Грие, со всеми оттенками; в заключение показал ему записку.

— Что вы из этого выводите? — спросил я.— Я именно пришел узнать ваши мысли. Что же до меня касается, то я, кажется, убил бы этого французишку и, может быть, это сделаю.

— И я,— сказал мистер Астлей.— Что же касается до мисс Полины, то... вы знаете, мы вступаем в сношения даже с людьми нам ненавистными, если нас вызывает к тому необходимость. Тут могут быть сношения вам неизвестные, зависящие от обстоятельств посторонних. Я думаю, что вы можете успокоиться — отчасти, разумеется. Что же касается до вчерашнего поступка ее, то он, конечно, странен,— не потому, что она пожелала от вас отвязаться и послала вас под дубину барона (которую, я не понимаю почему, он не употребил, имея в руках), а потому, что такая выходка для такой... для такой превосходной мисс — неприлична. Разумеется, она не могла предугадать, что вы буквально исполните ее насмешливое желание.

— Знаете ли что? — вскричал я вдруг, пристально всматриваясь в мистера Астлея,— мне сдается, что вы уже о всем об этом слыхали, знаете от кого? — от самой мисс Полины!

Мистер Астлей посмотрел на меня с удивлением.

— У вас глаза сверкают, и я читаю в них подозрение,— проговорил он, тотчас же возвратив себе прежнее спокойствие,— но вы не имеете ни малейших прав обнаруживать ваши подозрения. Я не могу признать этого права и вполне отказываюсь отвечать на ваш вопрос.

— Ну, довольно! И не надо! — закричал я, странно волнуясь и не понимая, почему вскочило это мне в мысль! И когда, где, каким образом мистер Астлей мог бы быть выбран Полиною в поверенные? В последнее время, впрочем, я отчасти упустил из виду мистера Астлея, а Полина и всегда была для меня загадкой,— до того загадкой, что, например, теперь, пустившись рассказывать всю историю моей любви мистеру Астлею, я вдруг, во время самого рассказа, был поражен тем, что почти ничего не мог сказать об моих отношениях с нею точного и положительного. Напротив того, все было фантастическое, странное, неосновательное и даже ни на что не похожее.

— Ну, хорошо, хорошо; я сбит с толку и теперь еще многого не могу сообразить,— отвечал я, точно запыхавшись.— Впрочем, вы хороший человек. Теперь другое дело, и я прошу вашего — не совета, а мнения.

Я помолчал и начал:

— Как вы думаете, почему так струсил генерал? почему из моего глупейшего шалопайничества они все вывели такую историю? Такую историю, что даже сам Де-Грие нашел необходимым вмешаться (а он вмешивается только в самых важных случаях), посетил меня (каково!), просил, умолял меня — он, Де-Грие, меня! Наконец, заметьте себе, он пришел в девять часов, в конце девятого, и уж записка мисс Полины была в его руках. Когда же, спрашивается, она была написана? Может быть, мисс Полину разбудили для этого! Кроме того, что из этого я вижу, что мисс Полина его раба (потому что даже у меня просит прощения!); кроме этого, ей-то что во всем этом, ей лично? Она для чего так интересуется? Чего они испугались какого-то барона? И что ж такое, что генерал женится на mademoiselle Blanche de Cominges? Они говорят, что им как-то *особенно* держать себя вследствие этого обстоятельства надо,— но ведь это уж слишком особенно, согласитесь сами! Как вы думаете? Я по глазам вашим убежден, что вы и тут более меня знаете!

Мистер Астлей усмехнулся и кивнул головой.

— Действительно, я, кажется, и в этом гораздо больше вашего знаю,— сказал он.— Тут все дело касается одной mademoiselle Blanche, и я уверен, что это совершенная истина.

— Ну что ж mademoiselle Blanche? — вскричал я с нетерпением (у меня вдруг явилась надежда, что теперь что-нибудь откроется о m-lle Полине).

— Мне кажется, что mademoiselle Blanche имеет в настоящую минуту особый интерес всячески избегать встречи с бароном и баронессой,— тем более встречи неприятной, еще хуже — скандальной.

— Ну! Ну!

— Mademoiselle Blanche третьего года, во время сезона уже была здесь, в Рулетенбурге. И я тоже здесь находился. Mademoiselle Blanche тогда не называлась mademoiselle de Cominges, равномерно и мать ее madame veuve Cominges[1] тогда не существовала. По крайней мере, о ней не было и помину. Де-Грие — Де-Грие тоже не было. Я питаю глубокое убеждение, что они не только не родня между собою, но даже и знакомы весьма недавно. Маркизом Де-Грие стал тоже весьма недавно — я в этом уверен по одному обстоятельству. Даже можно предположить, что он и

[1] госпожа вдова Коменж (*фр.*).

Де-Грие стал называться недавно. Я знаю здесь одного человека, встречавшего его и под другим именем.

— Но ведь он имеет действительно солидный круг знакомства?

— О, это может быть. Даже mademoiselle Blanche его может иметь. Но третьего года mademoiselle Blanche, по жалобе этой самой баронессы, получила приглашение от здешней полиции покинуть город и покинула его.

— Как так?

— Она появилась тогда здесь сперва с одним итальянцем, каким-то князем, с историческим именем что-то вроде *Барберини* или что-то похожее. Человек весь в перстнях и бриллиантах, и даже не фальшивых. Они ездили в удивительном экипаже. Mademoiselle Blanche играла в trente et quarante сначала хорошо, потом ей стало сильно изменять счастие; так я припоминаю. Я помню, в один вечер она проиграла чрезвычайную сумму. Но всего хуже, что un beau matin [1] ее князь исчез неизвестно куда; исчезли и лошади и экипаж — все исчезло. Долг в отеле ужасный. Mademoiselle Зельма́ (вместо Барберини она вдруг обратилась в mademoiselle Зельму́) была в последней степени отчаяния. Она выла и визжала на весь отель и разорвала в бешенстве свое платье. Тут же в отеле стоял один польский граф (все путешествующие поляки — графы), и mademoiselle Зельма́, разрывавшая свои платья и царапавшая, как кошка, свое лицо своими прекрасными, вымытыми в духах руками, произвела на него некоторое впечатление. Они переговорили, и к обеду она утешилась. Вечером он появился с ней под руку в воксале. Mademoiselle Зельма́ смеялась, по своему обыкновению, весьма громко, и в манерах ее оказалось несколько более развязности. Она поступила прямо в тот разряд играющих на рулетке дам, которые, подходя к столу, изо всей силы отталкивают плечом игрока, чтобы очистить себе место. Это особенный здесь шик у этих дам. Вы их, конечно, заметили?

— О да.

— Не стоит и замечать. К досаде порядочной публики, они здесь не переводятся, по крайней мере, те из них, которые меняют каждый день у стола тысячефранковые билеты. Впрочем, как только они перестают менять билеты, их тотчас просят удалиться. Mademoiselle Зельма́ еще продолжала менять билеты, но игра ее шла еще несчастливее. Заметьте себе, что эти дамы весьма часто играют счастливо; у них удивительное владение собою. Впрочем, история моя кончена. Однажды, точно так же как и князь, исчез и граф. Mademoiselle Зельма́ явилась вечером играть уже одна; на

[1] в одно прекрасное утро (*фр.*).

этот раз никто не явился предложить ей руку. В два дня она проигралась окончательно. Поставив последний луидор и проиграв его, она осмотрелась кругом и увидела подле себя барона Вурмергельма, который очень внимательно и с глубоким негодованием ее рассматривал. Но mademoiselle Зельма́ не разглядела негодования и, обратившись к барону с известной улыбкой, попросила поставить за нее на красную десять луидоров. Вследствие этого, по жалобе баронессы, она к вечеру получила приглашение не показываться более в воксале. Если вы удивляетесь, что мне известны все эти мелкие и совершенно неприличные подробности, то это потому, что слышал я их окончательно от мистера Фидера, одного моего родственника, который в тот же вечер увез в своей коляске mademoiselle Зельму́ из Рулетенбурга в Спа. Теперь поймите: mademoiselle Blanche хочет быть генеральшей, вероятно, для того, чтобы впредь не получать таких приглашений, как третьего года от полиции воксала. Теперь она уже не играет; но это потому, что теперь у ней по всем признакам есть капитал, который она ссужает здешним игрокам на проценты. Это гораздо расчетливее. Я даже подозреваю, что ей должен и несчастный генерал. Может быть, должен и Де-Грие. Может быть, Де-Грие с ней в компании. Согласитесь сами, что, по крайней мере, до свадьбы, она бы не желала почему-либо обратить на себя внимание баронессы и барона. Одним словом, в ее положении ей всего менее выгоден скандал. Вы же связаны с их домом, и ваши поступки могли возбудить скандал, тем более что она каждодневно является в публике под руку с генералом или с мисс Полиною. Теперь понимаете?

— Нет, не понимаю! — вскричал я, изо всей силы стукнув по столу так, что garçon[1] прибежал в испуге.

— Скажите, мистер Астлей, — повторил я в исступлении, — если вы уже знали всю эту историю, а следственно, знаете наизусть, что такое mademoiselle Blanche de Cominges, то каким образом не предупредили вы хоть меня, самого генерала, наконец, а главное, мисс Полину, которая показывалась здесь в воксале, в публике, с mademoiselle Blanche под руку? Разве это возможно?

— Вас предупреждать мне было нечего, потому что вы ничего не могли сделать, — спокойно отвечал мистер Астлей. — А впрочем, и о чем предупреждать? Генерал, может быть, знает о mademoiselle Blanche еще более, чем я, и все-таки прогуливается с нею и с мисс Полиной. Генерал — несчастный человек. Я видел вчера, как mademoiselle Blanche скакала на прекрасной лошади с monsieur Де-Грие и с этим маленьким русским князем, а генерал

---

[1] официант (*фр.*).

скакал за ними на рыжей лошади. Он утром говорил, что у него болят ноги, но посадка его была хороша. И вот в это-то мгновение мне вдруг пришло на мысль, что это совершенно погибший человек. К тому же все это не мое дело, и я только недавно имел честь узнать мисс Полину. А впрочем (спохватился вдруг мистер Астлей), я уже сказал вам, что не могу признать ваши права на некоторые вопросы, несмотря на то, что искренно вас люблю...

— Довольно,— сказал я, вставая,— теперь мне ясно, как день, что и мисс Полине все известно о mademoiselle Blanche, но что она не может расстаться со своим французом, а потому и решается гулять с mademoiselle Blanche. Поверьте, что никакие другие влияния не заставили бы ее гулять с mademoiselle Blanche и умолять меня в записке не трогать барона. Тут именно должно быть это влияние, пред которым все склоняется! И, однако, ведь она же меня и напустила на барона! Черт возьми, тут ничего не разберешь!

— Вы забываете, во-первых, что эта mademoiselle de Cominges — невеста генерала, а во-вторых, что у мисс Полины, падчерицы генерала, есть маленький брат и маленькая сестра, родные дети генерала, уж совершенно брошенные этим сумасшедшим человеком, а кажется, и ограбленные.

— Да, да! это так! уйти от детей — значит уж совершенно их бросить, остаться — значит защитить их интересы, а может быть, и спасти клочки имения. Да, да, все это правда! Но все-таки, все-таки! О, я понимаю, почему все они так теперь интересуются бабуленькой!

— О ком? — спросил мистер Астлей.

— О той старой ведьме в Москве, которая не умирает и о которой ждут телеграммы, что она умрет.

— Ну да, конечно, весь интерес в ней соединился. Все дело в наследстве! Объявится наследство, и генерал женится; мисс Полина будет тоже развязана, а Де-Грие...

— Ну а Де-Грие?

— А Де-Грие будут заплачены деньги; он того только здесь и ждет.

— Только! вы думаете, только этого и ждет?

— Более я ничего не знаю,— упорно замолчал мистер Астлей.

— А я знаю, я знаю! — повторил я в ярости,— он тоже ждет наследства, потому что Полина получит приданое, а получив деньги, тотчас кинется ему на шею. Все женщины таковы! И самые гордые из них — самыми-то пошлыми рабами и выходят! Полина способна только страстно любить и больше ничего! Вот мое мнение о ней! Поглядите на нее, особенно когда она сидит одна, задумавшись: это — что-то предназначенное, приговоренное, проклятое! Она способна на все ужасы жизни и страсти... она... она...

но кто это зовет меня? — воскликнул я вдруг. — Кто кричит? Я слышал, закричали по-русски: «Алексей Иванович!» Женский голос, слышите, слышите!

В это время мы подходили к нашему отелю. Мы давно уже, почти не замечая того, оставили кафе.

— Я слышал женские крики, но не знаю, кого зовут; это по-русски; теперь я вижу, откуда крики, — указывал мистер Астлей, — это кричит та женщина, которая сидит в большом кресле и которую внесли сейчас на крыльцо столько лакеев. Сзади несут чемоданы, значит, только что приехал поезд.

— Но почему она зовет меня? Она опять кричит; смотрите, она нам машет.

— Я вижу, что она машет, — сказал мистер Астлей.

— Алексей Иванович! Алексей Иванович! Ах, господи, что это за олух! — раздавались отчаянные крики с крыльца отеля.

Мы почти побежали к подъезду. Я вступил на площадку и... руки мои опустились от изумления, а ноги так и приросли к камню.

Глава IX

На верхней площадке широкого крыльца отеля, внесенная по ступеням в креслах и окруженная слугами, служанками и многочисленною подобострастною челядью отеля, в присутствии самого обер-кельнера, вышедшего встретить высокую посетительницу, приехавшую с таким треском и шумом, с собственною прислугою и с столькими баулами и чемоданами, восседала — *бабушка!* Да, это была она сама, грозная и богатая, семидесятипятилетняя Антонида Васильевна Тарасевичева, помещица и московская барыня, la baboulinka, о которой пускались и получались телеграммы, умиравшая и не умершая и которая вдруг сама, собственнолично, явилась к нам как снег на голову. Она явилась, хотя и без ног, носимая, как и всегда, во все последние пять лет, в креслах, но, по обыкновению своему, бойкая, задорная, самодовольная, прямо сидящая, громко и повелительно кричащая, всех бранящая, — ну точь-в-точь такая, как я имел честь видеть ее раза два, с того времени как определился в генеральский дом учителем. Естественно, что я стоял пред нею истуканом от удивления. Она же разглядела меня своим рысьим взглядом еще за сто шагов, когда ее вносили в креслах, узнала и кликнула меня по имени и отчеству, что тоже, по обыкновению своему, раз навсегда запомнила. «И эдакую-то ждали видеть в гробу, схороненную и оставившую наследство, — пролетело у меня в мыслях, — да она всех нас и весь отель переживет! Но, боже, что ж это будет теперь с нашими, что

будет теперь с генералом! Она весь отель теперь перевернет на сторону!»

— Ну что ж ты, батюшка, стал предо мною, глаза выпучил! — продолжала кричать на меня бабушка,— поклониться-поздороваться не умеешь, что ли? Аль загордился, не хочешь? Аль, может, не узнал? Слышишь, Потапыч,— обратилась она к седому старичку, во фраке, в белом галстуке и с розовой лысиной, своему дворецкому, сопровождавшему ее в вояже,— слышишь, не узнает! Схоронили! Телеграмму за телеграммою посылали: умерла али не умерла? Ведь я все знаю! А я, вот видишь, и живехонька.

— Помилуйте, Антонида Васильевна, с чего мне-то вам худого желать? — весело отвечал я очнувшись,— я только был удивлен... Да и как же не подивиться, так неожиданно...

— А что тебе удивительного? Села да поехала. В вагоне покойно, толчков нет. Ты гулять ходил, что ли?

— Да, прошелся к воксалу.

— Здесь хорошо,— сказала бабушка, озираясь,— тепло и деревья богатые. Это я люблю! Наши дома? Генерал?

— О! дома, в этот час, наверно, все дома.

— А у них и здесь часы заведены и все церемонии? Тону задают. Экипаж, я слышала, держат, les seigneurs russes![1] Просвистались, так и за границу! И Прасковья с ним?

— И Полина Александровна тоже.

— И французишка? Ну да сама всех увижу. Алексей Иванович, показывай дорогу, прямо к нему. Тебе-то здесь хорошо ли?

— Так себе, Антонида Васильевна.

— А ты, Потапыч, скажи этому олуху, кельнеру, чтоб мне удобную квартиру отвели, хорошую, не высоко, туда и вещи сейчас перенеси. Да чего всем-то соваться меня нести? Чего они лезут? Экие рабы! Это кто с тобой? — обратилась она опять ко мне.

— Это мистер Астлей,— отвечал я.

— Какой такой мистер Астлей?

— Путешественник, мой добрый знакомый; знаком и с генералом.

— Англичанин. То-то он уставился на меня и зубов не разжимает. Я, впрочем, люблю англичан. Ну, тащите наверх, прямо к ним на квартиру; где они там?

Бабушку понесли; я шел впереди по широкой лестнице отеля. Шествие наше было очень эффектное. Все, кто попадались,— останавливались и смотрели во все глаза. Наш отель считался самым лучшим, самым дорогим и самым аристократическим на водах. На лестнице и в коридорах всегда встречаются великолеп-

---

[1] русские вельможи! (*фр.*).

ные дамы и важные англичане. Многие осведомлялись внизу у обер-кельнера, который, с своей стороны, был глубоко поражен. Он, конечно, отвечал всем спрашивавшим, что это важная иностранка, une russe, une comtesse, grande dame [1] и что она займет то самое помещение, которое за неделю тому назад занимала la grande duchesse de N[2]. Повелительная и властительная наружность бабушки, возносимой в креслах, была причиною главного эффекта. При встрече со всяким новым лицом она тотчас обмеривала его любопытным взглядом и о всех громко меня расспрашивала. Бабушка была из крупной породы, и хотя и не вставала с кресел, но предчувствовалось, глядя на нее, что она весьма высокого роста. Спина ее держалась прямо, как доска, и не опиралась на кресло. Седая, большая ее голова, с крупными и резкими чертами лица, держалась вверх; глядела она как-то даже заносчиво и с вызовом; и видно было, что взгляд и жесты ее совершенно натуральны. Несмотря на семьдесят пять лет, лицо ее было довольно свежо и даже зубы не совсем пострадали. Одета она была в черном шелковом платье и в белом чепчике.

— Она чрезвычайно интересует меня,— шепнул мне, подымаясь рядом со мною, мистер Астлей.

«О телеграммах она знает,— подумал я,— Де-Грие ей тоже известен, но m-lle Blanche еще, кажется, мало известна». Я тотчас же сообщил об этом мистеру Астлею.

Грешный человек! только что прошло мое первое удивление, я ужасно обрадовался громовому удару, который мы произведем сейчас у генерала. Меня точно что подзадоривало, и я шел впереди чрезвычайно весело.

Наши квартировали в третьем этаже; я не докладывал и даже не постучал в дверь, а просто растворил ее настежь, и бабушку внесли с триумфом. Все они были, как нарочно, в сборе, в кабинете генерала. Было двенадцать часов, и, кажется, проектировалась какая-то поездка,— одни сбирались в колясках, другие верхами, всей компанией; кроме того, были еще приглашенные из знакомых. Кроме генерала, Полины с детьми, их нянюшки, находились в кабинете: Де-Грие, m-lle Blanche, опять в амазонке, ее мать madame veuve Cominges, маленький князь и еще какой-то ученый путешественник, немец, которого я видел у них еще в первый раз. Кресла с бабушкой прямо опустили посредине кабинета, в трех шагах от генерала. Боже, никогда не забуду этого впечатления! Пред нашим входом генерал что-то рассказывал, а Де-Грие его поправлял. Надо заметить, что m-lle Blanche и Де-Грие вот уже

[1] русская, графиня, важная дама (*фр.*).
[2] великая княгиня де Н. (*фр.*).

два-три дня почему-то очень ухаживали за маленьким князем — à la barbe du pauvre général[1], и компания хоть, может быть, и искусственно, но была настроена на самый веселый и радушно-семейный тон. При виде бабушки генерал вдруг остолбенел, разинул рот и остановился на полслове. Он смотрел на нее, выпучив глаза, как будто околдованный взглядом василиска. Бабушка смотрела на него тоже молча, неподвижно,— но что это был за торжествующий, вызывающий и насмешливый взгляд! Они просмотрели так друг на друга секунд десять битых, при глубоком молчании всех окружающих. Де-Грие сначала оцепенел, но скоро необыкновенное беспокойство замелькало в его лице. M-lle Blanche подняла брови, раскрыла рот и дико разглядывала бабушку. Князь и ученый в глубоком недоумении созерцали всю эту картину. Во взгляде Полины выразилось чрезвычайное удивление и недоумение, но вдруг она побледнела, как платок; чрез минуту кровь быстро ударила ей в лицо и залила ей щеки. Да, это была катастрофа для всех! Я только и делал, что переводил мои взгляды от бабушки на всех окружающих и обратно. Мистер Астлей стоял в стороне, по своему обыкновению, спокойно и чинно.

— Ну, вот и я! Вместо телеграммы-то! — разразилась наконец бабушка, прерывая молчание.— Что, не ожидали?

— Антонида Васильевна... тетушка... но каким же образом...— пробормотал несчастный генерал. Если бы бабушка не заговорила еще несколько секунд, то, может быть, с ним был бы удар.

— Как каким образом? Села да поехала. А железная-то дорога на что? А вы все думали: я уж ноги протянула и вам наследство оставила? Я ведь знаю, как ты отсюда телеграммы-то посылал. Денег-то что за них переплатил, я думаю. Отсюда не дешево. А я ноги на плечи, да и сюда. Это тот француз? Monsieur Де-Грие, кажется?

— Oui, madame,— подхватил Де-Грие,— et croyez, je suis si enchanté... votre santé... c'est un miracle... vous voir ici, une surprise charmante...[2]

— То-то charmante; знаю я тебя, фигляр ты эдакой, да я-то тебе вот на столечко не верю! — и она указала ему свой мизинец.— Это кто такая,— обратилась она, указывая на m-lle Blanche. Эффектная француженка, в амазонке, с хлыстом в руке, видимо, ее поразила.— Здешняя, что ли?

---

[1] под носом у бедного генерала (*фр.*).

[2] Да, сударыня... И поверьте, я в таком восторге... ваше здоровье... это чудо... видеть вас здесь... прелестный сюрприз... (*фр.*)

— Это mademoiselle Blanche de Cominges, а вот и маменька ее madame de Cominges; они квартируют в здешнем отеле,— доложил я.

— Замужем дочь-то? — не церемонясь, расспрашивала бабушка.

— Mademoiselle de Cominges девица,— отвечал я как можно почтительнее и нарочно вполголоса.

— Веселая?

Я было не понял вопроса.

— Не скучно с нею? По-русски понимает? Вот Де-Грие у нас в Москве намастачился по-нашему-то, с пятого на десятое.

Я объяснил ей, что mademoiselle de Cominges никогда не была в России.

— Bonjour![1] — сказала бабушка, вдруг резко обращаясь к m-lle Blanche.

— Bonjour, madame,— церемонно и изящно присела m-lle Blanche, поспешив, под покровом необыкновенной скромности и вежливости, выказать всем выражением лица и фигуры чрезвычайное удивление к такому странному вопросу и обращению.

— О, глаза опустила, манерничает и церемонничает; сейчас видна птица; актриса какая-нибудь. Я здесь в отеле внизу остановилась,— обратилась она вдруг к генералу,— соседка тебе буду; рад или не рад?

— О тетушка! Поверьте искренним чувствам... моего удовольствия,— подхватил генерал. Он уже отчасти опомнился, а так как при случае он умел говорить удачно, важно и с претензиею на некоторый эффект, то принялся распространяться и теперь.— Мы были так встревожены и поражены известиями о вашем нездоровье... Мы получали такие безнадежные телеграммы, и вдруг...

— Ну, врешь, врешь! — перебила тотчас бабушка.

— Но каким образом,— тоже поскорей перебил и возвысил голос генерал, постаравшись не заметить этого «врешь»,— каким образом вы, однако, решились на такую поездку? Согласитесь сами, что в ваших летах и при вашем здоровье... по крайней мере, все это так неожиданно, что понятно наше удивление. Но я так рад... и мы все (он начал умильно и восторженно улыбаться) постараемся изо всех сил сделать вам здешний сезон наиприятнейшим препровождением...

— Ну, довольно; болтовня пустая; нагородил по обыкновению; я и сама сумею прожить. Впрочем, и от вас не прочь; зла не помню. Каким образом, ты спрашиваешь. Да что тут удивительно-

[1] Здравствуйте! (*фр.*)

го? Самым простейшим образом. И чего они все удивляются. Здравствуй, Прасковья. Ты здесь что делаешь?

— Здравствуйте, бабушка,— сказала Полина, приближаясь к ней,— давно ли в дороге?

— Ну, вот эта умнее всех спросила, а то: ах да ах! Вот видишь ты: лежала-лежала, лечили-лечили, я докторов прогнала и позвала пономаря от Николы. Он от такой же болезни сенной трухой одну бабу вылечил. Ну и мне помог; на третий день вся вспотела и поднялась. Потом опять собрались мои немцы, надели очки и стали рядить: «Если бы теперь, говорят, за границу на воды и курс взять, так совсем бы завалы прошли». А почему же нет, думаю? Дурь-Зажигины разахались: «Куда вам, говорят, доехать!» Ну, вот-те на! В один день собралась и на прошлой неделе в пятницу взяла девушку, да Потапыча, да Федора лакея, да этого Федора из Берлина и прогнала, потому: вижу, совсем его не надо, и одна-одинешенька доехала бы... Вагон беру особенный, а носильщики на всех станциях есть, за двугривенный куда хочешь донесут. Ишь вы квартиру нанимаете какую! — заключила она осматриваясь.— Из каких это ты денег, батюшка? Ведь все у тебя в залоге. Одному этому французишке что должен деньжищ-то! Я ведь все знаю, все знаю!

— Я, тетушка...— начал генерал, весь сконфузившись,— я удивляюсь, тетушка... я, кажется, могу и без чьего-либо контроля... притом же мои расходы не превышают моих средств, и мы здесь...

— У тебя-то не превышают? сказал! У детей-то, должно быть, последнее уж заграбил, опекун!

— После этого, после таких слов...— начал генерал в негодовании,— я уже и не знаю...

— То-то не знаешь! небось здесь от рулетки не отходишь? Весь просвистался?

Генерал был так поражен, что чуть не захлебнулся от прилива взволнованных чувств своих.

— На рулетке! Я? При моем значении... Я? Опомнитесь, матушка, вы еще, должно быть, нездоровы...

— Ну, врешь, врешь; небось оттащить не могут; все врешь! Я вот посмотрю, что это за рулетка такая, сегодня же. Ты, Прасковья, мне расскажи, где что здесь осматривают, да вот и Алексей Иванович покажет, а ты, Потапыч, записывай все места, куда ехать. Что здесь осматривают? — обратилась вдруг она опять к Полине.

— Здесь есть близко развалины замка, потом Шлангенберг.

— Что это Шлангенберг? Роща, что ли?

— Нет, не роща, это гора; там пуант...

— Какой такой пуант?

— Самая высшая точка на горе, огороженное место. Оттуда вид бесподобный.

— Это на гору-то кресла тащить? Встащат аль нет?

— О, носильщиков сыскать можно,— отвечал я.

В это время подошла здороваться к бабушке Федосья, нянюшка, и подвела генеральских детей.

— Ну, нечего лобызаться! Не люблю целоваться с детьми: все дети сопливые. Ну, ты как здесь, Федосья?

— Здесь очинно, очинно хорошо, матушка Антонида Васильевна,— ответила Федосья.— Как вам-то было, матушка? Уж мы так про вас изболезновались.

— Знаю, ты-то простая душа. Это что у вас, все гости, что ли? — обратилась она опять к Полине.— Это кто плюгавенький-то, в очках?

— Князь Нильский, бабушка,— прошептала ей Полина.

— А русский? А я думала, не поймет! Не слыхал, может быть! Мистера Астлея я уже видела. Да вот он опять,— увидала его бабушка,— здравствуйте! — обратилась она вдруг к нему.

Мистер Астлей молча ей поклонился.

— Ну, что вы мне скажете хорошего? Скажите что-нибудь! Переведи ему это, Полина.

Полина перевела.

— То, что я гляжу на вас с большим удовольствием и радуюсь, что вы в добром здоровье,— серьезно, но с чрезвычайною готовностью ответил мистер Астлей. Бабушке перевели, и ей, видимо, это понравилось.

— Как англичане всегда хорошо отвечают,— заметила она.— Я почему-то всегда любила англичан, сравнения нет с французишками! Заходите ко мне,— обратилась она опять к мистеру Астлею.— Постараюсь вас не очень обеспокоить. Переведи это ему, да скажи ему, что я здесь внизу, здесь внизу,— слышите, внизу, внизу,— повторяла она мистеру Астлею, указывая пальцем вниз.

Мистер Астлей был чрезвычайно доволен приглашением.

Бабушка внимательным и довольным взглядом оглядела с ног до головы Полину.

— Я бы тебя, Прасковья, любила,— вдруг сказала она,— девка ты славная, лучше их всех, да характеришко у тебя — ух! Ну да и у меня характер; повернись-ка; это у тебя не накладка в волосах-то?

— Нет, бабушка, свои.

— То-то, не люблю теперешней глупой моды. Хороша ты очень. Я бы в тебя влюбилась, если б была кавалером. Чего замуж-то не

выходишь? Но, однако, пора мне. И погулять хочется, а то все вагон да вагон... Ну что ты, все еще сердишься? — обратилась она к генералу.

— Помилуйте, тетушка, полноте! — спохватился обрадованный генерал,— я понимаю, в ваши лета...

— Cette vielle est tombée en enfance[1],— шепнул мне Де-Грие.

— Я вот все хочу здесь рассмотреть. Ты мне Алексея Ивановича-то уступишь? — продолжала бабушка генералу.

— О, сколько угодно, но я и сам... и Полина и monsieur Де-Грие... мы все, все сочтем за удовольствие вам сопутствовать...

— Mais, madame, cela sera un plaisir[2],— подвернулся Де-Грие с обворожительной улыбкой.

— То-то, plaisir. Смешон ты мне, батюшка. Денег-то я тебе, впрочем, не дам,— прибавила она вдруг генералу.— Ну, теперь в мой номер: осмотреть надо, а потом и отправимся по всем местам. Ну, подымайте.

Бабушку опять подняли, и все отправились гурьбой, вслед за креслами, вниз по лестнице. Генерал шел, как будто ошеломленный ударом дубины по голове. Де-Грие что-то соображал. M-lle Blanche хотела было остаться, но почему-то рассудила тоже пойти со всеми. За нею тотчас же отправился и князь, и наверху, в квартире генерала, остались только немец и madame veuve Cominges.

Глава X

На водах — да, кажется, и во всей Европе — управляющие отелями и обер-кельнеры при отведении квартир посетителям руководствуются не столько требованиями и желаниями их, сколько собственным личным своим на них взглядом; и, надо заметить, редко ошибаются. Но бабушке, уж неизвестно почему, отвели такое богатое помещение, что даже пересолили: четыре великолепно убранные комнаты, с ванной, помещениями для прислуги, особой комнатой для камеристки и прочее и прочее. Действительно, в этих комнатах неделю тому назад останавливалась какая-то grande duchesse, о чем, конечно, тотчас же и объявлялось новым посетителям, для придания еще большей цены квартире. Бабушку пронесли, или, лучше сказать, прокатили по всем комнатам, и она внимательно и строго оглядывала их. Обер-кельнер, уже пожилой

---

[1] Эта старуха впала в детство (*фр.*).

[2] Но, сударыня, это будет удовольствие (*фр.*).

человек, с плешивой головой, почтительно сопровождал ее при этом первом осмотре.

Не знаю, за кого они все приняли бабушку, но, кажется, за чрезвычайно важную и, главное, богатейшую особу. В книгу внесли тотчас: «Madame la générale princesse de Tarassevitcheva»[1], хотя бабушка никогда не была княгиней. Своя прислуга, особое помещение в вагоне, бездна ненужных баулов, чемоданов и даже сундуков, прибывших с бабушкой, вероятно, послужили началом престижа; а кресла, резкий тон и голос бабушки, ее эксцентрические вопросы, делаемые с самым не стесняющимся и не терпящим никаких возражений видом, одним словом, вся фигура бабушки — прямая, резкая, повелительная,— довершали всеобщее к ней благоговение. При осмотре бабушка вдруг иногда приказывала останавливать кресла, указывала на какую-нибудь вещь в меблировке и обращалась с неожиданными вопросами к почтительно улыбавшемуся, но уже начинавшему трусить обер-кельнеру. Бабушка предлагала вопросы на французском языке, на котором говорила, впрочем, довольно плохо, так что я обыкновенно переводил. Ответы обер-кельнера большею частию ей не нравились и казались неудовлетворительными. Да и она-то спрашивала все как будто не об деле, а бог знает о чем. Вдруг, например, остановилась пред картиною — довольно слабой копией с какого-то известного оригинала с мифологическим сюжетом.

— Чей портрет?

Обер-кельнер объявил, что, вероятно, какой-нибудь графини.

— Как же ты не знаешь? Здесь живешь, а не знаешь. Почему он здесь? Зачем глаза косые?

На все эти вопросы обер-кельнер удовлетворительно отвечать не мог и даже потерялся.

— Вот болван-то! — отозвалась бабушка по-русски.

Ее понесли далее. Та же история повторилась с одной саксонской статуэткой, которую бабушка долго рассматривала и потом велела вынесть, неизвестно за что. Наконец пристала к обер-кельнеру: что стоили ковры в спальне и где их ткут? Обер-кельнер обещал справиться.

— Вот ослы-то! — ворчала бабушка и обратила все свое внимание на кровать.

— Эдакий пышный балдахин! Разверните его.

Постель развернули.

— Еще, еще, все разверните. Снимите подушки, наволочки, подымите перину.

---

[1] Госпожа генеральша, княгиня Тарасевичева (*фр.*).

Все перевернули. Бабушка осмотрела внимательно.

— Хорошо, что у них клопов нет. Все белье долой! Постлать мое белье и мои подушки. Однако все это слишком пышно, куда мне, старухе, такую квартиру: одной скучно. Алексей Иванович, ты бывай ко мне чаще, когда детей перестанешь учить.

— Я со вчерашнего дня не служу более у генерала, — ответил я, — и живу в отеле совершенно сам по себе.

— Это почему так?

— На днях приехал сюда один знатный немецкий барон с баронессой, супругой, из Берлина. Я вчера, на гулянье, заговорил с ним по-немецки, не придерживаясь берлинского произношения.

— Ну, так что же?

— Он счел это дерзостью и пожаловался генералу, а генерал вчера же уволил меня в отставку.

— Да что ж ты обругал, что ли, его, барона-то? (Хоть бы и обругал, так ничего!)

— О нет. Напротив, барон на меня палку поднял.

— И ты, слюняй, позволил так обращаться с своим учителем, — обратилась она вдруг к генералу, — да еще его с места прогнал! Колпаки вы, — все колпаки, как я вижу.

— Не беспокойтесь, тетушка, — отвечал генерал с некоторым высокомерно-фамильярным оттенком, — я сам умею вести мои дела. К тому же Алексей Иванович не совсем вам верно передал.

— А ты так и снес? — обратилась она ко мне.

— Я хотел было на дуэль вызвать барона, — отвечал я как можно скромнее и спокойнее, — да генерал воспротивился.

— Это зачем ты воспротивился? — опять обратилась бабушка к генералу. (А ты, батюшка, ступай, придешь, когда позовут, — обратилась она тоже и к обер-кельнеру, — нечего разиня-то рот стоять. Терпеть не могу эту харю нюрнбергскую!) — Тот откланялся и вышел, конечно, не поняв комплимента бабушки.

— Помилуйте, тетушка, разве дуэли возможны? — отвечал с усмешкой генерал.

— А почему невозможны? Мужчины все петухи; вот бы и дрались. Колпаки вы все, как я вижу, не умеете отечества своего поддержать. Ну, подымите! Потапыч, распорядись, чтоб всегда были готовы два носильщика, найми и уговорись. Больше двух не надо. Носить приходится только по лестницам, а по гладкому, по улице — катить, так и расскажи; да заплати еще им вперед, почтительнее будут. Ты же сам будь всегда при мне, а ты, Алексей Иванович, мне этого барона покажи на гулянье: какой такой фон-барон, хоть бы поглядеть на него. Ну, где же эта рулетка?

Я объяснил, что рулетки расположены в воксале, в залах. Затем последовали вопросы: много ли их? много ль играют? целый

ли день играют? как устроены? Я отвечал, наконец, что всего лучше осмотреть это собственными глазами, а что так описывать довольно трудно.

— Ну, так и нести прямо туда! Иди вперед, Алексей Иванович!

— Как, неужели, тетушка, вы даже и не отдохнете с дороги? — заботливо спросил генерал. Он немного как бы засуетился, да и все они как-то замешались и стали переглядываться. Вероятно, им было несколько щекотливо, даже стыдно сопровождать бабушку прямо в воксал, где она, разумеется, могла наделать каких-нибудь эксцентричностей, но уже публично; между тем все они сами вызвались сопровождать ее.

— А чего мне отдыхать? Не устала; и без того пять дней сидела. А потом осмотрим, какие тут ключи и воды целебные и где они. А потом... как этот,— ты сказала, Прасковья,— пуант, что ли?

— Пуант, бабушка.

— Ну пуант так пуант. А еще что здесь есть?

— Тут много предметов, бабушка,— затруднилась было Полина.

— Ну, сама не знаешь! Марфа, ты тоже со мной пойдешь,— сказала она своей камеристке.

— Но зачем же ей-то, тетушка? — захлопотал вдруг генерал,— и, наконец, это нельзя; и Потапыча вряд ли в самый воксал пустят.

— Ну, вздор! Что она слуга, так и бросить ее! Тоже ведь живой человек; вот уж неделю по дорогам рыщем, тоже и ей посмотреть хочется. С кем же ей, кроме меня? Одна-то и нос на улицу показать не посмеет.

— Но, бабушка...

— Да тебе стыдно, что ли, со мной? Так оставайся дома, не спрашивают. Ишь, какой генерал; я и сама генеральша. Да и чего вас такой хвост за мной, в самом деле, потащится? Я и с Алексеем Ивановичем все осмотрю...

Но Де-Грие решительно настоял, чтобы всем сопутствовать, и пустился в самые любезные фразы насчет удовольствия ее сопровождать и прочее. Все тронулись.

— Elle est tombée en enfance, — повторял Де-Грие генералу,— seule elle fera des bêtises...[1] — Далее я не расслышал, но у него, очевидно, были какие-то намерения, а может быть, даже возвратились и надежды.

До воксала было с полверсты. Путь наш шел по каштановой аллее, до сквера, обойдя который вступали прямо в воксал. Гене-

[1] одна она наделает глупостей (*фр.*).

рал несколько успокоился, потому что шествие наше хотя и было довольно эксцентрично, но тем не менее было чинно и прилично. Да и ничего удивительного не было в том факте, что на водах явился больной и расслабленный человек, без ног. Но, очевидно, генерал боялся воксала: зачем больной человек, без ног, да еще старушка, пойдет на рулетку? Полина и m-lle Blanche шли обе по сторонам, рядом с катившимся креслом. M-lle Blanche смеялась, была скромно весела и даже весьма любезно заигрывала иногда с бабушкой, так что та ее наконец похвалила. Полина, с другой стороны, обязана была отвечать на поминутные и бесчисленные вопросы бабушки, вроде того: «Кто это прошел? какая это проехала? велик ли город? велик ли сад? это какие деревья? это какие горы? летают ли тут орлы? какая это смешная крыша?» Мистер Астлей шел рядом со мной и шепнул мне, что многого ожидает в это утро. Потапыч и Марфа шли сзади, сейчас за креслами,— Потапыч в своем фраке, в белом галстуке, но в картузе, а Марфа — сорокалетняя, румяная, но начинавшая уже седеть девушка — в чепчике, в ситцевом платье и в скрипучих козловых башмаках. Бабушка весьма часто к ним оборачивалась и с ними заговаривала. Де-Грие и генерал немного отстали и говорили о чем-то с величайшим жаром. Генерал был очень уныл; Де-Грие говорил с видом решительным. Может быть, он генерала ободрял; очевидно, что-то советовал. Но бабушка уже произнесла давеча роковую фразу: «Денег я тебе не дам». Может быть, для Де-Грие это известие казалось невероятным, но генерал знал свою тетушку. Я заметил, что Де-Грие и m-lle Blanche продолжали перемигиваться. Князя и немца-путешественника я разглядел в самом конце аллеи: они отстали и куда-то ушли от нас.

В воксал мы прибыли с триумфом. В швейцаре и в лакеях обнаружилась та же почтительность, как и в прислуге отеля. Смотрели они, однако, с любопытством. Бабушка сначала велела обнести себя по всем залам; иное похвалила, к другому осталась совершенно равнодушна; обо всем расспрашивала. Наконец дошли и до игорных зал. Лакей, стоявший у запертых дверей часовым, как бы пораженный, вдруг отворил двери настежь.

Появление бабушки у рулетки произвело глубокое впечатление на публику. За игорными рулеточными столами и на другом конце залы, где помещался стол с trente et quarante, толпилось, может быть, полтораста или двести игроков, в несколько рядов. Те, которые успевали протесниться к самому столу, по обыкновению, стояли крепко и не упускали своих мест до тех пор, пока не проигрывались; ибо так стоять простыми зрителями и даром занимать игорное место не позволено. Хотя кругом стола и уставлены сту-

лья, но немногие из игроков садятся, особенно при большом стечении публики, потому что стоя можно установиться теснее и, следовательно, выгадать место, да и ловчее ставить. Второй и третий ряды теснились за первыми, ожидая и наблюдая свою очередь; но в нетерпении просовывали иногда чрез первый ряд руку, чтоб поставить свои куши. Даже из третьего ряда изловчались таким образом просовывать ставки; от этого не проходило десяти и даже пяти минут, чтоб на каком-нибудь конце стола не началась «история» за спорные ставки. Полиция воксала, впрочем, довольно хороша. Тесноты, конечно, избежать нельзя; напротив, наплыву публики рады, потому что это выгодно; но восемь круперов, сидящих кругом стола, смотрят во все глаза за ставками, они же и рассчитываются, а при возникающих спорах они же их и разрешают. В крайних же случаях зовут полицию, и дело кончается в минуту. Полицейские помещаются тут же в зале, в партикулярных платьях, между зрителями, так что их и узнать нельзя. Они особенно смотрят за воришками и промышленниками, которых на рулетках особенно много, по необыкновенному удобству промысла. В самом деле, везде в других местах воровать приходится из карманов и из-под замков, а это, в случае неудачи, очень хлопотливо оканчивается. Тут же, просто-запросто, стоит только к рулетке подойти, начать играть и вдруг, явно и гласно, взять чужой выигрыш и положить в свой карман; если же затеется спор, то мошенник вслух и громко настаивает, что ставка — его собственная. Если дело сделано ловко и свидетели колеблются, то вор очень часто успевает оттягать деньги себе, разумеется, если сумма не очень значительная. В последнем случае она, наверное, бывает замечена круперами или кем-нибудь из других игроков еще прежде. Но если сумма не так значительна, то настоящий хозяин даже иногда просто отказывается продолжать спор, совестясь скандала, и отходит. Но если успеют вора изобличить, то тотчас же выводят со скандалом.

На все это бабушка смотрела издали, с диким любопытством. Ей очень понравилось, что воришек выводят. Trente et quarante мало возбудило ее любопытство; ей больше понравилась рулетка и что катается шарик. Она пожелала, наконец, разглядеть игру поближе. Не понимаю, как это случилось, но лакеи и некоторые другие суетящиеся агенты (преимущественно проигравшиеся полячки, навязывающие свои услуги счастливым игрокам и всем иностранцам) тотчас нашли и очистили бабушке место, несмотря на всю эту тесноту, у самой средины стола, подле главного крупера, и подкатили туда ее кресло. Множество посетителей, не играющих, но со стороны наблюдающих игру (преимущественно анг-

личане с их семействами), тотчас же затеснились к столу, чтобы из-за игроков поглядеть на бабушку. Множество лорнетов обратилось в ее сторону. У круперов родились надежды: такой эксцентрический игрок действительно как будто обещал что-нибудь необыкновенное. Семидесятилетняя женщина без ног и желающая играть — конечно, был случай не обыденный. Я протеснился тоже к столу и устроился подле бабушки. Потапыч и Марфа остались где-то далеко в стороне, между народом. Генерал, Полина, Де-Грие и m-lle Blanche тоже поместились в стороне, между зрителями.

Бабушка сначала стала осматривать игроков. Она задавала мне резкие, отрывистые вопросы полушепотом: кто это такой? это кто такая? Ей особенно понравился в конце стола один очень молодой человек, игравший в очень большую игру, ставивший тысячами и наигравший, как шептали кругом, уже тысяч до сорока франков, лежавших перед ним в куче, золотом и в банковых билетах. Он был бледен; у него сверкали глаза и тряслись руки; он ставил уже без всякого расчета, сколько рука захватит, а между тем все выигрывал да выигрывал, все загребал да загребал. Лакеи суетились кругом него, подставляли ему сзади кресла, очищали вокруг него место, чтоб ему было просторнее, чтоб его не теснили,— все это в ожидании богатой благодарности. Иные игроки с выигрыша дают им иногда не считая, а так, с радости, тоже сколько рука из кармана захватит. Подле молодого человека уже устроился один полячок, суетившийся изо всех сил, и почтительно, но беспрерывно что-то шептал ему, вероятно, указывая, как ставить, советуя и направляя игру,— разумеется, тоже ожидая впоследствии подачки. Но игрок почти и не смотрел на него, ставил зря и все загребал. Он, видимо, терялся.

Бабушка наблюдала его несколько минут.

— Скажи ему, — вдруг засуетилась бабушка, толкая меня,— скажи ему, чтоб бросил, чтоб брал поскорее деньги и уходил. Проиграет, сейчас все проиграет! — захлопотала она, чуть не задыхаясь от волнения.— Где Потапыч? Послать к нему Потапыча! Да скажи же, скажи же,— толкала она меня,— да где же, в самом деле, Потапыч! Sortez, sortez![1] — начала было она сама кричать молодому человеку. Я нагнулся к ней и решительно прошептал, что здесь так кричать нельзя и даже разговаривать чуть-чуть громко не позволено, потому что это мешает счету, и что нас сейчас прогонят.

---

[1] Уходите, уходите! (*фр.*)

— Экая досада! Пропал человек, значит, сам хочет... смотреть на него не могу, всю ворочает. Экой олух! — и бабушка поскорей оборотилась в другую сторону.

Там, налево, на другой половине стола, между игроками, заметна была одна молодая дама и подле нее какой-то карлик. Кто был этот карлик — не знаю: родственник ли ее, или так она брала его для эффекта. Эту барыню я замечал и прежде; она являлась к игорному столу каждый день, в час пополудни, и уходила ровно в два; каждый день играла по одному часу. Ее уже знали и тотчас же подставляли ей кресла. Она вынимала из кармана несколько золота, несколько тысячефранковых билетов и начинала ставить тихо, хладнокровно, с расчетом, отмечая на бумажке карандашом цифры и стараясь отыскать систему, по которой в данный момент группировались шансы. Ставила она значительными кушами. Выигрывала каждый день одну, две, много три тысячи франков — не более и, выиграв, тотчас же уходила. Бабушка долго ее рассматривала.

— Ну, эта не проиграет! эта вот не проиграет! Из каких? Не знаешь? Кто такая?

— Француженка, должно быть, из эдаких,— шепнул я.

— А, видна птица по полету. Видно, что ноготок востер. Растолкуй ты мне теперь, что каждый поворот значит и как надо ставить?

Я по возможности растолковал бабушке, что значат эти многочисленные комбинации ставок, rouge et noir, pair et impair, manque et passe[1] и, наконец, разные оттенки в системе чисел. Бабушка слушала внимательно, запоминала, переспрашивала и заучивала. На каждую систему ставок можно было тотчас же привести и пример, так что многое заучивалось и запоминалось очень легко и скоро. Бабушка осталась весьма довольна.

— А что такое zéro [2]?Вот этот крупер, курчавый, главный-то, крикнул сейчас zéro? И почему он все загреб, что ни было на столе? Эдакую кучу, все себе взял? Это что такое?

— А zéro, бабушка, выгода банка. Если шарик упадет на zéro, то все, что ни поставлено на столе, принадлежит банку без расчета. Правда, дается еще удар на розыгрыш, но зато банк ничего не платит.

— Вот-те на! а я ничего не получаю?

— Нет, бабушка, если вы пред этим ставили на zéro, то когда выйдет zéro, вам платят в тридцать пять раз больше.

---

[1] красное и черное, чет и нечет, недобор и перебор (*фр.*).

[2] ноль (*фр.*).

— Как, в тридцать пять раз, и часто выходит? Что ж они, дураки, не ставят?

— Тридцать шесть шансов против, бабушка.

— Вот вздор! Потапыч! Потапыч! Постой, и со мной есть деньги — вот! — Она вынула из кармана туго набитый кошелек и взяла из него фридрихсдор. — На, поставь сейчас на zéro.

— Бабушка, zéro только что вышел, — сказал я, — стало быть, теперь долго не выйдет. Вы много проставите; подождите хоть немного.

— Ну, врешь, ставь!

— Извольте, но он до вечера, может быть, не выйдет, вы до тысячи проставите, это случалось.

— Ну, вздор, вздор! Волка бояться — в лес не ходить. Что? проиграл? Ставь еще!

Проиграли и второй фридрихсдор; поставили третий. Бабушка едва сидела на месте, она так и впилась горящими глазами в прыгающий по зазубринам вертящегося колеса шарик. Проиграли и третий. Бабушка из себя выходила, на месте ей не сиделось, даже кулаком стукнула по столу, когда крупер провозгласил «trente six»[1] вместо ожидаемого zéro.

— Эк ведь его! — сердилась бабушка, — да скоро ли этот зеришка проклятый выйдет? Жива не хочу быть, а уж досижу до него! Это этот проклятый курчавый круперишка делает, у него никогда не выходит! Алексей Иванович, ставь два золотых за раз! Это столько проставишь, что и выйдет zéro, так ничего не возьмешь.

— Бабушка!

— Ставь, ставь! Не твои.

Я поставил два фридрихсдора. Шарик долго летал по колесу, наконец стал прыгать по зазубринам. Бабушка замерла и стиснула мою руку, и вдруг — хлоп!

— Zéro, — провозгласил крупер.

— Видишь, видишь! — быстро обернулась ко мне бабушка, вся сияющая и довольная. — Я ведь сказала, сказала тебе! И надоумил меня сам Господь поставить два золотых. Ну, сколько же я теперь получу? Что ж не выдают? Потапыч, Марфа, где же они? Наши все куда же ушли? Потапыч, Потапыч!

— Бабушка, после, — шептал я, — Потапыч у дверей, его сюда не пустят. Смотрите, бабушка, вам деньги выдают, получайте!

Бабушке выкинули запечатанный в синей бумажке тяжеловесный сверток с пятидесятью фридрихсдорами и отсчитали не запеча-

---

[1] тридцать шесть (*фр.*).

танных еще двадцать фридрихсдоров. Все это я пригреб к бабушке лопаткой.

— Faites le jeu, messieurs! Faites le jeu, messieurs! Rien ne va plus?[1] — возглашал крупер, приглашая ставить и готовясь вертеть рулетку.

— Господи! опоздали! сейчас завертят! Ставь, ставь! — захлопотала бабушка, — да не мешкай, скорее, — выходила она из себя, толкая меня изо всех сил.

— Да куда ставить-то, бабушка?

— На zéro, на zéro! опять на zéro! Ставь как можно больше! Сколько у нас всего? Семьдесят фридрихсдоров? Нечего их жалеть, ставь по двадцати фридрихсдоров разом.

— Опомнитесь, бабушка! Он иногда по двести раз не выходит! Уверяю вас, вы весь капитал проставите.

— Ну, врешь, врешь! ставь! Вот язык-то звенит! Знаю, что делаю, — даже затряслась в исступлении бабушка.

— По уставу разом более двенадцати фридрихсдоров на zéro ставить не позволено, бабушка, — ну вот я поставил.

— Как не позволено? Да ты не врешь ли? Мусье! мусье! — затолкала она крупера, сидевшего тут же подле нее слева и приготовившегося вертеть, — combien zéro? douze? douze?[2]

Я поскорее растолковал вопрос по-французски.

— Oui, madame[3], — вежливо подтвердил крупер, — равно как всякая единичная ставка не должна превышать разом четырех тысяч флоринов, по уставу, — прибавил он в пояснение.

— Ну, нечего делать, ставь двенадцать.

— Le jeu est fait![4] — крикнул крупер. Колесо завертелось, и вышло тринадцать. Проиграли!

— Еще! еще! еще! ставь еще! — кричала бабушка. Я уже не противоречил и, пожимая плечами, поставил еще двенадцать фридрихсдоров. Колесо вертелось долго. Бабушка просто дрожала, следя за колесом. «Да неужто она и в самом деле думает опять zéro выиграть?» — подумал я, смотря на нее с удивлением. Решительное убеждение в выигрыше сияло на лице ее, непременное ожидание, что вот-вот сейчас крикнут: zéro! Шарик вскочил в клетку.

— Zéro! — крикнул крупер.

---

[1] Делайте вашу ставку, господа! Делайте вашу ставку! Больше никто не ставит? (*фр.*)

[2] сколько ноль? двенадцать? двенадцать? (*фр.*)

[3] Да, сударыня (*фр.*).

[4] Ставка сделана! (*фр.*)

— Что!!! — с неистовым торжеством обратилась ко мне бабушка.

Я сам был игрок; я почувствовал это в ту самую минуту. У меня руки-ноги дрожали, в голову ударило. Конечно, это был редкий случай, что на каких-нибудь десяти ударах три раза выскочил zéro; но особенно удивительного тут не было ничего. Я сам был свидетелем, как третьего дня вышло три zéro *сряду* и при этом один из игроков, ревностно отмечавший на бумажке удары, громко заметил, что не далее, как вчера, этот же самый zéro упал в целые сутки один раз.

С бабушкой, как с выигравшей самый значительный выигрыш, особенно внимательно и почтительно рассчитались. Ей приходилось получить ровно четыреста двадцать фридрихсдоров, то есть четыре тысячи флоринов и двадцать фридрихсдоров. Двадцать фридрихсдоров ей выдали золотом, а четыре тысячи — банковыми билетами.

На этот раз бабушка уже не звала Потапыча; она была занята не тем. Она даже не толкалась и не дрожала снаружи. Она, если можно так выразиться, дрожала изнутри. Вся на чем-то сосредоточилась, так и прицелилась:

— Алексей Иванович! он сказал, зараз можно только четыре тысячи флоринов поставить? На, бери, ставь эти все четыре на красную,— решила бабушка.

Было бесполезно отговаривать. Колесо завертелось.

— Rouge! [1] — провозгласил крупер.

Опять выигрыш в четыре тысячи флоринов, всего, стало быть, восемь.

— Четыре сюда мне давай, а четыре ставь опять на красную,— командовала бабушка.

Я поставил опять четыре тысячи.

— Rouge! — провозгласил снова крупер.

— Итого двенадцать! Давай их все сюда. Золото ссыпай сюда, в кошелек, а билеты спрячь.

— Довольно! Домой! Откатите кресла!

Глава XI

Кресла откатили к дверям, на другой конец залы. Бабушка сияла. Все наши стеснились тотчас же кругом нее с поздравлениями. Как ни эксцентрично было поведение бабушки, но ее триумф

[1] Красное! (*фр.*)

покрывал многое, и генерал уже не боялся скомпрометировать себя в публике родственными отношениями с такой странной женщиной. С снисходительною и фамильярно-веселою улыбкою, как бы теша ребенка, поздравил он бабушку. Впрочем, он был, видимо, поражен, равно как и все зрители. Кругом говорили и указывали на бабушку. Многие проходили мимо нее, чтобы ближе ее рассмотреть. Мистер Астлей толковал о ней в стороне с двумя своими знакомыми англичанами. Несколько величавых зрительниц, дам, с величавым недоумением рассматривали ее как какое-то чудо. Де-Грие так и рассыпался в поздравлениях и улыбках.

— Quelle victoire![1] — говорил он.

— Mais, madame, c'était du feu![2] — прибавила с заигрывающей улыбкой mademoiselle Blanche.

— Да-с, вот взяла да и выиграла двенадцать тысяч флоринов! Какое двенадцать, а золото-то? С золотом почти что тринадцать выйдет. Это сколько по-нашему? Тысяч шесть, что ли, будет?

Я доложил, что и за семь перевалило, а по теперешнему курсу, пожалуй, и до восьми дойдет.

— Шутка, восемь тысяч! А вы-то сидите здесь, колпаки, ничего не делаете! Потапыч, Марфа, видели?

— Матушка, да как это вы? Восемь тысяч рублей,— восклицала, извиваясь, Марфа.

— Нате, вот вам от меня по пяти золотых, вот!

Потапыч и Марфа бросились целовать ручки.

— И носильщикам дать по фридрихсдору. Дай им по золотому, Алексей Иванович. Что это лакей кланяется, и другой тоже? Поздравляют? Дай им тоже по фридрихсдору.

— Madame la princesse... un pauvre expatrié... malheur continuel... le princes russes sont si généreux[3], — увивалась около кресел одна личность в истасканном сюртуке, пестром жилете, в усах, держа картуз на отлете и с подобострастною улыбкой...

— Дай ему тоже фридрихсдор. Нет, дай два; ну, довольно, а то конца с ними не будет. Подымите, везите! Прасковья,— обратилась она к Полине Александровне,— я тебе завтра на платье куплю, и той куплю mademoiselle... как ее, mademoiselle Blanche, что ли, ей тоже на платье куплю. Переведи ей, Прасковья!

— Merci, madame,— умильно присела mademoiselle Blanche, искривив рот в насмешливую улыбку, которою обменялась с Де-

---

[1] Какая победа! (*фр.*)

[2] Но, сударыня, это было блестяще! (*фр.*)

[3] Госпожа княгиня... бедный эмигрант... постоянное несчастье... русские князья так щедры... (*фр.*).

Грие и генералом. Генерал отчасти конфузился и ужасно был рад, когда мы добрались до аллеи.

— Федосья, Федосья-то, думаю, как удивится теперь,— говорила бабушка, вспоминая о знакомой генеральской нянюшке.— И ей нужно на платье подарить. Эй, Алексей Иванович, Алексей Иванович, подай этому нищему!

По дороге проходил какой-то оборванец, с скрюченною спиной, и глядел на нас.

— Да это, может быть, и не нищий, а какой-нибудь прощелыга, бабушка.

— Дай! дай! дай ему гульден!

Я подошел и подал. Он посмотрел на меня с диким недоумением, однако молча взял гульден. От него пахло вином.

— А ты, Алексей Иванович, не пробовал еще счастия?

— Нет, бабушка.

— А у самого глаза горели, я видела.

— Я еще попробую, бабушка, непременно, потом.

— И прямо ставь на zéro! Вот увидишь! Сколько у тебя капиталу?

— Всего только двадцать фридрихсдоров, бабушка.

— Немного. Пятьдесят фридрихсдоров я тебе дам взаймы, если хочешь. Вот этот самый сверток и бери, а ты, батюшка, все-таки не жди, тебе не дам! — вдруг обратилась она к генералу.

Того точно перевернуло, но он промолчал. Де-Грие нахмурился.

— Que diable, c'est une terrible vieille! [1] — прошептал он сквозь зубы генералу.

— Нищий, нищий, опять нищий! — закричала бабушка.— Алексей Иванович, дай и этому гульден.

На этот раз повстречался седой старик, с деревянной ногой, в каком-то синем длиннополом сюртуке и с длинною тростью в руках. Он похож был на старого солдата. Но когда я протянул ему гульден, он сделал шаг назад и грозно осмотрел меня.

— Was ist's der Teufel! [2] — крикнул он, прибавив к этому еще с десяток ругательств.

— Ну дурак! — крикнула бабушка, махнув рукой.— Везите дальше! Проголодалась! Теперь сейчас обедать, потом немного поваляюсь и опять туда.

— Вы опять хотите играть, бабушка? — крикнул я.

— Как бы ты думал? Что вы-то здесь сидите да киснете, так и мне на вас смотреть?

---

[1] Черт возьми, ужасная старуха. (*фр.*)

[2] Черт побери, что это такое! (*нем.*)

— Mais, madame, — приблизился Де-Грие, — les chances peuvent tourner, une seule mauvaise chance et vous perdrez tout... surtout avec votre jeu... c'était terrible! [1]

— Vous perdrez absolument[2], — защебетала m-lle Blanche.

— Да вам-то всем какое дело? Не ваши проиграю — свои! А где этот мистер Астлей? — спросила она меня.

— В воксале остался, бабушка.

— Жаль; вот этот так хороший человек.

Прибыв домой, бабушка еще на лестнице, встретив обер-кельнера, подозвала его и похвастала своим выигрышем; затем позвала Федосью, подарила ей три фридрихсдора и велела подавать обедать. Федосья и Марфа так и рассыпáлись пред нею за обедом.

— Смотрю я на вас, матушка, — трещала Марфа, — и говорю Потапычу, что это наша матушка хочет делать. А на столе денег-то, денег-то, батюшки! всю-то жизнь столько денег не видывала, а все кругом господа, все одни господа сидят. И откуда, говорю, Потапыч, это все такие здесь господа? Думаю, помоги ей сама Мати-Божия. Молюсь я за вас, матушка, а сердце вот так и замирает, так и замирает, дрожу, вся дрожу. Дай ей, Господи, думаю, а тут вот вам Господь и послал. До сих пор, матушка, так и дрожу, так вот вся и дрожу.

— Алексей Иванович, после обеда, часа в четыре, готовься; пойдем. А теперь покамест прощай, да докторишку мне какого-нибудь позвать не забудь, тоже и вóды пить надо. А то и позабудешь, пожалуй.

Я вышел от бабушки как одурманенный. Я старался себе представить, что теперь будет со всеми нашими и какой оборот примут дела? Я видел ясно, что они (генерал преимущественно) еще не успели прийти в себя, даже и от первого впечатления. Факт появления бабушки вместо ожидаемой с часу на час телеграммы об ее смерти (а стало быть, и о наследстве) до того раздробил всю систему их намерений и принятых решений, что они с решительным недоумением и с каким-то нашедшим на всех столбняком относились к дальнейшим подвигам бабушки на рулетке. А между тем этот второй факт был чуть ли не важнее первого, потому что хоть бабушка и повторила два раза, что денег генералу не даст, но ведь кто знает, — все-таки не должно было еще терять надежды. Не терял же ее Де-Грие, замешанный во все дела генерала. Я уверен, что и m-lle Blanche, тоже весьма замешанная (еще бы: генераль-

---

[1] Но, сударыня, удача может изменить, один неудачный ход — и вы потеряете все... особенно с вашими ставками... это ужасно! (*фр.*)

[2] Вы потеряете непременно (*фр.*).

ша и значительное наследство!), не потеряла бы надежды и употребила бы все обольщения кокетства над бабушкой — в контраст с неподатливою и не умеющею приласкаться гордячкой Полиной. Но теперь, теперь, когда бабушка совершила такие подвиги на рулетке, теперь, когда личность бабушки отпечаталась пред ними так ясно и типически (строптивая, властолюбивая старуха et tombée en enfance), теперь, пожалуй, и все погибло: ведь она, как ребенок, рада, что дорвалась, и, как водится, проиграется в пух. «Боже! — подумал я (и прости меня, Господи, с самым злорадным смехом), — боже, да ведь каждый фридрихсдор, поставленный бабушкою давеча, ложился болячкою на сердце генерала, бесил Де-Грие и доводил до исступления m-lle de Cominges, у которой мимо рта проносили ложку. Вот и еще факт: даже с выигрыша, с радости, когда бабушка раздавала всем деньги и каждого прохожего принимала за нищего, даже и тут у ней вырвалось к генералу: «А тебе-то все-таки не дам!» Это значит: села на этой мысли, уперлась, слово такое себе дала, — опасно! опасно!»

Все эти соображения ходили в моей голове в то время, как я поднимался от бабушки по парадной лестнице, в самый верхний этаж, в свою каморку. Все это занимало меня сильно; хотя, конечно, я и прежде мог предугадывать главные толстейшие нити, связывавшие предо мною актеров, но все-таки окончательно не знал всех средств и тайн этой игры. Полина никогда не была со мною вполне доверчива. Хоть и случалось, правда, что она открывала мне подчас, как бы невольно, свое сердце, но я заметил, что часто, да почти и всегда, после этих открытий или в смех обратит все сказанное, или запутает и с намерением придаст всему ложный вид. О! она многое скрывала! Во всяком случае, я предчувствовал, что подходит финал всего этого таинственного и напряженного состояния. Еще один удар — и все будет кончено и обнаружено. О своей участи, тоже во всем этом заинтересованный, я почти не заботился. Странное у меня настроение: в кармане всего двадцать фридрихсдоров; я далеко на чужой стороне, без места и без средств к существованию, без надежды, без расчетов и — не забочусь об этом! Если бы не дума о Полине, то я просто весь отдался бы одному комическому интересу предстоящей развязки и хохотал бы во все горло. Но Полина смущает меня; участь ее решается, это я предчувствовал, но, каюсь, совсем не участь ее меня беспокоит. Мне хочется проникнуть в ее тайны; мне хотелось бы, чтобы она пришла ко мне и сказала: «Ведь я люблю тебя», а если нет, если это безумство немыслимо, то тогда... ну, да чего пожелать? Разве я знаю, чего желаю? Я сам как потерянный; мне только бы быть при ней, в ее ореоле, в ее сиянии, навечно, все-

гда, всю жизнь. Дальше я ничего не знаю! И разве я могу уйти от нее?

В третьем этаже, в их коридоре, меня что-то как толкнуло. Я обернулся и, в двадцати шагах или более, увидел выходящую из двери Полину. Она точно выжидала и высматривала меня и тотчас же к себе поманила.

— Полина Александровна...

— Тише! — предупредила она.

— Представьте себе,— зашептал я,— меня сейчас точно что толкнуло в бок; оглядываюсь — вы! Точно электричество исходит из вас какое-то!

— Возьмите это письмо,— заботливо и нахмуренно произнесла Полина, наверное не расслышав того, что я сказал,— и передайте лично мистеру Астлею сейчас. Поскорее, прошу вас. Ответа не надо. Он сам...

Она не договорила.

— Мистеру Астлею? — переспросил я в удивлении.

Но Полина уже скрылась в дверь.

— Ага, так у них переписка! — я, разумеется, побежал тотчас же отыскивать мистера Астлея, сперва в его отеле, где его не застал, потом в воксале, где обегал все залы, и наконец, в досаде, чуть не в отчаянии, возвращаясь домой, встретил его случайно, в кавалькаде каких-то англичан и англичанок, верхом. Я поманил его, остановил и передал ему письмо. Мы не успели и переглянуться. Но я подозреваю, что мистер Астлей нарочно поскорее пустил лошадь.

Мучила ли меня ревность? Но я был в самом разбитом состоянии духа. Я и удостовериться не хотел, о чем они переписываются. Итак, он ее поверенный! «Друг-то друг,— думал я,— и это ясно (и когда он успел сделаться), но есть ли тут любовь?» «Конечно, нет»,— шептал мне рассудок. Но ведь одного рассудка в эдаких случаях мало. Во всяком случае, предстояло и это разъяснить. Дело неприятно усложнялось.

Не успел я войти в отель, как швейцар и вышедший из своей комнаты обер-кельнер сообщили мне, что меня требуют, ищут, три раза посылали наведываться: где я? — просят как можно скорее в номер к генералу. Я был в самом скверном расположении духа. У генерала в кабинете я нашел, кроме самого генерала, Де-Грие и m-lle Blanche, одну, без матери. Мать была решительно подставная особа, употреблявшаяся только для парада; но когда доходило до настоящего *дела,* то m-lle Blanche орудовала одна. Да и вряд ли та что-нибудь знала про дела своей названой дочки.

Они втроем о чем-то горячо совещались, и даже дверь кабинета была заперта, чего никогда не бывало. Подходя к дверям, я расслышал громкие голоса — дерзкий и язвительный разговор Де-Грие, нахально-ругательный и бешеный крик Blanche и жалкий голос генерала, очевидно в чем-то оправдывавшегося. При появлении моем все они как бы попридержались и подправились. Де-Грие поправил волосы и из сердитого лица сделал улыбающееся,— тою скверною, официально-учтивою, французскою улыбкою, которую я так ненавижу. Убитый и потерявшийся генерал приосанился, но как-то машинально. Одна только m-lle Blanche почти не изменила своей сверкающей гневом физиономии и только замолкла, устремив на меня взор с нетерпеливым ожиданием. Замечу, что она до невероятности небрежно доселе со мною обходилась, даже не отвечала на мои поклоны,— просто не примечала меня.

— Алексей Иванович,— начал нежно распекающим тоном генерал,— позвольте вам объявить, что странно, в высочайшей степени странно... одним словом, ваши поступки относительно меня и моего семейства... одним словом, в высочайшей степени странно...

— Eh! ce n'est pas ça,— с досадой и презрением перебил Де-Грие. (Решительно, он всем заправлял!) — Mon cher monsieur, notre cher général se trompe[1],— впадая в такой тон (продолжаю его речь по-русски), но он хотел вам сказать... то есть вас предупредить или, лучше сказать, просить вас убедительнейше, чтобы вы не губили его,— ну да, не губили! Я употребляю именно это выражение...

— Но чем же, чем же? — прервал я.

— Помилуйте, вы беретесь быть руководителем (или как это сказать?) этой старухи, cette pauvre terrible vieille[2], — сбивался сам Де-Грие,— но ведь она проиграется; она проиграется вся в пух! Вы сами видели, вы были свидетелем, как она играет! Если она начнет проигрывать, то она уж и не отойдет от стола, из упрямства, из злости, и все будет играть, все будет играть, а в таких случаях никогда не отыгрываются, и тогда... тогда...

— И тогда,— подхватил генерал,— тогда вы погубите все семейство! Я и мое семейство, мы — ее наследники, у ней нет более близкой родни. Я вам откровенно скажу: дела мои расстрое-

---

[1] Это не то... Дорогой мой, наш милый генерал ошибается (*фр.*).

[2] этой бедной, ужасной старухи (*фр.*).

ны, крайне расстроены. Вы сами отчасти знаете... Если она проиграет значительную сумму или даже, пожалуй, все состояние (о боже!), что тогда будет с ними, с моими детьми! (генерал оглянулся на Де-Грие) — со мною! (Он поглядел на m-lle Blanche, с презрением от него отвернувшуюся.) Алексей Иванович, спасите, спасите нас!..

— Да чем же, генерал, скажите, чем я могу... Что я-то тут значу?

— Откажитесь, откажитесь, бросьте ее!..

— Так другой найдется! — вскричал я.

— Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, — перебил опять Де-Грие, — que diable! Нет, не покидайте, но по крайней мере, усовестите, уговорите, отвлеките... Ну, наконец, не дайте ей проиграть слишком много, отвлеките ее как-нибудь.

— Да как я это сделаю? Если бы вы сами взялись за это, monsieur Де-Грие, — прибавил я как можно наивнее.

Тут я заметил быстрый, огненный, вопросительный взгляд mademoiselle Blanche на Де-Грие. В лице самого Де-Грие мелькнуло что-то особенное, что-то откровенное, от чего он не мог удержаться.

— То-то и есть, что она меня не возьмет теперь! — вскричал, махнув рукой, Де-Грие. — Если б!.. потом...

Де-Грие быстро и значительно поглядел на m-lle Blanche.

— O mon cher monsieur Alexis, soyez si bon[1], — шагнула ко мне с обворожительною улыбкою сама m-lle Blanche, схватила меня за обе руки и крепко сжала. Черт возьми! это дьявольское лицо умело в одну секунду меняться. В это мгновение у ней явилось такое просящее лицо, такое милое, детски улыбающееся и даже шаловливое; под конец фразы она плутовски мне подмигнула, тихонько от всех; срезать разом, что ли, меня хотела? И недурно вышло, — только уж грубо было это, однако, ужасно.

Подскочил за ней и генерал, — именно подскочил:

— Алексей Иванович, простите, что я давеча так с вами начал, я не то совсем хотел сказать... Я вас прошу, умоляю, в пояс вам кланяюсь по-русски, — вы один, один можете нас спасти! Я и m-lle de Cominges вас умоляем, — вы понимаете, ведь вы понимаете? — умолял он, показывая мне глазами на m-lle Blanche. Он был очень жалок.

В эту минуту раздались три тихие и почтительные удара в дверь; отворили — стучал коридорный слуга, а за ним, в нескольких

---

[1] О дорогой господин Алексей, будьте так добры (*фр.*).

шагах, стоял Потапыч. Послы были от бабушки. Требовалось сыскать и доставить меня немедленно, «сердятся»,— сообщил Потапыч.

— Но ведь еще только половина четвертого!

— Они и заснуть не могли, все ворочались, потом вдруг встали, кресла потребовали и за вами. Уж они теперь на крыльце-с...

— Quelle mègére![1] — крикнул Де-Грие.

Действительно, я нашел бабушку уже на крыльце, выходящую из терпения, что меня нет. До четырех часов она не выдержала.

— Ну, подымайте! — крикнула она, и мы отправились опять на рулетку.

Глава XII

Бабушка была в нетерпеливом и раздражительном состоянии духа; видно было, что рулетка у ней крепко засела в голове. Ко всему остальному она была невнимательна и вообще крайне рассеянна. Ни про что, например, по дороге ни расспрашивала, как давеча. Увидя одну богатейшую коляску, промчавшуюся мимо нас вихрем, она было подняла руку и спросила: «Что такое? Чьи?» — но, кажется, и не расслышала моего ответа; задумчивость ее беспрерывно прерывалась резкими и нетерпеливыми телодвижениями и выходками. Когда я ей показал издали, уже подходя к воксалу, барона и баронессу Вурмергельм, она рассеянно посмотрела и совершенно равнодушно сказала: «А!» — и, быстро обернувшись к Потапычу и Марфе, шагавшим сзади, отрезала им:

— Ну, вы зачем увязались? Не каждый раз брать вас! Ступайте домой! Мне и тебя довольно,— прибавила она мне, когда те торопливо поклонились и воротились домой.

В воксале бабушку уже ждали. Тотчас же отгородили ей то же самое место, возле крупера. Мне кажется, эти круперы, всегда такие чинные и представляющие из себя обыкновенных чиновников, которым почти решительно все равно: выиграет ли банк или проиграет,— вовсе не равнодушны к проигрышу банка и, уж конечно, снабжены кой-какими инструкциями для привлечения игроков и для вящего наблюдения казенного интереса, за что непременно и сами получают призы и премии. По крайней мере, на бабушку смотрели уж как на жертвочку. Затем, что у нас предполагали, то и случилось.

---

[1] Какая мегера! (*фр.*)

Вот как было дело.

Бабушка прямо накинулась на zéro и тотчас же велела ставить по двенадцати фридрихсдоров. Поставили раз, второй, третий — zéro не выходил. «Ставь, ставь!» — толкала меня бабушка в нетерпении. Я слушался.

— Сколько раз проставили? — спросила она наконец, скрежеща зубами от нетерпения.

— Да уж двенадцатый раз ставил, бабушка. Сто сорок четыре фридрихсдора проставили. Я вам говорю, бабушка, до вечера, пожалуй...

— Молчи! — перебила бабушка.— Поставь на него и поставь сейчас на красную тысячу гульденов. На, вот билет.

Красная вышла, а zéro опять лопнул; воротили тысячу гульденов.

— Видишь, видишь! — шептала бабушка,— почти все, что проставили, воротили. Ставь опять на zéro; еще раз десять поставим и бросим.

Но на пятом разе бабушка совсем соскучилась.

— Брось этот пакостный зеришко к черту. На, ставь все четыре тысячи гульденов на красную,— приказала она.

— Бабушка! много будет; ну как не выйдет красная,— умолял я; но бабушка чуть меня не прибила. (А впрочем, она так толкалась, что почти, можно сказать, и дралась.) Нечего было делать, я поставил на красную все четыре тысячи гульденов, выигранные давеча. Колесо завертелось. Бабушка сидела спокойно и гордо выпрямившись, не сомневаясь в непременном выигрыше.

— Zéro,— возгласил крупер.

Сначала бабушка не поняла, но когда увидала, что крупер загреб ее четыре тысячи гульденов, вместе со всем, что стояло на столе, и узнала, что zéro, который так долго не выходил и на котором мы проставили почти двести фридрихсдоров, выскочил, как нарочно, тогда, когда бабушка только что его обругала и бросила, то ахнула и на всю залу сплеснула руками. Кругом даже засмеялись.

— Батюшки! Он тут-то проклятый и выскочил! — вопила бабушка,— ведь эдакой, эдакой окаянный! Это ты! Это все ты! — свирепо накинулась на меня, толкаясь.— Это ты меня отговорил.

— Бабушка, я вам дело говорил, как могу отвечать я за все шансы?

— Я-те дам шансы! — шептала она грозно,— пошел вон от меня.

— Прощайте, бабушка,— повернулся я уходить.

— Алексей Иванович, Алексей Иванович, останься! Куда ты? Ну, чего, чего? Ишь рассердился! Дурак! Ну побудь, побудь еще, ну, не сердись, я сама дура! Ну скажи, ну что теперь делать!

— Я, бабушка, не возьмусь вам подсказывать, потому что вы меня же будете обвинять. Играйте сами; приказывайте, я ставить буду.

— Ну, ну! ну ставь еще четыре тысячи гульденов на красную! Вот бумажник, бери.— Она вынула из кармана и подала мне бумажник.— Ну, бери скорей, тут двадцать тысяч рублей чистыми деньгами.

— Бабушка,— прошептал я,— такие куши...

— Жива не хочу быть — отыграюсь. Ставь! — Поставили и проиграли.

— Ставь, ставь, все восемь ставь!

— Нельзя, бабушка, самый большой куш четыре!..

— Ну ставь четыре!

На этот раз выиграли. Бабушка ободрилась.

— Видишь, видишь! — затолкала она меня,— ставь опять четыре!

Поставили — проиграли; потом еще и еще проиграли.

— Бабушка, все двенадцать тысяч ушли,— доложил я.

— Вижу, что все ушли,— проговорила она в каком-то спокойствии бешенства, если так можно выразиться,— вижу, батюшка, вижу,— бормотала она, смотря пред собою неподвижно и как будто раздумывая,— эх! жива не хочу быть, ставь еще четыре тысячи гульденов!

— Да денег нет, бабушка; тут в бумажнике наши пятипроцентные и еще какие-то переводы есть, а денег нет.

— А в кошельке?

— Мелочь осталась, бабушка.

— Есть здесь меняльные лавки? Мне сказали, что все наши бумаги разменять можно,— решительно спросила бабушка.

— О, сколько угодно! Но что вы потеряете за промен, так... сам жид ужаснется!

— Вздор! Отыграюсь! Вези. Позвать этих болванов!

Я откатил кресла, явились носильщики, и мы покатили из воксала.

— Скорей, скорей, скорей! — командовала бабушка.— Показывай дорогу, Алексей Иванович, да поближе возьми... а далеко?

— Два шага, бабушка.

Но на повороте из сквера в аллею встретилась нам вся наша компания: генерал, Де-Грие и m-lle Blanche с маменькой. Полины Александровны с ними не было, мистера Астлея тоже.

— Ну, ну, ну! не останавливаться! — кричала бабушка, — ну, чего вам такое? Некогда с вами тут!

Я шел сзади; Де-Грие подскочил ко мне.

— Все давешнее проиграла и двенадцать тысяч гульденов своих просадила. Едем пятипроцентные менять, — шепнул я ему наскоро.

Де-Грие топнул ногою и бросился сообщить генералу. Мы продолжали катить бабушку.

— Остановите, остановите! — зашептал мне генерал в исступлении.

— А вот попробуйте-ка ее остановить, — шепнул я ему.

— Тетушка! — приблизился генерал, — тетушка... мы сейчас... мы сейчас... — голос у него дрожал и падал, — нанимаем лошадей и едем за город... Восхитительнейший вид... пуант... мы шли вас приглашать.

— И, ну тебя и с пуантом! — раздражительно отмахнулась от него бабушка.

— Там деревня... там будем чай пить... — продолжал генерал уже с полным отчаянием.

— Nons boirons du lait, sur l'herbe fraîche,[1] — прибавил Де-Грие с зверскою злобой.

Du lait, de l'herbe fraîche — это все, что есть идеально идиллического у парижского буржуа; в этом, как известно, взгляд его на «nature et la vérité!»[2]

— И, ну тебя с молоком! Хлещи сам, а у меня от него брюхо болит. Да и чего вы пристали?! — закричала бабушка, — говорю, некогда!

— Приехали, бабушка! — закричал я, — здесь!

Мы подкатили к дому, где была контора банкира. Я пошел менять; бабушка осталась ждать у подъезда; Де-Грие, генерал и Blanche стояли в стороне, не зная, что им делать. Бабушка гневно на них посмотрела, и они ушли по дороге к воксалу.

Мне предложили такой ужасный расчет, что я не решился и воротился к бабушке просить инструкций.

— Ах, разбойники! — закричала она, всплеснув руками. — Ну! Ничего! — меняй! — крикнула она решительно, — стой, позови ко мне банкира!

— Разве кого-нибудь из конторщиков, бабушка?

— Ну конторщика, все равно. Ах, разбойники!

Конторщик согласился выйти, узнав, что его просит к себе старая, расслабленная графиня, которая не может ходить. Бабушка

---

[1] Мы будем пить молоко на свежей траве (*фр.*).

[2] «природу и истину!» (*фр.*).

долго, гневно и громко упрекала его в мошенничестве и торговалась с ним смесью русского, французского и немецкого языков, причем я помогал переводу. Серьезный конторщик посматривал на нас обоих и молча мотал головой. Бабушку осматривал он даже с слишком пристальным любопытством, что уже было невежливо; наконец он стал улыбаться.

— Ну, убирайся! — крикнула бабушка.— Подавись моими деньгами! Разменяй у него, Алексей Иванович, некогда, а то бы к другому поехать...

— Конторщик говорит, что у других еще меньше дадут.

Наверное не помню тогдашнего расчета, но он был ужасен. Я наменял до двенадцати тысяч флоринов золотом и билетами, взял расчет и вынес бабушке.

— Ну! ну! ну! Нечего считать,— замахала она руками,— скорей, скорей, скорей!

— Никогда на этот проклятый zéro не буду ставить и на красную тоже,— промолвила она, подъезжая к воксалу.

На этот раз я всеми силами старался внушить ей ставить как можно меньше, убеждая ее, что при обороте шансов всегда будет время поставить и большой куш. Но она была так нетерпелива, что хоть и соглашалась сначала, но возможности не было сдержать ее во время игры. Чуть только она начинала выигрывать ставки в десять, в двадцать фридрихсдоров,— «Ну, вот! Ну, вот! — начинала она толкать меня,— ну вот, выиграли же,— стояло бы четыре тысячи вместо десяти, мы бы четыре тысячи выиграли, а то что теперь? Это все ты, все ты!»

И как ни брала меня досада, глядя на ее игру, а я наконец решился молчать и не советовать больше ничего.

Вдруг подскочил Де-Грие. Они все трое были возле; я заметил, что m-lle Blanche стояла с маменькой в стороне и любезничала с князьком. Генерал был в явной немилости, почти в загоне. Blanche даже и смотреть на него не хотела, хоть он и юлил подле нее всеми силами. Бедный генерал! Он бледнел, краснел, трепетал и даже уж не следил за игрою бабушки. Blanche и князек наконец вышли; генерал побежал за ними.

— Madame, madame,— медовым голосом шептал бабушке Де-Грие, протеснившись к самому ее уху.— Madame, эдак ставка нейдет... нет, нет, не можно...— коверкал он по-русски,— нет!

— А как же? Ну, научи! — обратилась к нему бабушка.

Де-Грие вдруг быстро заболтал по-французски, начал советовать, суетился, говорил, что надо ждать шансу, стал рассчитывать какие-то цифры... бабушка ничего не понимала. Он беспрерывно обращался ко мне, чтоб я переводил; тыкал пальцем в стол, ука-

зывал; наконец схватил карандаш и начал было высчитывать на бумажке. Бабушка потеряла наконец терпение.

— Ну, пошел, пошел! Все вздор мелешь! «Madame, madame», а сам и дела-то не понимает; пошел!

— Mais, madame,— защебетал Де-Грие и снова начал толкать и показыватъ. Очень уж его разбирало.

— Ну, поставь раз, как он говорит,— приказала мне бабушка,— посмотрим: может, и в самом деле выйдет.

Де-Грие хотел только отвлечь ее от больших кушей: он предлагал ставить на числа, поодиночке и в совокупности. Я поставил, по его указанию, по фридрихсдору на ряд нечетных чисел в первых двенадцати и по пяти фридрихсдоров на группы чисел от двенадцати до восемнадцати и от восемнадцати до двадцати четырех: всего поставили шестнадцать фридрихсдоров.

Колесо завертелось. «Zéro»,— крикнул крупер. Мы всё проиграли.

— Эдакой болван! — крикнула бабушка, обращаясь к Де-Грие.— Эдакой ты мерзкий французишка! Ведь посоветует же изверг! Пошел, пошел! Ничего не понимает, а туда же суется!

Страшно обиженный Де-Грие пожал плечами, презрительно посмотрел на бабушку и отошел. Ему уж самому стало стыдно, что связался; слишком уж не утерпел.

Через час, как мы ни бились,— все проиграли.

— Домой! — крикнула бабушка.

Она не промолвила ни слова до самой аллеи. В аллее, и уже подъезжая к отелю, у ней начали вырываться восклицания:

— Экая дура! экая дурында! Старая ты, старая дурында!

Только что въехали в квартиру:

— Чаю мне! — закричала бабушка,— и сейчас собираться! Едем!

— Куда, матушка, ехать изволите? — начала было Марфа.

— А тебе какое дело? Знай сверчок свой шесток! Потапыч, собирай все, всю поклажу. Едем назад, в Москву! Я пятнадцать тысяч целковых профершпилила!

— Пятнадцать тысяч, матушка! Боже ты мой! — крикнул было Потапыч, умилительно всплеснув руками, вероятно, предполагая услужиться.

— Ну, ну, дурак! Начал еще хныкать! Молчи! Собираться! Счет, скорее, скорей!

— Ближайший поезд отправится в девять с половиною часов, бабушка,— доложил я, чтоб остановить ее фурор.

— А теперь сколько?

— Половина восьмого.

— Экая досада! Ну все равно! Алексей Иванович, денег у меня ни копейки. Вот тебе еще два билета, сбегай туда, разменяй мне и эти. А то не с чем и ехать.

Я отправился. Через полчаса возвратившись в отель, я застал всех наших у бабушки. Узнав, что бабушка уезжает совсем в Москву, они были поражены, кажется, еще больше, чем ее проигрышем. Положим, отъездом спасалось ее состояние, но зато что же теперь станется с генералом? Кто заплатит Де-Грие? M-lle Blanche, разумеется, ждать не будет, пока помрет бабушка, и, наверное, улизнет теперь с князьком или с кем-нибудь другим. Они стояли перед нею, утешали ее и уговаривали. Полины опять не было. Бабушка неистово кричала на них.

— Отвяжитесь, черти! Вам что за дело? Чего эта козлиная борода ко мне лезет,— кричала она на Де-Грие,— а тебе, пиголица, чего надо? — обратилась она к m-lle Blanche.— Чего юлишь?

— Diantre![1] — прошептала m-lle Blanche, бешено сверкнув глазами, но вдруг захохотала и вышла.

— Elle vivra cent ans![2] — крикнула она, выходя из дверей, генералу.

— А, так ты на мою смерть рассчитываешь? — завопила бабушка генералу,— пошел! Выгони их всех, Алексей Иванович! Какое вам дело? Я свое просвистала, а не ваше!

Генерал пожал плечами, согнулся и вышел. Де-Грие за ним.

— Позвать Прасковью,— велела бабушка Марфе.

Через пять минут Марфа воротилась с Полиной. Все это время Полина сидела в своей комнате с детьми и, кажется, нарочно решилась весь день не выходить. Лицо ее было серьезно, грустно и озабочено.

— Прасковья,— начала бабушка,— правда ли, что я давеча стороной узнала, что будто бы этот дурак, отчим-то твой, хочет жениться на этой глупой вертушке француженке,— актриса, что ли, она, или того еще хуже? Говори, правда это?

— Наверное про это я не знаю, бабушка,— ответила Полина,— но по словам самой m-lle Blanche, которая не находит нужным скрывать, заключаю...

— Довольно! — энергически прервала бабушка,— все понимаю! Я всегда считала, что от него это станется, и всегда считала его самым пустейшим и легкомысленным человеком. Натащил на себя форсу, что генерал (из полковников, по отставке получил),

---

[1] Черт возьми! (*фр.*)

[2] Она сто лет проживет! (*фр.*)

да и важничает. Я, мать моя, все знаю, как вы телеграмму за телеграммой в Москву посылали — «скоро ли, дескать, старая бабка ноги протянет?» Наследства ждали; без денег-то его эта подлая девка, как ее — de Cominges, что ли,— и в лакеи к себе не возьмет, да еще со вставными-то зубами. У ней, говорят, у самой денег куча, на проценты дает, добром нажила. Я, Прасковья, тебя не виню; не ты телеграммы посылала; и об старом тоже поминать не хочу. Знаю, что характеришка у тебя скверный — оса! укусишь, так вспухнет, да жаль мне тебя, потому: покойницу Катерину, твою мать, я любила. Ну, хочешь? бросай все здесь и поезжай со мною. Ведь тебе деваться-то некуда; да и неприлично тебе с ними теперь. Стой! — прервала бабушка начинавшую было отвечать Полину,— я еще не докончила. От тебя я ничего не потребую. Дом у меня в Москве, сама знаешь,— дворец, хоть целый этаж занимай и хоть по неделям ко мне не сходи, коль мой характер тебе не покажется. Ну, хочешь или нет?

— Позвольте сперва вас спросить: неужели вы сейчас ехать хотите?

— Шучу, что ли, я, матушка? Сказала и поеду. Я сегодня пятнадцать тысяч целковых просадила на растреклятой вашей рулетке. В подмосковной я, пять лет назад, дала обещание церковь из деревянной в каменную перестроить, да вместо того здесь просвисталась. Теперь, матушка, церковь поеду строить.

— А во́ды-то, бабушка? Ведь вы приехали во́ды пить?

— И, ну тебя с во́дами твоими! Не раздражай ты меня, Прасковья; нарочно, что ли, ты? Говори, едешь аль нет?

— Я вас очень, очень благодарю, бабушка,— с чувством начала Полина,— за убежище, которое вы мне предлагаете. Отчасти вы мое положение угадали. Я вам так признательна, что, поверьте, к вам приду, может быть, даже и скоро; а теперь есть причины... важные... и решиться я сейчас, сию минуту, не могу. Если бы вы остались хоть недели две...

— Значит, не хочешь?

— Значит, не могу. К тому же во всяком случае я не могу брата и сестру оставить, а так как... так как... так как действительно может случиться, что они останутся, как брошенные, то... если возьмете меня с малютками, бабушка, то, конечно, к вам поеду и, поверьте, заслужу вам это! — прибавила она с жаром,— а без детей не могу, бабушка.

— Ну, не хнычь! (Полина и не думала хныкать, да она и никогда не плакала),— и для цыплят найдется место; велик курятник. К тому же им в школу пора. Ну так не едешь теперь? Ну,

Прасковья, смотри! Сделала бы я тебе добра, а ведь я знаю, почему ты не едешь. Все я знаю, Прасковья! Не доведет тебя этот французишка до добра.

Полина вспыхнула. Я так и вздрогнул. (Все знают! Один я, стало быть, ничего не знаю!)

— Ну, ну, не хмурься. Не стану размазывать. Только смотри, чтоб не было худа, понимаешь? Ты девка умная; жаль мне тебя будет. Ну, довольно, не глядела бы я на вас на всех! Ступай! прощай!

— Я, бабушка, еще провожу вас,— сказала Полина.

— Не надо; не мешай, да и надоели вы мне все.

Полина поцеловала у бабушки руку, но та руку отдернула и сама поцеловала ее в щеку.

Проходя мимо меня, Полина быстро на меня поглядела и тотчас отвела глаза.

— Ну, прощай и ты, Алексей Иванович! Всего час до поезда. Да и устал ты со мною, я думаю. На, возьми себе эти пятьдесят золотых.

— Покорно благодарю вас, бабушка, мне совестно...

— Ну, ну! — крикнула бабушка, но до того энергично и грозно, что я не посмел отговариваться и принял.

— В Москве, как будешь без места бегать,— ко мне приходи; отрекомендую куда-нибудь. Ну, убирайся!

Я пришел к себе в номер и лег на кровать. Я думаю, я лежал с полчаса навзничь, закинув за голову руки. Катастрофа уж разразилась, было о чем подумать. Завтра я решил настоятельно говорить с Полиной. А! французишка? Так, стало быть, правда! Но что же тут могло быть, однако? Полина и Де-Грие! Господи, какое сопоставление!

Все это было просто невероятно. Я вдруг вскочил вне себя, чтоб идти тотчас же отыскать мистера Астлея и во что бы то ни стало заставить его говорить. Он, конечно, и тут больше меня знает. Мистер Астлей? вот еще для меня загадка!

Но вдруг в дверях моих раздался стук. Смотрю — Потапыч.

— Батюшка, Алексей Иванович: к барыне, требуют!

— Что такое? Уезжает, что ли? До поезда еще двадцать минут.

— Беспокоятся, батюшка, едва сидят. «Скорей, скорей!» — вас то есть, батюшка; ради Христа, не замедлите.

Тотчас же я сбежал вниз. Бабушку уже вывезли в коридор.

В руках ее был бумажник.

— Алексей Иванович, иди вперед, пойдем!..

— Куда, бабушка?

— Жива не хочу быть, отыграюсь! Ну, марш, без расспросов! Там до полночи ведь игра идет?

Я остолбенел, подумал, но тотчас же решился.

— Воля ваша, Антонида Васильевна, не пойду.

— Это почему? Это что еще? Белены, что ли, вы все объелись!

— Воля ваша: я потом сам упрекать себя стану; не хочу! Не хочу быть ни свидетелем, ни участником; избавьте, Антонида Васильевна. Вот ваши пятьдесят фридрихсдоров назад; прощайте! — И я, положив сверток с фридрихсдорами тут же на столик, подле которого пришлись кресла бабушки, поклонился и ушел.

— Экой вздор! — крикнула мне вслед бабушка, — да не ходи, пожалуй, я и одна дорогу найду! Потапыч, иди со мною! Ну, подымайте, несите.

Мистера Астлея я не нашел и воротился домой. Поздно, уже в первом часу пополуночи, я узнал от Потапыча, чем кончился бабушкин день. Она все проиграла, что ей давеча я наменял, то есть, по-нашему, еще десять тысяч рублей. К ней прикомандировался там тот самый полячок, которому она дала давеча два фридрихсдора, и все время руководил ее в игре. Сначала, до полячка, она было заставляла ставить Потапыча, но скоро прогнала его; тутто и подскочил полячок. Как нарочно, он понимал по-русски и даже болтал кое-как, смесью трех языков, так что они кое-как уразумели друг друга. Бабушка все время нещадно ругала его, и хоть тот беспрерывно «стелился под стопки паньски», но уж «куда сравнить с вами, Алексей Иванович, — рассказывал Потапыч. — С вами она *точно с барином* обращалась, а тот — так, я сам видел своими глазами, убей бог на месте, — тут же у ней со стола воровал. Она его сама раза два на столе поймала, и уж костила она его, костила всяческими-то, батюшка, словами, даже за волосенки раз отдергала, право, не лгу, так что кругом смех пошел. Все, батюшка, проиграла; все как есть, все, что вы ей наменяли. Довезли мы ее, матушку, сюда — только водицы спросила испить, перекрестилась, и в постельку. Измучилась, что ли, она, тотчас заснула. Пошли Бог сны ангельские! Ох, уж эта мне заграница! — заключил Потапыч, — говорил, что не к добру. Мне уж поскорей бы в нашу Москву! И чего-чего у нас дома нет, в Москве? Сад, цветы, таких здесь и не бывает, дух, яблоньки наливаются, простор, — нет: надо было за границу! Ох-хо-хо!..»

Глава XIII

Вот уже почти целый месяц прошел, как я не притрогивался к этим заметкам моим, начатым под влиянием впечатлений, хотя и беспорядочных, но сильных. Катастрофа, приближение которой я тогда предчувствовал, наступила действительно, но во сто раз кру-

че и неожиданнее, чем я думал. Все это было нечто странное, безобразное и даже трагическое, по крайней мере, со мной. Случились со мною некоторые происшествия — почти чудесные; так, по крайней мере, я до сих пор гляжу на них, хотя на другой взгляд и, особенно судя по круговороту, в котором я тогда кружился, они были только что разве не совсем обыкновенные. Но чудеснее всего для меня то, как я сам отнесся ко всем этим событиям. До сих пор не понимаю себя! И все это пролетело как сон,— даже страсть моя, а она ведь была сильна и истинна, но... куда же она теперь делась? Право: нет-нет, да мелькнет иной раз теперь в моей голове: «Уж не сошел ли я тогда с ума и не сидел ли все это время где-нибудь в сумасшедшем доме, а может быть, и теперь сижу,— так что мне все это *показалось* и до сих пор только *кажется*...»

Я собрал и перечел мои листки. (Кто знает, может быть, для того, чтобы убедиться, не в сумасшедшем ли доме я их писал?) Теперь я один-одинешенек. Наступает осень, желтеет лист. Сижу в этом унылом городишке (о, как унылы германские городишки!) и, вместо того чтобы обдумать предстоящий шаг, живу под влиянием только что минувших ощущений, под влиянием свежих воспоминаний, под влиянием всего этого недавнего вихря, захватившего меня тогда в этот круговорот и опять куда-то выбросившего. Мне все кажется порой, что я все еще кружусь в том же вихре и что вот-вот опять промчится эта буря, захватит меня мимоходом своим крылом и я выскочу опять из порядка и чувства меры и закружусь, закружусь, закружусь...

Впрочем, я, может быть, и установлюсь как-нибудь и перестану кружиться, если дам себе, по возможности, точный отчет во всем приключившемся в этот месяц. Меня тянет опять к перу; да иногда и совсем делать нечего по вечерам. Странно, для того чтобы хоть чем-нибудь заняться, я беру в здешней паршивой библиотеке для чтения романы Поль де Кока (в немецком переводе!), которых я почти терпеть не могу, но читаю их и — дивлюсь на себя: точно я боюсь серьезною книгою или каким-нибудь серьезным занятием разрушить обаяние только что минувшего. Точно уж так дороги мне этот безобразный сон и все оставшиеся по нем впечатления, что я даже боюсь дотронуться до него чем-нибудь новым, чтобы он не разлетелся в дым! Дорого мне это все так, что ли? Да, конечно, дорого; может, и через сорок лет вспоминать буду...

Итак, принимаюсь писать. Впрочем, все это можно рассказать теперь отчасти и покороче: впечатления совсем не те...

Во-первых, чтоб кончить с бабушкой. На другой день она проигралась вся окончательно. Так и должно было случиться: кто раз,

из таких, попадается на эту дорогу, тот — точно с снеговой горы в санках катится, все быстрее и быстрее. Она играла весь день до восьми часов вечера; я при ее игре не присутствовал и знаю только по рассказам.

Потапыч продежурил при ней в воксале целый день. Полячки, руководившие бабушку, сменялись в этот день несколько раз. Она начала с того, что прогнала вчерашнего полячка, которого она драла за волосы, и взяла другого, но другой оказался почти что еще хуже. Прогнав этого и взяв опять первого, который не уходил и толкался во все это время изгнания тут же, за ее креслами, поминутно просовывая к ней свою голову,— она впала наконец в решительное отчаяние. Прогнанный второй полячок тоже ни за что не хотел уйти; один поместился с правой стороны, а другой с левой. Все время они спорили и ругались друг с другом за ставки и ходы, обзывали друг друга «ла́йдаками» и прочими польскими любезностями, потом опять мирились, кидали деньги без всякого порядка, распоряжались зря. Поссорившись, они ставили каждый с своей стороны, один, например, на красную, а другой тут же на черную. Кончилось тем, что они совсем закружили и сбили бабушку с толку, так что она наконец чуть не со слезами обратилась к старичку круперу с просьбою защитить ее, чтоб он их прогнал. Их действительно тотчас же прогнали, несмотря на их крики и протесты: они кричали оба разом и доказывали, что бабушка им же должна, что она их в чем-то обманула, поступила с ними бесчестно, подло. Несчастный Потапыч рассказывал мне все это со слезами в тот самый вечер, после проигрыша, и жаловался, что они набивали свои карманы деньгами, что он сам видел, как они бессовестно воровали и поминутно совали себе в карманы. Выпросит, например, у бабушки за труды пять фридрихсдоров и начнет их тут же ставить на рулетке, рядом с бабушкиными ставками. Бабушка выиграет, а он кричит, что это его ставка выиграла, а бабушка проиграла. Когда их прогоняли, то Потапыч выступил и донес, что у них полны карманы золота. Бабушка тотчас же попросила крупера распорядиться, и как оба полячка ни кричали (точно два пойманные в руки петуха), но явилась полиция и тотчас карманы их были опустошены в пользу бабушки. Бабушка, пока не проигралась, пользовалась во весь этот день у круперов и у всего воксального начальства видимым авторитетом. Мало-помалу известность ее распространялась по всему городу. Все посетители вод, всех наций, обыкновенные и самые знатные, стекались посмотреть на «une vieille comtesse russe, tombée en enfance», которая уже проиграла «несколько миллионов».

Но бабушка очень, очень мало выиграла от того, что избавили ее от двух полячишек. Взамен их тотчас же к услугам ее явился

третий поляк, уже совершенно чисто говоривший по-русски, одетый джентльменом, хотя все-таки смахивавший на лакея, с огромными усами и с гонором. Он тоже целовал «стопки паньски» и «стелился под стопки паньски», но относительно окружающих вел себя заносчиво, распоряжался деспотически — словом, сразу поставил себя не слугою, а хозяином бабушки. Поминутно с каждым ходом обращался он к ней и клялся ужаснейшими клятвами, что он сам «гоноровый» пан и что он не возьмет ни единой копейки из денег бабушки. Он так часто повторял эти клятвы, что та окончательно струсила. Но так как этот пан действительно вначале как будто поправил ее игру и стал было выигрывать, то бабушка и сама уже не могла от него отстать. Час спустя оба прежние полячишки, выведенные из воксала, появились снова за стулом бабушки, опять с предложением услуг, хоть на посылки. Потапыч божился, что «гоноровый пан» с ними перемигивался и даже что-то им передавал в руки. Так как бабушка не обедала и почти не сходила с кресел, то и действительно один из полячков пригодился: сбегал тут же рядом в обеденную залу воксала и достал ей чашку бульона, а потом и чаю. Они бегали, впрочем, оба. Но к концу дня, когда уже всем видно стало, что она проигрывает свой последний банковый билет, за стулом ее стояло уже до шести полячков, прежде невиданных и неслыханных. Когда же бабушка проигрывала уже последние монеты, то все они не только ее уж не слушались, но даже и не замечали, лезли прямо чрез нее к столу, сами хватали деньги, сами распоряжались и ставили, спорили и кричали, переговариваясь с гоноровым паном запанибрата, а гоноровый пан чуть ли даже и не забыл о существовании бабушки. Даже тогда, когда бабушка, совсем все проигравшая, возвращалась вечером в восемь часов в отель, то и тут три или четыре полячка все еще не решались ее оставить и бежали около кресел, по сторонам, крича из всех сил и уверяя скороговоркою, что бабушка их в чем-то надула и должна им что-то отдать. Так дошли до самого отеля, откуда их наконец прогнали в толчки.

По расчету Потапыча, бабушка проиграла всего в этот день до девяноста тысяч рублей, кроме проигранных ею вчера денег. Все свои билеты — пятипроцентные, внутренних займов, все акции, бывшие с нею, она разменяла один за другим и одну за другой. Я подивился было, как она выдержала все эти семь или восемь часов, сидя в креслах и почти не отходя от стола, но Потапыч рассказывал, что раза три она действительно начинала сильно выигрывать; а увлеченная вновь надеждою, она уж и не могла отойти. Впрочем, игроки знают, как можно человеку просидеть чуть не

сутки на одном месте за картами, не спуская глаз с правой и с левой.

Между тем во весь этот день у нас в отеле происходили тоже весьма решительные вещи. Еще утром, до одиннадцати часов, когда бабушка еще была дома, наши, то есть генерал и Де-Грие, решились было на последний шаг. Узнав, что бабушка и не думает уезжать, а, напротив, отправляется опять в воксал, они во всем конклаве (кроме Полины) пришли к ней переговорить с нею окончательно и даже *откровенно*. Генерал, трепетавший и замиравший душою ввиду ужасных для него последствий, даже пересолил: после получасовых молений и просьб, и даже откровенно признавшись во всем, то есть во всех долгах, и даже в своей страсти к m-lle Blanche (он совсем потерялся), генерал вдруг принял грозный тон и стал даже кричать и топать ногами на бабушку; кричал, что она срамит их фамилию, стала скандалом всего города, и, наконец... наконец: «Вы срамите русское имя, сударыня! — кричал генерал,— и что на то есть полиция!» Бабушка прогнала его наконец палкой (настоящей палкой). Генерал и Де-Грие совещались еще раз или два в это утро, и именно их занимало: нельзя ли, в самом деле, как-нибудь употребить полицию? Что вот, дескать, несчастная, но почтенная старушка выжила из ума, проигрывает последние деньги и т. д. Одним словом, нельзя ли выхлопотать какой-нибудь надзор или запрещение?.. Но Де-Грие только пожимал плечами и в глаза смеялся над генералом, уже совершенно заболтавшимся и бегавшим взад и вперед по кабинету. Наконец Де-Грие махнул рукою и куда-то скрылся. Вечером узнали, что он совсем выехал из отеля, переговорив наперед весьма решительно и таинственно с m-lle Blanche. Что же касается до m-lle Blanche, то она с самого еще утра приняла окончательные меры: она совсем отшвырнула от себя генерала и даже не пускала его к себе на глаза. Когда генерал побежал за нею в воксал и встретил ее под руку с князьком, то ни она, ни madame veuve Cominges его не узнали. Князек тоже ему не поклонился. Весь этот день m-lle Blanche пробовала и обрабiтывала князя, чтоб он высказался, наконец, решительно. Но увы! Она жестоко обманулась в расчетах на князя! Эта маленькая катастрофа произошла уже вечером; вдруг открылось, что князь гол как сокол, и еще на нее же рассчитывал, чтобы занять у нее денег под вексель и поиграть на рулетке. Blanche с негодованием его выгнала и заперлась в своем номере.

Поутру в этот же день я ходил к мистеру Астлею или, лучше сказать, все утро отыскивал мистера Астлея, но никак не мог отыскать его. Ни дома, ни в воксале или в парке его не было. В отеле

своем он на этот раз не обедал. В пятом часу я вдруг увидел его идущего от дебаркадера железной дороги прямо в отель d'Angleterre. Он торопился и был очень озабочен, хотя и трудно различить заботу или какое бы то ни было замешательство в его лице. Он радушно протянул мне руку, с своим обычным восклицанием: «А!», но не останавливаясь на дороге и продолжая довольно спешным шагом путь. Я увязался за ним; но как-то он так сумел отвечать мне, что я ни о чем не успел и спросить его. К тому же мне было почему-то ужасно совестно заговаривать о Полине; он же сам ни слова о ней не спросил. Я рассказал ему про бабушку; он выслушал внимательно и серьезно и пожал плечами.

— Она все проиграет,— заметил я.

— О да,— отвечал он,— ведь она пошла играть еще давеча, когда я уезжал, а потому я наверно и знал, что она проиграется. Если будет время, я зайду в воксал посмотреть, потому что это любопытно...

— Куда вы уезжали? — вскричал я, изумившись, что до сих пор не спросил.

— Я был во Франкфурте.

— По делам?

— Да, по делам.

Ну что же мне было спрашивать дальше? Впрочем, я все еще шел подле него, но он вдруг повернул в стоявший на дороге отель «De quatre saisons»[1], кивнул мне головой и скрылся. Возвращаясь домой, я мало-помалу догадался, что, если бы я и два часа с ним проговорил, то решительно бы ничего не узнал, потому... что мне не о чем было его спрашивать! Да, конечно, так! Я никаким образом не мог бы теперь формулировать моего вопроса.

Весь этот день Полина то гуляла с детьми и нянюшкой в парке, то сидела дома. Генерала она давно уже избегала и почти ничего с ним не говорила, по крайней мере, о чем-нибудь серьезном. Я это давно заметил. Но, зная, в каком генерал положении сегодня, я подумал, что он не мог миновать ее, то есть между ними не могло не быть каких-нибудь важных семейных объяснений. Однако ж, когда я, возвращаясь в отель после разговора с мистером Астлеем, встретил Полину с детьми, то на ее лице отражалось самое безмятежное спокойствие, как будто все семейные бури миновали только одну ее. На мой поклон она кивнула мне головой. Я пришел к себе совсем злой.

---

[1] «Четырех времен года» (*фр.*).

Конечно, я избегал говорить с нею и ни разу с нею не сходился после происшествия с Вурмергельмами. При этом я отчасти форсил и ломался; но чем дальше шло время, тем все более и более накипало во мне настоящее негодование. Если бы даже она и не любила меня нисколько, все-таки нельзя бы, кажется, так топтать мои чувства и с таким пренебрежением принимать мои признания. Ведь она знает же, что я взаправду люблю ее; ведь она сама допускала, позволяла мне так говорить с нею! Правда, это как-то странно началось у нас. Некоторое время, давно уж, месяца два назад, я стал замечать, что она хочет сделать меня своим другом, поверенным, и даже отчасти уж и пробует. Но это почему-то не пошло у нас тогда в ход; вот взамен того и остались странные теперешние отношения; оттого-то и стал я так говорить с нею. Но если ей противна моя любовь, зачем прямо не запретить мне говорить о ней?

Мне не запрещают; даже сама она вызывала иной раз меня на разговор и... конечно, делала это на смех. Я знаю наверное, я это твердо заметил, — ей было приятно, выслушав и раздражив меня до боли, вдруг меня огорошить какою-нибудь выходкою величайшего презрения и невнимания. И ведь знает же она, что я без нее жить не могу. Вот теперь три дня прошло после истории с бароном, а я уже не могу выносить нашей *разлуки*. Когда я ее встретил сейчас у воксала, у меня забилось сердце так, что я побледнел. Но ведь и она же без меня не проживет! Я ей нужен и — неужели, неужели только как шут Балакирев?

У ней тайна — это ясно! Разговор ее с бабушкой больно уколол мое сердце. Ведь я тысячу раз вызывал ее быть со мною откровенной, и ведь она знала, что я действительно готов за нее голову мою положить. Но она всегда отделывалась чуть не презрением или вместо жертвы жизнью, которую я предлагал ей, требовала от меня таких выходок, как тогда с бароном! Разве это не возмутительно? Неужели весь мир для нее в этом французе? А мистер Астлей? Но тут уже дело становилось решительно непонятным, а между тем — боже, как я мучился!

Придя домой, в порыве бешенства, я схватил перо и настрочил ей следующее:

«Полина Александровна, я вижу ясно, что пришла развязка, которая заденет, конечно, и вас. Последний раз повторяю: нужна или нет вам моя голова? Если буду нужен, хоть *на что-нибудь*, — располагайте, а я покамест сижу в своей комнате, по крайней мере, большею частью, и никуда не уеду. Надо будет, — то напишите иль позовите».

Я запечатал и отправил эту записку с коридорным лакеем, с приказанием отдать прямо в руки. Ответа я не ждал, но через три минуты лакей воротился с известием, что «приказали кланяться».

Часу в седьмом меня позвали к генералу.

Он был в кабинете, одет как бы собираясь куда-то идти. Шляпа и палка лежали на диване. Мне показалось входя, что он стоял среди комнаты, расставив ноги, опустя голову, и что-то говорил вслух сам с собой. Но только что он завидел меня, как бросился ко мне чуть не с криком, так что я невольно отшатнулся и хотел было убежать; но он схватил меня за обе руки и потащил к дивану; сам сел на диван, меня посадил прямо против себя в кресла и, не выпуская моих рук, с дрожащими губами, со слезами, заблиставшими вдруг на его ресницах, умоляющим голосом проговорил:

— Алексей Иванович, спасите, спасите, пощадите!

Я долго не мог ничего понять; он все говорил, говорил, говорил и все повторял: «Пощадите, пощадите!» Наконец я догадался, что он ожидает от меня чего-то вроде совета; или, лучше сказать, всеми оставленный, в тоске и тревоге, он вспомнил обо мне и позвал меня, чтоб только говорить, говорить, говорить.

Он помешался, по крайней мере, в высшей степени потерялся. Он складывал руки и готов был броситься предо мной на колени, чтобы (как вы думаете?) — чтоб я сейчас же шел к m-lle Blanche и упросил, усовестил ее воротиться к нему и выйти за него замуж.

— Помилуйте, генерал,— вскричал я,— да mademoiselle Blanche, может быть, еще и не заметила меня до сих пор? Что могу я сделать?

Но напрасно было и возражать: он не понимал, что ему говорят. Пускался он говорить и о бабушке, но только ужасно бессвязно; он все еще стоял на мысли послать за полициею.

— У нас, у нас,— начинал он, вдруг вскипая негодованием,— одним словом, у нас, в благоустроенном государстве, где есть начальство, над такими старухами тотчас бы опеку устроили! Да-с, милостивый государь, да-с,— продолжал он, вдруг впадая в распекательный тон, вскочив с места и расхаживая по комнате,— вы еще не знали этого, милостивый государь,— обратился он к какому-то воображаемому милостивому государю в угол,— так вот и узнаете... да-с... у нас эдаких старух в дугу гнут, в дугу, в дугу-с, да-с... о, черт возьми!

И он бросался опять на диван, а чрез минуту, чуть не всхлипывая, задыхаясь, спешил рассказать мне, что m-lle Blanche оттого ведь за него не выходит, что вместо телеграммы приехала бабушка и что теперь уже ясно, что он не получит наследства. Ему каза-

лось, что ничего еще этого я не знаю. Я было заговорил о Де-Грие; он махнул рукою:

— Уехал! у него все мое в закладе; я гол как сокол! Те деньги, которые вы привезли... те деньги,— я не знаю, сколько там, кажется, франков семьсот осталось, и — довольно-с, вот и все, а дальше — не знаю-с, не знаю-с!..

— Как же вы в отеле расплатитесь? — вскричал я в испуге,— и... потом что же?

Он задумчиво посмотрел, но, кажется, ничего не понял и даже, может быть, не расслышал меня. Я попробовал было заговорить о Полине Александровне, о детях; он наскоро отвечал: «Да! да! — но тотчас же опять пускался говорить о князе, о том, что теперь уедет с ним Blanche и тогда... и тогда — что же мне делать, Алексей Иванович? — обращался он вдруг ко мне.— Клянусь богом! Что же мне делать,— скажите, ведь это неблагодарность! Ведь это же неблагодарность?»

Наконец он залился в три ручья слезами.

Нечего было делать с таким человеком; оставить его одного тоже было опасно; пожалуй, могло с ним что-нибудь приключиться. Я, впрочем, от него кое-как избавился, но дал знать нянюшке, чтоб та наведывалась почаще, да, кроме того, поговорил с коридорным лакеем, очень толковым малым; тот обещался мне тоже с своей стороны присматривать.

Едва только оставил я генерала, как явился ко мне Потапыч с зовом к бабушке. Было восемь часов, и она только что воротилась из воксала после окончательного проигрыша. Я отправился к ней: старуха сидела в креслах, совсем измученная и видимо больная. Марфа подавала ей чашку чая, которую почти насильно заставила ее выпить. И голос и тон бабушки ярко изменились.

— Здравствуйте, батюшка Алексей Иванович,— сказала она, медленно и важно склоняя голову,— извините, что еще раз побеспокоила, простите старому человеку. Я, отец мой, все там оставила, почти сто тысяч рублей. Прав ты был, что вчера не пошел со мною. Теперь я без денег, гроша нет. Медлить не хочу ни минуты, в девять с половиною и поеду. Послала я к этому твоему англичанину, Астлею, что ли, и хочу у него спросить три тысячи франков на неделю. Так убеди ты его, чтоб он как-нибудь чего не подумал и не отказал. Я еще, отец мой, довольно богата. У меня три деревни и два дома есть. Да и денег еще найдется, не все с собой взяла. Для того я это говорю, чтоб не усомнился он как-нибудь... А, да вот и он! Видно хорошего человека.

Мистер Астлей поспешил по первому зову бабушки. Нимало не думая и много не говоря, он тотчас же отсчитал ей три тысячи

франков под вексель, который бабушка и подписала. Кончив дело, он откланялся и поспешил выйти.

— А теперь ступай и ты, Алексей Иванович. Осталось час с небольшим — хочу прилечь, кости болят. Не взыщи на мне, старой дуре. Теперь уж не буду молодых обвинять в легкомыслии, да и того несчастного, генерала-то вашего, тоже грешно мне теперь обвинять. Денег я ему все-таки не дам, как он хочет, потому — уж совсем он, на мой взгляд, глупехонек, только и я, старая дура, не умнее его. Подлинно, Бог и на старости взыщет и накажет гордыню. Ну, прощай. Марфуша, подыми меня.

Я, однако, желал проводить бабушку. Кроме того, я был в каком-то ожидании, я все ждал, что вот-вот сейчас что-то случится. Мне не сиделось у себя. Я выходил в коридор, даже на минутку вышел побродить по аллее. Письмо мое к ней было ясно и решительно, а теперешняя катастрофа — уж, конечно, окончательная. В отеле я услышал об отъезде Де-Грие. Наконец, если она меня и отвергает, как друга, то, может быть, как слугу не отвергнет. Ведь нужен же я ей хоть на посылки; да пригожусь, как же иначе!

Ко времени поезда я сбегал на дебаркадер и усадил бабушку. Они все уселись в особый семейный вагон. «Спасибо тебе, батюшка, за твое бескорыстное участие, — простилась она со мною, — да передай Прасковье то, о чем я вчера ей говорила, — я ее буду ждать».

Я пошел домой. Проходя мимо генеральского номера, я встретил нянюшку и осведомился о генерале. «И, батюшка, ничего», — отвечала та уныло. Я, однако, зашел, но в дверях кабинета остановился в решительном изумлении. M-lle Blanche и генерал хохотали о чем-то взапуски. Veuve Cominges сидела тут же на диване. Генерал был, видимо, без ума от радости, лепетал всякую бессмыслицу и заливался нервным длинным смехом, от которого все лицо его складывалось в бесчисленное множество морщинок и куда-то прятались глаза. После я узнал от самой же Blanche, что она, прогнав князя и узнав о плаче генерала, вздумала его утешить и зашла к нему на минутку. Но не знал бедный генерал, что в эту минуту участь его была решена и что Blanche уже начала укладываться, чтоб завтра же, с первым утренним поездом, лететь в Париж.

Постояв на пороге генеральского кабинета, я раздумал входить и вышел незамеченный. Поднявшись к себе и отворив дверь, я в полутемноте заметил вдруг какую-то фигуру, сидевшую на стуле, в углу, у окна. Она не поднялась при моем появлении. Я быстро подошел, посмотрел и — дух у меня захватило: это была Полина!

Глава XIV

Я так и вскрикнул.

— Что же? Что же? — странно спрашивала она. Она была бледна и смотрела мрачно.

— Как что же? Вы? здесь, у меня!

— Если я прихожу, то уж *вся* прихожу. Это моя привычка. Вы сейчас это увидите; зажгите свечу.

Я зажег свечку. Она встала, подошла к столу и положила предо мной распечатанное письмо.

— Прочтите,— велела она

— Это,— это рука Де-Грие! — вскричал я, схватив письмо. Руки у меня тряслись, и строчки прыгали пред глазами. Я забыл точные выражения письма, но вот оно — хоть не слово в слово, так, по крайней мере, мысль в мысль.

«Mademoiselle,— писал Де-Грие,— неблагоприятные обстоятельства заставляют меня уехать немедленно. Вы, конечно, сами заметили, что я нарочно избегал окончательного объяснения с вами до тех пор, пока не разъяснились все обстоятельства. Приезд старой (de la vieille dame) вашей родственницы и нелепый ее поступок покончили все мои недоумения. Мои собственные расстроенные дела запрещают мне окончательно питать дальнейшие сладостные надежды, которыми я позволял себе упиваться некоторое время. Сожалею о прошедшем, но надеюсь, что в поведении моем вы не отыщете ничего, что недостойно жантилома и честного человека (gentilhomme et honnête homme[1]). Потеряв почти все мои деньги в долгах на отчиме вашем, я нахожусь в крайней необходимости воспользоваться тем, что мне остается: я уже дал знать в Петербург моим друзьям, чтоб немедленно распорядились продажею заложенного мне имущества; зная, однако же, что легкомысленный отчим ваш растратил ваши собственные деньги, я решился простить ему пятьдесят тысяч франков и на эту сумму возвращаю ему часть закладных на его имущество, так что вы поставлены теперь в возможность воротить все, что потеряли, потребовав с него имение судебным порядком. Надеюсь, mademoiselle, что при теперешнем состоянии дел мой поступок будет для вас весьма выгоден. Надеюсь тоже, что этим поступком я вполне исполняю обязанность человека честного и благородно-

[1] дворянина и порядочного человека (*фр.*).

го. Будьте уверены, что память о вас запечатлена навеки в моем сердце».

— Что же, это все ясно,— сказал я, обращаясь к Полине,— неужели вы могли ожидать чего-нибудь другого,— прибавил я с негодованием.

— Я ничего не ожидала,— отвечала она, по-видимому спокойно, но что-то как бы вздрагивало в ее голосе,— я давно все порешила; я читала его мысли и узнала, что он думает. Он думал, что я ищу... что я буду настаивать... (Она остановилась и, не договорив, закусила губу и замолчала.) Я нарочно удвоила мое к нему презрение,— начала она опять,— я ждала, что от него будет? Если б пришла телеграмма о наследстве, я бы швырнула ему долг этого идиота (отчима) и прогнала его! Он мне был давно, давно ненавистен. О, это был не тот человек прежде, тысячу раз не тот, а теперь, а теперь!.. О, с каким бы счастием я бросила ему теперь, в его подлое лицо, эти пятьдесят тысяч и плюнула бы... и растерла бы плевок!

— Но бумага,— эта возвращенная им закладная на пятьдесят тысяч, ведь она у генерала? Возьмите и отдайте Де-Грие.

— О, не то! Не то!..

— Да, правда, правда, не то! Да и к чему генерал теперь способен? А бабушка? — вдруг вскричал я.

Полина как-то рассеянно и нетерпеливо на меня посмотрела.

— Зачем бабушка? — с досадой проговорила Полина,— я не могу идти к ней... Да и ни у кого не хочу прощения просить,— прибавила она раздражительно.

— Что же делать! — вскричал я,— и как, ну как это вы могли любить Де-Грие! О, подлец, подлец! Ну, хотите, я его убью на дуэли! Где он теперь?

— Он во Франкфурте и проживет там три дня.

— Одно ваше слово, и я еду, завтра же, с первым поездом! — проговорил я в каком-то глупом энтузиазме.

Она засмеялась.

— Что же, он скажет еще, пожалуй: сначала возвратите пятьдесят тысяч франков. Да и за что ему драться?.. Какой это вздор!

— Ну так где же, где же взять эти пятьдесят тысяч франков,— повторил я, скрежеща зубами,— точно так и возможно было вдруг их поднять на полу.— Послушайте: мистер Астлей? — спросил я, обращаясь к ней с началом какой-то странной идеи.

У ней глаза засверкали.

— Что же, разве *ты сам* хочешь, чтоб я от тебя ушла к этому англичанину? — проговорила она, пронзающим взглядом смотря мне в лицо и горько улыбаясь. Первый раз в жизни сказала она мне *ты*.

Кажется, у ней в эту минуту закружилась голова от волнения, и вдруг она села на диван, как бы в изнеможении.

Точно молния опалила меня; я стоял и не верил глазам, не верил ушам! Что же, стало быть, она меня любит! Она пришла *ко мне*, а не к мистеру Астлею! Она, одна, девушка, пришла ко мне в комнату, в отели, — стало быть, компрометировала себя всенародно, — и я, я стою перед ней и еще не понимаю!

Одна дикая мысль блеснула в моей голове.

— Полина! Дай мне только один час! Подожди здесь только час и... я вернусь! Это... это необходимо! Увидишь! Будь здесь, будь здесь!

И я выбежал из комнаты, не отвечая на ее удивленный вопросительный взгляд; она крикнула мне что-то вслед, но я не воротился.

Да, иногда самая дикая мысль, самая с виду невозможная мысль, до того сильно укрепляется в голове, что ее принимаешь наконец за что-то осуществимое... Мало того: если идея соединяется с сильным, страстным желанием, то, пожалуй, иной раз примешь ее наконец за нечто фатальное, необходимое, предназначенное, за нечто такое, что уже не может не быть и не случиться! Может быть, тут есть еще что-нибудь, какая-нибудь комбинация предчувствий, какое-нибудь необыкновенное усилие воли, самоотравление собственной фантазией или еще что-нибудь — не знаю; но со мною в этот вечер (который я никогда в жизни не позабуду) случилось происшествие чудесное. Оно хоть и совершенно оправдывается арифметикою, но тем не менее — для меня еще до сих пор чудесное. И почему, почему эта уверенность так глубоко, крепко засела тогда во мне, и уже с таких давних пор? Уж, верно, я помышлял об этом, — повторяю вам, — не как о случае, который может быть в числе прочих (а стало быть, может и не быть), но как о чем-то таком, что никак уж не может не случиться!

Было четверть одиннадцатого; я вошел в воксал в такой твердой надежде и в то же время в таком волнении, какого я еще никогда не испытывал. В игорных залах народу было еще довольно, хоть вдвое менее утрешнего.

В одиннадцатом часу у игорных столов остаются настоящие, отчаянные игроки, для которых на водах существует только одна рулетка, которые и приехали для нее одной, которые плохо замеча-

ют, что вокруг них происходит, и ничем не интересуются во весь сезон, а только играют с утра до ночи и готовы были бы играть, пожалуй, и всю ночь до рассвета, если б можно было. И всегда они с досадой расходятся, когда в двенадцать часов закрывают рулетку. И когда старший крупер перед закрытием рулетки, около двенадцати часов, возглашает: «Les trois derniers coups, messieurs!»[1], то они готовы проставить иногда на этих трех последних ударах все, что у них есть в кармане,— и действительно тут-то наиболее и проигрываются. Я прошел к тому самому столу, где давеча сидела бабушка. Было не очень тесно, так что я очень скоро занял место у стола стоя. Прямо предо мной, на зеленом сукне, начерчено было слово: «Passe». *«Passe»* — это ряд цифр от девятнадцати включительно до тридцати шести. Первый же ряд, от первого до восемнадцати включительно, называется *«Manque»;* но какое мне было до этого дело? Я не рассчитывал, я даже не слыхал, на какую цифру лег последний удар, и об этом не справился, начиная игру, как бы сделал всякий чуть-чуть рассчитывающий игрок. Я вытащил все мои двадцать фридрихсдоров и бросил на бывший предо мною «passe».

— Vingt deux![2] — закричал крупер.

Я выиграл — и опять поставил все: и прежнее и выигрыш.

— Trente et un[3], — прокричал крупер. Опять выигрыш! Всего уж, стало быть, у меня восемьдесят фридрихсдоров! Я двинул все восемьдесят на двенадцать средних цифр (тройной выигрыш, но два шанса против себя) — колесо завертелось, и вышло двадцать четыре. Мне выложили три свертка по пятидесяти фридрихсдоров и десять золотых монет; всего, с прежним, очутилось у меня двести фридрихсдоров.

Я был как в горячке и двинул всю эту кучу денег на красную — и вдруг опомнился! И только раз во весь этот вечер, во всю игру, страх прошел по мне холодом и отозвался дрожью в руках и ногах. Я с ужасом ощутил и мгновенно сознал: что́ для меня теперь значит проиграть! Стояла на ставке вся моя жизнь!

— Rouge! — крикнул крупер,— и я перевел дух, огненные мурашки посыпались по моему телу. Со мною расплатились банковыми билетами; стало быть, всего уж четыре тысячи флоринов и восемьдесят фридрихсдоров! (Я еще мог следить тогда за счетом.)

---

[1] Три последних игры, господа! (*фр.*)

[2] Двадцать два! (*фр.*)

[3] Тридцать один (*фр.*).

Затем, помнится, я поставил две тысячи флоринов опять на двенадцать средних и проиграл; поставил мое золото и восемьдесят фридрихсдоров и проиграл. Бешенство овладело мною: я схватил последние оставшиеся мне две тысячи флоринов и поставил на двенадцать первых — так, на авось, зря, без расчета! Впрочем, было одно мгновение ожидания, похожее, может быть, впечатлением на впечатление, испытанное madame Blanchard, когда она, в Париже, летела с воздушного шара на землю.

— Quatre![1] — крикнул крупер. Всего, с прежнею ставкою, опять очутилось шесть тысяч флоринов. Я уже смотрел как победитель, я уже ничего, ничего теперь не боялся и бросил четыре тысячи флоринов на черную. Человек девять бросилось, вслед за мною, тоже ставить на черную. Круперы переглядывались и переговаривались. Кругом говорили и ждали.

Вышла черная. Не помню я уж тут ни расчета, ни порядка моих ставок. Помню только, как во сне, что я уже выиграл, кажется, тысяч шестнадцать флоринов; вдруг, тремя несчастными ударами, спустил из них двенадцать; потом двинул последние четыре тысячи на «passe» (но уж почти ничего не ощущал при этом; я только ждал, как-то механически, без мысли) — и опять выиграл; затем выиграл еще четыре раза сряду. Помню только, что я забирал деньги тысячами; запоминаю я тоже, что чаще всех выходили двенадцать средних, к которым я и привязался. Они появлялись как-то регулярно — непременно раза три, четыре сряду, потом исчезали на два раза и потом возвращались опять раза на три или на четыре кряду. Эта удивительная регулярность встречается иногда полосами — и вот это-то и сбивает с толку записных игроков, рассчитывающих с карандашом в руках. И какие здесь случаются иногда ужасные насмешки судьбы!

Я думаю, с моего прибытия времени прошло не более получаса. Вдруг крупер уведомил меня, что я выиграл тридцать тысяч флоринов, а так как банк за один раз больше не отвечает, то, стало быть, рулетку закроют до завтрашнего утра. Я схватил все мое золото, ссыпал его в карманы, схватил все билеты и тотчас перешел на другой стол, в другую залу, где была другая рулетка; за мною хлынула вся толпа; там тотчас же очистили мне место, и я пустился ставить опять, зря и не считая. Не понимаю, что меня спасло!

Иногда, впрочем, начинал мелькать в голове моей расчет. Я привязывался к иным цифрам и шансам, но скоро оставлял их и ставил опять, почти без сознания. Должно быть, я был очень рассе-

---

[1] Четыре! (*фр.*)

ян; помню, что круперы несколько раз поправляли мою игру. Я делал грубые ошибки. Виски мои были смочены потом и руки дрожали. Подскакивали было и полячки с услугами, но я никого не слушал. Счастье не прерывалось! Вдруг кругом поднялся громкий говор и смех. «Браво, браво!» — кричали все, иные даже захлопали в ладоши. Я сорвал и тут тридцать тысяч флоринов, и банк опять закрыли до завтра!

— Уходите, уходите,— шептал мне чей-то голос справа. Это был какой-то франкфуртский жид; он все время стоял подле меня и, кажется, помогал мне иногда в игре.

— Ради бога, уходите,— прошептал другой голос над левым моим ухом. Я мельком взглянул. Это была весьма скромно и прилично одетая дама, лет под тридцать, с каким-то болезненно бледным, усталым лицом, но напоминавшим и теперь ее чудную прежнюю красоту. В эту минуту я набивал карманы билетами, которые так и комкал, и собирал оставшееся на столе золото. Захватив последний сверток в пятьдесят фридрихсдоров, я успел, совсем неприметно, сунуть его в руку бледной даме; мне это ужасно захотелось тогда сделать, и тоненькие, худенькие ее пальчики, помню, крепко сжали мою руку в знак живейшей благодарности. Все это произошло в одно мгновение.

Собрав все, я быстро перешел на trente et quarante.

За trente et quarante сидит публика аристократическая. Это не рулетка, это карты. Тут банк отвечает за сто тысяч талеров разом. Наибольшая ставка тоже четыре тысячи флоринов. Я совершенно не знал игры и не знал почти ни одной ставки, кроме красной и черной, которые тут тоже были. К ним-то я и привязался. Весь воксал столпился кругом. Не помню, вздумал ли я в это время хоть раз о Полине. Я тогда ощущал какое-то непреодолимое наслаждение хватать и загребать банковые билеты, нараставшие кучею предо мной.

Действительно, точно судьба толкала меня. На этот раз, как нарочно, случилось одно обстоятельство, довольно, впрочем, часто повторяющееся в игре. Привяжется счастие, например, к красной и не оставляет ее раз десять, даже пятнадцать сряду. Я слышал еще третьего дня, что красная, на прошлой неделе, вышла двадцать два раза сряду; этого даже и не запомнят на рулетке и рассказывали с удивлением. Разумеется, все тотчас же оставляют красную и уже после десяти раз, например, почти никто не решается на нее ставить. Но и на черную, противоположную красной, не ставит тогда никто из опытных игроков. Опытный игрок знает, что значит это «своенравие случая». Например, казалось

бы, что после шестнадцати раз красной семнадцатый удар непременно ляжет на черную. На это бросаются новички толпами, удваивают и утраивают куши, и страшно проигрываются.

Но я, по какому-то странному своенравию, заметив, что красная вышла семь раз сряду, нарочно к ней привязался. Я убежден, что тут наполовину было самолюбия; мне хотелось удивить зрителей безумным риском, и — о странное ощущение — я помню отчетливо, что мною вдруг действительно без всякого вызова самолюбия овладела ужасная жажда риску. Может быть, перейдя через столько ощущений, душа не насыщается, а только раздражается ими и требует ощущений еще, и все сильней и сильней, до окончательного утомления. И, право не лгу, если б устав игры позволял поставить пятьдесят тысяч флоринов разом, я бы поставил их наверно. Кругом кричали, что это безумно, что красная уже выходит четырнадцатый раз!

— Monsieur a gagné déjà cent mille florins[1], — раздался подле меня чей-то голос.

Я вдруг очнулся. Как? я выиграл в этот вечер сто тысяч флоринов! Да к чему же мне больше? Я бросился на билеты, скомкал их в карман, не считая, загреб все мое золото, все свертки и побежал из воксала. Кругом все смеялись, когда я проходил по залам, глядя на мои оттопыренные карманы и на неровную походку от тяжести золота. Я думаю, его было гораздо более полупуда. Несколько рук протянулось ко мне; я раздавал горстями, сколько захватывалось. Два жида остановили меня у выхода.

— Вы смелы! вы очень смелы! — сказали они мне, — но уезжайте завтра утром непременно, как можно раньше, не то вы все-все проиграете...

Я их не слушал. Аллея была темна, так что руки своей нельзя было различить. До отеля было с полверсты. Я никогда не боялся ни воров, ни разбойников, даже маленький; не думал о них и теперь. Я, впрочем, не помню, о чем я думал дорогою; мысли не было. Ощущал я только какое-то ужасное наслаждение удачи, победы, могущества — не знаю, как выразиться. Мелькал предо мною и образ Полины; я помнил и сознавал, что иду к ней, сейчас с ней сойдусь и буду ей рассказывать, покажу... но я уже едва вспомнил о том, что она мне давеча говорила, и зачем я пошел, и все те недавние ощущения, бывшие всего полтора часа назад, казались мне уж теперь чем-то давно прошедшим, исправленным, устаревшим — о чем мы уже не будем более поминать, потому что теперь начнется

---

[1] Господин выиграл уже сто тысяч флоринов (*фр.*).

все сызнова. Почти уж в конце аллеи вдруг страх напал на меня: «Что, если меня сейчас убьют и ограбят?» С каждым шагом мой страх возрастал вдвое. Я почти бежал. Вдруг в конце аллеи разом блеснул весь наш отель, освещенный бесчисленными огнями,— слава богу: дома!

Я добежал в свой этаж и быстро растворил дверь. Полина была тут и сидела на моем диване, перед зажженною свечою, скрестя руки. С изумлением она на меня посмотрела, и, уж конечно, в эту минуту я был довольно странен на вид. Я остановился пред нею и стал выбрасывать на стол всю мою груду денег.

Глава XV

Помню, она ужасно пристально смотрела в мое лицо, но не трогаясь с места, не изменяя даже своего положения.

— Я выиграл двести тысяч франков,— вскричал я, выбрасывая последний сверток. Огромная груда билетов и свертков золота заняла весь стол, я не мог уж отвести от нее моих глаз; минутами я совсем забывал о Полине. То начинал я приводить в порядок эти кучи банковых билетов, складывал их вместе, то откладывал в одну общую кучу золото; то бросал все и пускался быстрыми шагами ходить по комнате, задумывался, потом вдруг опять подходил к столу, опять начинал считать деньги. Вдруг, точно опомнившись, я бросился к дверям и поскорее запер их, два раза обернув ключ. Потом остановился в раздумье пред маленьким моим чемоданом.

— Разве в чемодан положить до завтра? — спросил я, вдруг обернувшись к Полине, и вдруг вспомнил о ней. Она же все сидела не шевелясь, на том же месте, но пристально следила за мной. Странно как-то было выражение ее лица; не понравилось мне это выражение! Не ошибусь, если скажу, что в нем была ненависть.

Я быстро подошел к ней.

— Полина, вот двадцать пять тысяч флоринов — это пятьдесят тысяч франков, даже больше. Возьмите, бросьте их ему завтра в лицо.

Она не ответила мне.

— Если хотите, я отвезу сам, рано утром. Так?

Она вдруг засмеялась. Она смеялась долго.

Я с удивлением и с скорбным чувством смотрел на нее. Этот смех очень похож был на недавний, частый, насмешливый смех ее

надо мной, всегда приходившийся во время самых страстных моих объяснений. Наконец она перестала и нахмурилась; строго оглядывала она меня исподлобья.

— Я не возьму ваших денег,— проговорила она презрительно.

— Как? Что это? — закричал я.— Полина, почему же?

— Я даром денег не беру.

— Я предлагаю вам, как друг; я вам жизнь предлагаю.

Она посмотрела на меня долгим, пытливым взглядом, как бы пронзить меня им хотела.

— Вы дорого даете,— проговорила она усмехаясь,— любовница Де-Грие не стоит пятидесяти тысяч франков.

— Полина, как можно так со мною говорить! — вскричал я с укором,— разве я Де-Грие?

— Я вас ненавижу! Да... да!.. я вас не люблю больше, чем Де-Грие,— вскричала она, вдруг засверкав глазами.

Тут она закрыла вдруг руками лицо, и с нею сделалась истерика. Я бросился к ней.

Я понял, что с нею что-то без меня случилось. Она была совсем как бы не в своем уме.

— Покупай меня! Хочешь? хочешь? за пятьдесят тысяч франков, как Де-Грие? — вырывалось у ней с судорожными рыданиями. Я обхватил ее, целовал ее руки, ноги, упал пред нею на колени.

Истерика ее проходила. Она положила обе руки на мои плечи и пристально меня рассматривала; казалось, что-то хотела прочесть на моем лице. Она слушала меня, но, видимо, не слыхала того, что я ей говорил. Какая-то забота и вдумчивость явились в лице ее. Я боялся за нее; мне решительно казалось, что у ней ум мешается. То вдруг начинала она тихо привлекать меня к себе; доверчивая улыбка уже блуждала в ее лице; и вдруг она меня отталкивала и опять омраченным взглядом принималась в меня всматриваться.

Вдруг она бросилась обнимать меня.

— Ведь ты меня любишь, любишь? — говорила она,— ведь ты, ведь ты... за меня с бароном драться хотел! — И вдруг она расхохоталась, точно что-то смешное и милое мелькнуло вдруг в ее памяти. Она и плакала и смеялась — все вместе. Ну что мне было делать? Я сам был как в лихорадке. Помню, она начинала мне что-то говорить, но я почти ничего не мог понять. Это был какой-то бред, какой-то лепет,— точно ей хотелось что-то поскорей мне рассказать,— бред, прерываемый иногда самым веселым смехом, который начинал пугать меня. «Нет, нет, ты милый, милый! —

повторяла она. — Ты мой верный!» — и опять клала мне руки свои на плечи, опять в меня всматривалась и продолжала повторять: «Ты меня любишь... любишь... будешь любить?» Я не сводил с нее глаз; я еще никогда не видал ее в этих припадках нежности и любви; правда, это, конечно, был бред, но... заметив мой страстный взгляд, она вдруг начинала лукаво улыбаться; ни с того ни с сего она вдруг заговаривала о мистере Астлее.

Впрочем, о мистере Астлее она беспрерывно заговаривала (особенно когда силилась мне что-то давеча рассказать), но что именно, я вполне не мог схватить; кажется, она даже смеялась над ним; повторяла беспрерывно, что он ждет... и что знаю ли я, что он наверное стоит теперь под окном? «Да, да, под окном, — ну отвори, посмотри, посмотри, он здесь, здесь!» Она толкала меня к окну, но только я делал движение идти, она заливалась смехом, и я оставался при ней, а она бросалась меня обнимать.

— Мы уедем? Ведь мы завтра уедем? — приходило ей вдруг беспокойно в голову, — ну... (и она задумалась) — ну а догоним мы бабушку, как ты думаешь? В Берлине, я думаю, догоним. Как ты думаешь, что она скажет, когда мы ее догоним и она нас увидит? А мистер Астлей?.. Ну, этот не соскочит с Шлангенберга, как ты думаешь? (Она захохотала.) Ну, послушай: знаешь, куда он будущее лето едет? Он хочет на Северный полюс ехать для ученых исследований и меня звал с собою, ха-ха-ха! Он говорит, что мы, русские, без европейцев ничего не знаем и ни к чему не способны... Но он тоже добрый! Знаешь, он «генерала» извиняет; он говорит, что Blanche... что страсть, — ну не знаю, не знаю, — вдруг повторила она, как бы заговорясь и потерявшись. — Бедные они, как мне их жаль, и бабушку... Ну, послушай, послушай, ну где тебе убить Де-Грие? И неужели, неужели ты думал, что убьешь? О глупый! Неужели ты мог подумать, что я пущу тебя драться с Де-Грие? Да ты и барона-то не убьешь, — прибавила она, вдруг засмеявшись. — О, как ты был тогда смешон с бароном; я глядела на вас обоих со скамейки; и как тебе не хотелось тогда идти, когда я тебя посылала. Как я тогда смеялась, как я тогда смеялась, — прибавила она хохоча.

И вдруг она опять целовала и обнимала меня, опять страстно и нежно прижимала свое лицо к моему. Я уж более ни о чем не думал и ничего не слышал. Голова моя закружилась...

Я думаю, что было около семи часов утра, когда я очнулся; солнце светило в комнату. Полина сидела подле меня и странно осматривалась, как будто выходя из какого-то мрака и собирая воспоминания. Она тоже только что проснулась и пристально смотрела на стол и деньги. Голова моя была тяжела и болела. Я было

хотел взять Полину за руку; она вдруг оттолкнула меня и вскочила с дивана. Начинавшийся день был пасмурный; пред рассветом шел дождь. Она подошла к окну, отворила его, выставила голову и грудь и, подпершись руками, а локти положив на косяк окна, пробыла так минуты три, не оборачиваясь ко мне и не слушая того, что я ей говорил. Со страхом приходило мне в голову: что же теперь будет и чем это кончится? Вдруг она поднялась с окна, подошла к столу и, смотря на меня с выражением бесконечной ненависти, с дрожавшими от злости губами, сказала мне:

— Ну, отдай же мне теперь мои пятьдесят тысяч франков!

— Полина, опять, опять! — начал было я.

— Или ты раздумал? ха-ха-ха! Тебе, может быть, уже и жалко?

Двадцать пять тысяч флоринов, отсчитанные еще вчера, лежали на столе; я взял и подал ей.

— Ведь они уж теперь мои? Ведь так? Так? — злобно спрашивала она меня, держа деньги в руках.

— Да они и всегда были твои,— сказал я.

— Ну так вот же твои пятьдесят тысяч франков! — Она размахнулась и пустила их в меня. Пачка больно ударила мне в лицо и разлетелась по полу. Совершив это, Полина выбежала из комнаты.

Я знаю, она, конечно, в ту минуту была не в своем уме, хоть я и не понимаю этого временного помешательства. Правда, она еще и до сих пор, месяц спустя, еще больна. Что было, однако, причиною этого состояния, а главное, этой выходки? Оскорбленная ли гордость? Отчаяние ли о том, что она решилась даже прийти ко мне? Не показал ли я ей виду, что тщеславлюсь моим счастием и в самом деле точно так же, как и Де-Грие, хочу отделаться от нее, подарив ей пятьдесят тысяч франков? Но ведь этого не было, я знаю по своей совести. Думаю, что виновато было тут отчасти и ее тщеславие: тщеславие подсказало ей не поверить мне и оскорбить меня, хотя все это представлялось ей, может быть, и самой неясно. В таком случае я, конечно, ответил за Де-Грие и стал виноват, может быть, без большой вины. Правда, все это был только бред; правда и то, что я знал, что она в бреду, и... не обратил внимания на это обстоятельство. Может быть, она теперь не может мне простить этого? Да, но это теперь; но тогда, тогда? Ведь не так же сильны были ее бред и болезнь, чтобы она уж совершенно забыла, что делает, идя ко мне с письмом Де-Грие? Значит, она знала, что делает.

Я кое-как, наскоро, сунул все мои бумаги и всю мою кучу золота в постель, накрыл ее и вышел минут десять после Полины. Я был уверен, что она побежала домой, и хотел потихоньку пробраться

к ним и в передней спросить у няни о здоровье барышни. Каково же было мое изумление, когда от встретившейся мне на лестнице нянюшки я узнал, что Полина домой еще не возвращалась и что няня сама шла ко мне за ней.

— Сейчас,— говорил я ей,— сейчас только ушла от меня, минут десять тому назад, куда же могла она деваться?

Няня с укоризной на меня поглядела.

А между тем вышла целая история, которая уже ходила по отелю. В швейцарской и у обер-кельнера перешептывались, что фрейлейн утром, в шесть часов, выбежала из отеля, в дождь, и побежала по направлению к hôtel d'Angleterre. По их словам и намекам я заметил, что они уже знают, что она провела всю ночь в моей комнате. Впрочем, уже рассказывалось о всем генеральском семействе: стало известно, что генерал вчера сходил с ума и плакал на весь отель. Рассказывали при этом, что приезжавшая бабушка была его мать, которая затем нарочно и появилась из самой России, чтоб воспретить своему сыну брак с m-lle de Cominges, а за ослушание лишить его наследства, и так как он действительно не послушался, то графиня, в его же глазах, нарочно и проиграла все свои деньги на рулетке, чтоб так уже ему и не доставалось ничего. «Diese Russen!»[1] — повторял обер-кельнер с негодованием, качая головой. Другие смеялись. Обер-кельнер готовил счет. Мой выигрыш был уже известен; Карл, мой коридорный лакей, первый поздравил меня. Но мне было не до них. Я бросился в отель d'Angleterre.

Еще было рано; мистер Астлей не принимал никого; узнав же, что это я, вышел ко мне в коридор и остановился предо мной, молча устремив на меня свой оловянный взгляд, и ожидал: что я скажу? Я тотчас спросил о Полине.

— Она больна,— отвечал мистер Астлей, по-прежнему смотря на меня в упор и не сводя с меня глаз.

— Так она в самом деле у вас?

— О да, у меня.

— Так как же вы... вы намерены ее держать у себя?

— О да, я намерен.

— Мистер Астлей, это произведет скандал; этого нельзя. К тому же она совсем больна; вы, может быть, не заметили?

— О да, я заметил и уже вам сказал, что она больна. Если б она была не больна, то у вас не провела бы ночь.

— Так вы и это знаете?

---

[1] Эти русские! (*нем.*)

— Я это знаю. Она шла вчера сюда, и я бы отвел ее к моей родственнице, но так как она была больна, то ошиблась и пришла к вам.

— Представьте себе! Ну поздравляю вас, мистер Астлей. Кстати, вы мне даете идею: не стояли ли вы всю ночь у нас под окном? Мисс Полина всю ночь заставляла меня открывать окно и смотреть,— не стоите ли вы под окном, и ужасно смеялась.

— Неужели? Нет, я под окном не стоял; но я ждал в коридоре и кругом ходил.

— Но ведь ее надо лечить, мистер Астлей.

— О да, я уж позвал доктора, и если она умрет, то вы дадите мне отчет в ее смерти.

Я изумился:

— Помилуйте, мистер Астлей, что это вы хотите?

— А правда ли, что вы вчера выиграли двести тысяч талеров?

— Всего только сто тысяч флоринов.

— Ну вот видите! Итак, уезжайте сегодня утром в Париж.

— Зачем?

— Все русские, имея деньги, едут в Париж,— пояснил мистер Астлей голосом и тоном, как будто прочел это по книжке.

— Что я буду теперь, летом, в Париже делать? Я ее люблю, мистер Астлей! Вы знаете сами.

— Неужели? Я убежден, что нет. Притом же, оставшись здесь, вы проиграете наверное все, и вам не на что будет ехать в Париж. Но прощайте, я совершенно убежден, что вы сегодня уедете в Париж.

— Хорошо, прощайте, только я в Париж не поеду. Подумайте, мистер Астлей, о том, что теперь будет у нас? Одним словом, генерал... и теперь это приключение с мисс Полиной — ведь это на весь город пойдет.

— Да, на весь город; генерал же, я думаю, об этом не думает, и ему не до этого. К тому же мисс Полина имеет полное право жить, где ей угодно. Насчет же этого семейства можно правильно сказать, что это семейство уже не существует.

Я шел и посмеивался странной уверенности этого англичанина, что я уеду в Париж. «Однако он хочет меня застрелить на дуэли,— думал я,— если mademoiselle Полина умрет,— вот еще комиссия!» Клянусь, мне было жаль Полину, но странно,— с самой той минуты, как я дотронулся вчера до игорного стола и стал загребать пачки денег,— моя любовь отступила как бы на второй план. Это я теперь говорю; но тогда еще я не замечал всего этого ясно. Неужели я и в самом деле игрок, неужели я и в самом деле... так странно любил Полину? Нет, я до сих пор люблю ее, видит бог!

А тогда, когда я вышел от мистера Астлея и шел домой, я искренно страдал и винил себя. Но... но тут со мной случилась чрезвычайно странная и глупая история.

Я спешил к генералу, как вдруг невдалеке от их квартиры отворилась дверь и меня кто-то кликнул. Это была m-me veuve Cominges и кликнула меня по приказанию m-lle Blanche. Я вошел в квартиру m-lle Blanche.

У них был небольшой номер, в две комнаты. Слышен был смех и крик m-lle Blanche из спальни. Она вставала с постели.

— A, c'est lui!! Viens dons, bêtà! Правда ли, que tu as gagné une, montagne d'or et d'argent? J'aimerais mieux l'or[1].

— Выиграл,— отвечал я смеясь.

— Сколько?

— Сто тысяч флоринов.

— Bibi, comme tu es bête. Да войди же сюда, я ничего не слышу. Nous ferons bombance, n'est ce pas?[2]

Я вошел к ней. Она валялась под розовым атласным одеялом, из-под которого выставлялись смуглые, здоровые, удивительные плечи,— плечи, которые разве только увидишь во сне,— кое-как прикрытые батистовою отороченною белейшими кружевами сорочкою, что удивительно шло к ее смуглой коже.

— Mon fils, as-tu du coeur?[3] — вскричала она, завидев меня, и захохотала. Смеялась она всегда очень весело и даже иногда искренно.

— Tout autre...[4] — начал было я, парафразируя Корнеля.

— Вот видишь, vois-tu,— затараторила она вдруг,— во-первых, сыщи чулки, помоги обуться, а во-вторых, si tu n'es pas trop bête, je te prends à Paris[5]. Ты знаешь, я сейчас еду.

— Сейчас?

— Чрез полчаса.

Действительно, все было уложено. Все чемоданы и ее вещи стояли готовые. Кофе был уже давно подан.

— Eh bien! хочешь, tu verras Paris. Dis donc qu'est ce que c'est qu'un outchitel? Tu étais bien bête, quand tu étais outchitel[6]. Где же мои чулки? Обувай же меня, ну!

---

[1] Это он!! Иди же сюда, дурачок! Правда ли, что ты выиграл гору золота и серебра? Я предпочла бы золото (*фр.*).

[2] Биби, как ты глуп... Мы покутим, не правда ли? (*фр.*)

[3] Сын мой, храбр ли ты? (*фр.*)

[4] Всякий другой... (*фр.*)

[5] если ты не будешь слишком глуп, я возьму тебя в Париж (*фр.*).

[6] ты увидишь Париж. Скажи-ка, что это такое учитель? Ты был очень глуп, когда ты был учителем (*фр.*).

Она выставила действительно восхитительную ножку, смуглую, маленькую, неисковерканную, как все почти эти ножки, которые смотрят такими миленькими в ботинках. Я засмеялся и начал натягивать на нее шелковый чулочек. M-lle Blanche между тем сидела на постели и тараторила.

— Eh bien, que feras-tu, si je te prends avec? Во-первых, je veux cinquante mille francs. Ты мне их отдашь во Франкфурте. Nous allons à Paris; там мы живем вместе et je te ferai voir des étoiles en plein jour[1]. Ты увидишь таких женщин, каких ты никогда не видывал. Слушай...

— Постой, эдак я тебе отдам пятьдесят тысяч франков, а что же мне-то останется?

— Et cent cinquante mille francs[2], ты забыл, и, сверх того, я согласна жить на твоей квартире месяц, два, que sais-je![3] Мы, конечно, проживем в два месяца эти сто пятьдесят тысяч франков. Видишь, je suis bonne enfant[4] и тебе вперед говорю, mais tu verras des étoiles[5].

— Как, всё в два месяца?

— Как! Это тебя ужасает! Ah, vil esclave![6] Да знаешь ли ты, что один месяц этой жизни лучше всего твоего существования. Один месяц — et après le déluge! Mais tu ne peux comprendre, va! Пошел, пошел, ты этого не стоишь! Ай, que fais-tu?[7]

В эту минуту я обувал другую ножку, но не выдержал и поцеловал ее. Она вырвала и начала меня бить кончиком ноги по лицу. Наконец она прогнала меня совсем. «Eh bien, mon outchitel, je t'attends, si tu veux[8]; чрез четверть часа я еду!» — крикнула она мне вдогонку.

Воротясь домой, был я уже как закруженный. Что же, я не виноват, что m-lle Полина бросила мне целой пачкой в лицо и еще вчера предпочла мне мистера Астлея. Некоторые из распавшихся банковых билетов еще валялись на полу; я их подобрал. В эту

---

[1] Ну что ты будешь делать, если я тебя возьму с собой?.. я хочу пятьдесят тысяч франков... Мы едем в Париж... и ты у меня увидишь звезды среди бела дня (*фр.*).

[2] А сто пятьдесят тысяч франков (*фр.*).

[3] почем я знаю! (*фр.*)

[4] я добрая девочка (*фр.*).

[5] но ты увидишь звезды (*фр.*).

[6] А, низкий раб! (*фр.*)

[7] а потом хоть потоп! Но ты не можешь этого понять, где тебе!.. что ты делаешь? (*фр.*)

[8] Ну, мой учитель, я тебя жду, если хочешь (*фр.*).

минуту отворилась дверь и явился сам обер-кельнер (который на меня прежде и глядеть не хотел) с приглашением: не угодно ли мне перебраться вниз, в превосходный номер, в котором только что стоял граф В.

Я постоял, подумал.

— Счет! — закричал я,— сейчас еду, чрез десять минут.— «В Париж так в Париж! — подумал я про себя,— знать, на роду написано!»

Чрез четверть часа мы действительно сидели втроем в одном общем семейном вагоне: я, m-lle Blanche et m-me veuve Cominges. M-lle Blanche хохотала, глядя на меня, до истерики. Veuve Cominges ей вторила; не скажу, чтобы мне было весело. Жизнь переламывалась надвое, но со вчерашнего дня я уж привык все ставить на карту. Может быть, и действительно правда, что я не вынес денег и закружился. Peut-être, je ne demandais pas mieux[1]. Мне казалось, что на время — но только на время — переменяются декорации. «Но чрез месяц я буду здесь, и тогда... и тогда мы еще с вами потягаемся, мистер Астлей!» Нет, как припоминаю теперь, мне и тогда было ужасно грустно, хоть я и хохотал взапуски с этой дурочкой Blanche.

— Да чего тебе! Как ты глуп! О, как ты глуп! — вскрикивала Blanche, прерывая свой смех и начиная серьезно бранить меня.— Ну да, ну да, да, мы проживем твои двести тысяч франков, но зато, mais tu serais heureux, comme un petit roi[2]; я сама тебе буду повязывать галстук и познакомлю тебя с Hortense. А когда мы проживем все наши деньги, ты приедешь сюда и опять сорвешь банк. Что тебе сказали жиды? Главное — смелость, а у тебя она есть, и ты мне еще не раз будешь возить деньги в Париж. Quant à moi, je veux cinquante mille francs de rente et alors...[3]

— А генерал? — спросил я ее.

— А генерал, ты знаешь сам, каждый день в это время уходит мне за букетом. На этот раз я нарочно велела отыскать самых редких цветов. Бедняжка воротится, а птичка и улетела. Он полетит за нами, увидишь. Ха-ха-ха! Я очень буду рада. В Париже он мне пригодится; за него здесь заплатит мистер Астлей...

И вот таким-то образом я и уехал тогда в Париж.

---

[1] Может быть, только этого мне и надо было (*фр.*).

[2] но ты будешь счастлив, как маленький король (*фр.*).

[3] Что до меня, то я хочу пятьдесят тысяч франков ренты и тогда... (*фр.*)

Глава XVI

Что я скажу о Париже? Все это было, конечно, и бред и дурачество. Я прожил в Париже всего только три недели с небольшим, и в этот срок были совершенно покончены мои сто тысяч франков. Я говорю только про сто тысяч; остальные сто тысяч я отдал mademoiselle Blanche чистыми деньгами,— пятьдесят тысяч во Франкфурте и чрез три дня в Париже, выдал ей же еще пятьдесят тысяч франков векселем, за который, впрочем, чрез неделю она взяла с меня и деньги, «et les cent mille francs, qui nous restent, tu les mangeras avec moi, mon outchitel»[1]. Она меня постоянно звала учителем. Трудно представить себе что-нибудь на свете расчетливее, скупее и скалдырнее разряда существ, подобных m-lle Blanche. Но это относительно своих денег. Что же касается до моих ста тысяч франков, то она мне прямо объявила потом, что они ей нужны были для первой постановки себя в Париже. «Так что уж я теперь стала на приличную ногу раз навсегда, и теперь уж меня долго никто не собьет, по крайней мере, я так распорядилась»,— прибавила она. Впрочем, я почти и не видал этих ста тысяч; деньги во все время держала она, а в моем кошельке, в который она сама каждый день наведывалась, никогда не скоплялось более ста франков, и всегда почти было менее.

— Ну к чему тебе деньги? — говорила она иногда с самым простейшим видом, и я с нею не спорил. Зато она очень и очень недурно отделала на эти деньги свою квартиру, и когда потом перевела меня на новоселье, то, показывая мне комнаты, сказала: «Вот что с расчетом и со вкусом можно сделать с самыми мизерными средствами». Этот мизер стоил, однако, ровно пятьдесят тысяч франков. На остальные пятьдесят тысяч она завела экипаж, лошадей, кроме того, мы задали два бала, то есть две вечеринки, на которых были и Hortense и Lisette и Cléopâtre — женщины замечательные во многих и во многих отношениях и даже далеко не дурные. На этих двух вечеринках я принужден был играть преглупейшую роль хозяина, встречать и занимать разбогатевших и тупейших купчишек, невозможных по их невежеству и бесстыдству, разных военных поручиков и жалких авторишек и журнальных козявок, которые явились в модных фраках, в палевых перчатках и с самолюбием и чванством в таких размерах, о которых даже у нас в Петербурге немыслимо,— а уж это много значит сказать. Они даже вздумали надо мной смеяться, но я напился шампанского

---

[1] и сто тысяч франков, которые нам остались, ты их проешь со мной, мой учитель (*фр.*).

и провалялся в задней комнате. Все это было для меня омерзительно в высшей степени. «C'est un outchitel,— говорила обо мне Blanche,— il a gagné deux cent mille francs[1] и который без меня не знал бы, как их истратить. А после он опять поступит в учителя,— не знает ли кто-нибудь места? Надобно что-нибудь для него сделать». К шампанскому я стал прибегать весьма часто, потому что мне было постоянно очень грустно и до крайности скучно. Я жил в самой буржуазной, в самой меркантильной среде, где каждый су был рассчитан и вымерен. Blanche очень не любила меня в первые две недели, я это заметил; правда, она одела меня щегольски и сама ежедневно повязывала мне галстук, но в душе искренно презирала меня. Я на это не обращал ни малейшего внимания. Скучный и унылый, я стал уходить обыкновенно в «Château des Fleurs»[2], где регулярно, каждый вечер, напивался и учился канкану (который там прегадко танцуют) и впоследствии приобрел в этом роде даже знаменитость. Наконец Blanche раскусила меня: она как-то заранее составила себе идею, что я, во все время нашего сожительства, буду ходить за нею с карандашом и бумажкой в руках и все буду считать, сколько она истратила, сколько украла, сколько истратит и сколько еще украдет? И, уж конечно, была уверена, что у нас из-за каждых десяти франков будет баталия. На всякое нападение мое, предполагаемое ею заранее, она уже заблаговременно заготовила возражения; но, не видя от меня никаких нападений, сперва было пускалась сама возражать. Иной раз начнет горячо-горячо, но, увидя, что я молчу,— чаще всего валяясь на кушетке и неподвижно смотря в потолок,— даже, наконец, удивится. Сперва она думала, что я просто глуп, «un outchitel», и просто обрывала свои объяснения, вероятно, думая про себя: «Ведь он глуп; нечего его и наводить, коль сам не понимает». Уйдет, бывало, но минут через десять опять воротится (это случалось во время самых неистовых трат ее, трат совершенно нам не по средствам: например, она переменила лошадей и купила в шестнадцать тысяч франков пару).

— Ну, так ты, Bibi, не сердишься? — подходила она ко мне.

— Не-е-ет! Надо-е-е-ла! — говорил я, отстраняя ее от себя рукою, но это было для нее так любопытно, что она тотчас же села подле:

— Видишь, если я решилась столько заплатить, то это потому, что их продавали по случаю. Их можно опять продать за двадцать тысяч франков.

---

[1] Это учитель... он выиграл двести тысяч франков (*фр.*).

[2] «Замок цветов» (*фр.*).

— Верю, верю; лошади прекрасные; и у тебя теперь славный выезд; пригодится; ну и довольно.

— Так ты не сердишься?

— За что же? Ты умно делаешь, что запасаешься некоторыми необходимыми для тебя вещами. Все это потом тебе пригодится. Я вижу, что тебе действительно нужно поставить себя на такую ногу; иначе миллиона не наживешь. Тут наши сто тысяч франков только начало, капля в море.

Blanche, всего менее ожидавшая от меня таких рассуждений (вместо криков-то да попреков!), точно с неба упала.

— Так ты... так ты вот какой! Mais tu as de l'esprit pour comprendre! Sais-tu, mon garcon[1], хоть ты и учитель, — но ты должен был родиться принцем! Так ты не жалеешь, что у нас деньги скоро идут?

— Ну их, поскорей бы уж!

— Mais... sais-tu... mais dis donc, разве ты богат? Mais sais-tu, ведь ты уж слишком презираешь деньги. Qu'est ce que tu feras après, dis donc?[2]

— Après поеду в Гомбург и еще выиграю сто тысяч франков.

— Oui, oui, c'est ça, c'est magnifique![3] И я знаю, что ты непременно выиграешь и привезешь сюда. Dis donc, да ты сделаешь, что я тебя и в самом деле полюблю! Eh bien, за то, что ты такой, я тебя буду все это время любить и не сделаю тебе ни одной неверности. Видишь, в это время я хоть и не любила тебя, parce que je croyais, que tu n'est qu'un outchitel (quelque chose comme un laquais, n'est-ce pas?), но я все-таки была тебе верна, parce que je suis bonne fille[4].

— Ну и врешь! А с Альбертом-то, с этим офицеришкой черномазым, разве я не видал прошлый раз?

— Oh, oh, mais tu es...[5]

— Ну, врешь, врешь; да ты что думаешь, что я сержусь? Да наплевать; il faut que jeunesse se passe[6]. Не прогнать же тебе его, коли он был прежде меня и ты его любишь. Только ты ему денег не давай, слышишь?

---

[1] Оказывается, ты достаточно умен, чтоб понимать! Знаешь, мой мальчик (*фр.*).

[2] Но... знаешь... скажи-ка... Но знаешь... Что же ты будешь делать потом, скажи? (*фр.*)

[3] Вот-вот, это великолепно! (*фр.*)

[4] потому что я думала, что ты только учитель (что-то вроде лакея, не правда ли?)... потому что я добрая девушка (*фр.*).

[5] О, но ты... (*фр.*)

[6] надо в молодости перебеситься (*фр.*).

— Так ты и за это не сердишься? Mais tu es un vrai philosophe, sais-tu? Un vrai philosophe! — вскричала она в восторге.— Eh bien, je t'aimerai, je t'aimerai — tu verras, tu sera content! [1]

И действительно, с этих пор она ко мне даже как будто и в самом деле привязалась, даже дружески, и так прошли наши последние десять дней. Обещанных «звезд» я не видал; но в некоторых отношениях она и в самом деле сдержала слово. Сверх того, она познакомила меня с Hortense, которая была слишком даже замечательная в своем роде женщина и в нашем кружке называлась Thérèse-philosophe...[2]

Впрочем, нечего об этом распространяться; все это могло бы составить особый рассказ, с особым колоритом, который я не хочу вставлять в эту повесть. Дело в том, что я всеми силами желал, чтоб все это поскорее кончилось. Но наших ста тысяч франков хватило, как я уже сказал, почти на месяц, чему я искренно удивлялся: по крайней мере, на восемьдесят тысяч, из этих денег, Blanche накупила себе вещей, и мы прожили никак не более двадцати тысяч франков, и — все-таки достало. Blanche, которая под конец была уже почти откровенна со мной (по крайней мере, кое в чем не врала мне), призналась, что, по крайней мере, на меня не падут долги, которые она принуждена была сделать. «Я тебе не давала подписывать счетов и векселей,— говорила она мне,— потому что жалела тебя; а другая бы непременно это сделала и уходила бы тебя в тюрьму. Видишь, видишь, как я тебя любила и какая я добрая! Одна эта чертова свадьба чего будет мне стоить!»

У нас действительно была свадьба. Случилась она уже в самом конце нашего месяца, и надо предположить, что на нее ушли самые последние подонки моих ста тысяч франков; тем дело и кончилось, то есть тем наш месяц и кончился, и я после этого формально вышел в отставку.

Случилось это так: неделю спустя после нашего водворения в Париже приехал генерал. Он прямо приехал к Blanche и с первого же визита почти у нас и остался. Квартирка где-то, правда, у него была своя. Blanche встретила его радостно, с визгами и хохотом и даже бросилась его обнимать; дело обошлось так, что уж она сама его не отпускала, и он всюду должен был следовать за нею: и на бульваре, и на катаньях, и в театре, и по знакомым. На это употребление генерал еще годился; он был довольно сановит и приличен — росту почти высокого, с крашеными бакенами и усищами (он прежде служил в кирасирах), с лицом видным, хотя несколько

---

[1] Но ты настоящий философ, знаешь? Настоящий философ!.. Ну я буду тебя любить, любить — увидишь, ты будешь доволен! (*фр.*)

[2] Тереза-философ (*фр.*).

и обрюзглым. Манеры его были превосходные, фрак он носил очень ловко. В Париже он начал носить свои ордена. С эдаким пройтись по бульвару было не только возможно, но, если так можно выразиться, даже *рекомендательно*. Добрый и бестолковый генерал был всем этим ужасно доволен; он совсем не на это рассчитывал, когда к нам явился по приезде в Париж. Он явился тогда, чуть не дрожа от страха; он думал, что Blanche закричит и велит его прогнать; а потому, при таком обороте дела, он пришел в восторг и весь этот месяц пробыл в каком-то бессмысленно-восторженном состоянии; да таким я его и оставил. Уже здесь я узнал в подробности, что после тогдашнего внезапного отъезда нашего из Рулетенбурга с ним случилось, в то же утро, что-то вроде припадка. Он упал без чувств, а потом всю неделю был почти как сумасшедший и заговаривался. Его лечили, но вдруг он все бросил, сел в вагон и прикатил в Париж. Разумеется, прием Blanche оказался самым лучшим для него лекарством; но признаки болезни оставались долго спустя, несмотря на радостное и восторженное его состояние. Рассуждать или даже только вести кой-как немного серьезный разговор он уж совершенно не мог; в таком случае он только приговаривал ко всякому слову «гм!» и кивал головой — тем и отделывался. Часто он смеялся, но каким-то нервным, болезненным смехом, точно закатывался; другой раз сидит по целым часам пасмурный, как ночь, нахмурив свои густые брови. Многого он совсем даже и не припоминал; стал до безобразия рассеян и взял привычку говорить сам с собой. Только одна Blanche могла оживлять его; да и припадки пасмурного, угрюмого состояния, когда он забивался в угол, означали только то, что он давно не видел Blanche, или что Blanche куда-нибудь уехала, а его с собой не взяла, или, уезжая, не приласкала его. При этом он сам не сказал бы, чего ему хочется, и сам не знал, что он пасмурен и грустен. Просидев час или два (я замечал это раза два, когда Blanche уезжала на целый день, вероятно, к Альберту), он вдруг начинает озираться, суетиться, оглядывается, припоминает и как будто хочет кого-то сыскать; но, не видя никого и так и не припомнив, о чем хотел спросить, он опять впадал в забытье до тех пор, пока вдруг не являлась Blanche, веселая, резвая, разодетая, с своим звонким хохотом; она подбегала к нему, начинала его тормошить и даже целовала, чем, впрочем, редко его жаловала. Раз генерал до того ей обрадовался, что даже заплакал,— я даже подивился.

Blanche, с самого его появления у нас, начала тотчас же за него предо мною адвокатствовать. Она пускалась даже в красноречие; напоминала, что она изменила генералу из-за меня, что она была почти уж его невестою, слово дала ему; что из-за нее он бросил

семейство, и что, наконец, я служил у него и должен бы это чувствовать, и что — как мне не стыдно... Я все молчал, а она ужасно тараторила. Наконец я рассмеялся, и тем дело и кончилось, то есть сперва она подумала, что я дурак, а под конец остановилась на мысли, что я очень хороший и складный человек. Одним словом, я имел счастие решительно заслужить под конец полное благорасположение этой достойной девицы. (Blanche, впрочем, была и в самом деле предобрейшая девушка,— в своем только роде, разумеется; я ее не так ценил сначала.) «Ты умный и добрый человек,— говаривала она мне под конец,— и... и... жаль только, что ты такой дурак! Ты ничего, ничего не наживешь!»

«Un vrai russe, un calmouk!»[1] — она несколько раз посылала меня прогуливать по улицам генерала, точь-в-точь с лакеем свою левретку. Я, впрочем, водил его и в театр, и в Bal-Mabile, и в рестораны. На это Blanche выдавала и деньги, хотя у генерала были и свои, и он очень любил вынимать бумажник при людях. Однажды я почти должен был употребить силу, чтобы не дать ему купить брошку в семьсот франков, которою он прельстился в Палерояле и которую во что бы то ни стало хотел подарить Blanche. Ну, что ей была брошка в семьсот франков? У генерала и всех-то денег было не более тысячи франков. Я никогда не мог узнать, откуда они у него явились? Полагаю, что от мистера Астлея, тем более что тот в отеле за них заплатил. Что же касается до того, как генерал все это время смотрел на меня, то мне кажется, он даже и не догадывался о моих отношениях к Blanche. Он хоть и слышал как-то смутно, что я выиграл капитал, но, наверное, полагал, что я у Blanche вроде какого-нибудь домашнего секретаря или даже, может быть, слуги. По крайней мере, говорил он со мной постоянно свысока по-прежнему, по-начальнически, и даже пускался меня иной раз распекать. Однажды он ужасно насмешил меня и Blanche, у нас, утром, за утренним кофе. Человек он был не совсем обидчивый; а тут вдруг обиделся на меня, за что? — до сих пор не понимаю. Но, конечно, он и сам не понимал. Одним словом, он завел речь без начала и конца, à bâtons-rompus[2], кричал, что я мальчишка, что он научит... что он даст понять... и так далее, и так далее. Но никто ничего не мог понять. Blanche заливалась-хохотала; наконец его кое-как успокоили и увели гулять. Много раз я замечал, впрочем, что ему становилось грустно, кого-то и чего-то было жаль, кого-то недоставало ему, несмотря даже на присутствие Blanche. В эти минуты он сам пускался раза два со мною заговаривать, но никогда толком не мог объясниться, вспоминал про

---

[1] Настоящий русский, калмык! (*фр.*)

[2] через пятое на десятое, бессвязно (*фр.*).

службу, про покойницу жену, про хозяйство, про имение. Нападет на какое-нибудь слово и обрадуется ему, и повторяет его сто раз на дню, хотя оно вовсе не выражает ни его чувств, ни его мыслей. Я пробовал заговаривать с ним о его детях; но он отделывался прежнею скороговоркою и переходил поскорее на другой предмет: «Да-да! дети-дети, вы правы, дети!» Однажды только он расчувствовался — мы шли с ним в театр: «Это несчастные дети! — заговорил он вдруг,— да, сударь, да, это нес-с-счастные дети!» И потом несколько раз в этот вечер повторял слова: несчастные дети! Когда я раз заговорил о Полине, он пришел даже в ярость. «Это неблагодарная женщина,— воскликнул он,— она зла и неблагодарна! Она осрамила семью! Если б здесь были законы, я бы ее в бараний рог согнул! Да-с, да-с!» Что же касается до Де-Грие, то он даже и имени его слышать не мог. «Он погубил меня,— говорил он,— он обокрал меня, он меня зарезал! Это был мой кошмар в продолжение целых двух лет! Он по целым месяцам сряду мне во сне снился! Это — это, это... О, не говорите мне о нем никогда!»

Я видел, что у них что-то идет на лад, но молчал, по обыкновению. Blanche объявила мне первая: это было ровно за неделю до того, как мы расстались.

— Il a de la chance[1],— тараторила она мне,— babouchka теперь действительно уж больна и непременно умрет. Мистер Астлей прислал телеграмму; согласись, что все-таки он наследник ее. А если б даже и нет, то он ничему не помешает. Во-первых, у него есть свой пенсион, а во-вторых, он будет жить в боковой комнате и будет совершенно счастлив. Я буду «madame la générale»[2]. Я войду в хороший круг (Blanche мечтала об этом постоянно), впоследствии буду русской помещицей, j'aurai un château, des moujiks, et puis j'aurai toujours mon million[3].

— Ну а если он начнет ревновать, будет требовать... бог знает чего,— понимаешь?

— О нет, non, non, non! Как он смеет! Я взяла меры, не беспокойся. Я уж заставила его подписать несколько векселей на имя Альберта. Чуть что — и он тотчас же будет наказан; да и не посмеет!

— Ну, выходи...

Свадьбу сделали без особенного торжества, семейно и тихо. Приглашены были Альберт и еще кое-кто из близких. Hortense, Cléopâtre и прочие были решительно отстранены. Жених чрезвычайно интересовался своим положением. Blanche сама повязала

---

[1] ему везет (*фр.*).

[2] госпожой генеральшей (*фр.*).

[3] у меня будет замок, мужики, а потом у меня все-таки будет мой миллион (*фр.*).

ему галстук, сама его напомадила, и в своем фраке и в белом жилете он смотрел très comme il faut[1].

— Il est pourtant très comme il faut[2], — объявила мне сама Blanche, выходя из комнаты генерала, как будто идея о том, что генерал très comme il faut, даже ее самое поразила. Я так мало вникал в подробности, участвуя во всем в качестве такого ленивого зрителя, что многое и забыл, как это было. Помню только, что Blanche оказалась вовсе не de Cominges, ровно как и мать ее — вовсе не veuve Cominges, а — du-Placet. Почему они были обе de Cominges до сих пор — не знаю. Но генерал и этим остался очень доволен, и du-Placet ему даже больше понравилось, чем de Cominges. В утро свадьбы он, уже совсем одетый, все ходил взад и вперед по зале и все повторял про себя, с необыкновенно серьезным и важным видом: «Mademoiselle Blanche du-Placet! Blanche du-Placet! Du-Placet! Девица Бланка Дю-Пласет!..» И некоторое самодовольствие сияло на его лице. В церкви, у мэра и дома за закуской он был не только радостен и доволен, но даже горд. С ними с обоими что-то случилось. Blanche стала смотреть тоже с каким-то особенным достоинством.

— Мне теперь нужно совершенно иначе держать себя, — сказала она мне чрезвычайно серьезно, — mais vois-tu, я не подумала об одной прегадкой вещи: вообрази, я до сих пор не могу заучить мою теперешнюю фамилию: Загорьянский, Загозианский, madame la générale de Sago-Sago, ces diables des noms russes, entin madame la générale à quatorze consonnes! comme c'est agréable, n'est-ce pas? [3]

Наконец мы расстались, и Blanche, эта глупая Blanche, даже прослезилась, прощаясь со мною. «Tu étais bon enfant, — говорила она хныча. — Je te croyais bête es tu en avais l'air,[4] но это к тебе идет». И, уж пожав мне руку окончательно, она вдруг воскликнула: «Attends!»[5], бросилась в свой будуар и чрез минуту вынесла мне два тысячефранковых билета. Этому я ни за что бы не поверил! «Это тебе пригодится, ты, может быть, очень ученый outchitel, но ты ужасно глупый человек. Больше двух тысяч я тебе ни за что не дам, потому что ты — все равно проиграешь. Ну, прощай! Nous serons toujours bons amis, а если опять выиграешь, непременно приезжай ко мне, et tu serais heureux!»[6]

---

[2] очень прилично (*фр.*).

[3] Он, однако, очень приличен (*фр.*).

[3] но видишь ли... госпожа генеральша Заго-Заго , эти дьявольские русские имена, словом, госпожа генеральша с четырнадцатью согласными! Как это приятно, не правда ли? (*фр.*)

[4] Ты был добрым малым... Я считала тебя глупым, и ты выглядел дурачком (*фр.*).

[5] Подожди! (*фр.*)

У меня у самого оставалось еще франков пятьсот; кроме того, есть великолепные часы в тысячу франков, бриллиантовые запонки и прочее, так что можно еще протянуть довольно долгое время, ни о чем не заботясь. Я нарочно засел в этом городишке, чтоб собраться, а главное, жду мистера Астлея. Я узнал наверное, что он будет здесь проезжать и остановится на сутки, по делу. Узнаю обо всем... а потом — потом прямо в Гомбург. В Рулетенбург не поеду, разве на будущий год. Действительно, говорят, дурная примета пробовать счастья два раза сряду за одним и тем же столом, а в Гомбурге самая настоящая-то игра и есть.

Глава XVII

Вот уже год и восемь месяцев, как я не заглядывал в эти записки, и теперь только, от тоски и горя, вздумал развлечь себя и случайно перечел их. Так на том и оставил тогда, что поеду в Гомбург. Боже! с каким, сравнительно говоря, легким сердцем я написал тогда эти последние строчки! То есть не то, чтоб с легким сердцем, а с какою самоуверенностью, с какими непоколебимыми надеждами! Сомневался ли я хоть сколько-нибудь в себе? И вот полтора года с лишком прошли, и я, по-моему, гораздо хуже, чем нищий! Да что нищий! Наплевать на нищенство! Я просто сгубил себя! Впрочем, не с чем почти и сравнивать, да и нечего себе мораль читать! Ничего не может быть нелепее морали в такое время! О самодовольные люди: с каким гордым самодовольством готовы эти болтуны читать свои сентенции! Если б они знали, до какой степени я сам понимаю всю омерзительность теперешнего моего состояния, то, конечно, уж не повернулся бы у них язык учить меня. Ну что, что могут они мне сказать нового, чего я не знаю? И разве в этом дело? Тут дело в том, что — один оборот колеса и все изменяется, и эти же самые моралисты первые (я в этом уверен) придут с дружескими шутками поздравлять меня. И не будут от меня все так отворачиваться, как теперь. Да наплевать на них на всех! Что я теперь? Zéro. Чем могу быть завтра? Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить! Человека могу обрести в себе, пока еще он не пропал!

Я действительно тогда поехал в Гомбург, но... я был потом и опять в Рулетенбурге, был и в Спа, был даже и в Бадене, куда я ездил камердинером советника Гинце, мерзавца и бывшего моего здешнего барина. Да, я был и в лакеях, целых пять месяцев! Это случилось сейчас после тюрьмы. (Я ведь сидел и в тюрьме в Рулетенбурге за один здешний долг. Неизвестный человек меня выкупил,— кто такой? Мистер Астлей? Полина? Не знаю, но долг был заплачен, всего двести талеров, и я вышел на волю.) Куда мне было

деваться? Я и поступил к этому Гинце. Он человек молодой и ветреный, любит полениться, а я умею говорить и писать на трех языках. Я сначала поступил к нему чем-то вроде секретаря, за тридцать гульденов в месяц; но кончил у него настоящим лакейством: держать секретаря ему стало не по средствам, и он мне сбавил жалованье; мне же некуда было идти, я остался — и таким образом сам собою обратился в лакея. Я недоедал и недопивал на его службе, но зато накопил в пять месяцев семьдесят гульденов. Однажды вечером, в Бадене, я объявил ему, что желаю с ним расстаться; в тот же вечер я отправился на рулетку. О, как стучало мое сердце! Нет, не деньги мне были дороги! Тогда мне только хотелось, чтоб завтра же все эти Гинце, все эти обер-кельнеры, все эти великолепные баденские дамы, чтобы все они говорили обо мне, рассказывали мою историю, удивлялись мне, хвалили меня и преклонялись пред моим новым выигрышем. Все это детские мечты и заботы, но... кто знает: может быть, я повстречался бы и с Полиной, я бы ей рассказал, и она бы увидела, что я выше всех этих нелепых толчков судьбы... О, не деньги мне дороги! Я уверен, что разбросал бы их опять какой-нибудь Blanche и опять ездил бы в Париже три недели на паре собственных лошадей в шестнадцать тысяч франков. Я ведь наверное знаю, что я не скуп; я даже думаю, что я расточителен,— а между тем, однако ж, с каким трепетом, с каким замиранием сердца я выслушиваю крик крупера: trente et un, rouge, impaire et passe или: quatre, noir, pair et manque! С какою алчностью смотрю я на игорный стол, по которому разбросаны луидоры, фридрихсдоры и талеры, на столбики золота, когда они от лопатки крупера рассыпаются в горящие, как жар, кучи, или на длинные в аршин столбы серебра, лежащие вокруг колеса. Еще подходя к игорной зале, за две комнаты, только что я заслышу дзеньканье пересыпающихся денег,— со мною почти делаются судороги.

О, тот вечер, когда я понес мои семьдесят гульденов на игорный стол, тоже был замечателен. Я начал с десяти гульденов и опять с passe. К passe я имею предрассудок. Я проиграл... Оставалось у меня шестьдесят гульденов серебряною монетою; я подумал — и предпочел zéro. Я стал разом ставить на него по пяти гульденов; с третьей ставки вдруг выходит zéro, я чуть не умер от радости, получив сто семьдесят пять гульденов; когда я выиграл сто тысяч гульденов, я не был так рад. Тотчас же я поставил сто гульденов на rouge — дала; все двести на rouge — дала; все четыреста на noir — дала; все восемьсот на manque — дала; считая с прежним, было тысяча семьсот гульденов, и это — менее чем в пять минут! Да, в эдакие-то мгновения забываешь и все прежние неудачи! Ведь я добыл это более чем жизнию рискуя, осмелился рискнуть и — вот я опять в числе человеков!

Я занял номер, заперся и часов до трех сидел и считал свои деньги. Наутро я проснулся уже не лакеем. Я решил в тот же день выехать в Гомбург: там я не служил в лакеях и в тюрьме не сидел. За полчаса до поезда я отправился поставить две ставки, не более, и проиграл полторы тысячи флоринов. Однако же все-таки переехал в Гомбург, и вот уже месяц, как я здесь...

Я, конечно, живу в постоянной тревоге, играю по самой маленькой и чего-то жду, рассчитываю, стою по целым дням у игорного стола и *наблюдаю* игру, даже во сне вижу игру, но при всем этом мне кажется, что я как будто одеревенел, точно загряз в какой-то тине. Заключаю это по впечатлению при встрече с мистером Астлеем. Мы не видались с того самого времени и встретились нечаянно; вот как это было. Я шел в саду и рассчитывал, что теперь я почти без денег, но что у меня есть пятьдесят гульденов, кроме того, в отеле, где я занимаю каморку, я третьего дня совсем расплатился. Итак, мне остается возможность один только раз пойти теперь на рулетку, — если выиграю хоть что-нибудь, можно будет продолжать игру; если проиграю — надо опять идти в лакеи, в случае если не найду сейчас русских, которым бы понадобился учитель. Занятый этою мыслью, я пошел, моею ежедневною прогулкою чрез парк и чрез лес, в соседнее княжество. Иногда я выхаживал таким образом часа по четыре и возвращался в Гомбург усталый и голодный. Только что вышел я из сада в парк, как вдруг на скамейке увидел мистера Астлея. Он первый меня заметил и окликнул меня. Я сел подле него. Заметив же в нем некоторую важность, я тотчас же умерил мою радость; а то я было ужасно обрадовался ему.

— Итак, вы здесь! Я так и думал, что вас повстречаю, — сказал он мне. — Не беспокойтесь рассказывать: я знаю, я все знаю; вся ваша жизнь в эти год и восемь месяцев мне известна.

— Ба! вот как вы следите за старыми друзьями! — ответил я. — Это делает вам честь, что не забываете... Постойте, однако ж, вы даете мне мысль — не вы ли выкупили меня из рулетенбургской тюрьмы, где я сидел за долг в двести гульденов? Меня выкупил неизвестный.

— Нет, о нет; я не выкупал вас из рулетенбургской тюрьмы, где вы сидели за долг в двести гульденов, но я знал, что вы сидели в тюрьме за долг в двести гульденов.

— Значит, все-таки знаете, кто меня выкупил?

— О нет, не могу сказать, что знаю, кто вас выкупил.

— Странно; нашим русским я никому не известен, да русские здесь, пожалуй, и не выкупят; это у нас там, в России, православные выкупают православных. А я так и думал, что какой-нибудь чудак-англичанин, из странности.

Мистер Астлей слушал меня с некоторым удивлением. Он, кажется, думал найти меня унылым и убитым.

— Однако ж я очень радуюсь, видя вас совершенно сохранившим всю независимость вашего духа и даже веселость,— произнес он с довольно неприятным видом.

— То есть внутри себя вы скрыпите от досады, зачем я не убит и не унижен,— сказал я смеясь.

Он не скоро понял, но, поняв, улыбнулся.

— Мне нравятся ваши замечания. Я узнаю в этих словах моего прежнего, умного, старого, восторженного и вместе с тем циинического друга; одни русские могут в себе совмещать, в одно и то же время, столько противоположностей. Действительно, человек любит видеть лучшего своего друга в унижении пред собою; на унижении основывается большею частью дружба; и это старая, известная всем умным людям истина. Но в настоящем случае, уверяю вас, я искренно рад, что вы не унываете. Скажите, вы не намерены бросить игру?

— О, черт с ней! Тотчас же брошу, только бы...

— Только бы теперь отыграться? Так я и думал; не договаривайте — знаю,— вы это сказали нечаянно, следственно, сказали правду. Скажите, кроме игры, вы ничем не занимаетесь?

— Да, ничем...

Он стал меня экзаменовать. Я ничего не знал, я почти не заглядывал в газеты и положительно во все это время не развертывал ни одной книги.

— Вы одеревенели,— заметил он,— вы не только отказались от жизни, от интересов своих и общественных, от долга гражданина и человека, от друзей своих (а они все-таки у вас были), вы не только отказались от какой бы то ни было цели, кроме выигрыша, вы даже отказались от воспоминаний своих. Я помню вас в горячую и сильную минуту вашей жизни; но я уверен, что вы забыли все лучшие тогдашние впечатления ваши; ваши мечты, ваши теперешние, самые насущные желания не идут дальше pair и impair, rouge, noir, двенадцать средних и так далее, и так далее, я уверен!

— Довольно, мистер Астлей, пожалуйста, пожалуйста, не напоминайте,— вскричал я с досадой, чуть не со злобой,— знайте, что я ровно ничего не забыл; но я только на время выгнал все это из головы, даже воспоминания,— до тех пор, покамест не поправлю радикально мои обстоятельства; тогда... тогда вы увидите, я воскресну из мертвых!

— Вы будете здесь еще чрез десять лет,— сказал он.— Предлагаю вам пари, что я напомню вам это, если буду жив, вот на этой же скамейке.

— Ну довольно,— прервал я с нетерпением,— и, чтоб вам доказать, что я не так-то забывчив на прошлое, позвольте узнать: где теперь мисс Полина? Если не вы меня выкупили, то уж, на-

верно, она. С самого того времени я не имел о ней никакого известия.

— Нет, о нет! Я не думаю, чтобы она вас выкупила. Она теперь в Швейцарии, и вы мне сделаете большое удовольствие, если перестанете меня спрашивать о мисс Полине,— сказал он решительно и даже сердито.

— Это значит, что и вас она уж очень поранила! — засмеялся я невольно.

— Мисс Полина — лучшее существо из всех наиболее достойных уважения существ, но, повторяю вам, вы сделаете мне великое удовольствие, если перестанете меня спрашивать о мисс Полине. Вы ее никогда не знали, и ее имя в устах ваших я считаю оскорблением нравственного моего чувства.

— Вот как! Впрочем, вы не правы; да о чем же мне и говорить с вами, кроме этого, рассудите? Ведь в этом и состоят все наши воспоминания. Не беспокойтесь, впрочем, мне не нужно никаких внутренних, секретных ваших дел... Я интересуюсь только, так сказать, внешним положением мисс Полины, одною только теперешнею наружною обстановкою ее. Это можно сообщить в двух словах.

— Извольте, с тем чтоб этими двумя словами было все покончено. Мисс Полина была долго больна; она и теперь больна; некоторое время она жила с моими матерью и сестрой в Северной Англии. Полгода назад ее бабка — помните, та самая сумасшедшая женщина — померла и оставила лично ей семь тысяч фунтов состояния. Теперь мисс Полина путешествует вместе с семейством моей сестры, вышедшей замуж. Маленький брат и сестра ее тоже обеспечены завещанием бабки и учатся в Лондоне. Генерал, ее отчим, месяц назад умер в Париже от удара. Mademoiselle Blanche обходилась с ним хорошо, но все, что он получил от бабки, успела перевести на себя... вот, кажется, и все.

— А Де-Грие? Не путешествует ли и он тоже в Швейцарии?

— Нет, Де-Грие не путешествует в Швейцарии; и я не знаю, где Де-Грие; кроме того, раз навсегда предупреждаю вас избегать подобных намеков и неблагородных сопоставлений, иначе вы будете непременно иметь дело со мною.

— Как! несмотря на наши прежние дружеские отношения?

— Да, несмотря на наши прежние дружеские отношения.

— Тысячу раз прошу извинения, мистер Астлей. Но позвольте, однако ж: тут нет ничего обидного и неблагородного; я ведь ни в чем не виню мисс Полину. Кроме того, француз и русская барышня, говоря вообще,— это такое сопоставление, мистер Астлей, которое не нам с вами разрешить или понять окончательно.

— Если вы не будете упоминать имя Де-Грие вместе с другим именем, то я попросил бы вас объяснить мне, что вы подразуме-

ваете под выражением: «француз и русская барышня»? Что это за «сопоставление»? Почему тут именно француз и непременно русская барышня?

— Видите, вы и заинтересовались. Но это длинная материя, мистер Астлей. Тут много надо бы знать предварительно. Впрочем, это вопрос важный — как ни смешно все это с первого взгляда. Француз, мистер Астлей, это — законченная, красивая форма. Вы, как британец, можете с этим быть не согласны; я, как русский, тоже несогласен, ну, пожалуй, хоть из зависти; но наши барышни могут быть другого мнения. Вы можете находить Расина изломанным, исковерканным и парфюмированным; даже читать его, наверное, не станете. Я тоже нахожу его изломанным, исковерканным и парфюмированным, с одной даже точки зрения смешным; но он прелестен, мистер Астлей, и, главное,— он великий поэт, хотим или не хотим мы этого с вами. Национальная форма француза, то есть парижанина, стала слагаться в изящную форму, когда мы еще были медведями. Революция наследовала дворянству. Теперь самый пошлейший французишка может иметь манеры, приемы, выражения и даже мысли вполне изящной формы, не участвуя в этой форме ни своею инициативою, ни душою, ни сердцем; все это досталось ему по наследству. Сами собою, они могут быть пустее пустейшего и подлее подлейшего. Ну-с, мистер Астлей, сообщу вам теперь, что нет существа в мире доверчивее и откровеннее доброй, умненькой и не слишком изломанной русской барышни. Де-Грие, явясь в какой-нибудь роли, явясь замаскированным, может завоевать ее сердце с необыкновенною легкостью; у него есть изящная форма, мистер Астлей, и барышня принимает эту форму за его собственную душу, за натуральную форму его души и сердца, а не за одежду, доставшуюся ему по наследству. К величайшей вашей неприятности, я должен вам признаться, что англичане большею частью угловаты и неизящны, а русские довольно чутко умеют различать красоту и на нее падки. Но, чтобы различать красоту души и оригинальность личности, для этого нужно несравненно более самостоятельности и свободы, чем у наших женщин, тем более барышень,— и уж во всяком случае больше опыта. Мисс Полине же — простите, сказанного не воротишь — нужно очень, очень долгое время решаться, чтобы предпочесть вас мерзавцу Де-Грие. Она вас и оценит, станет вашим другом, откроет вам все свое сердце; но в этом сердце все-таки будет царить ненавистный мерзавец, скверный и мелкий процентщик Де-Грие. Это даже останется, так сказать, из одного упрямства и самолюбия, потому что этот же самый Де-Грие явился ей когда-то в ореоле изящного маркиза, разочарованного либерала и разорившегося (будто бы?), помогая ее семейству и легкомысленному генералу. Все эти проделки открылись после. Но это ни-

чего, что открылись: все-таки подавайте ей теперь прежнего Де-Грие — вот чего ей надо! И чем больше ненавидит она теперешнего Де-Грие, тем больше тоскует о прежнем, хоть прежний и существовал только в ее воображении. Вы сахаровар, мистер Астлей?

— Да, я участвую в компании известного сахарного завода Ловель и Комп.

— Ну, вот видите, мистер Астлей. С одной стороны — сахаровар, а с другой — Аполлон Бельведерский; все это как-то не связывается. А я даже и не сахаровар; я просто мелкий игрок на рулетке, и даже в лакеях был, что, наверное, уже известно мисс Полине, потому что у ней, кажется, хорошая полиция.

— Вы озлоблены, а потому и говорите весь этот вздор,— хладнокровно и подумав сказал мистер Астлей.— Кроме того, в ваших словах нет оригинальности.

— Согласен! Но в том-то и ужас, благородный друг мой, что все эти мои обвинения, как ни устарели, как ни пошлы, как ни водевильны — все-таки истинны! Все-таки мы с вами ничего не добились!

— Это гнусный вздор... потому, потому... знайте же! — произнес мистер Астлей дрожащим голосом и сверкая глазами,— знайте же, неблагодарный и недостойный, мелкий и несчастный человек, что я прибыл в Гомбург нарочно по ее поручению, для того чтобы увидеть вас, говорить с вами долго и сердечно, и передать ей все,— ваши чувства, мысли, надежды и... воспоминания!

— Неужели! Неужели? — вскричал я, и слезы градом потекли из глаз моих. Я не мог сдержать их, и это, кажется, было в первый раз в моей жизни.

— Да, несчастный человек, она любила вас, и я могу вам это открыть, потому что вы — погибший человек! Мало того, если я даже скажу вам, что она до сих пор вас любит, то — ведь вы все равно здесь останетесь! Да, вы погубили себя. Вы имели некоторые способности, живой характер и были человек недурной; вы даже могли быть полезны вашему отечеству, которое так нуждается в людях, но — вы останетесь здесь, и ваша жизнь кончена. Я вас не виню. На мой взгляд, все русские таковы или склонны быть таковыми. Если не рулетка, так другое, подобное ей. Исключения слишком редки. Не первый вы не понимаете, что такое труд (я не о народе вашем говорю). Рулетка — это игра по преимуществу русская. До сих пор вы были честны и скорее захотели пойти в лакеи, чем воровать... но мне страшно подумать, что может быть в будущем. Довольно, прощайте! Вы, конечно, нуждаетесь в деньгах? Вот от меня вам десять луидоров, больше не дам, потому что вы их все равно проиграете. Берите и прощайте! Берите же!

— Нет, мистер Астлей, после всего теперь сказанного...

— Бе-ри-те! — вскричал он.— Я убежден, что вы еще благородны, и даю вам, как может дать друг истинному другу. Если б я мог быть уверен, что вы сейчас же бросите игру, Гомбург и поедете в ваше отечество,— я бы готов был немедленно дать вам тысячу фунтов для начала новой карьеры. Но я потому именно не даю тысячи фунтов, а даю только десять луидоров, что тысяча ли фунтов, или десять луидоров — в настоящее время для вас совершенно одно и то же; все одно — проиграете. Берите и прощайте.

— Возьму, если вы позволите себя обнять на прощанье.

— О, это с удовольствием!

Мы обнялись искренно, и мистер Астлей ушел.

Нет, он не прав! Если я был резок и глуп насчет Полины и Де-Грие, то он резок и скор насчет русских. Про себя я ничего не говорю. Впрочем... впрочем, все это покамест не то. Все это слова, слова и слова, а надо дела! Тут теперь главное Швейцария! Завтра же,— о, если б можно было завтра же и отправиться! Вновь возродиться, воскреснуть. Надо им доказать... Пусть знает Полина, что я еще могу быть человеком. Стоит только... теперь уж, впрочем, поздно,— но завтра... О, у меня предчувствие, и это не может быть иначе! У меня теперь пятнадцать луидоров, а я начинал и с пятнадцатью гульденами! Если начать осторожно...— и неужели, неужели уж я такой малый ребенок! Неужели я не понимаю, что я сам погибший человек. Но — почему же я не могу воскреснуть. Да! стоит только хоть раз в жизни быть расчетливым и терпеливым и — вот и все! Стоит только хоть раз выдержать характер, и я в один час могу всю судьбу изменить! Главное — характер. Вспомнить только, что было со мною в этом роде семь месяцев назад в Рулетенбурге, пред окончательным моим проигрышем. О, это был замечательный случай решимости: я проиграл тогда все, все... Выхожу из воксала, смотрю — в жилетном кармане шевелится у меня еще один гульден. «А, стало быть, будет на что пообедать!» — подумал я, но, пройдя шагов сто, я передумал и воротился. Я поставил этот гульден на manque (тот раз было на manque), и, право, есть что-то особенное в ощущении, когда один, на чужой стороне, далеко от родины, от друзей и не зная, что сегодня будешь есть, ставишь последний гульден, самый, самый последний! Я выиграл и через двадцать минут вышел из воксала, имея сто семьдесят гульденов в кармане. Это факт-с! Вот что может иногда значить последний гульден! А что, если б я тогда упал духом, если б я не посмел решиться?..

Завтра, завтра все кончится!

ЗАПИСКИ
ИЗ ПОДПОЛЬЯ

I

ПОДПОЛЬЕ*

I

Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень. Впрочем, я ни шиша не смыслю в моей болезни и не знаю наверно, что у меня болит. Я не лечусь и никогда не лечился, хотя медицину и докторов уважаю. К тому же я еще и суеверен до крайности; ну, хоть настолько, чтоб уважать медицину. (Я достаточно образован, чтоб не быть суеверным, но я суеверен.) Нет-с, я не хочу лечиться со злости. Вот этого, наверно, не изволите понимать. Ну-с, а я понимаю. Я, разумеется, не сумею вам объяснить, кому именно я насолю в этом случае моей злостью; я отлично хорошо знаю, что и докторам я никак не смогу «нагадить» тем, что у них не лечусь; я лучше всякого знаю, что всем этим я единственно только себе повредю и никому больше. Но все-таки, если я не лечусь, так это со злости. Печенка болит, так вот пускай же ее еще крепче болит!

Я уже давно так живу — лет двадцать. Теперь мне сорок. Я прежде служил, а теперь не служу. Я был злой чиновник. Я был груб и находил в этом удовольствие. Ведь я взяток не брал, стало

---

* И автор записок и самые «Записки», разумеется, вымышлены. Тем не менее такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество. Я хотел вывести перед лицо публики, повиднее обыкновенного, один из характеров протекшего недавнего времени. Это — один из представителей еще доживающего поколения. В этом отрывке, озаглавленном «Подполье», это лицо рекомендует самого себя, свой взгляд, и как бы хочет выяснить те причины, по которым оно явилось и должно было явиться в нашей среде. В следующем отрывке придут уже настоящие «записки» этого лица о некоторых событиях его жизни.

Федор Достоевский

быть, должен же был себя хоть этим вознаградить. (Плохая острота; но я ее не вычеркну. И ее написал, думая, что выйдет очень остро; а теперь, как увидел сам, что хотел только гнусно пофорсить,— нарочно не вычеркну!) Когда к столу, у которого я сидел, подходили, бывало, просители за справками,— я зубами на них скрежетал и чувствовал неумолимое наслаждение, когда удавалось кого-нибудь огорчить. Почти всегда удавалось. Большею частию все был народ робкий: известно — просители. Но из фертов я особенно терпеть не мог одного офицера. Он никак не хотел покориться и омерзительно гремел саблей. У меня с ним полтора года за эту саблю война была. Я наконец одолел. Он перестал греметь. Впрочем, это случилось еще в моей молодости. Но знаете ли, господа, в чем состоял главный пункт моей злости? Да в том-то и состояла вся штука, в том-то и заключалась наибольшая гадость, что я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно сознавал в себе, что я не только не злой, но даже и не озлобленный человек, что я только воробьев пугаю напрасно и себя этим тешу. У меня пена у рта, а принесите мне какую-нибудь куколку, дайте мне чайку с сахарцем, я, пожалуй, и успокоюсь. Даже душой умилюсь, хоть уж, наверно, потом буду сам на себя скрежетать зубами и от стыда несколько месяцев страдать бессонницей. Таков уж мой обычай.

Это я наврал про себя давеча, что я был злой чиновник. Со злости наврал. Я просто баловством занимался и с просителями и с офицером, а в сущности никогда не мог сделаться злым. Я поминутно сознавал в себе много-премного самых противоположных тому элементов. Я чувствовал, что они так и кишат во мне, эти противоположные элементы. Я ахал, что они всю жизнь во мне кишели и из меня вон наружу просились, но я их не пускал, не пускал, нарочно не пускал наружу. Они мучили меня до стыда; до конвульсий меня доводили и — надоели мне наконец, как надоели! Уж не кажется ли вам, господа, что я теперь в чем-то перед вами раскаиваюсь, что я в чем-то у вас прощенья прошу?.. Я уверен, что вам это кажется... А впрочем, уверяю вас, что мне все равно, если и кажется...

Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться:ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. Да-с, умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным; человек же с характером, деятель,— существом по преимуществу ограниченным. Это сорокалетнее мое убеждение. Мне теперь сорок лет, а ведь сорок лет — это вся жизнь; ведь это самая глубокая старость. Дальше сорока лет жить неприлично, пошло, безнрав-

ственно! Кто живет дольше сорока лет,— отвечайте искренно, честно? Я вам скажу, кто живет: дураки и негодяи живут. Я всем старцам это в глаза скажу, всем этим почтенным старцам, всем этим сребровласым и благоухающим старцам! Всему свету в глаза скажу! Я имею право так говорить, потому что сам до шестидесяти лет доживу. До семидесяти лет проживу! До восьмидесяти лет проживу!.. Постойте! Дайте дух перевести...

Наверно, вы думаете, господа, что я вас смешить хочу? Ошиблись и в этом. Я вовсе не такой развеселый человек, как вам кажется или как вам, может быть, кажется; впрочем, если вы, раздраженные всей этой болтовней (а я уже чувствую, что вы раздражены), вздумаете спросить меня: кто ж я таков именно? — то я вам отвечу: я один коллежский асессор. Я служил, чтоб было что-нибудь есть (но единственно для этого), и когда прошлого года один из отдаленных моих родственников оставил мне шесть тысяч рублей по духовному завещанию, я тотчас же вышел в отставку и поселился у себя в углу. Я и прежде жил в этом углу, но теперь я поселился в этом углу. Комната моя дрянная, скверная, на краю города. Служанка моя — деревенская баба, старая, злая от глупости, и от нее к тому же всегда скверно пахнет. Мне говорят, что климат петербургский мне становится вреден и что с моими ничтожными средствами очень дорого в Петербурге жить. Я все это знаю, лучше всех этих опытных и премудрых советчиков и покивателей знаю. Но я остаюсь в Петербурге; я не выеду из Петербурга! Я потому не выеду... Эх! да ведь это совершенно все равно — выеду я иль не выеду.

А впрочем: о чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием?

Ответ: о себе.

Ну так и я буду говорить о себе.

II

Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается иль не желается вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел сделаться. Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым. Но даже и этого не удостоился. Клянусь вам, господа, что слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь. Для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцатого столетия и, сверх того, имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре. (Города бывают умышленные и неумышленные.) Совершенно

было бы довольно, например, такого сознания, которым живут все так называемые непосредственные люди и деятели. Бьюсь об заклад, вы думаете, что я пишу все это из форсу, чтоб поострить насчет деятелей, да еще из форсу дурного тона гремлю саблей, как мой офицер. Но, господа, кто же может своими же болезнями тщеславиться, да еще ими форсить?

Впрочем, что ж я? — все это делают; болезнями-то и тщеславятся, а я, пожалуй, и больше всех. Не будем спорить; мое возражение нелепо. Но все-таки я крепко убежден, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание болезнь. Я стою на том. Оставим и это на минуту. Скажите мне вот что: отчего так бывало, что, как нарочно, в те самые, да, в те же самые минуты, в которые я наиболее способен был сознавать все тонкости «всего прекрасного и высокого», как говорили у нас когда-то, мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприглядные деянья, такие, которые... ну да, одним словом, которые хоть и все, пожалуй, делают, но которые, как нарочно, приходились у меня именно тогда, когда я наиболее сознавал, что их совсем бы не надо делать? Чем больше я сознавал о добре и о всем этом «прекрасном и высоком», тем глубже я и опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней. Но главная черта была в том, что все это как будто не случайно во мне было, а как будто ему и следовало так быть. Как будто это было мое самое нормальное состояние, а отнюдь не болезнь и не порча, так что, наконец, у меня и охота прошла бороться с этой порчей. Кончилось тем, что я чуть не поверил (а может, и в самом деле поверил), что это, пожалуй, и есть нормальное мое состояние. А сперва-то, вначале-то, сколько я муки вытерпел в этой борьбе! Я не верил, чтоб так бывало с другими, и потому всю жизнь таил это про себя как секрет. Я стыдился (даже, может быть, и теперь стыжусь); до того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное, подленькое наслажденьице возвращаться, бывало, в иную гадчайшую петербургскую ночь к себе в угол и усиленно сознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделанного опять-таки никак не воротишь, и внутренно, тайно, грызть, грызть себя за это зубами, пилить и сосать себя до того, что горечь обращалась наконец в какую-то позорную, проклятую сладость и наконец — в решительное, серьезное наслаждение! Да, в наслаждение, в наслаждение! Я стою на том. Я потому и заговорил, что мне все хочется наверно узнать: бывают ли у других такие наслаждения? Я вам объясню: наслаждение было тут именно от слишком яркого сознания своего унижения; оттого, что уж сам чувствуешь, что до последней стены дошел; что и скверно это, но что и нельзя тому иначе быть; что уж нет тебе выхода, что уж никогда не сделаешься другим человеком; что если б даже и оставалось еще время и вера, чтоб переделаться во что-нибудь другое, то, наверно, сам бы не захотел переделываться; а

захотел бы, так и тут бы ничего не сделал, потому что на самом-то деле и переделываться-то, может быть, не во что. А главное и конец концов, что все это происходит по нормальным и основным законам усиленного сознания и по инерции, прямо вытекающей из этих законов, а следственно, тут не только не переделаешься, да и просто ничего не поделаешь. Выходит, например, вследствие усиленного сознания: прав, что подлец, как будто это подлецу утешение, коль он уже сам ощущает, что он действительно подлец. Но довольно... Эх, нагородил-то, а что объяснил?.. Чем объясняется тут наслаждение? Но я объяснюсь! Я таки доведу до конца! Я и перо затем в руки взял...

Я, например, ужасно самолюбив. Я мнителен и обидчив, как горбун или карлик, но, право, бывали со мною такие минуты, что если б случилось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был бы даже и этому рад. Говорю серьезно: наверно, я бы сумел отыскать и тут своего рода наслаждение, разумеется, наслаждение отчаяния, но в отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения, особенно когда уж очень сильно сознаешь безвыходность своего положения. А тут при пощечине-то — да тут так и придавит сознание о том, в какую мазь тебя растерли. Главное же, как ни раскидывай, а все-таки выходит, что всегда я первый во всем виноват выхожу и, что всего обиднее, без вины виноват и, так сказать, по законам природы. Потому, во-первых, виноват, что я умнее всех, которые меня окружают. (Я постоянно считал себя умнее всех, которые меня окружают, и иногда, поверите ли, даже этого совестился. По крайней мере, я всю жизнь смотрел как-то в сторону и никогда не мог смотреть людям прямо в глаза.) Потому, наконец, виноват, что если б и было во мне великодушие, то было бы только мне же муки больше от сознания всей его бесполезности. Я ведь, наверно, ничего бы не сумел сделать из моего великодушия: ни простить, потому что обидчик, может, ударил меня по законам природы, а законов природы нельзя прощать; ни забыть, потому что хоть и законы природы, а все-таки обидно. Наконец, если б даже я захотел быть вовсе невеликодушным, а напротив, пожелал бы отмстить обидчику, то я и отмстить ни в чем никому бы не мог, потому что, наверно, не решился бы что-нибудь сделать, если б даже и мог. Отчего не решился бы? Об этом мне хочется сказать два слова особо.

III

Ведь у людей, умеющих за себя отомстить и вообще за себя постоять,— как это, например, делается? Ведь их как обхватит, положим, чувство мести, так уж ничего больше во всем их существе на это время и не останется, кроме этого чувства. Такой госпо-

дин так и прет прямо к цели, как взбесившийся бык, наклонив вниз рога, и только разве стена его останавливает. (Кстати: перед стеной такие господа, то есть непосредственные люди и деятели, искренно пасуют. Для них стена — не отвод, как например для нас, людей думающих, а следственно, ничего не делающих; не предлог воротиться с дороги, предлог, в который наш брат обыкновенно и сам не верит, но которому всегда очень рад. Нет, они пасуют со всею искренностью. Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно-разрешающее и окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое... Но об стене после.) Ну-с, такого-то вот непосредственного человека я и считаю настоящим, нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать — природа, любезно зарождая его на земле. Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп, я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почему вы знаете? Может быть, это даже очень красиво. И я тем более убежден в злом, так сказать, подозрении, что если, например, взять антитез нормального человека, то есть человека усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из лона природы, а из реторты (это уже почти мистицизм, господа, но я подозреваю и это), то этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя, со всем своим усиленным сознанием, добросовестно считает за мышь, а не за человека. Пусть это и усиленно сознающая мышь, но все-таки мышь, а тут человек, а следственно... и проч. И, главное, он сам, сам ведь считает себя за мышь; его об этом никто не просит; а это важный пункт. Взглянем же теперь на эту мышь в действии. Положим, например, она тоже обижена (а она почти всегда бывает обижена) и тоже желает отомстить. Злости-то в ней, может, еще и больше накопится, чем в l'homme de la nature et de la vèritè. Гадкое, низкое желаньице воздать обидчику тем же злом, может, еще и гаже скребется в ней, чем в l'homme de la nature et de la vèritè, потому что l'homme de la nature et de la vèritè, по своей врожденной глупости, считает свое мщенье просто-запросто справедливостью; а мышь, вследствие усиленного сознания, отрицает тут справедливость. Доходит наконец до самого дела, до самого акта отмщения. Несчастная мышь кроме одной первоначальной гадости успела уже нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей, предстоящих торжественно кругом в виде судей и диктаторов и хохочущих над нею во всю здоровую глотку. Разумеется, ей остается махнуть на все своей лапкой и с улыбкой напускного презренья, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть в свою щелочку. Там, в сво-

ем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость. Сорок лет сряду будет припоминать до последних, самых постыдных подробностей свою обиду и при этом каждый раз прибавлять от себя подробности еще постыднейшие, злобно поддразнивая и раздражая себя собственной фантазией. Сама будет стыдиться своей фантазии, но все-таки все припомнит, все переберет, навыдумает на себя небывальщины, под предлогом, что она тоже могла случиться, и ничего не простит. Пожалуй, и мстить начнет, но как-нибудь урывками, мелочами, из-за печки, инкогнито, не веря ни своему праву мстить, ни успеху своего мщения и зная наперед, что от всех своих попыток отомстить сама выстрадает во сто раз больше того, кому мстит, а тот, пожалуй, и не почешется. На смертном одре опять-таки все припомнит, с накопившимися за все время процентами и... Но именно вот в этом холодном, омерзительном полуотчаянии, полувере, в этом сознательном погребении самого себя заживо с горя, в подполье на сорок лет, в этой усиленно созданной и все-таки отчасти сомнительной безвыходности своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь, во всей этой лихорадке колебаний, принятых навеки решений и через минуту опять наступающих раскаяний — и заключается сок того странного наслаждения, о котором я говорил. Оно до того тонкое, до того иногда не поддающееся сознанию, что чуть-чуть ограниченные люди или даже просто люди с крепкими нервами не поймут в нем ни единой черты. «Может, еще и те не поймут,— прибавите вы от себя, осклабляясь,— которые никогда не получали пощечин»,— и таким образом вежливо намекнете мне, что я в мою жизнь, может быть, тоже испытал пощечину, а потому и говорю как знаток. Бьюсь об заклад, что вы это думаете. Но успокойтесь, господа, я не получал пощечин, хотя мне совершенно все равно, как бы вы об этом ни думали. Я, может быть, еще сам-то жалею, что в мою жизнь мало роздал пощечин. Но довольно, ни слова больше об этой чрезвычайно для вас интересной теме.

Продолжаю спокойно о людях с крепкими нервами, не понимающих известной утонченности наслаждений. Эти господа при иных казусах, например, хотя и ревут, как быки, во все горло, хоть это, положим, и приносит им величайшую честь, но, как уже сказал я, перед невозможностью они тотчас смиряются. Невозможность — значит каменная стена? Какая каменная стена? Ну, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел, так уж и нечего морщиться, принимай как есть. Уж как докажут тебе, что, в сущности, одна капелька твоего собственного жиру тебе должна быть дороже ста тысяч тебе подобных и что в этом результате разрешатся под конец все так называемые добродетели и обязан-

ности и прочие бредни и предрассудки, так уж так и принимай, нечего делать-то, потому дважды два — математика. Попробуйте возразить.

«Помилуйте,— закричат вам,— восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ль вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена... и т. д. и т. д.». Господи боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило.

Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она дважды два четыре. О нелепость нелепостей! То ли дело все понимать, все сознавать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться; дойти путем самых неизбежных логических комбинаций до самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже и в каменной-то стене как будто чем-то сам виноват, хотя опять-таки до ясности очевидно, что вовсе не виноват, и вследствие этого, молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться, выходит, тебе не на кого; что предмета не находится, а может быть, и никогда не найдется, что тут подмен, подтасовка, шулерство, что тут просто бурда,— неизвестно что и неизвестно кто, но, несмотря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас все-таки болит, и чем больше вам неизвестно, тем больше болит!

IV

— Ха-ха-ха! да вы после этого и в зубной боли отыщете наслаждение! — вскрикнете вы со смехом.

— А что ж? и в зубной боли есть наслаждение,— отвечу я.— У меня целый месяц болели зубы; я знаю, что есть. Тут, конечно, не молча злятся, а стонут; но это стоны не откровенные, это стоны с ехидством, а в ехидстве-то и вся штука. В этих-то стонах и выражается наслаждение страдающего; не ощущал бы он в них наслаждения — он бы и стонать не стал. Это хороший пример, господа, и я его разовью. В этих стонах выражается, во-первых, вся для нашего сознания унизительная бесцельность вашей боли; вся законность природы, на которую вам, разумеется, наплевать, но от которой вы все-таки страдаете, а она-то нет. Выражается сознание, что врага у вас не находится, а что боль есть; сознание,

что вы, со всевозможными Вагенгеймами, вполне в рабстве у ваших зубов; что захочет кто-то, и перестанут болеть ваши зубы, а не захочет, так и еще три месяца проболят; и что, наконец, если вы все еще несогласны и все-таки протестуете, то вам остается для собственного утешения только самого себя высечь или прибить побольнее кулаком вашу стену, а более решительно ничего. Ну-с, вот от этих-то кровавых обид, вот от этих-то насмешек, неизвестно чьих, и начинается наконец наслаждение, доходящее иногда до высшего сладострастия. Я вас прошу, господа, прислушайтесь когда-нибудь к стонам образованного человека девятнадцатого столетия, страдающего зубами, этак на второй или на третий день болезни, когда он начинает уже не так стонать, как в первый день стонал, то есть не просто оттого, что зубы болят; не так, как какой-нибудь грубый мужик, а так, как человек тронутый развитием и европейской цивилизацией стонет, как человек, «отрешившийся от почвы и народных начал», как теперь выражаются. Стоны его становятся какие-то скверные, пакостно-злые и продолжаются по целым дням и ночам. И ведь знает сам, что никакой себе пользы не принесет стонами; лучше всех знает, что он только напрасно себя и других надрывает и раздражает; знает, что даже и публика, перед которой он старается, и все семейство его уже прислушались к нему с омерзением, не верят ему ни на грош и понимают про себя, что он мог бы иначе, проще стонать, без рулад и без вывертов, а что он только так со злости, с ехидства балуется. Ну так вот в этих-то всех сознаниях и позорах и заключается сладострастие. «Дескать, я вас беспокою, сердце вам надрываю, всем в доме спать не даю. Так вот не спите же, чувствуйте же и вы каждую минуту, что у меня зубы болят. Я для вас уж теперь не герой, каким прежде хотел казаться, а просто гаденький человек, шенапан. Ну так пусть же! Я очень рад, что вы меня раскусили. Вам скверно слушать мои подленькие стоны? Ну так пусть скверно; вот я вам сейчас еще скверней руладу сделаю...» Не понимаете и теперь, господа? Нет, видно, надо глубоко доразвиться и досознаться, чтоб понять все изгибы этого сладострастия! Вы смеетесь? Очень рад-с. Мои шутки, господа, конечно, дурного тона, неровны, сбивчивы, с самонедоверчивостью. Но ведь это оттого, что я сам себя не уважаю. Разве сознающий человек может сколько-нибудь себя уважать?

V

Ну разве можно, разве можно хоть сколько-нибудь уважать себя человеку, который даже в самом чувстве собственного унижения посягнул отыскать наслаждение? Я не от приторного какого-нибудь раскаянья так теперь говорю. Да и вообще терпеть я не мог говорить: «Простите, папаша, вперед не буду»,— не потому,

чтоб я не способен был это сказать, а напротив, может быть, именно потому, что уж слишком способен на это бывал, да еще как? Как нарочно и влопаюсь, бывало, в таком случае, когда сам ни сном, ни духом не виноват. Это уже было всего гаже. При этом я опять-таки душою умилялся, раскаивался, слезы проливал и, конечно, самого себя надувал, хоть и вовсе не притворялся. Сердце уж тут как-то гадило... Тут уж даже и законов природы нельзя было обвинить, хотя все-таки законы природы постоянно и более всего всю жизнь меня обижали. Гадко это все вспоминать, да и тогда гадко было. Ведь через минуту какую-нибудь я уже с злобою соображаю, бывало, что все это ложь, ложь, отвратительная напускная ложь, то есть все эти раскаяния, все эти умиления, все эти обеты возрождения. А спросите, для чего я так сам себя коверкал и мучил? Ответ: затем, что скучно уж очень было сложа руки сидеть; вот и пускался на выверты. Право, так. Замечайте получше сами за собой, господа, тогда и поймете, что это так. Сам себе приключения выдумывал и жизнь сочинял, чтоб хоть как-нибудь да пожить. Сколько раз мне случалось — ну, хоть, например, обижаться, так, не из-за чего, нарочно; и ведь сам знаешь, бывало, что не из-за чего обиделся, напустил на себя, но до того себя доведешь, что под конец, право, и в самом деле обидишься. Меня как-то всю жизнь тянуло такие штуки выкидывать, так что уж я стал под конец и в себе не властен. Другой раз влюбиться насильно захотел, даже два раза. Страдал ведь, господа, уверяю вас. В глубине-то души не верится, что страдаешь, насмешка шевелится, а все-таки страдаю, да еще настоящим, заправским образом; ревную, из себя выхожу... И все от скуки, господа, все от скуки; инерция задавила. Ведь прямой, законный, непосредственный плод сознания — это инерция, то есть сознательное сложа-руки-сиденье. Я уж об этом упоминал выше. Повторяю, усиленно повторяю: все непосредственные люди и деятели потому и деятельны, что они тупы и ограниченны. Как это объяснить? А вот как: они вследствие своей ограниченности ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают, таким образом скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание своему делу нашли, ну и успокоиваются; а ведь это главное. Ведь чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно, и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уже опять, стало быть, законы природы. Что же наконец в результате? Да то же самое. Вспомните: давеча

вот я говорил о мщении. (Вы, верно, не вникли.) Сказано: человек мстит, потому что находит в этом справедливость. Значит, он первоначальную причину нашел, основание нашел, а именно: справедливость. Стало быть, он со всех сторон успокоен, а следственно, и отмщает спокойно и успешно, будучи убежден, что делает честное и справедливое дело. А ведь я справедливости тут не вижу, добродетели тоже никакой не нахожу, а следственно, если стану мстить, то разве только из злости. Злость, конечно, могла бы все пересилить, все мои сомнения, и, стало быть, могла бы совершенно успешно послужить вместо первоначальной причины именно потому, что она не причина. Но что же делать, если у меня и злости нет (я давеча ведь с этого и начал). Злоба у меня опять-таки вследствие этих проклятых законов сознания химическому разложению подвергается. Смотришь — предмет улетучивается, резоны испаряются, виновник не отыскивается, обида становится не обидой, а фатумом, чем-то вроде зубной боли, в которой никто не виноват, а следовательно, остается опять-таки тот же самый выход — то есть стену побольнее прибить. Ну и рукой махнешь, потому что не нашел первоначальной причины. А попробуй увлекись своим чувством слепо, без рассуждений, без первоначальной причины, отгоняя сознание хоть на это время; возненавидь или полюби, чтоб только не сидеть сложа руки. Послезавтра, это уж самый поздний срок, самого себя презирать начнешь за то, что самого себя зазнамо надул. В результате: мыльный пузырь и инерция. О господа, ведь я, может, потому только и считаю себя за умного человека, что всю жизнь ничего не мог ни начать, ни окончить. Пусть, пусть я болтун, безвредный, досадный болтун, как и все мы. Но что же делать, если прямое и единственное назначение всякого умного человека есть болтовня, то есть умышленное пересыпанье из пустого в порожнее.

VI

О, если б я ничего не делал только из лени. Господи, как бы я тогда себя уважал. Уважал бы именно потому, что хоть лень я в состоянии иметь в себе; хоть одно свойство было бы во мне как будто и положительное, в котором я бы и сам был уверен. Вопрос: кто такой? Ответ: лентяй; да ведь это приятно было бы слышать о себе. Значит, положительно определен, значит, есть что сказать обо мне. «Лентяй!» — да ведь это званье и назначенье, это карьера-с. Не шутите, это так. Я тогда член самого первейшего клуба по праву и занимаюсь только тем, что беспрерывно себя уважаю. Я знал господина, который всю жизнь гордился тем, что знал толк в лафите. Он считал это за положительное свое достоинство и никогда не сомневался в себе. Он умер не то что с покой-

ной, а с торжествующей совестью, и был совершенно прав. А я бы себе тогда выбрал карьеру: я был бы лентяй и обжора, но не простой, а, например, сочувствующий всему прекрасному и высокому. Как вам это нравится? Мне это давно мерещилось. Это «прекрасное и высокое» сильно-таки надавило мне затылок в мои сорок лет; но это в мои сорок лет, а тогда — о, тогда было бы иначе! Я бы тотчас же отыскал себе и соответствующую деятельность,— а именно: пить за здоровье всего прекрасного и высокого. Я бы придирался ко всякому случаю, чтоб сначала пролить в свой бокал слезу, а потом выпить его за все прекрасное и высокое. Я бы все на свете обратил тогда в прекрасное и высокое; в гадчайшей, бесспорной дряни отыскал бы прекрасное и высокое. Я сделался бы слезоточив, как мокрая губка. Художник, например, написал картину Ге. Тотчас же пью за здоровье художника, написавшего картину Ге, потому что люблю все прекрасное и высокое. Автор написал *«как кому угодно»;* тотчас же пью за здоровье «кого угодно», потому что люблю все «прекрасное и высокое». Уважения к себе за это потребую, преследовать буду того, кто не будет мне оказывать уважения. Живу спокойно, умираю торжественно,— да ведь это прелесть, целая прелесть! И такое себе отрастил бы я тогда брюхо, такой тройной подбородок соорудил, такой бы сандальный нос себе выработал, что всякий встречный сказал бы, смотря на меня: «Вот так плюс! вот так уж настоящее положительное!» А ведь как хотите, такие отзывы преприятно слышать в наш отрицательный век, господа.

VII

Но все это золотые мечты. О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов; а что если б его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную свою выгоду, а известно, что ни один человек не может действовать зазнамо против собственных своих выгод, следственно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро? О младенец! о чистое, невинное дитя! да когда же, во-первых, бывало, во все эти тысячелетия, чтоб человек действовал только из одной своей собственной выгоды? Что же делать с миллионами фактов, свидетельствующих о том, как люди *зазнамо,* то есть вполне понимая свои настоящие выгоды, отставляли их на второй план и бросались на другую дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемые к тому, а как будто именно только

не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая ее чуть не в потемках. Ведь, значит, им действительно это упрямство и своеволие было приятнее всякой выгоды... Выгода! Что такое выгода? Да и берете ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что если так случится, что человеческая выгода *иной раз* не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного? А если так, если только может быть этот случай, то все правило прахом пошло. Как вы думаете, бывает ли такой случай? Вы смеетесь; смейтесь, господа, но только отвечайте: совершенно ли верно сосчитаны выгоды человеческие? Нет ли таких, которые не только не уложились, но и не могут уложиться ни в какую классификацию? Ведь вы, господа, сколько мне известно, весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул. Ведь ваши выгоды — это благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так далее, и так далее; так что человек, который бы, например, явно и зазнамо вошел против всего этого реестра, был бы, по-вашему, ну да и, конечно, по-моему, обскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно: отчего это так происходит, что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого, при исчислении человеческих выгод, постоянно одну выгоду пропускают? Даже и в расчет ее не берут в том виде, в каком ее следует брать, а от этого и весь расчет зависит. Беда бы не велика, взять бы ее, эту выгоду, да и занесть в список. Но в том-то и пагуба, что эта мудреная выгода ни в какую классификацию не попадает, ни в один список не умещается. У меня, например, есть приятель... Эх, господа! да ведь и вам он приятель; да и кому, кому он не приятель! Приготовляясь к делу, этот господин тотчас же изложит вам, велеречиво и ясно, как именно надо ему поступить по законам рассудка и истины. Мало того: с волнением и страстью будет говорить вам о настоящих, нормальных человеческих интересах; с насмешкой укорит близоруких глупцов, не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели; и — ровно через четверть часа, без всякого внезапного, постороннего повода, а именно по чему-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов,— выкинет совершенно другое колено, то есть явно пойдет против того, об чем сам говорил: и против законов рассудка, и против собственной выгоды, ну, одним словом, против всего... Предупрежду, что мой приятель — лицо собирательное, и потому только его одного винить как-то трудно. То-то и есть, господа, не существует ли и в самом деле нечто такое, что почти всякому человеку дороже самых лучших его выгод, или (чтоб уж логики не нарушать) есть одна такая самая выгодная выгода (именно пропускаемая-то,

вот об которой сейчас говорили), которая главнее и выгоднее всех других выгод и для которой человек, если понадобится, готов против всех законов пойти, то есть против рассудка, чести, покоя, благоденствия,— одним словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей, лишь бы только достигнуть этой первоначальной, самой выгодной выгоды, которая ему дороже всего.

— Ну, так все-таки выгоды же,— перебиваете вы меня.— Позвольте-с, мы еще объяснимся, да и не в каламбуре дело, а в том, что эта выгода именно тем и замечательна, что все наши классификации разрушает и все системы, составленные любителями рода человеческого для счастья рода человеческого, постоянно разбивает. Одним словом, всему мешает. Но прежде чем я вам назову эту выгоду, я хочу себя компрометировать лично и потому дерзко объявляю, что все эти прекрасные системы, все эти теории разъяснения человечеству настоящих, нормальных его интересов с тем, чтоб оно, необходимо стремясь достигнуть этих интересов, стало бы тотчас же добрым и благородным,— покамест, по моему мненью, одна логистика! Да-с, логистика! Ведь утверждать хоть эту теорию обновления всего рода человеческого посредством системы его собственных выгод, ведь это, по-моему, почти то же... ну хоть утверждать, например, вслед за Боклем, что от цивилизации человек смягчается, следственно, становится менее кровожаден и менее способен к войне. По логике-то, кажется, у него и так выходит. Но до того человек пристрастен к системе и к отвлеченному выводу, что готов умышленно исказить правду, готов видом не видать и слыхом не слыхать, только чтоб оправдать свою логику. Потому и беру этот пример, что это слишком яркий пример. Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское. Вот вам все наше девятнадцатое столетие, в котором жил и Бокль. Вот вам Наполеон — и великий и теперешний. Вот вам Северная Америка — вековечный союз. Вот вам, наконец, карикатурный Шлезвиг-Гольштейн... И что такое смягчает в нас цивилизация? Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и... решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. Ведь это уж и случалось с ним. Замечали ли вы, что самые утонченные кровопроливцы почти сплошь были самые цивилизованные господа, которым все эти разные Атиллы да Стеньки Разины иной раз в подметки не годились, и если они не так ярко бросаются в глаза, как Атилла и Стенька Разин, так это именно потому, что они слишком часто встречаются, слишком обыкновенны, примелькались. По крайней мере, от цивилизации человек стал если не более кровожаден, то уже, наверно, хуже, гаже кровожаден, чем прежде. Прежде он видел в кровопролитии справедливость и с покойною

совестью истреблял кого следовало; теперь же мы хоть и считаем кровопролитие гадостью, а все-таки этой гадостью занимаемся, да еще больше, чем прежде. Что хуже? — сами решите. Говорят, Клеопатра (извините за пример из римской истории) любила втыкать золотые булавки в груди своих невольниц и находила наслаждение в их криках и корчах. Вы скажете, что это было во времена, говоря относительно, варварские; что и теперь времена варварские, потому что (тоже говоря относительно) и теперь булавки втыкаются; что и теперь человек хоть и научился иногда видеть яснее, чем во времена варварские, но еще далеко не *приучился* поступать так, как ему разум и науки указывают. Но все-таки вы совершенно уверены, что он непременно приучится, когда совсем пройдут кой-какие старые, дурные привычки и когда здравый смысл и наука вполне перевоспитают и нормально направят натуру человеческую. Вы уверены, что тогда человек и сам перестанет *добровольно* ошибаться и, так сказать, поневоле не захочет роднить свою волю с нормальными своими интересами. Мало того: тогда, говорите вы, сама наука научит человека (хоть это уж и роскошь, по-моему), что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши или органного штифтика; и что, сверх того, на свете есть еще законы природы; так что все, что он ни делает, делается вовсе не по его хотенью, а само собою, по законам природы. Следственно, эти законы природы стоит только открыть, и уж за поступки свои человек отвечать не будет и жить ему будет чрезвычайно легко. Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов, до 108 000, и занесены в календарь; или еще лучше того, появятся некоторые благонамеренные издания, вроде теперешних энциклопедических лексиконов, в которых все будет так точно исчислено и обозначено, что на свете уже не будет более ни поступков, ни приключений.

Тогда-то, — это все вы говорите, — настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец. Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, никак нельзя гарантировать (это уж я теперь говорю), что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что что ж и делать-то, когда все будет расчислено по табличке), зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются, но это бы все ничего. Скверно то (это опять-таки я говорю), что чего доброго, пожалуй, и золотым булавкам тогда обрадуются. Ведь глуп человек, глуп феноменально.

То есть он хоть и вовсе не глуп, но уж зато неблагодарен так, что поискать другого, так не найти. Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет: так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и *положительно должно* (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия,— вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотенья? Человеку надо — одного только *самостоятельного* хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела. Ну и хотенье ведь черт знает...

VIII

— Ха-ха-ха! да ведь хотенья-то, в сущности, если хотите, и нет! — прерываете вы с хохотом.— Наука даже о сю пору до того успела разанатомировать человека, что уж и теперь нам известно, что хотенье и так называемая свободная воля есть не что иное, как...

— Постойте, господа, я и сам так начать хотел. Я, признаюсь, даже испугался. Я только что хотел было прокричать, что хотенье ведь черт знает от чего зависит и что это, пожалуй, и слава богу, да вспомнил про науку-то и... оселся. А вы тут и заговорили. Ведь в самом деле, ну, если вправду найдут когда-нибудь формулу всех наших хотений и капризов, то есть от чего они зависят, по каким именно законам происходят, как именно распространяются, куда стремятся в таком-то и в таком-то случае и проч. и проч., то есть настоящую математическую формулу,— так ведь тогда человек

тотчас же, пожалуй, и перестанет хотеть, да еще, пожалуй, и наверно перестанет. Ну что за охота хотеть по табличке? Мало того: тотчас же обратится он из человека в органный штифтик или вроде того; потому, что же такое человек без желаний, без воли и без хотений, как не штифтик в органном вале? Как вы думаете? Сосчитаем вероятности,— может это случиться или нет?

— Гм...— решаете вы,— наши хотенья большею частию бывают ошибочны от ошибочного взгляда на наши выгоды. Мы потому и хотим иногда чистого вздору, что в этом вздоре видим, по глупости нашей, легчайшую дорогу к достижению какой-нибудь заранее предположенной выгоды. Ну а когда все это будет растолковано, расчислено на бумажке (что очень возможно, потому что гнусно же и бессмысленно заранее верить, что иных законов природы человек никогда не узнает), то тогда, разумеется, не будет так называемых желаний. Ведь если хотенье стакнется когда-нибудь совершенно с рассудком, так ведь уж мы будем тогда рассуждать, а не хотеть собственно потому, что ведь нельзя же, например, сохраняя рассудок, *хотеть* бессмыслицы и таким образом зазнамо идти против рассудка и желать себе вредного... А так как все хотенья и рассуждения могут быть действительно вычислены, потому что когда-нибудь откроют же законы так называемой нашей свободной воли, то, стало быть, и, кроме шуток, может устроиться что-нибудь вроде таблички, так что мы и действительно хотеть будем по этой табличке. Ведь если мне, например, когда-нибудь, расчислят и докажут, что если я показал такому-то кукиш, так именно потому, что не мог не показать и что непременно таким-то пальцем должен был его показать, так что же тогда во мне *свободного-то* останется, особенно если я ученый и где-нибудь курс наук кончил? Ведь я тогда вперед всю мою жизнь на тридцать лет рассчитать могу; одним словом, если и устроится это, так ведь нам уж нечего будет делать; все равно надо будет принять. Да и вообще мы должны, не уставая, повторять себе, что непременно в такую-то минуту и в таких-то обстоятельствах природа нас не спрашивается; что нужно принимать ее так, как она есть, а не так, как мы фантазируем, и если мы действительно стремимся к табличке и к календарю, ну, и... ну хоть бы даже и к реторте, то что же делать, надо принять и реторту! не то она сама, без вас примется...

— Да-с, но вот тут-то для меня и запятая! Господа, вы меня извините, что я зафилософствовался; тут сорок лет подполья! позвольте пофантазировать. Видите ли-с: рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почесываниями. И хоть жизнь наша

в этом проявлении выходит зачастую дрянцо, но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня. Ведь я, например, совершенно естественно хочу жить для того, чтоб удовлетворить всей моей способности жить, а не для того, чтоб удовлетворить одной только моей рассудочной способности, то есть какой-нибудь одной двадцатой доли всей моей способности жить. Что знает рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать (иного, пожалуй, и никогда не узнает; это хоть и не утешение, но отчего же этого и не высказать?), а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет. Я подозреваю, господа, что вы смотрите на меня с сожалением; вы повторяете мне, что не может просвещенный и развитой человек, одним словом, такой, каким будет будущий человек, зазнамо захотеть чего-нибудь для себя невыгодного, что это математика. Совершенно согласен, действительно математика. Но повторяю вам в сотый раз, есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего, а именно: чтоб *иметь право* пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного. Ведь это глупейшее, ведь это свой каприз, и в самом деле, господа, может быть всего выгоднее для нашего брата из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях. А в частности, может быть выгоднее всех выгод даже и в таком случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, — потому что во всяком случае сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность. Иные вот утверждают, что это и в самом деле всего для человека дороже; хотенье, конечно, может, если хочет, и сходиться с рассудком, особенно если не злоупотреблять этим, а пользоваться умеренно; это и полезно и даже иногда похвально. Но хотенье очень часто и даже большею частию совершенно и упрямо разногласит с рассудком и... и... и знаете ли, что и это полезно и даже иногда очень похвально? Господа, положим, что человек не глуп. (Действительно, ведь никак нельзя этого сказать про него, хоть бы по тому одному, что если уж он будет глуп, так ведь кто же тогда будет умен?) Но если и не глуп, то все-таки чудовищно неблагодарен! Неблагодарен феноменально. Я даже думаю, что самое лучшее определение человека — это: существо на двух ногах и неблагодарное. Но это еще не все; это еще не главный недостаток его; главнейший недостаток его — это постоянное неблагонравие, постоянное, начиная от Всемирного потопа до Шлезвиг-Гольштейнского периода судеб человеческих. Неблагонравие, а следственно, и неблагоразумие; ибо давно известно, что неблагоразумие не иначе происходит, как от неблагонравия. Попробуйте

же бросьте взгляд на историю человечества; ну, что вы увидите? Величественно? Пожалуй, хоть и величественно; уж один колосс Родосский, например, чего стоит! Недаром же г-н Анаевский свидетельствует о нем, что одни говорят, будто он есть произведение рук человеческих; другие же утверждают, что он создан самою природою. Пестро? Пожалуй, хоть и пестро; разобрать только во все века и у всех народов одни парадные мундиры на военных и статских — уж одно это чего стоит, а с вицмундирами и совсем можно ногу сломать; ни один историк не устоит. Однообразно? Ну, пожалуй, и однообразно: дерутся да дерутся, и теперь дерутся, и прежде дрались, и после дрались,— согласитесь, что это даже уж слишком однообразно. Одним словом, все можно сказать о всемирной истории, все, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать,— что благоразумно. На первом слове поперхнетесь. И даже вот какая тут штука поминутно встречается: постоянно ведь являются в жизни такие благонравные и благоразумные люди, такие мудрецы и любители рода человеческого, которые именно задают себе целью всю жизнь вести себя как можно благонравнее и благоразумнее, так сказать, светить собой ближним, собственно для того, чтоб доказать им, что действительно можно на свете прожить и благонравно, и благоразумно. И что ж? Известно, многие из этих любителей, рано ли, поздно ли, под конец жизни изменяли себе, произведя какой-нибудь анекдот, иногда даже из самых неприличнейших. Теперь вас спрошу: чего же можно ожидать от человека как от существа, одаренного такими странными качествами? Да осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории,— так он вам и тут, человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой единственно для того, чтоб самому себе подтвердить (точно это так уж очень необходимо), что люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши, на которых хоть и играют сами законы природы собственноручно, но грозят до того доиграться, что уж мимо календаря и захотеть ничего нельзя будет. Да ведь мало того: даже в том случае, если он действительно бы оказался фортепьянной клавишей, если б это доказать ему даже естественными науками и ма-

тематически, так и тут не образумится, а нарочно напротив что-нибудь сделает, единственно из одной неблагодарности; собственно чтоб настоять на своем. А в том случае, если средств у него не окажется, — выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит-таки на своем! Проклятие пустит по свету, а так как проклинать может только один человек (это уж его привилегия, главнейшим образом отличающая его от других животных), так ведь он, пожалуй, одним проклятием достигнет своего, то есть действительно убедится, что он человек, а не фортепьянная клавиша! Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так уж одна возможность предварительного расчета все остановит и рассудок возьмет свое, — так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем! Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик! хоть своими боками, да доказывал; хоть троглодитством, да доказывал. А после этого как не согрешить, не похвалить, что этого еще нет и что хотенье покамест еще черт знает от чего зависит...

Вы кричите мне (если только еще удостоите меня вашим криком), что ведь тут никто с меня воли не снимает; что тут только и хлопочут как-нибудь так устроить, чтоб воля моя сама, своей собственной волей, совпадала с моими нормальными интересами, с законами природы и с арифметикой.

— Эх, господа, какая уж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет одно только дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает!

IX

Господа, я, конечно, шучу, и сам знаю, что неудачно шучу, но ведь и нельзя же все принимать за шутку. Я, может быть, скрыпя зубами шучу. Господа, меня мучат вопросы; разрешите их мне. Вот вы, например, человека от старых привычек хотите отучить и волю его исправить, сообразно с требованиями науки и здравого смысла. Но почему вы знаете, что человека не только можно, но и *нужно* так переделывать? из чего вы заключаете, что хотенью человеческому так необходимо *надо* исправиться? Одним словом, почему вы знаете, что такое исправление действительно принесет человеку выгоду? И, если уж все говорить, почему вы так *наверно* убеждены, что не идти против настоящих, нормальных выгод, гарантированных доводами разума и арифметикой, действительно

для человека всегда выгодно и есть закон для всего человечества? Ведь это покамест еще только одно ваше предположение. Положим, что это закон логики, но, может быть, вовсе не человечества. Вы, может быть, думаете, господа, что я сумасшедший? Позвольте оговориться. Я согласен: человек есть животное, по преимуществу созидающее, принужденное стремиться к цели сознательно и заниматься инженерным искусством, то есть вечно и беспрерывно дорогу себе прокладывать хотя *куда бы то ни было*. Но вот именно потому-то, может быть, ему и хочется иногда вильнуть в сторону, что он *присужден* пробивать эту дорогу, да еще, пожалуй, потому, что как ни глуп непосредственный деятель вообще, но все-таки ему иногда приходит на мысль, что дорога-то, оказывается, почти всегда идет *куда бы то ни было* и что главное дело не в том, куда она идет, а в том, чтоб она только шла и чтоб благонравное дитя, пренебрегая инженерным искусством, не предавалось губительной праздности, которая, как известно, есть мать всех пороков. Человек любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно. Но отчего же он до страсти любит тоже разрушение и хаос? Вот это скажите-ка! Но об этом мне самому хочется заявить два слова особо. Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос (ведь это бесспорно, что он иногда очень любит, это уж так), что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание? Почем вы знаете, может быть, он здание-то любит только издали, а отнюдь не вблизи; может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем, предоставляя его потом aux animaux domestiques[1], как-то муравьям, баранам и проч. и проч. Вот муравьи совершенно другого вкуса. У них есть одно удивительное здание в этом же роде, навеки нерушимое,— муравейник.

С муравейника достопочтенные муравьи начали, муравейником, наверно, и кончат, что приносит большую честь их постоянству и положительности. Но человек существо легкомысленное и неблаговидное и, может быть, подобно шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не самую цель. И кто знает (поручиться нельзя), может быть, что и вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе сказать — в самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, то есть формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти. По крайней мере человек всегда как-то боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. Положим, человек только и делает, что отыскивает эти дважды два четыре, океаны переплывает, жизнью жертвует в этом отыскивании, но отыскать, действитель-

[1] домашним животным (*фр.*).

но найти,— ей-богу, как-то боится. Ведь он чувствует, что как найдет, так уж нечего будет тогда отыскивать. Работники, кончив работу, по крайней мере деньги получат, в кабачок пойдут, потом в часть попадут,— ну вот и занятия на неделю. А человек куда пойдет? По крайней мере каждый раз замечается в нем что-то неловкое при достижении подобных целей. Достижение он любит, а достигнуть уж и не совсем, и это, конечно, ужасно смешно. Одним словом, человек устроен комически; во всем этом, очевидно, заключается каламбур. Но дважды два четыре — все-таки вещь пренесносная. Дважды два четыре — ведь это, по моему мнению, только нахальство-с. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги руки в боки и плюется. Я согласен, что дважды два четыре — превосходная вещь; но если уже все хвалить, то и дважды два пять — премилая иногда вещица.

И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное,— одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько же любит страдание? Может быть, страдание-то ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие? А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти, и это факт. Тут уж и со всемирной историей справляться нечего; спросите себя самого, если только вы человек и хоть сколько-нибудь жили. Что же касается до моего личного мнения, то любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично. Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь тоже очень приятно. Я ведь тут собственно не за страдание стою, да и не за благоденствие. Стою я... за свой каприз и за то, чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится. Страдание, например, в водевилях не допускается, я это знаю. В хрустальном дворце оно и немыслимо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усумниться? А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания, то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание — да ведь это единственная причина сознания. Я хоть и доложил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастие, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем дважды два. После дважды двух уж, разумеется, ничего не останется, не только делать, но даже и узнавать. Все, что тогда можно будет, это — заткнуть свои пять чувств и погрузиться в созерцание. Ну а при сознании хоть и тот же результат выходит, то есть тоже будет нечего делать, но по крайней мере самого себя иногда можно посечь, а это все-таки подживляет. Хоть и ретроградно, а все же лучше, чем ничего.

X

Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить.

Вот видите ли: если вместо дворца будет курятник и пойдет дождь, я, может быть, и влезу в курятник, чтоб не замочиться, но все-таки курятника не приму за дворец из благодарности, что он меня от дождя сохранил. Вы смеетесь, вы даже говорите, что в этом случае курятник и хоромы — все равно. Да,— отвечаю я,— если б надо было жить только для того, чтоб не замочиться.

Но что же делать, если я забрал себе в голову, что живут и не для одного этого и что если уж жить, так уж жить в хоромах. Это мое хотение, это желание мое. Вы его выскоблите из меня только тогда, когда перемените желания мои. Ну, перемените, прельстите меня другим, дайте мне другой идеал. А покамест я уж не приму курятника за дворец. Пусть даже так будет, что хрустальное здание есть пуф, что по законам природы его и не полагается и что я выдумал его только вследствие моей собственной глупости, вследствие некоторых старинных, нерациональных привычек нашего поколения. Но какое мне дело, что его не полагается. Не все ли равно, если он существует в моих желаниях, или, лучше сказать, существует, пока существуют мои желания? Может быть, вы опять смеетесь? Извольте смеяться; я все насмешки приму и все-таки не скажу, что я сыт, когда я есть хочу; все-таки знаю, что я не успокоюсь на компромиссе, на беспрерывном периодическом нуле, потому только, что он существует по законам природы и существует *действительно*. Я не приму за венец желаний моих — капитальный дом, с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет и на всякий случай с зубным врачом Вагенгеймом на вывеске. Уничтожьте мои желания, сотрите мои идеалы, покажите мне что-нибудь лучше, и я за вами пойду. Вы, пожалуй, скажете, что не стоит и связываться; но в таком случае ведь и я вам могу тем же ответить. Мы рассуждаем серьезно; а не хотите меня удостоить вашим вниманием, так ведь кланяться не буду. У меня есть подполье.

А покамест я еще живу и желаю,— да отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу! Не смотрите на то, что я давеча сам хрустальное здание отверг, единственно по той причине, что его нельзя будет языком подразнить. Я это говорил вовсе не потому, что уж так люблю мой язык выставлять. Я, может быть, на то только и сердился, что такого здания, которому бы можно было и не выставлять языка, из всех ваших зда-

ний до сих пор не находится. Напротив, я бы дал себе совсем отрезать язык, из одной благодарности, если б только устроилось так, чтоб мне самому уже более никогда не хотелось его высовывать. Какое мне дело до того, что так невозможно устроить и что надо довольствоваться квартирами. Зачем же я устроен с такими желаниями? Неужели ж я для того только и устроен, чтоб дойти до заключения, что все мое устройство одно надувание? Неужели в этом вся цель? Не верю.

А, впрочем, знаете что: я убежден, что нашего брата подпольного нужно в узде держать. Он хоть и способен молча в подполье сорок лет просидеть, но уж коль выйдет на свет да прорвется, так уж говорит, говорит, говорит...

XI

Конец концов, господа: лучше ничего не делать! Лучше сознательная инерция! Итак, да здравствует подполье! Я хоть и сказал, что завидую нормальному человеку до последней желчи, но на таких условиях, в каких я вижу его, не хочу им быть (хотя все-таки не перестану ему завидовать. Нет, нет, подполье во всяком случае выгоднее!) Там по крайней мере можно... Эх! да ведь я и тут вру! Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду! К черту подполье!

Даже вот что тут было бы лучше: это — если б я верил сам хоть чему-нибудь из всего того, что теперь написал. Клянусь же вам, господа, что я ни одному, ни одному таки словечку не верю из того, что теперь настрочил! То есть я и верю, пожалуй, но в то же самое время, неизвестно почему, чувствую и подозреваю, что я вру как сапожник.

— Так для чего же писали все это? — говорите вы мне.

— А вот посадил бы я вас лет на сорок безо всякого занятия, да и пришел бы к вам через сорок лет, в подполье, наведаться, до чего вы дошли? Разве можно человека без дела на сорок лет одного оставлять?

— И это не стыдно, и это не унизительно! — может быть, скажете вы мне, презрительно покачивая головами.— Вы жаждете жизни и сами разрешаете жизненные вопросы логической путаницей. И как назойливы, как дерзки ваши выходки, и в то же время как вы боитесь! Вы говорите вздор и довольны им; вы говорите дерзости, а сами беспрерывно боитесь за них и просите извинения. Вы уверяете, что ничего не боитесь, и в то же время в нашем мнении заискиваете. Вы уверяете, что скрежещете зубами, и в то же время острите, чтоб нас рассмешить. Вы знаете, что остроты ваши неостроумны, но вы, очевидно, очень довольны их литера-

турным достоинством. Вам, может быть, действительно случалось страдать, но вы нисколько не уважаете своего страдания. В вас есть и правда, но в вас нет целомудрия; вы из самого мелкого тщеславия несете правду на показ, на позор, на рынок... Вы действительно хотите что-то сказать, но из боязни прячете ваше последнее слово, потому что у вас нет решимости его высказать, а только трусливое нахальство. Вы хвалитесь сознанием, но вы только колеблетесь, потому что хоть ум у вас и работает, но сердце ваше развратом помрачено, а без чистого сердца — полного, правильного сознания не будет. И сколько в вас назойливости, как вы напрашиваетесь, как вы кривляетесь! Ложь, ложь и ложь!

Разумеется, все эти ваши слова я сам теперь сочинил. Это тоже из подполья. Я там сорок лет сряду к этим вашим словам в щелочку прислушивался. Я их сам выдумал, ведь только это и выдумывалось. Немудрено, что наизусть заучилось и литературную форму приняло...

Но неужели, неужели вы и в самом деле до того легковесны, что воображаете, будто я это все напечатаю да еще вам дам читать? И вот еще для меня задача: для чего, в самом деле, называю я вас «господами», для чего обращаюсь к вам, как будто и вправду к читателям? Таких признаний, какие я намерен начать излагать, не печатают и другим читать не дают. По крайней мере, я настолько твердости в себе не имею да и нужным не считаю иметь. Но видите ли: мне в голову пришла одна фантазия, и я во что бы ни стало ее хочу осуществить. Вот в чем дело:

Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не откроет, а разве только себе самому, да и то под секретом. Но есть, наконец, и такие, которые даже и себе человек открывать боится, и таких вещей у всякого порядочного человека довольно-таки накопится. То есть даже так: чем более он порядочный человек, тем более у него их и есть. По крайней мере, я сам только недавно решился припомнить иные мои прежние приключения, а до сих пор всегда обходил их, даже с каким-то беспокойством. Теперь же, когда я не только припоминаю, но даже решился записывать, теперь я именно хочу испытать: можно ли хоть с самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды? Замечу кстати: Гейне утверждает, что верные автобиографии почти невозможны, и человек сам об себе наверно налжет. По его мнению, Руссо, например, непременно налгал на себя в своей исповеди, и даже умышленно налгал, из тщеславия. Я уверен, что Гейне прав; я очень хорошо понимаю, как иногда можно единственно из одного тщеславия наклепать на себя целые преступления, и даже очень хорошо постигаю, какого рода может быть это тщеславие. Но Гейне судил о человеке, исповедовавшем-

ся перед публикой. Я же пишу для одного себя и раз навсегда объявляю, что если я и пишу как бы обращаясь к читателям, то единственно только для показу, потому что так мне легче писать. Тут форма, одна пустая форма, читателей же у меня никогда не будет. Я уже объявил это...

Я ничем не хочу стесняться в редакции моих записок. Порядка и системы заводить не буду. Что припомнится, то и запишу.

Ну вот, например: могли бы придраться к слову и спросить меня: если вы действительно не рассчитываете на читателей, то для чего же вы теперь делаете с самим собой, да еще на бумаге, такие уговоры, то есть что порядка и системы заводить не будете, что запишете то, что припомнится, и т. д., и т. д.? К чему вы объясняетесь? К чему извиняетесь?

— А вот поди же,— отвечаю я.

Тут, впрочем, целая психология. Может быть, и то, что я просто трус. А может быть, и то, что я нарочно воображаю перед собой публику, чтоб вести себя приличнее, в то время когда буду записывать. Причин может быть тысяча.

Но вот что еще: для чего, зачем собственно я хочу писать? Если не для публики, так ведь можно бы и так, мысленно все припомнить, не переводя на бумагу.

Так-с; но на бумаге оно выйдет как-то торжественнее. В этом есть что-то внушающее, суда больше над собой будет, слогу прибавится. Кроме того: может быть, я от записывания действительно получу облегчение. Вот нынче, например, меня особенно давит одно давнишнее воспоминание. Припомнилось оно мне ясно еще на днях и с тех пор осталось со мною, как досадный музыкальный мотив, который не хочет отвязаться. А между тем надобно от него отвязаться. Таких воспоминаний у меня сотни; но по временам из сотни выдается одно какое-нибудь и давит. Я почему-то верю, что если я его запишу, то оно и отвяжется. Отчего ж не испробовать?

Наконец: мне скучно, а я постоянно ничего не делаю. Записыванье же действительно как будто работа. Говорят, от работы человек добрым и честным делается. Ну вот шанс по крайней мере.

Нынче идет снег, почти мокрый, желтый, мутный. Вчера шел тоже, на днях тоже шел. Мне кажется, я по поводу мокрого снега и припомнил тот анекдот, который не хочет теперь от меня отвязаться. Итак, пусть это будет повесть по поводу мокрого снега.

II

ПО ПОВОДУ МОКРОГО СНЕГА

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек,
И, вся полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки,
Тебя опутавший порок;
Когда забывчивую совесть
Воспоминанием казня,
Ты мне передавала повесть
Всего, что было до меня,
И вдруг, закрыв лицо руками,
Стыдом и ужасом полна,
Ты разрешилася слезами,
Возмущена, потрясена...
И т. д., и т. д., и т. д.

Из поэзии Н. А. Некрасова

I

В то время мне было всего двадцать четыре года. Жизнь моя была уж и тогда угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить и все более и более забивался в свой угол. В должности, в канцелярии, я даже старался не глядеть ни на кого, и я очень хорошо замечал, что сослуживцы мои не только считали меня чудаком, но — все казалось мне и это — будто бы смотрели на меня с каким то омерзением. Мне приходило в голову: отчего это никому, кроме меня, не кажется, что смотрят на него с омерзением? У одного из наших канцелярских было отвратительное и прерябое лицо, и даже как будто разбойничье. Я бы, кажется, и взглянуть ни на кого не посмел с таким неприличным лицом. У другого вицмундир был до того заношенный, что близ него уже дурно пахло. А между тем ни один

из этих господ не конфузился — ни по поводу платья, ни по поводу лица, ни как-нибудь там нравственно. Ни тот, ни другой не воображали, что смотрят на них с омерзением; да если б и воображали, так им было бы все равно, только бы не начальство взирать изволило. Теперь мне совершенно ясно, что я сам вследствие неограниченного моего тщеславия, а стало быть, и требовательности к самому себе, глядел на себя весьма часто с бешеным недовольством, доходившим до омерзения, а оттого, мысленно, и приписывал мой взгляд каждому. Я, например, ненавидел свое лицо, находил, что оно гнусно, и даже подозревал, что в нем есть какое-то подлое выражение, и потому каждый раз, являясь в должность, мучительно старался держать себя как можно независимее, чтоб не заподозрили меня в подлости, а лицом выражать как можно более благородства. «Пусть уж будет и некрасивое лицо, — думал я, — но зато пусть будет оно благородное, выразительное и, главное, *чрезвычайно* умное». Но я наверно и страдальчески знал, что всех этих совершенств мне никогда моим лицом не выразить. Но что всего ужаснее, я находил его положительно глупым. А я бы вполне помирился на уме. Даже так, что согласился бы даже и на подлое выражение, с тем только, чтоб лицо мое находили в то же время ужасно умным.

Всех наших канцелярских я, разумеется, ненавидел, с первого до последнего, и всех презирал, а вместе с тем как будто их и боялся. Случалось, что я вдруг даже ставил их выше себя. У меня как-то это вдруг тогда делалось: то презираю, то ставлю выше себя. Развитой и порядочный человек не может быть тщеславен без неограниченной требовательности к себе самому и не презирая себя в иные минуты до ненависти. Но, презирая ли, ставя ли выше, я чуть не перед каждым встречным опускал глаза. Я даже опыты делал: стерплю ли я взгляд вот хоть такого-то на себе, и всегда опускал я первый. Это меня мучило до бешенства. До болезни тоже боялся я быть смешным и потому рабски обожал рутину во всем, что касалось наружного; с любовью вдавался в общую колею и всей душою пугался в себе всякой эксцентричности. Но где мне было выдержать? Я был болезненно развит, как и следует быть развитым человеку нашего времени. Они же все были тупы и один на другого похожи, как бараны в стаде. Может быть, только мне одному во всей канцелярии постоянно казалось, что я был трус и раб; именно потому и казалось, что я был развит. Но оно не только казалось, а и действительно так было в самом деле: я был трус и раб. Говорю это без всякого конфуза. Всякий порядочный человек нашего времени есть и должен быть трус и раб. Это — нормальное его состояние. В этом я убежден глубоко. Он так сделан и на то устроен. И не в настоящее время, от каких-нибудь там случайных обстоятельств, а вообще во все времена порядочный че-

ловек должен быть трус и раб. Это закон природы всех порядочных людей на земле. Если и случится кому из них похрабриться над чем-нибудь, то пусть этим не утешается и не увлекается: все равно перед другим сбрендит. Таков единственный и вековечный выход. Храбрятся только ослы и их ублюдки, но ведь и те до известной стены. На них и внимания обращать не стоит, потому что они ровно ничего не означают.

Мучило меня тогда еще одно обстоятельство: именно то, что на меня никто не похож и я ни на кого не похож. «Я-то один, а они-то *все»,* — думал я и — задумывался.

Из этого видно, что я был еще совсем мальчишка.

Случались и противоположности. Ведь уж как иногда гадко становилось ходить в канцелярию: доходило до того, что я много раз со службы возвращался больной. Но вдруг ни с того ни с сего наступает полоса скептицизма и равнодушия (у меня все было полосами), и вот я же сам смеюсь над моею нетерпимостью и брезгливостью, сам себя в *романтизме* упрекаю. То и говорить ни с кем не хочу, а то до того дойду, что не только разговорюсь, но еще вздумаю с ними сойтись по-приятельски. Вся брезгливость вдруг разом ни с того ни с сего исчезала. Кто знает, может быть, ее у меня никогда и не было, а была она напускная, из книжек? Я до сих пор этого вопроса еще не разрешил. Раз даже совсем подружился с ними, стал их дома посещать, в преферанс играть, водку пить, о производстве толковать... Но здесь позвольте мне сделать одно отступление.

У нас, русских, вообще говоря, никогда не было глупых надзвездных немецких и особенно французских романтиков, на которых ничего не действует, хоть земля под ними трещи, хоть погибай вся Франция на баррикадах,— они все те же, даже для приличия не изменятся, и все будут петь свои надзвездные песни, так сказать, по гроб своей жизни, потому что они дураки. У нас же, в русской земле, нет дураков; это известно; тем-то мы и отличаемся от прочих немецких земель. Следственно, и надзвездных натур не водится у нас в чистом их состоянии. Это все наши «положительные» тогдашние публицисты и критики, охотясь тогда за Костанжоглами да за дядюшками Петрами Ивановичами и сдуру приняв их за наш идеал, навыдумали на наших романтиков, сочтя их за таких же надзвездных, как в Германии или во Франции. Напротив, свойства нашего романтика совершенно и прямо противоположны надзвездно-европейскому, и ни одна европейская мерочка сюда не подходит. (Уж позвольте мне употреблять это слово: «романтик» — словечко старинное, почтенное, заслуженное и всем знакомое.) Свойства нашего романтика — это все понимать, *все видеть и видеть часто несравненно яснее, чем видят самые положительнейшие наши умы;* ни с кем и ни с чем

не примиряться, но в то же время ничем и не брезгать; все обойти, всему уступить, со всеми поступить политично; постоянно не терять из виду полезную, практическую цель (какие-нибудь там казенные квартирки, пенсиончики, звездочки) — усматривать эту цель через все энтузиазмы и томики лирических стишков и в то же время «и прекрасное и высокое» по гроб своей жизни в себе сохранить нерушимо, да и себя уже кстати вполне сохранить так-таки в хлопочках, как ювелирскую вещицу какую-нибудь, хотя бы, например, для пользы того же «прекрасного и высокого». Широкий человек наш романтик и первейший плут из всех наших плутов, уверяю вас в том... даже по опыту. Разумеется, все это, если романтик умен. То есть что ж это я! романтик и всегда умен, я хотел только заметить, что хоть и бывали у нас дураки-романтики, но это не в счет и единственно потому, что они еще в цвете сил окончательно в немцев перерождались и, чтоб удобнее сохранить свою ювелирскую вещицу, поселялись там где-нибудь, больше в Веймаре или в Шварцвальде. Я, например, искренно презирал свою служебную деятельность и не плевался только по необходимости, потому что сам там сидел и деньги за то получал. В результате же, заметьте, все-таки не плевался. Наш романтик скорей сойдет с ума (что, впрочем, очень редко бывает), а плеваться не станет, если другой карьеры у него в виду не имеется, и в толчки его никогда не выгонят, а разве свезут в сумасшедший дом в виде «испанского короля», да и то если уж он очень с ума сойдет. Но ведь сходят у нас с ума только жиденькие и белокуренькие. Неисчетное же число романтиков — значительные чины впоследствии происходят. Многосторонность необыкновенная! И какая способность к самым противоречивейшим ощущениям! Я и тогда был этим утешен, да и теперь тех же мыслей. Оттого-то у нас так и много «широких натур», которые даже при самом последнем паденье никогда не теряют своего идеала; и хоть и пальцем не пошевелят для идеала-то, хоть разбойники и воры отъявленные, а все-таки до слез свой первоначальный идеал уважают и необыкновенно в душе честны. Да-с, только между нами самый отъявленный подлец может быть совершенно и даже возвышенно честен в душе, в то же время нисколько не переставая быть подлецом. Повторяю, ведь сплошь да рядом из наших романтиков выходят иногда такие деловые шельмы (слово «шельмы» я употребляю любя), такое чутье действительности и знание положительного вдруг оказывают, что изумленное начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивают.

Многосторонность поистине изумительная, и бог знает во что обратится она и выработается при последующих обстоятельствах и что сулит нам в нашем дальнейшем? А недурен матерьял-с! Не из патриотизма какого-нибудь, смешного или квасного, я так го-

ворю. Впрочем, я уверен, вы опять думаете, что я смеюсь. А кто знает, может быть, и обратно, то есть уверены, что я и в самом деле так думаю. Во всяком случае, господа, оба мнения ваши я буду считать себе за честь и особенное удовольствие. А отступление мое мне простите.

С товарищами моими я, разумеется, дружества не выдерживал и очень скоро расплевывался и вследствие еще юной тогдашней неопытности даже и кланяться им переставал, точно отрезывал. Это, впрочем, со мной всего один раз и случилось. Вообще же я всегда был один.

Дома я, во-первых, всего больше читал. Хотелось заглушить внешними ощущениями все беспрерывно внутри меня накипавшее. А из внешних ощущений было для меня в возможности только одно чтение. Чтение, конечно, много помогало,— волновало, услаждало и мучило. Но по временам наскучало ужасно. Все-таки хотелось двигаться, и я вдруг погружался в темный, подземный, гадкий — не разврат, а развратишко. Страстишки во мне были острые, жгучие от всегдашней болезненной моей раздражительности. Порывы бывали истерические, со слезами и конвульсиями. Кроме чтения, идти было некуда,— то есть не было ничего, чтобы мог я тогда уважать в моем окружающем и к чему бы потянуло меня. Закипала, сверх того, тоска; являлась истерическая жажда противоречий, контрастов, и вот я и пускался развратничать. Я ведь вовсе не для оправдания моего сейчас столько наговорил... А впрочем, нет! соврал! Я именно себя оправдать хотел. Это я для себя, господа, заметочку делаю. Не хочу лгать. Слово дал.

Развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, грязно, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты и даже доходившим в такие минуты до проклятия. Я уж и тогда носил в душе моей подполье. Боялся я ужасно, чтоб меня как-нибудь не увидали, не встретили, не узнали. Ходил же я по разным весьма темным местам.

Раз, проходя ночью мимо одного трактиришка, я увидел в освещенное окно, как господа киями подрались у биллиарда и как одного из них в окно спустили. В другое время мне бы очень мерзко стало; но тогда такая вдруг минута нашла, что я этому спущенному господину позавидовал, и до того позавидовал, что даже в трактир вошел, в биллиардную: «Авось, дескать, и я подерусь, и меня тоже из окна спустят».

Я не был пьян, но что прикажете делать,— до такой ведь истерики может тоска заесть! Но ничем обошлось. Оказалось, что я и в окно-то прыгнуть не способен, и я ушел не подравшись.

Осадил меня там с первого же шагу один офицер.

Я стоял у биллиарда и по неведению заслонял дорогу, а тому надо было пройти; он взял меня за плечи и молча,— не предуведомив

и не объяснившись,— переставил меня с того места, где я стоял, на другое, а сам прошел как будто и не заметив. Я бы даже побои простил, но никак не мог простить того, что он меня переставил и так окончательно не заметил.

Черт знает что бы дал я тогда за настоящую, более правильную ссору, более приличную, более, так сказать, *литературную!* Со мной поступили как с мухой. Был этот офицер вершков десяти росту; я же человек низенький и истощенный. Ссора, впрочем, была в моих руках: стоило попротестовать, и, конечно, меня бы спустили в окно. Но я раздумал и предпочел... озлобленно стушеваться.

Вышел я из трактира смущенный и взволнованный, прямо домой, а на другой день продолжал мой развратик еще робче, забитее и грустнее, чем прежде, как будто со слезой на глазах,— а все-таки продолжал. Не думайте, впрочем, что я струсил офицера от трусости: я никогда не был трусом в душе, хотя беспрерывно трусил на деле, но — подождите смеяться, на это есть объяснение; у меня на все есть объяснение, будьте уверены.

О, если б этот офицер был из тех, которые соглашались выходить на дуэль! Но нет, это был именно из тех господ (увы! давно исчезнувших), которые предпочитали действовать киями или, как поручик Пирогов у Гоголя,— по начальству. На дуэль же не выходили, а с нашим братом, с штафиркой, считали бы дуэль во всяком случае неприличною,— да и вообще считали дуэль чем-то немыслимым, вольнодумным, французским, а сами обижали довольно, особенно в случае десяти вершков росту.

Струсил я тут не из трусости, а из безграничнейшего тщеславия. Я испугался не десяти вершков росту и не того, что меня больно прибьют и в окно спустят; физической храбрости, право, хватило бы; но нравственной храбрости недостало. Я испугался того, что меня все присутствующие, начиная с нахала маркера до последнего протухлого и угреватого чиновничишки, тут же увивавшегося, с воротником из сала,— не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и заговорю с ними языком литературным. Потому что о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести (point d'honneur), у нас до сих пор иначе ведь и разговаривать нельзя, как языком литературным. На обыкновенном языке о «пункте чести» не упоминается. Я вполне был уверен (чутье-то действительности, несмотря на весь романтизм!), что все они просто лопнут со смеха, а офицер не просто, то есть не безобидно, прибьет меня, а непременно коленком меня напинает, обведя таким манером вокруг биллиарда, и потом уж разве смилуется и в окно спустит. Разумеется, эта мизерная история только этим одним со мной не могла окончиться. Я часто потом встречал этого офицера на улице и хорошо его заприметил. Не знаю только, узнавал ли он меня.

Должно быть, нет; заключаю по некоторым признакам. Но я-то, я,— смотрел на него со злобою и ненавистью, и так продолжалось... несколько лет-с! Злоба моя даже укреплялась и разрасталась с годами. Сначала я, потихоньку, начал разузнавать об этом офицере. Трудно мне это было, потому что я ни с кем не был знаком. Но однажды кто-то окликнул его по фамилии на улице, когда я издали шел за ним, точно привязанный к нему, и вот я фамилию узнал. Другой раз я проследил его до самой его квартиры и за гривенник узнал у дворника, где он живет, в каком этаже, один или с кем-нибудь и т. д.— одним словом, все, что можно узнать от дворника. Раз поутру, хоть я и никогда не литературствовал, мне вдруг пришла мысль описать этого офицера в обличительном виде, в карикатуре, в виде повести. Я с наслаждением писал эту повесть. Я обличил, даже поклеветал; фамилию я так подделал сначала, что можно было тотчас узнать, но потом, по зрелом рассуждении, изменил и отослал в «Отечественные записки». Но тогда еще не было обличений, и мою повесть не напечатали. Мне это было очень досадно. Иногда злоба меня просто душила. Наконец я решился вызвать противника моего на дуэль. Я сочинил к нему прекрасное, привлекательное письмо, умоляя его передо мной извиниться; в случае же отказа довольно твердо намекал на дуэль. Письмо было так сочинено, что если б офицер чуть-чуть понимал «прекрасное и высокое», то непременно бы прибежал ко мне, чтоб броситься мне на шею и предложить свою дружбу. И как бы это было хорошо! Мы бы так зажили! так зажили! Он бы защищал меня своей сановитостью; я бы облагораживал его своей развитостью, ну и... идеями, и много кой-чего бы могло быть! Вообразите, что тогда прошло уже два года, как он меня обидел, и вызов мой был безобразнейшим анахронизмом, несмотря на всю ловкость письма моего, объяснявшего и прикрывавшего анахронизм. Но, слава богу (до сих пор благодарю Всевышнего со слезами), я письма моего не послал. Мороз по коже пробирает, как вспомню, что бы могло выйти, если б я послал. И вдруг... и вдруг я отомстил самым простейшим, самым гениальнейшим образом! Меня вдруг осенила пресветлая мысль. Иногда по праздникам я хаживал в четвертом часу на Невский и гулял по солнечной стороне. То есть я там вовсе не гулял, а испытывал бесчисленные мучения, унижения и разлития желчи; но того-то мне, верно, и надобно было. Я шмыгал, как вьюн, самым некрасивым образом, между прохожими, уступая беспрерывно дорогу то генералам, то кавалергардским и гусарским офицерам, то барыням; я чувствовал в эти минуты конвульсивные боли в сердце и жар в спине при одном представлении о мизере моего костюма, о мизере и пошлости моей шмыгающей фигурки. Это была мука-мученская, беспрерывное невыносимое унижение от мысли, переходившей в беспрерывное и непосред-

ственное ощущение того, что я муха, перед всем этим светом, гадкая, непотребная муха,— всех умнее, всех развитее, всех благороднее,— это уж само собою,— но беспрерывно всем уступающая муха, всеми униженная и всеми оскорбленная. Для чего я набирал на себя эту муку, для чего я ходил на Невский — не знаю? но меня просто *тянуло* туда при каждой возможности.

Тогда уже я начинал испытывать приливы тех наслаждений, о которых я уже говорил в первой главе. После же истории с офицером меня еще сильнее туда стало тянуть: на Невском-то я его и встречал наиболее, там-то я и любовался им. Он тоже ходил туда более в праздники. Он хоть тоже сворачивал с дороги перед генералами и перед особами сановитыми и тоже вилял, как вьюн, между ними, но таких, как наш брат, или даже почище нашего брата, он просто давил; шел прямо на них, как будто перед ним было пустое пространство, и ни в каком случае дороги не уступал. Я упивался моей злобой, на него глядя, и... озлобленно перед ним каждый раз сворачивал. Меня мучило, что я даже и на улице никак не могу быть с ним на равной ноге. «Отчего ты непременно первый сворачиваешь? — приставал я сам к себе, в бешеной истерике, проснувшись иногда часу в третьем ночи.— Отчего именно ты, а не он? Ведь для этого закона нет, ведь это нигде не написано? Ну пусть будет поровну, как обыкновенно бывает, когда деликатные люди встречаются: он уступит половину, и ты половину, вы и пройдете, взаимно уважая друг друга». Но так не было, и все-таки сворачивал я, а он даже и не замечал, что я ему уступаю. И вот удивительнейшая мысль вдруг осенила меня. «А что,— вздумал я,— что, если встретиться с ним и... не посторониться? Нарочно не посторониться, хоть бы даже пришлось толкнуть его: а, каково это будет?» Дерзкая мысль эта мало-помалу до того овладела мною, что не давала мне покоя. Мечтал я об этом беспрерывно, ужасно и нарочно чаще ходил на Невский, чтоб еще яснее себе представить, как я это сделаю, когда буду делать. Я был в восторге. Все более и более мне казалось это намерение и вероятным и возможным. «Разумеется, не совсем толкнуть,— думал я, уже заранее добрея от радости,— а так, просто не посторониться, состукнуться с ним, не так, чтобы очень больно, а так, плечо о плечо, ровно на столько, сколько определено приличием; так что на сколько он меня стукнет, на столько и я его стукну». Я решился наконец совершенно. Но приготовления взяли очень много времени. Первое то, что во время исполнения нужно было быть в более приличнейшем виде и позаботиться о костюме. «На всякий случай, если, например, завяжется публичная история (а публика-то тут суперфлю: графиня ходит, князь Д. ходит, вся литература ходит), нужно быть хорошо одетым; это внушает и прямо поставит нас некоторым образом на равную ногу в глазах высшего общества». С этою

целью я выпросил вперед жалованья и купил черные перчатки и порядочную шляпу у Чуркина. Черные перчатки казались мне и солиднее, и бонтоннее, чем лимонные, на которые я посягал сначала. «Цвет слишком резкий, слишком как будто хочет выставиться человек», и я не взял лимонных. Хорошую рубашку, с белыми костяными запонками, я уж давно приготовил; но задержала очень шинель. Сама-то по себе шинель моя очень была недурна, грела; но она была на вате, а воротник был енотовый, что составляло уже верх лакейства. Надо было переменить воротник во что бы ни стало и завести бобрик, вроде как у офицеров. Для этого я стал ходить по Гостиному двору и после нескольких попыток нацелился на один дешевый немецкий бобрик. Эти немецкие бобрики хоть и очень скоро занашиваются и принимают мизернейший вид, но сначала, с обновки, смотрят даже и очень прилично; а ведь мне только для одного разу и надо было. Спросил я цену: все-таки было дорого. По основательном рассуждении я решился продать мой енотовый воротник. Недостающую же и весьма для меня значительную сумму решился выпросить взаймы у Антона Антоныча Сеточкина, моего столоначальника, человека смиренного, но серьезного и положительного, никому не дававшего взаймы денег, но которому я был когда-то, при вступлении в должность, особенно рекомендован определившим меня на службу значительным лицом. Мучился я ужасно. Попросить денег у Антона Антоныча мне казалось чудовищным и постыдным. Я даже две-три ночи не спал, да и вообще я тогда мало спал, был в лихорадке; сердце у меня както смутно замирало или вдруг начинало прыгать, прыгать, прыгать!.. Антон Антонович сначала удивился, потом поморщился, потом рассудил и все-таки дал взаймы, взяв с меня расписку на право получения данных заимообразно денег через две недели из жалованья. Таким образом, все было наконец готово; красивый бобрик воцарился на месте паскудного енота, и я начал помаленьку приступать к делу. Нельзя же было решиться с первого разу, зря; надо было это дело обделать умеючи, именно помаленьку. Но признаюсь, что после многократных попыток я даже было начал отчаиваться: не состукиваемся никак — да и только! Уж я ль приготовлялся, я ль не намеревался, — кажется, вот-вот сейчас состукнемся, смотрю — и опять я уступил дорогу, а он и прошел, не заметив меня. Я даже молитвы читал, подходя к нему, чтоб Бог вселил в меня решимость. Один раз я было и совсем уже решился, но кончилось тем, что только попал ему под ноги, потому что в самое последнее мгновение, на двухвершковом каком-нибудь расстоянии, не хватило духу. Он преспокойно прошел по мне, и я, как мячик, отлетел в сторону. В эту ночь я был опять болен в лихорадке и бредил. И вдруг все закончилось как нельзя лучше. Накануне ночью я окончательно положил не исполнять моего пагубного

намерения и все оставить втуне и с этою целью в последний раз я вышел на Невский, чтобы только так посмотреть,— как это я оставлю все это втуне? Вдруг, в трех шагах от врага моего, я неожиданно решился, зажмурил глаза и — мы плотно стукнулись плечо о плечо! Я не уступил ни вершка и прошел мимо совершенно на равной ноге! Он даже и не оглянулся и сделал вид, что не заметил; но он только вид сделал, я уверен в этом. Я до сих пор в этом уверен! Разумеется, мне досталось больше; он был сильнее, но не в том было дело. Дело было в том, что я достиг цели, поддержал достоинство, не уступил ни на шаг и публично поставил себя с ним на равной социальной ноге. Воротился я домой совершенно отмщенный за все. Я был в восторге. Я торжествовал и пел итальянские арии. Разумеется, я вам не буду описывать того, что произошло со мной через три дня; если читали мою первую главу «Подполье», то можете сами догадаться. Офицера потом куда-то перевели; лет уже четырнадцать я его теперь не видал. Что-то он теперь, мой голубчик? Кого давит?

II

Но кончалась полоса моего развратика, и мне становилось ужасно тошно. Наступало раскаяние, я его гнал: слишком уж тошнило. Мало-помалу я, однако же, и к этому привыкал. Я ко всему привыкал, то есть не то что привыкал, а как-то добровольно соглашался переносить. Но у меня был выход, все примирявший, это — спасаться во «все прекрасное и высокое», конечно, в мечтах. Мечтал я ужасно, мечтал по три месяца сряду, забившись в свой угол, и уж поверьте, что в эти мгновения я не похож был на того господина, который, в смятении куриного сердца, пришивал к воротнику своей шинели немецкий бобрик. Я делался вдруг героем. Моего десятивершкового поручика я бы даже и с визитом к себе тогда не пустил. Я даже и представить его себе не мог тогда. Что такое были мои мечты и как мог я ими довольствоваться — об этом трудно сказать теперь, но тогда я этим довольствовался. Впрочем, я ведь и теперь этим отчасти довольствуюсь. Мечты особенно слаще и сильнее приходили ко мне после развратика, приходили с раскаянием и слезами, с проклятиями и восторгами. Бывали мгновения такого положительного упоения, такого счастья, что даже малейшей насмешки внутри меня не ощущалось, ей-богу. Была вера, надежда, любовь. То-то и есть, что я слепо верил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством все это вдруг раздвинется, расширится; вдруг представится горизонт соответственной деятельности, благотворной, прекрасной и, главное, *совсем готовой* (какой именно — я никогда не знал, но, главное,— совсем готовой), и вот я выступлю вдруг на свет бо-

жий, чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке. Второстепенной роли я и понять не мог и вот именно потому-то в действительности очень спокойно занимал последнюю. Либо герой, либо грязь, средины не было. Это-то меня и сгубило, потому что в грязи я утешал себя тем, что в другое время бываю герой, а герой прикрывал собой грязь: обыкновенному, дескать, человеку стыдно грязниться, а герой слишком высок, чтоб совсем загрязниться, следственно, можно грязниться. Замечательно, что эти приливы «всего прекрасного и высокого» приходили ко мне и во время развратика, и именно тогда, когда я уже на самом дне находился, приходили так, отдельными вспышечками, как будто напоминая о себе, но не истребляли, однако ж, развратика своим появлением; напротив, как будто поджившляли его контрастом и приходили ровно на столько, сколько было нужно для хорошего соуса. Соус тут состоял из противоречия и страдания, из мучительного внутреннего анализа, и все эти мученья и мученьица и придавали какую-то пикантность, даже смысл моему развратику,— одним словом, исполняли вполне должность хорошего соуса. Все это даже было не без некоторой глубины. Да и мог ли бы я согласиться на простой, пошлый, непосредственный, писарский развратишко и вынести на себе всю эту грязь! Что ж бы могло тогда в ней прельстить меня и выманить ночью на улицу? Нет-с, у меня была благородная лазейка на все...

Но сколько любви, господи, сколько любви переживал я, бывало, в этих мечтах моих, в этих «спасеньях во все прекрасное и высокое»: хоть и фантастической любви, хоть и никогда ни к чему человеческому на деле не прилагавшейся, но до того было ее много, этой любви, что потом, на деле, уж и потребности даже не ощущалось ее прилагать: излишняя б уж это роскошь была. Все, впрочем, преблагополучно всегда оканчивалось ленивым и упоительным переходом к искусству, то есть к прекрасным формам бытия, совсем готовым, сильно украденным у поэтов и романистов и приспособленным ко всевозможным услугам и требованиям. Я, например, над всеми торжествую; все, разумеется, во прахе и принуждены добровольно признать все мои совершенства, а я всех их прощаю. Я влюбляюсь, будучи знаменитым поэтом и камергером; получаю несметные миллионы и тотчас же жертвую их на род человеческий и тут же исповедываюсь перед всем народом в моих позорах, которые, разумеется, не просто позоры, а заключают в себе чрезвычайно много «прекрасного и высокого», чего-то манфредовского. Все плачут и целуют меня (иначе что же бы они были за болваны), а я иду босой и голодный проповедовать новые идеи и разбиваю ретроградов под Аустерлицем. Затем играется марш, выдается амнистия, Папа соглашается выехать из Рима в Бразилию; затем бал для всей Италии на вилле Боргезе,

что на берегу озера Комо, так как озеро Комо нарочно переносится для этого случая в Рим; затем сцена в кустах и т. д. и т. д. — будто не знаете? Вы скажете, что по́шло и подло выводить все это теперь на рынок, после стольких упоений и слез, в которых я сам признался. Отчего же подло-с? Неужели вы думаете, что я стыжусь всего этого и что все это было глупее хотя чего бы то ни было в вашей, господа, жизни? И к тому же поверьте, что у меня кой-что было вовсе недурно составлено... Не все же происходило на озере Комо. А впрочем, вы правы; действительно, и по́шло и подло. А подлее всего то, что я теперь начал перед вами оправдываться. А еще подлее то, что я делаю теперь это замечание. Да довольно, впрочем, а то ведь никогда и не кончишь: все будет одно другого подлее...

Больше трех месяцев я никак не в состоянии был сряду мечтать и начинал ощущать непреодолимую потребность ринуться в общество. Ринуться в общество означало у меня сходить в гости к моему столоначальнику, Антону Антонычу Сеточкину. Это был единственный мой постоянный знакомый во всю мою жизнь, и я даже сам удивляюсь теперь этому обстоятельству. Но и к нему я ходил разве только тогда, когда уж наступала такая полоса, а мечты мои доходили до такого счастия, что надо было непременно и немедленно обняться с людьми и со всем человечеством; а для этого надо было иметь хоть одного человека в наличности, действительно существующего. К Антону Антонычу надо было, впрочем, являться по вторникам (его день), следственно, и подгонять потребность обняться со всем человечеством надо было всегда ко вторнику. Помещался этот Антон Антоныч у Пяти углов, в четвертом этаже и в четырех комнатках, низеньких и мал мала меньше, имевших самый экономический и желтенький вид. Были у него две дочери и их тетка, разливавшая чай. Дочкам — одной было тринадцать, а другой четырнадцать лет, обе были курносенькие, и я их ужасно конфузился, потому что они все шептались про себя и хихикали. Хозяин сидел обыкновенно в кабинете, на кожаном диване, перед столом, вместе с каким-нибудь седым гостем, чиновником из нашего или даже из постороннего ведомства. Больше двух-трех гостей, и все тех же самых, я никогда там не видывал. Толковали про акциз, про торги в Сенате, о жалованье, о производстве, о его превосходительстве, о средстве нравиться и проч., и проч. Я имел терпение высиживать подле этих людей дураком часа по четыре и их слушать, сам не смея и не умея ни об чем с ними заговорить. Я тупел, по нескольку раз принимался потеть, надо мной носился паралич; но это было хорошо и полезно. Возвратясь домой, я на некоторое время откладывал мое желание обняться со всем человечеством.

Был, впрочем, у меня и еще как будто один знакомый, Симонов, бывший мой школьный товарищ. Школьных товарищей у

меня было, пожалуй, и много в Петербурге, но я с ними не водился и даже перестал на улице кланяться. Я, может быть, и на службу-то в другое ведомство перешел для того, чтоб не быть вместе с ними и разом отрезать со всем ненавистным моим детством. Проклятие на эту школу, на эти ужасные каторжные годы! Одним словом, с товарищами я тотчас же разошелся, как вышел на волю. Оставались два-три человека, с которыми я еще кланялся, встречаясь. В том числе был и Симонов, который в школе у нас ничем не отличался, был ровен и тих, но в нем я отличил некоторую независимость характера и даже честность. Даже не думаю, что он был очень уж ограничен. У меня с ним бывали когда-то довольно светлые минуты, но недолго продолжались и как-то вдруг задернулись туманом. Он, видимо, тяготился этими воспоминаниями и, кажется, все боялся, что я впаду в прежний тон. Я подозревал, что я был ему очень противен, но все-таки ходил к нему, не уверенный в том наверно.

Вот однажды, в четверг, не выдержав моего одиночества и зная, что в четверг у Антона Антоныча дверь заперта, я вспомнил о Симонове. Подымаясь к нему в четвертый этаж, я именно думал о том, что этот господин тяготится мною и что напрасно я это иду. Но так как кончалось всегда тем, что подобные соображения, как нарочно, еще более подбивали меня лезть в двусмысленное положение, то я и вошел. Был почти год, как я последний раз перед тем видел Симонова.

III

Я застал у него еще двух моих школьных товарищей. Они толковали, по-видимому, об одном важном деле. На приход мой ни один из них не обратил почти никакого внимания, что было даже странно, потому что я не видался с ними уж годы. Очевидно, меня считали чем-то вроде самой обыкновенной мухи. Так не третировали меня даже в школе, хотя все меня там ненавидели. Я, конечно, понимал, что они должны были презирать меня теперь за неуспех моей служебной карьеры и за то, что я уж очень опустился, ходил в дурном платье и проч.— что в их глазах составляло вывеску моей неспособности и мелкого значения. Но я все-таки не ожидал до такой степени презрения. Симонов даже удивился моему приходу. Он и прежде всегда как будто удивлялся моему приходу. Все это меня озадачило; я сел в некоторой тоске и начал слушать, о чем они толковали.

Шла речь серьезная и даже горячая о прощальном обеде, который хотели устроить эти господа завтра же, сообща, отъезжавшему далеко в губернию их товарищу Зверкову, служившему офицером. Мосье Зверков был все время и моим школьным товари-

щем. Я особенно стал его ненавидеть с высших классов. В низших классах он был только хорошенький, резвый мальчик, которого все любили. Я, впрочем, ненавидел его и в низших классах, и именно за то, что он был хорошенький и резвый мальчик. Учился он всегда постоянно плохо и чем дальше, тем хуже; однако ж вышел из школы удачно, потому что имел покровительство. В последний год его в нашей школе ему досталось наследство, двести душ, а так как у нас все почти были бедные, то он даже перед нами стал фанфаронить. Это был пошляк в высшей степени, но, однако ж, добрый малый, даже и тогда, когда фанфаронил. У нас же, несмотря на наружные, фантастические и фразерские формы чести и гонора, все, кроме очень немногих, даже увивались перед Зверковым, чем более он фанфаронил. И не из выгоды какой-нибудь увивались, а так, из-за того, что он фаворизированный дарами природы человек. Притом же как-то принято было у нас считать Зверкова специалистом по части ловкости и хороших манер. Последнее меня особенно бесило. Я ненавидел резкий, несомневающийся в себе звук его голоса, обожание собственных своих острот, которые у него выходили ужасно глупы, хотя он был и смел на язык; я ненавидел его красивое, но глупенькое лицо (на которое я бы, впрочем, променял с охотою свое *умное)* и развязно-офицерские приемы сороковых годов. Я ненавидел то, что он рассказывал о своих будущих успехах с женщинами (он не решался начинать с женщинами, не имея еще офицерских эполет, и ждал их с нетерпением) и о том, как он поминутно будет выходить на дуэли. Помню, как я, всегда молчаливый, вдруг сцепился с Зверковым, когда он, толкуя раз в свободное время с товарищами о будущей клубничке и разыгравшись, наконец, как молодой щенок на солнце, вдруг объявил, что ни одной деревенской девы в своей деревне не оставит без внимания, что это — droit de seigneur [1], а мужиков, если осмелятся протестовать, всех пересечет и всем им, бородатым канальям, вдвое наложит оброку. Наши хамы аплодировали, я же сцепился и вовсе не из жалости к девам и их отцам, а просто за то, что такой козявке так аплодировали. Я тогда одолел, но Зверков, хоть и глуп был, но был весел и дерзок, а потому отсмеялся и даже так, что я, по правде, не совсем и одолел: смех остался на его стороне. Он потом еще несколько раз одолевал меня, но без злобы, а как-то так, шутя, мимоходом, смеясь. Я злобно и презрительно не отвечал ему. По выпуске он было сделал ко мне шаг; я не очень противился, потому что мне это польстило; но мы скоро и естественно разошлись. Потом я слыхал об его казарменно-поручичьих успехах, о том, как он *кутит.* Потом пошли другие слухи — о том, как он *успевает* по службе. На улице он мне уже не кланялся, и я

[1] право владельца (*фр.*).

подозревал, что он боится компрометировать себя, раскланиваясь с такой незначительной, как я, личностью. Видел я его тоже один раз в театре, в третьем ярусе, уже в аксельбантах. Он увивался и изгибался перед дочками одного древнего генерала. Года в три он очень опустился, хотя был по-прежнему довольно красив и ловок; как-то отек, стал жиреть; видно было, что к тридцати годам он совершенно обрюзгнет. Вот этому-то уезжавшему, наконец, Зверкову и хотели дать обед наши товарищи. Они постоянно все три года водились с ним, хотя сами, внутренно, не считали себя с ним на равной ноге, я уверен в этом.

Из двух гостей Симонова один был Ферфичкин, из русских немцев,— маленький ростом, с обезьяньим лицом, всех пересмеивающий глупец, злейший враг мой еще с низших классов,— подлый, дерзкий, фанфаронишка и игравший в самую щекотливую амбициозность, хотя, разумеется, трусишка в душе. Он был из тех почитателей Зверкова, которые заигрывали с ним из видов и часто занимали у него деньги. Другой гость Симонова, Трудолюбов, была личность незамечательная, военный парень, высокого роста, с холодною физиономией, довольно честный, но преклонявшийся перед всяким успехом и способный рассуждать только об одном производстве. Зверкову он доводился каким-то дальним родственником, и это, глупо сказать, придавало ему между нами некоторое значение. Меня он постоянно считал ни во что; обращался же хоть не совсем вежливо, но сносно.

— Что ж, коль по семи рублей,— заговорил Трудолюбов,— нас трое, двадцать один *рупь*,— можно хорошо пообедать. Зверков, конечно, не платит.

— Уж разумеется, коль мы же его приглашаем,— решил Симонов.

— Неужели ж вы думаете,— заносчиво и с пылкостию ввязался Ферфичкин, точно нахал лакей, хвастающий звездами своего генерала барина,— неужели вы думаете, что Зверков нас пустит одних платить? Из деликатности примет, но зато от себя *полдюжины* выставит.

— Ну, куда нам четверым полдюжины,— заметил Трудолюбов, обратив внимание только на полдюжину.

— Так, трое, с Зверковым четверо, двадцать один рубль в Hôtel de Paris, завтра в пять часов,— окончательно заключил Симонов, которого выбрали распорядителем.

— Как же двадцать один? — сказал я в некотором волнении, даже, по-видимому, обидевшись,— если считать со мной, так будет не двадцать один, а двадцать восемь рублей.

Мне показалось, что вдруг и так неожиданно предложить себя будет даже очень красиво, и они все будут разом побеждены и посмотрят на меня с уважением.

— Разве вы тоже хотите? — с неудовольствием заметил Симонов, как-то избегая глядеть на меня. Он знал меня наизусть. Меня взбесило, что он знает меня наизусть.

— Почему же-с? Я ведь, кажется, тоже товарищ, и, признаюсь, мне даже обидно, что меня обошли,— заклокотал было я опять.

— А где вас было искать? — грубо ввязался Ферфичкин.

— Вы всегда были не в ладах с Зверковым,— прибавил Трудолюбов нахмурившись. Но я уж ухватился и не выпускал.

— Мне кажется, об этом никто не вправе судить,— возразил я с дрожью в голосе, точно и бог знает что случилось.— Именно потому-то я, может быть, теперь и хочу, что прежде был не в ладах.

— Ну, кто вас поймет... возвышенности-то эти...— усмехнулся Трудолюбов.

— Вас запишут,— решил, обращаясь ко мне, Симонов,— завтра в пять часов, в Hôtel de Paris; не ошибитесь.

— Деньги-то! — начал было Ферфичкин вполголоса, кивая на меня Симонову, но осекся, потому что даже Симонов сконфузился.

— Довольно,— сказал Трудолюбов, вставая.— Если ему так уж очень захотелось, пусть придет.

— Да ведь у нас кружок свой, приятельский,— злился Ферфичкин, тоже берясь за шляпу.— Это не официальное собрание. Мы вас, может быть, и совсем не хотим...

Они ушли; Ферфичкин, уходя, мне совсем не поклонился, Трудолюбов едва кивнул, не глядя. Симонов, с которым я остался с глазу на глаз, был в каком-то досадливом недоумении и странно посмотрел на меня. Он не садился и меня не приглашал.

— Гм... да... так завтра. Деньги-то вы отдадите теперь? Я это, чтоб верно знать,— пробормотал он сконфузившись.

Я вспыхнул, но, вспыхивая, вспомнил, что с незапамятных времен должен был Симонову пятнадцать рублей, чего, впрочем, и не забывал никогда, но и не отдавал никогда.

— Согласитесь сами, Симонов, что я не мог знать, входя сюда... и мне очень досадно, что я забыл...

— Хорошо, хорошо, все равно. Расплатитесь завтра за обедом. Я ведь только, чтоб знать... Вы, пожалуйста...

Он осекся и стал ходить по комнате с еще большей досадой. Шагая, он начал становиться на каблуки и при этом сильнее топать.

— Я вас не задерживаю ли? — спросил я после двухминутного молчанья.

— О нет! — встрепенулся он вдруг,— то есть, по правде,— да. Видите ли, мне еще бы надо зайти... Тут недалеко...— прибавил он каким-то извиняющимся голосом и отчасти стыдясь.

— Ах, боже мой! Что же вы не ска-же-те! — вскрикнул я, схватив фуражку, с удивительно, впрочем, развязным видом, бог знает откуда налетевшим.

— Это ведь недалеко... Тут два шага...— повторял Симонов, провожая меня до передней с суетливым видом, который ему вовсе не шел.— Так завтра в пять часов ровно! — крикнул он мне на лестницу: очень уж он был доволен, что я ухожу. Я же был в бешенстве.

— Ведь дернуло же, дернуло же выскочить! — скрежетал я зубами, шагая по улице,— и этакому подлецу, поросенку, Зверкову! Разумеется, не надо ехать; разумеется, наплевать: что я, связан, что ли? Завтра же уведомлю Симонова по городской почте...

Но потому-то я и бесился, что наверно знал, что поеду; что нарочно поеду; и чем бестактнее, чем неприличнее будет мне ехать, тем скорее и поеду.

И даже препятствие положительное было не ехать: денег не было. Всего-навсего лежало у меня девять рублей. Но из них семь надо было отдать завтра же месячного жалованья Аполлону, моему слуге, который жил у меня за семь рублей на своих харчах.

Не выдать же было невозможно, судя по характеру Аполлона. Но об этой каналье, об этой язве моей, я когда-нибудь после поговорю.

Впрочем, я ведь знал, что все-таки не выдам, а непременно поеду.

В эту ночь снились мне безобразнейшие сны. Немудрено: весь вечер давили меня воспоминания о каторжных годах моей школьной жизни, и я не мог от них отвязаться. Меня сунули в эту школу мои дальние родственники, от которых я зависел и о которых с тех пор не имел никакого понятия,— сунули сиротливого, уже забитого их попреками, уже задумывающегося, молчаливого и дико на все озиравшегося. Товарищи встретили меня злобными и безжалостными насмешками за то, что я ни на кого из них не был похож. Но я не мог насмешек переносить; я не мог так дешево уживаться, как они уживались друг с другом. Я возненавидел их тотчас и заключился от всех в пугливую, уязвленную и непомерную гордость. Грубость их меня возмутила. Они цинически смеялись над моим лицом, над моей мешковатой фигурой; а между тем какие глупые у них самих были лица! В нашей школе выражения лиц както особенно глупели и перерождались. Сколько прекрасных собой детей поступало к нам. Чрез несколько лет на них и глядеть становилось противно. Еще в шестнадцать лет я угрюмо на них дивился; меня уж и тогда изумляли мелочь их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров. Они таких необходимых вещей не понимали, такими внушающими, поражающими предметами не

интересовались, что поневоле я стал считать их ниже себя. Не оскорбленное тщеславие подбивало меня к тому, и, ради бога, не вылезайте ко мне с приевшимися до тошноты казенными возражениями: «что я только мечтал, а они уж и тогда действительную жизнь понимали». Ничего они не понимали, никакой действительной жизни, и, клянусь, это-то и возмущало меня в них наиболее. Напротив, самую очевидную, режущую глаза действительность они принимали фантастически глупо и уже тогда привыкли поклоняться одному успеху. Все, что было справедливо, но унижено и забито, над тем они жестокосердно и позорно смеялись. Чин почитали за ум; в шестнадцать лет уже толковали о теплых местечках. Конечно, много тут было от глупости, от дурного примера, беспрерывно окружавшего их детство и отрочество. Развратны они были до уродливости. Разумеется, и тут было больше внешности, больше напускной циничности; разумеется, юность и некоторая свежесть мелькали и в них даже из-за разврата; но непривлекательна была в них даже и свежесть и проявлялась в каком-то ерничестве. Я ненавидел их ужасно, хотя, пожалуй, был их же хуже. Они мне тем же платили и не скрывали своего ко мне омерзения. Но я уже не желал их любви; напротив, я постоянно жаждал их унижения. Чтоб избавить себя от их насмешек, я нарочно начал как можно лучше учиться и пробился в число самых первых. Это им внушило. К тому же все они начали помаленьку понимать, что я уже читал такие книги, которых они не могли читать, и понимал такие вещи (не входившие в состав нашего специального курса), о которых они и не слыхивали. Дико и насмешливо смотрели они на это, но нравственно подчинялись, тем более что даже учителя обращали на меня внимание по этому поводу. Насмешки прекратились, но осталась неприязнь, и установились холодные, натянутые отношения. Под конец я сам не выдержал: с летами развивалась потребность в людях, в друзьях. Я попробовал было начать сближаться с иными; но всегда это сближение выходило неестественно и так само собой и оканчивалось. Был у меня раз както и друг. Но я уже был деспот в душе; я хотел неограниченно властвовать над его душой; я хотел вселить в него презрение к окружавшей его среде; я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбой; я доводил его до слез, до судорог; он был наивная и отдающаяся душа; но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя,— точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения. Но всех я не мог победить; мой друг был тоже ни на одного из них не похож и составлял самое редкое исключение. Первым делом моим по выходе из школы было оставить ту специальную службу, к которой я предназначался, чтобы все нити порвать, проклясть

прошлое и прахом его посыпать... И черт знает зачем после того я потащился к этому Симонову!..

Утром я рано схватился с постели, вскочил с волнением, точно все это сейчас же и начнет совершаться. Но я верил, что наступает и непременно наступит сегодня же какой-то радикальный перелом в моей жизни. С непривычки, что ли, но мне всю жизнь, при всяком внешнем, хотя бы мельчайшем событии, все казалось, что вот сейчас и наступит какой-нибудь радикальный перелом в моей жизни. Я, впрочем, отправился в должность по-обыкновенному, но улизнул домой двумя часами раньше, чтоб приготовиться. Главное, думал я, надо приехать не первым, а то подумают, что я уж очень обрадовался. Но таких главных вещей были тысячи, и все они волновали меня до бессилия. Я собственноручно еще раз вычистил мои сапоги; Аполлон ни за что на свете не стал бы чистить их два раза в день, находя, что это не порядок. Чистил же я, украв щетки из передней, чтоб он как-нибудь не заметил и не стал потом презирать меня. Затем я подробно осмотрел мое платье и нашел, что все старо, потерто, заношено. Слишком я уж обнеряшился. Вицмундир, пожалуй, был исправен, но не в вицмундире же было ехать обедать. А главное, на панталонах, на самой коленке было огромное желтое пятно. Я предчувствовал, что одно уже это пятно отнимет у меня девять десятых собственного достоинства. Знал тоже я, что очень низко так думать. «Но теперь не до думанья; теперь наступает действительность»,— думал я и падал духом. Знал я тоже отлично, тогда же, что все эти факты чудовищно преувеличиваю; но что же было делать: совладать я с собой уж не мог, и меня трясла лихорадка. С отчаянием представлял я себе, как свысока и холодно встретит меня этот «подлец» Зверков; с каким тупым, ничем неотразимым презрением будет смотреть на меня тупица Трудолюбов; как скверно и дерзко будет подхихикивать на мой счет козявка Ферфичкин, чтоб подслужиться Зверкову; как отлично поймет про себя все это Симонов и как будет презирать меня за низость моего тщеславия и малодушия, и, главное,— как все это будет мизерно, не *литературно,* обыденно. Конечно, всего бы лучше совсем не ехать. Но это-то уж было больше всего невозможно: уж когда меня начинало тянуть, так уж я так и втягивался весь, с головой. Я бы всю жизнь дразнил себя потом: «А что, струсил, струсил *действительности,* струсил!» Напротив, мне страстно хотелось доказать всей этой «шушере», что я вовсе не такой трус, как я сам себе представляю. Мало того: в самом сильнейшем пароксизме трусливой лихорадки мне мечталось одержать верх, победить, увлечь, заставить их полюбить себя — ну хоть «за возвышенность мыслей и несомненное остроумие». Они бросят Зверкова, он будет сидеть в стороне, молчать и стыдиться, а я раздавлю Зверкова. Потом, пожалуй, помирюсь с ним и выпью на *ты,*

но что всего было злее и обиднее для меня, это, что я тогда же знал, знал вполне и наверно, что ничего мне этого, в сущности, не надо, что, в сущности, я вовсе не желаю их раздавливать, покорять, привлекать и что за весь-то результат, если б только я и достиг его, я сам, первый, гроша бы не дал. О, как я молил Бога, чтоб уж прошел поскорее этот день! В невыразимой тоске я подходил к окну, отворял форточку и вглядывался в мутную мглу густо падающего мокрого снега... Наконец на моих дрянных стенных часишках прошипело пять. Я схватил шапку и, стараясь не взглянуть на Аполлона,— который еще с утра все ждал от меня выдачи жалованья, но по гордости своей не хотел заговорить первый,— скользнул мимо него из дверей и на лихаче, которого нарочно нанял за последний полтинник, подкатил барином к Hôtel de Paris.

IV

Я еще накануне знал, что приеду первый. Но уж дело было не в первенстве.

Их не только никого не было, но я даже едва отыскал нашу комнату. На столе было еще не совсем накрыто. Что же это значило? После многих расспросов я добился наконец от слуг, что обед заказан к шести часам, а не к пяти. Это подтвердили и в буфете. Даже стыдно стало расспрашивать. Было еще только двадцать пять минут шестого. Если они переменили час, то во всяком случае должны же были известить; на то городская почта, а не подвергать меня «позору» и перед собой и... и хоть перед слугами. Я сел; слуга стал накрывать; при нем стало как-то еще обиднее. К шести часам, кроме горевших ламп, в комнату внесены были свечи. Слуга не подумал, однако ж, внести их тотчас же, как я приехал. В соседней комнате обедали, на разных столах, два какие-то мрачных посетителя, сердитые с виду и молчавшие. В одной из дальних комнат было очень шумно; даже кричали; слышен был хохот целой ватаги людей; слышались какие-то скверные французские взвизги: обед был с дамами. Одним словом, было очень тошно. Редко я проводил более скверную минуту, так что когда они, ровно в шесть часов, явились все разом, я, на первый миг, обрадовался им как каким-то освободителям и чуть не забыл, что обязан смотреть обиженным.

Зверков вошел впереди всех, видимо предводительствуя. И он и все они смеялись; но, увидя меня, Зверков приосанился, подошел неторопливо, несколько перегибаясь в талье, точно кокетничая, и подал мне руку, ласково, но не очень, с какой-то осторожной, чуть не генеральской вежливостию, точно, подавая руку, оберегал себя от чего-то. Я воображал, напротив, что он, тотчас же как войдет, захохочет своим прежним хохотом, тоненьким и со

взвизгами, и с первых же слов пойдут плоские его шутки и остроты. К ним-то я и готовился еще с вечера, но никак уж не ожидал я такого свысока, такой превосходительной ласки. Стало быть, он уж вполне считал себя теперь неизмеримо выше меня во всех отношениях? Если б он только обидеть меня хотел этим генеральством, то ничего еще, думал я; я бы как-нибудь там отплевался. Но что, если и в самом деле, без всякого желанья обидеть, в его баранью башку серьезно заползла идейка, что он неизмеримо выше меня и может на меня смотреть не иначе, как только с покровительством? От одного этого предположения я уже стал задыхаться.

— Я с удивлением узнал о вашем желании участвовать с нами,— начал он, сюсюкивая и пришепетывая, и растягивая слова, чего прежде с ним не бывало.— Мы с вами как-то все не встречались. Вы нас дичитесь. Напрасно. Мы не так страшны, как вам кажется. Ну-с, во всяком случае рад во-зоб-но-вить...

И он небрежно повернулся положить на окно шляпу.

— Давно ждете? — спросил Трудолюбов.

— Я приехал ровно в пять часов, как мне вчера назначили,— отвечал я громко и с раздражением, обещавшим близкий взрыв.

— Разве ты не дал ему знать, что переменили часы? — оборотился Трудолюбов к Симонову.

— Не дал. Забыл,— отвечал тот, но без всякого раскаяния и, даже не извинившись передо мной, пошел распоряжаться закуской.

— Так вы здесь уж час, ах, бедный! — вскрикнул насмешливо Зверков, потому что, по его понятиям, это действительно должно было быть ужасно смешно. За ним, подленьким, звонким, как у собачонки, голоском закатился подлец Ферфичкин. Очень уж и ему показалось смешно и конфузно мое положение.

— Это вовсе не смешно! — закричал я Ферфичкину, раздражаясь все более и более,— виноваты другие, а не я. Мне пренебрегли дать знать. Это-это-это... просто нелепо.

— Не только нелепо, а и еще что-нибудь,— проворчал Трудолюбов, наивно за меня заступаясь.— Вы уж слишком мягки. Просто невежливость. Конечно, не умышленная. И как это Симонов... гм!

— Если б со мной этак сыграли,— заметил Ферфичкин,— я бы...

— Да вы бы велели себе что-нибудь подать,— перебил Зверков,— или просто спросили бы обедать не дожидаясь.

— Согласитесь, что я бы мог это сделать без всякого позволения,— отрезал я.— Если я ждал, то...

— Садимся, господа,— закричал вошедший Симонов,— все готово; за шампанское отвечаю, отлично заморожено... Ведь я

вашей квартиры не знал, где ж вас отыскивать? — оборотился он вдруг ко мне, но опять как-то не глядя на меня. Очевидно, он имел что-то против. Знать, после вчерашнего надумался.

Все сели; сел и я. Стол был круглый. По левую руку от меня пришелся Трудолюбов, по правую Симонов. Зверков сел напротив; Ферфичкин подле него, между ним и Трудолюбовым.

— Ска-а-ажите, вы... в департаменте? — продолжал заниматься мною Зверков. Видя, что я сконфужен, он серьезно вообразил, что меня надо обласкать и, так сказать, ободрить. «Что ж он, хочет, что ли, чтоб я в него бутылкой пустил», — подумал я в бешенстве. Раздражался я, с непривычки, как-то неестественно скоро.

— В ...й канцелярии, — ответил я отрывисто, глядя в тарелку.

— И... ввам ввыгодно? Ска-ажите, что вас паанудило оставить прежнюю службу?

— То и па-а-анудило, что захотелось оставить прежнюю службу, — протянул я втрое больше, уже почти не владея собою. Ферфичкин фыркнул. Симонов иронически посмотрел на меня; Трудолюбов остановился есть и стал меня рассматривать с любопытством.

Зверкова покоробило, но он не хотел заметить.

— Ну-у-у, а как ваше содержание?

— Какое это содержание?

— То есть ж-жалованье?

— Да что вы меня экзаменуете!

Впрочем, я тут же и назвал, сколько получаю жалованья. Я ужасно краснел.

— Небогато, — важно заметил Зверков.

— Да-с, нельзя в кафе-ресторанах обедать! — нагло прибавил Ферфичкин.

— По-моему, так даже просто бедно, — серьезно заметил Трудолюбов.

— И как вы похудели, как переменились... с тех пор... — прибавил Зверков, уже не без яду, с каким-то нахальным сожалением, рассматривая меня и мой костюм.

— Да полно конфузить-то, — хихикая, вскрикнул Ферфичкин.

— Милостивый государь, знайте, что я не конфужусь, — прорвался я наконец, — слышите-с! Я обедаю здесь, «в кафе-ресторане», на свои деньги, на свои, а не на чужие, заметьте это, monsieur Ферфичкин.

— Ка-ак! кто ж это здесь не на свои обедает? Вы как будто... — вцепился Ферфичкин, покраснев, как рак, и с остервенением смотря мне в глаза.

— Та-ак, — отвечал я, чувствуя, что далеко зашел, — и полагаю, что лучше бы нам заняться разговором поумней.

— Вы, кажется, намереваетесь ваш ум показывать?

— Не беспокойтесь, это было бы совершенно здесь лишнее.

— Да вы это что, сударь вы мой, раскудахтались — а? вы не с ума ли уж спятили, в вашем *л*епартаменте?

— Довольно, господа, довольно! — закричал всевластно Зверков.

— Как это глупо! — проворчал Симонов.

— Действительно, глупо, мы собрались в дружеской компании, чтоб проводить в вояж доброго приятеля, а вы считаетесь,— заговорил Трудолюбов, грубо обращаясь ко мне одному.— Вы к нам сами вчера напросились, не расстраивайте же общей гармонии...

— Довольно, довольно,— кричал Зверков.— Перестаньте, господа, это нейдет. А вот я вам лучше расскажу, как я третьего дня чуть не женился...

И вот начался какой-то пашквиль о том, как этот господин третьего дня чуть не женился. О женитьбе, впрочем, не было ни слова, но в рассказе все мелькали генералы, полковники и даже камер-юнкеры, а Зверков между ними чуть не в главе. Начался одобрительный смех; Ферфичкин даже взвизгивал.

Все меня бросили, и я сидел раздавленный и уничтоженный.

«Господи, мое ли это общество! — думал я.— И каким дураком я выставил себя сам перед ними! Я, однако ж, много позволил Ферфичкину. Думают балбесы, что честь мне сделали, дав место за своим столом, тогда как не понимают, что это я, я им делаю честь, а не мне они! "Похудел! Костюм!" О проклятые панталоны! Зверков еще давеча заметил желтое пятно на коленке... Да чего тут! Сейчас же, сию минуту встать из-за стола, взять шляпу и просто уйти, не говоря ни слова... Из презренья! А завтра хоть на дуэль. Подлецы. Ведь не семи же рублей мне жалеть. Пожалуй, подумают... Черт возьми! Не жаль мне семи рублей! Сию минуту ухожу!..»

Разумеется, я остался.

Я пил с горя лафит и херес стаканами. С непривычки быстро хмелел, а с хмелем росла и досада. Мне вдруг захотелось оскорбить их всех самым дерзким образом и потом уж уйти. Улучить минуту и показать себя — пусть же скажут: хоть и смешон, да умен... и... и... одним словом, черт с ними!

Я нагло обвел их всех осоловелыми глазами. Но они точно уж меня позабыли совсем. У *них* было шумно, крикливо, весело. Говорил все Зверков. Я начал прислушиваться. Зверков рассказывал о какой-то пышной даме, которую он довел-таки наконец до признанья (разумеется, лгал, как лошадь), и что в этом деле особенно помогал ему его интимный друг, какой-то князек, гусар Коля, у которого три тысячи душ.

— А между тем этого Коли, у которого три тысячи душ, здесь нет как нет проводить-то вас,— ввязался я вдруг в разговор. На минуту все замолчали.

— Вы уж о сю пору пьяны,— согласился, наконец, заметить меня Трудолюбов, презрительно накосясь в мою сторону. Зверков молча рассматривал меня, как букашку. Я опустил глаза. Симонов поскорей начал разливать шампанское.

Трудолюбов поднял бокал, за ним все, кроме меня.

— Твое здоровье и счастливого пути! — крикнул он Зверкову; — за старые годы, господа, за наше будущее, ура!

Все выпили и полезли целоваться с Зверковым. Я не трогался; полный бокал стоял передо мной непочатый.

— А вы разве не станете пить? — заревел потерявший терпение Трудолюбов, грозно обращаясь ко мне.

— Я хочу сказать спич со своей стороны, особо... и тогда выпью, господин Трудолюбов.

— Противная злючка! — проворчал Симонов.

Я выпрямился на стуле и взял бокал в лихорадке, готовясь к чему-то необыкновенному и сам еще не зная, что именно я скажу.

— Silence![1] — крикнул Ферфичкин.— То-то ума-то будет! — Зверков ждал очень серьезно, понимая, в чем дело.

— Господин поручик Зверков,— начал я,— знайте, что я ненавижу фразу, фразеров и тальи с перехватами... Это первый пункт, а за сим последует второй.

Все сильно пошевелились.

— Второй пункт: ненавижу клубничку и клубничников. И особенно клубничников!

— Третий пункт: люблю правду, искренность и честность,— продолжал я почти машинально, потому что сам начинал уж леденеть от ужаса, не понимая, как это я так говорю...— Я люблю мысль, мсье Зверков; я люблю настоящее товарищество, на равной ноге, а не... гм... Я люблю... А впрочем, отчего ж? И я выпью за ваше здоровье, мсье Зверков. Прельщайте черкешенок, стреляйте врагов отечества и... и... За ваше здоровье, мсье Зверков!

Зверков встал со стула, поклонился мне и сказал:

— Очень вам благодарен.

Он был ужасно обижен и даже побледнел.

— Черт возьми,— заревел Трудолюбов, ударив по столу кулаком.

— Нет-с, за это по роже бьют! — взвизгнул Ферфичкин.

— Выгнать его надо! — проворчал Симонов.

— Ни слова, господа, ни жеста! — торжественно крикнул Зверков, останавливая общее негодованье.— Благодарю вас всех, но я сам сумею доказать ему, насколько ценю его слова.

— Господин Ферфичкин, завтра же вы мне дадите удовлетворенье за ваши сейчашние слова! — громко сказал я, важно обращаясь к Ферфичкину.

---

[1] Тише! (*фр.*)

— То есть дуэль-с? Извольте,— отвечал тот, но, верно, я был так смешон, вызывая, и так это не шло к моей фигуре, что все, а за всеми и Ферфичкин, так и легли со смеху.

— Да, конечно, бросить его! Ведь совсем уж пьян! — с омерзением проговорил Трудолюбов.

— Никогда не прощу себе, что его записал! — проворчал опять Симонов.

«Вот теперь бы и пустить бутылкой во всех»,— подумал я, взял бутылку и... налил себе полный стакан.

«... Нет, лучше досижу до конца! — продолжал я думать,— вы были бы рады, господа, чтоб я ушел. Ни за что. Нарочно буду сидеть и пить до конца, в знак того, что не придаю вам ни малейшей важности. Буду сидеть и пить, потому что здесь кабак, а я деньги за вход заплатил. Буду сидеть и пить, потому что вас за пешек считаю, за пешек несуществующих. Буду сидеть и пить... и петь, если захочу, да-с, и петь, потому что право такое имею... чтоб петь... гм».

Но я не пел. Я старался только ни на кого из них не глядеть; принимал независимейшие позы и с нетерпеньем ждал, когда со мной они сами, *первые,* заговорят. Но, увы, они не заговорили. И как бы, как бы я желал в эту минуту с ними помириться! Пробило восемь часов, наконец девять. Они перешли со стола на диван. Зверков разлегся на кушетке, положив одну ногу на круглый столик. Туда перенесли и вино. Он действительно выставил им три бутылки своих. Меня, разумеется, не пригласил. Все обсели его на диване. Они слушали его чуть не с благоговеньем. Видно было, что его любили. «За что? за что?» — думал я про себя. Изредка они приходили в пьяный восторг и целовались. Они говорили о Кавказе, о том, что такое истинная страсть, о гальбике, о выгодных местах по службе; о том, сколько доходу у гусара Подхаржевского, которого никто из них не знал лично, и радовались, что у него много доходу; о необыкновенной красоте и грации княгини Д—й, которую тоже никто из них никогда не видал; наконец, дошло до того, что Шекспир бессмертен.

Я презрительно улыбался и ходил по другую сторону комнаты, прямо против дивана, вдоль стены, от стола до печки и обратно. Всеми силами я хотел показать, что могу и без них обойтись; а между тем нарочно стучал сапогами, становясь на каблуки. Но все было напрасно. *Они-то* и не обращали внимания. Я имел терпенье проходить так, прямо перед ними, с восьми до одиннадцати часов, все по одному и тому же месту, от стола до печки и от печки обратно к столу. «Так хожу себе, и никто не может мне запретить». Входивший в комнату слуга несколько раз останавливался смотреть на меня; от частых оборотов у меня кружилась голова; минутами мне казалось, что я в бреду. В эти три часа я три раза вспотел и просох. Порой с глубочайшею, с ядовитою болью вонзалась в мое сердце мысль: что пройдет десять лет, двадцать лет, сорок лет, а я

все-таки, хоть и через сорок лет, с отвращением и с унижением вспомню об этих грязнейших, смешнейших и ужаснейших минутах из всей моей жизни. Бессовестнее и добровольнее унижать себя самому было уже невозможно, и я вполне, вполне понимал это и все-таки продолжал ходить от стола до печки и обратно. «О, если б вы только знали, на какие чувства и мысли способен я и как я развит!» — думал я минутами; мысленно обращаясь к дивану, где сидели враги мои. Но враги мои вели себя так, как будто меня и не было в комнате. Раз, один только раз они обернулись ко мне, именно когда Зверков заговорил о Шекспире, а я вдруг презрительно захохотал. Я так выделанно и гадко фыркнул, что они все разом прервали разговор и молча наблюдали минуты две, серьезно, не смеясь, как я хожу по стенке, от стола до печки, и как я *не обращаю на них никакого внимания*. Но ничего не вышло: они не заговорили и через две минуты опять меня бросили. Пробило одиннадцать.

— Господа,— закричал Зверков, подымаясь с дивана,— теперь все *туда*.

— Конечно, конечно! — заговорили другие.

Я круто поворотил к Зверкову. Я был до того измучен, до того изломан, что хоть зарезаться, а покончить! У меня была лихорадка; смоченные потом волосы присохли ко лбу и вискам.

— Зверков! я прошу у вас прощенья,— сказал я резко и решительно,— Ферфичкин, и у вас тоже, у всех, у всех, я обидел всех!

— Ага! дуэль-то не свой брат! — ядовито прошипел Ферфичкин.

Меня больно резнуло по сердцу.

— Нет, я не дуэли боюсь, Ферфичкин! Я готов с вами же завтра драться, уже после примирения. Я даже настаиваю на этом, и вы не можете мне отказать. Я хочу доказать вам, что я не боюсь дуэли. Вы будете стрелять первый, а я выстрелю на воздух.

— Сам себя тешит,— заметил Симонов.

— Просто сбрендил! — отозвался Трудолюбов.

— Да позвольте пройти, что вы поперек дороги стали!.. Ну чего вам надобно? — презрительно отвечал Зверков. Все они были красные; глаза у всех блистали: много пили.

— Я прошу вашей дружбы, Зверков, я вас обидел, но...

— Обидели? В-вы! Ми-ня! Знайте, милостивый государь, что вы никогда и ни при каких обстоятельствах не можете *меня* обидеть!

— И довольно с вас, прочь! — скрепил Трудолюбов.— Едем.

— Олимпия моя, господа, уговор! — крикнул Зверков.

— Не оспариваем! не оспариваем! — отвечали ему смеясь.

Я стоял оплеванный. Ватага шумно выходила из комнаты, Трудолюбов затянул какую-то глупую песню. Симонов остался на крошечную минутку, чтоб дать на чай слугам. Я вдруг подошел к нему.

— Симонов! дайте мне шесть рублей! — сказал я решительно и отчаянно.

Он поглядел на меня в чрезвычайном изумлении какими-то тупыми глазами. Он тоже был пьян.

— Да разве вы и *туда* с нами?

— Да!

— У меня денег нет! — отрезал он, презрительно усмехнулся и пошел из комнаты.

Я схватил его за шинель. Это был кошмар.

— Симонов! я видел у вас деньги, зачем вы мне отказываете? Разве я подлец? Берегитесь мне отказать: если б вы знали, если б вы знали, для чего я прошу! От этого зависит все, все мое будущее, все мои планы.

Симонов вынул деньги и чуть не бросил их мне.

— Возьмите, если вы так бессовестны! — безжалостно проговорил он и побежал догонять их.

Я остался на минуту один. Беспорядок, объедки, разбитая рюмка на полу, пролитое вино, окурки папирос, хмель и бред в голове, мучительная тоска в сердце и, наконец, лакей, все видевший и все слышавший и любопытно заглядывавший мне в глаза.

— *Туда!* — вскрикнул я.— Или они все на коленах, обнимая ноги мои, будут вымаливать моей дружбы, или... или я дам Зверкову пощечину!

V

— Так вот оно, так вот оно, наконец, столкновенье-то с действительностью,— бормотал я, сбегая стремглав с лестницы.— Это, знать, уж не Папа, оставляющий Рим и уезжающий в Бразилию; это, знать, уж не бал на озере Комо!

«Подлец ты! — пронеслось в моей голове,— коли над этим теперь смеешься».

— Пусть! — крикнул я, отвечая себе.— Теперь ведь уж все погибло!

Их уж и след простыл; но все равно: я знал, куда они поехали.

У крыльца стоял одинокий ванька, ночник, в сермяге, весь запорошенный все еще валившимся мокрым и как будто теплым снегом. Было парно и душно. Маленькая лохматая, пегая лошаденка его была тоже вся запорошена и кашляла; я это очень помню. Я бросился в лубошные санки; но только было я занес ногу, чтоб сесть, воспоминание о том, как Симонов сейчас давал мне шесть рублей, так и подкосило меня, и я, как мешок, повалился в санки.

— Нет! Надо много сделать, чтоб все это выкупить! — прокричал я,— но я выкуплю или в эту же ночь погибну на месте. Пошел!

Мы тронулись. Целый вихрь кружился в моей голове.

«На коленах умолять о моей дружбе — они не станут. Это мираж, пошлый мираж, отвратительный, романтический и фантастический; тот же бал на озере Комо. И потому я *должен* дать Зверкову пощечину! Я обязан дать. Итак, решено; я лечу теперь дать ему пощечину».

— Погоняй!

Ванька задергал вожжами.

«Как войду, так и дам. Надобно ли сказать перед пощечиной несколько слов в виде предисловия? Нет! Просто войду и дам. Они все будут сидеть в зале, а он на диване с Олимпией. Проклятая Олимпия! Она смеялась раз над моим лицом и отказалась от меня. Я оттаскаю Олимпию за волосы, а Зверкова за уши! Нет, лучше за одно ухо и за ухо проведу его по всей комнате. Они, может быть, все начнут меня бить и вытолкают. Это даже наверно. Пусть! Все же я первый дал пощечину: моя инициатива; а по законам чести — это все; он уже заклеймен и никакими побоями уж не смоет с себя пощечины, кроме как дуэлью. Он должен будет драться. Да и пусть они теперь бьют меня. Пусть, неблагородные! Особенно будет бить Трудолюбов: он такой сильный; Ферфичкин прицепится сбоку и непременно за волосы, наверно. Но пусть, пусть! Я на то пошел. Их бараньи башки принуждены же будут раскусить, наконец, во всем этом трагическое! Когда они будут тащить меня к дверям, я закричу им, что, в сущности, они не стоят моего одного мизинца». «Погоняй, извозчик, погоняй!» — закричал я на ваньку. Он даже вздрогнул и взмахнул кнутом. Очень уж дико я крикнул.

«На рассвете деремся, это уж решено. С департаментом кончено. Ферфичкин сказал давеча вместо департамента — лепартамент. Но где взять пистолетов? Вздор! Я возьму вперед жалованья и куплю. А пороху, а пуль? Это дело секунданта. И как успеть все это к рассвету? И где я возьму секунданта? У меня нет знакомых...»

— Вздор! — крикнул я, взвихриваясь еще больше,— вздор!

«Первый встречный на улице, к которому я обращусь, обязан быть моим секундантом точно так же, как вытащить из воды утопающего. Самые эксцентрические случаи должны быть допущены. Да если б я самого даже директора завтра попросил в секунданты, то и тот должен бы был согласиться из одного рыцарского чувства и сохранить тайну! Антон Антоныч...»

Дело в том, что в ту же самую минуту мне яснее и ярче, чем кому бы то ни было во всем мире, представлялась вся гнуснейшая нелепость моих предположений и весь оборот медали, но...

— Погоняй, извозчик, погоняй, шельмец, погоняй!

— Эх, барин! — проговорила земская сила.

Холод вдруг обдал меня.

«А не лучше ли... а не лучше ли... прямо теперь же домой? О боже мой! зачем, зачем вчера я вызвался на этот обед! Но нет, невозможно! А прогулка-то три часа от стола до печки? Нет, они, они, а не кто другой должны расплатиться со мною за эту прогулку! Они должны смыть это бесчестие!» «Погоняй!»

«А что, если они меня в часть отдадут? Не посмеют! Скандала побоятся. А что, если Зверков из презренья откажется от дуэли? Это даже наверно; но я докажу им тогда... Я брошусь тогда на почтовый двор, когда он будет завтра уезжать, схвачу его за ногу, сорву с него шинель, когда он будет в повозку влезать. Я зубами вцеплюсь ему в руку, я укушу его. "Смотрите все, до чего можно довести отчаянного человека!" Пусть он бьет меня в голову, а все они сзади. Я всей публике закричу: "Смотрите, вот молодой щенок, который едет пленять черкешенок с моим плевком на лице!"

Разумеется, после этого все уже кончено! Департамент исчез с лица земли. Меня схватят, меня будут судить, меня выгонят из службы, посадят в острог, пошлют в Сибирь, на поселение. Нужды нет! Через пятнадцать лет я потащусь за ним в рубище, нищим, когда меня выпустят из острога. Я отыщу его где-нибудь в губернском городе. Он будет женат и счастлив. У него будет взрослая дочь... Я скажу: "Смотри, изверг, смотри на мои ввалившиеся щеки и на мое рубище! Я потерял все — карьеру, счастье, искусство, науку, *любимую женщину,* и все из-за тебя. Вот пистолеты. Я пришел разрядить свой пистолет и... и прощаю тебя". Тут я выстрелю на воздух, и обо мне ни слуху ни духу...»

Я было даже заплакал, хотя совершенно точно знал в это же самое мгновение, что все это из Сильвио и из «Маскарада» Лермонтова. И вдруг мне стало ужасно стыдно, до того стыдно, что я остановил лошадь, вылез из саней и стал в снег среди улицы. Ванька с изумлением и вздыхая смотрел на меня.

Что было делать? И туда было нельзя — выходил вздор; и оставить дела нельзя, потому что уж тут выйдет... «Господи! Как же это можно оставить! И после таких обид! Нет! — вскликнул я, снова кидаясь в сани, — это предназначено, это рок! погоняй, погоняй, туда!»

И в нетерпении я ударил кулаком извозчика в шею.

— Да что ты, чего дерешься? — закричал мужичонка, стегая, однако ж, клячу, так что та начала лягаться задними ногами.

Мокрый снег валил хлопьями; я раскрылся, мне было не до него. Я забыл все прочее, потому что окончательно решился на пощечину и с ужасом ощущал, что это ведь уж *непременно сейчас, теперь случится и уж никакими силами остановить нельзя.* Пустынные фонари угрюмо мелькали в снежной мгле, как факелы на похоронах. Снег набился мне под шинель, под сюртук, под галстук и там таял; я не закрывался: ведь уж и без того все было

потеряно! Наконец мы подъехали. Я выскочил почти без памяти, взбежал по ступенькам и начал стучать в дверь руками и ногами. Особенно ноги, в коленках, у меня ужасно слабели. Как-то скоро отворили; точно знали о моем приезде. (Действительно, Симонов предуведомил, что, может быть, еще будет один, а здесь надо было предуведомлять и вообще брать предосторожности. Это был один из тех тогдашних «модных магазинов», которые давно уже теперь истреблены полицией. Днем и в самом деле это был магазин; а по вечерам имеющим рекомендацию можно было приезжать в гости.) Я прошел скорыми шагами через темную лавку в знакомый мне зал, где горела всего одна свечка, и остановился в недоумении: никого не было.

— Где же они? — спросил я кого-то.

Но они, разумеется, уже успели разойтись...

Передо мной стояла одна личность, с глупой улыбкой, сама хозяйка, отчасти меня знавшая. Через минуту отворилась дверь, и вошла другая личность.

Не обращая ни на что внимания, я шагал по комнате и, кажется говорил сам с собой. Я был точно от смерти спасен и всем существом своим радостно это предчувствовал: ведь я бы дал пощечину, я бы непременно, непременно дал пощечину! Но теперь их нет и... все исчезло, все переменилось!.. Я оглядывался. Я еще не мог сообразить. Машинально я взглянул на вошедшую девушку: передо мной мелькнуло свежее, молодое, несколько бледное лицо, с прямыми темными бровями, с серьезным и как бы несколько удивленным взглядом. Мне это тотчас же понравилось; я бы возненавидел ее, если б она улыбалась. Я стал вглядываться пристальнее и как бы с усилием: мысли еще не все собрались. Что-то простодушное и доброе было в этом лице, но как-то до странности серьезное. Я уверен, что она этим здесь проигрывала, и из тех дураков ее никто не заметил. Впрочем, она не могла назваться красавицей, хоть и была высокого роста, сильна, хорошо сложена. Одета чрезвычайно просто. Что-то гадкое укусило меня; я подошел прямо к ней...

Я случайно погляделся в зеркало. Взбудораженное лицо мое мне показалось до крайности отвратительным: бледное, злое, подлое, с лохматыми волосами. «Это пусть, этому я рад,— подумал я,— я именно рад, что покажусь ей отвратительным; мне это приятно...»

VI

... Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их,— захрипели часы. После неестественно долгого хрипенья последовал тоненький, гаденький и

как-то неожиданно частый звон,— точно кто-то вдруг вперед выскочил. Пробило два. Я очнулся, хоть и не спал, а только лежал в полузабытьи.

В комнате узкой, тесной и низкой, загроможденной огромным платяным шкафом и забросанной картонками, тряпьем и всяческим одежным хламом,— было почти совсем темно. Огарок, светивший на столе в конце комнаты, совсем потухал, изредка чуть-чуть вспыхивая. Через несколько минут должна была наступить совершенная тьма.

Я приходил в себя недолго; все разом, без усилий, тотчас же мне вспомнилось, как будто так и сторожило меня, чтоб опять накинуться. Да и в самом забытьи все-таки в памяти постоянно оставалась как будто какая-то точка, никак не забывавшаяся, около которой тяжело ходили мои сонные грезы. Но странно было: все, что случилось со мной в этот день, показалось мне теперь, по пробуждении, уже давным-давно прошедшим, как будто я уже давно-давно выжил из всего этого.

В голове был угар. Что-то как будто носилось надо мной и меня задевало, возбуждало и беспокоило. Тоска и желчь снова накипали и искали исхода. Вдруг рядом со мной я увидел два открытые глаза, любопытно и упорно меня рассматривавшие. Взгляд был холодно-безучастный, угрюмый, точно совсем чужой; тяжело от него было.

Угрюмая мысль зародилась в моем мозгу и прошла по всему телу каким-то скверным ощущением, похожим на то, когда входишь в подполье, сырое и затхлое. Как-то неестественно было, что именно только теперь эти два глаза вздумали меня начать рассматривать. Вспомнилось мне тоже, что в продолжение двух часов я не сказал с этим существом ни одного слова и совершенно не счел этого нужным; даже это мне давеча почему-то нравилось. Теперь же мне вдруг ярко представилась нелепая, отвратительная, как паук, идея разврата, который без любви, грубо и бесстыже, начинает прямо с того, чем настоящая любовь венчается. Мы долго смотрели так друг на друга, но глаз своих она перед моими не опускала и взгляду своего не меняла, так что мне стало, наконец, отчего-то жутко.

— Как тебя зовут? — спросил я отрывисто, чтоб поскорей кончить.

— Лизой,— ответила она почти шепотом, но как-то совсем неприветливо и отвела глаза.

Я помолчал.

— Сегодня погода... снег... гадко! — проговорил я почти про себя, тоскливо заложив руку за голову и смотря в потолок.

Она не отвечала. Безобразно все это было.

— Ты здешняя? — спросил я через минуту, почти в сердцах, слегка поворотив к ней голову.

— Нет.
— Откуда?
— Из Риги,— проговорила она нехотя.
— Немка?
— Русская.
— Давно здесь?
— Где?
— В доме.
— Две недели.— Она говорила все отрывистее и отрывистее. Свечка совершенно потухла; я не мог уже различать ее лица.
— Отец и мать есть?
— Да... нет... есть.
— Где они?
— Там... в Риге.
— Кто они?
— Так...
— Как так? Кто, какого звания?
— Мещане.
— Ты все с ними жила?
— Да.
— Сколько тебе лет?
— Двадцать.
— Зачем же ты от них ушла?
— Так.

Это *так* означало: отвяжись, тошно. Мы замолчали.

Бог знает почему я не уходил. Мне самому становилось все тошнее и тоскливее. Образы всего прошедшего дня как-то сами собой, без моей воли, беспорядочно стали проходить в моей памяти. Я вдруг вспомнил одну сцену, которую видел утром на улице, когда озабоченно трусил в должность.

— Сегодня гроб выносили и чуть не уронили,— вдруг проговорил я вслух, совсем и не желая начинать разговора, а так, почти нечаянно.
— Гроб?
— Да, на Сенной; выносили из подвала.
— Из подвала?
— Не из подвала, а из подвального этажа... ну знаешь, внизу... из дурного дома... Грязь такая была кругом... Скорлупа, сор... пахло... мерзко было.

Молчание.

— Скверно сегодня хоронить! — начал я опять, чтобы только не молчать.
— Чем скверно?
— Снег, мокрять... (Я зевнул.)
— Все равно,— вдруг сказала она после некоторого молчания.

— Нет, гадко... (Я опять зевнул.) Могильщики, верно, ругались, оттого что снег мочил. А в могиле, верно, была вода.

— Отчего в могиле вода? — спросила она с каким-то любопытством, но выговаривая еще грубее и отрывочнее, чем прежде. Меня вдруг что-то начало подзадоривать.

— Как же, вода, на дне, вершков на шесть. Тут ни одной могилы, на Волковом, сухой не выроешь.

— Отчего?

— Как отчего? Место водяное такое. Здесь везде болото. Так в воду и кладут. Я видел сам... много раз...

(Ни одного разу я не видал, да и на Волковом никогда не был, а только слышал, как рассказывали.)

— Неужели тебе все равно, умирать-то?

— Да зачем я помру? — отвечала она, как бы защищаясь.

— Когда-нибудь да умрешь же, и так же точно умрешь, как давешняя покойница. Это была... тоже девушка одна... В чахотке померла.

— Девка в больнице бы померла... (Она уж об этом знает, подумал я,— и сказала: девка, а не девушка.)

— Она хозяйке должна была,— возразил я, все более и более подзадориваясь спором,— и до самого почти конца ей служила, хоть и в чахотке была. Извозчики кругом говорили с солдатами, рассказывали это. Верно, ее знакомые бывшие. Смеялись. Еще в кабаке ее помянуть собирались. (Я и тут много приврал.)

Молчание, глубокое молчание. Она даже не шевелилась.

— А в больнице-то лучше, что ль, помирать?

— Не все ль одно?.. Да с чего мне помирать? — прибавила она раздражительно.

— Не теперь, так потом?

— Ну и потом...

— Как бы не так! Ты вот теперь молода, хороша, свежа — тебя во столько и ценят. А через год этой жизни ты не то уж будешь, увянешь.

— Через год?

— Во всяком случае, через год тебе будет меньше цена,— продолжал я с злорадством.— Ты и перейдешь отсюда куда-нибудь ниже, в другой дом. Еще через год — в третий дом, все ниже и ниже, а лет через семь и дойдешь на Сенной до подвала. Это еще хорошо бы. А вот беда, коль у тебя, кроме того, объявится какая болезнь, ну, там слабость груди... аль сама простудишься, али что-нибудь. В такой жизни болезнь туго проходит. Привяжется, так, пожалуй, и не отвяжется. Вот и помрешь.

— Ну и помру,— ответила она совсем уж злобно и быстро пошевельнулась.

— Да ведь жалко.

— Кого?

— Жизни жалко.

Молчанье.

— У тебя был жених? а?

— Вам на что?

— Да я тебя не допытываю. Мне что. Чего ты сердишься? У тебя, конечно, могли быть свои неприятности. Чего мне? А так, жаль.

— Кого?

— Тебя жаль.

— Нечего...— шепнула она чуть слышно и опять шевельнулась.

Меня это тотчас же подозлило. Как! я так было кротко с ней, а она...

— Да ты что думаешь? На хорошей ты дороге, а?

— Ничего я не думаю.

— То и худо, что не думаешь. Очнись, пока время есть. А время-то есть. Ты еще молода, собой хороша; могла бы полюбить, замуж пойти, счастливой быть...

— Не все замужем-то счастливые,— отрезала она прежней грубой скороговоркой.

— Не все, конечно,— а все-таки лучше гораздо, чем здесь. Не в пример лучше. А с любовью и без счастья можно прожить. И в горе жизнь хороша, хорошо жить на свете, даже как бы ни жить. А здесь что, кроме... смрада. Фуй!

Я повернулся с омерзеньем; я уже не холодно резонерствовал. Я сам начинал чувствовать, что говорю, и горячился. Я уже свои заветные *идейки,* в углу выжитые, жаждал изложить. Что-то вдруг во мне загорелось, какая-то цель «явилась».

— Ты не смотри на меня, что я здесь, я тебе не пример. Я, может, еще тебя хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашел,— поспешил я все-таки оправдать себя.— К тому ж мужчина женщине совсем не пример. Дело розное; я хоть и гажу себя и мараю, да зато ничей я не раб; был да пошел, и нет меня. Стряхнул с себя и опять не тот. А взять то, что ты с первого начала — раба. Да, раба! Ты все отдаешь, всю волю. И порвать потом эти цепи захочешь, да уж нет: все крепче и крепче будут тебя опутывать. Это уж такая цепь проклятая. Я ее знаю. Уж о другом я и не говорю, ты и не поймешь, пожалуй, а вот скажи-ка: ведь ты, наверно, уж хозяйке должна? Ну, вот видишь! — прибавил я, хотя она мне не ответила, а только молча, всем существом своим слушала; — вот тебе и цепь! Уж никогда не откупишься. Так сделают. Все равно что черту душу...

...И к тому ж я... может быть, тоже такой же несчастный, почем ты знаешь, и нарочно в грязь лезу, тоже с тоски. Ведь пьют же с горя: ну а вот я здесь — с горя. Ну скажи, ну что тут хорошего: вот мы с тобой... сошлись... давеча, и слова мы во все время друг с дружкой не молвили, и ты меня, как дикая, уж потом рассматри-

вать стала; и я тебя также. Разве эдак любят? Разве эдак человек с человеком сходиться должны? Это безобразие одно, вот что!

— Да! — резко и поспешно она мне поддакнула. Меня даже удивила поспешность этого *да*. Значит, и у ней, может быть, та же самая мысль бродила в голове, когда она давеча меня рассматривала? Значит, и она уже способна к некоторым мыслям?.. «Черт возьми, это любопытно, это — *сродни*,— думал я, чуть не потирая себе руки.— Да и как с молодой такой душой не справиться?..»

Более всего меня игра увлекала.

Она повернула свою голову ближе ко мне и, показалось мне в темноте, подперлась рукой. Может быть, меня рассматривала. Как жалел я, что не мог разглядеть ее глаз. Я слышал ее глубокое дыханье.

— Зачем ты сюда приехала? — начал я уже с некоторою властью.

— Так.

— А ведь как хорошо в отцовском-то бы доме жить! Тепло, привольно; гнездо свое.

— А коль того хуже?

«В тон надо попасть,— мелькнуло во мне,— сантиментальностью-то, пожалуй, не много возьмешь».

Впрочем, это так только мелькнуло. Клянусь, она и в самом деле меня интересовала. К тому же я был как-то расслаблен и настроен. Да и плутовство ведь так легко уживается с чувством.

— Кто говорит! — поспешил я ответить,— все бывает. Я ведь вот уверен, что тебя кто-нибудь обидел и скорей перед тобой виноваты, чем ты перед *ними*. Я ведь ничего из твоей истории не знаю, но такая девушка, как ты, верно, не с охоты своей сюда попадет...

— Какая такая я девушка? — прошептала она едва слышно; но я расслышал.

«Черт возьми, да я льщу. Это гадко. А может, и хорошо...»

Она молчала.

— Видишь, Лиза,— я про себя скажу! Была бы у меня семья с детства, не такой бы я был, как теперь. Я об этом часто думаю. Ведь как бы ни было в семье худо — все отец с матерью, а не враги, не чужие. Хоть в год раз любовь тебе выкажут. Все-таки ты знаешь, что ты у себя. Я вот без семьи вырос; оттого, верно, такой и вышел... бесчувственный.

Я выждал опять.

«Пожалуй, и не понимает,— думал я,— да и смешно — мораль».

— Если б я был отец и была б у меня своя дочь, я бы, кажется, дочь больше, чем сыновей, любил, право,— начал я сбоку, точно не об том, чтоб развлечь ее. Признаюсь, я краснел.

— Это зачем? — спросила она.

А, стало быть, слушает!

— Так; не знаю, Лиза. Видишь: я знал одного отца, который был строгий, суровый человек, а перед дочерью на коленках простаивал, руки-ноги ее целовал, налюбоваться не мог, право. Она танцует на вечере, а он стоит пять часов на одном месте, с нее глаз не спускает. Помешался на ней; я это понимаю. Она ночью устанет — заснет, а он проснется и пойдет сонную ее целовать и крестить. Сам в сюртучишке засаленном ходит, для всех скупой, а ей из последнего покупает, подарки дарит богатые, и уж радость ему, коль подарок понравится. Отец всегда дочерей больше любит, чем мать. Весело иной девушке дома жить! А я бы, кажется, свою дочь и замуж не выдавал.

— Да как же? — спросила она, чуть-чуть усмехнувшись.

— Ревновал бы, ей-богу. Ну, как это другого она станет целовать? чужого больше отца любить? Тяжело это и вообразить. Конечно, все это вздор; конечно, всякий под конец образумится. Но я б, кажется, прежде чем отдать, уж одной заботой себя замучил: всех бы женихов перебраковал. А кончил бы все-таки тем, что выдал бы за того, кого она сама любит. Ведь тот, кого дочь сама полюбит, всегда всех хуже отцу кажется. Это уж так. Много из-за этого в семьях худа бывает.

— Другие-то продать рады дочь, не то что честью отдать,— проговорила она вдруг.

А! вон оно что!

— Это, Лиза, в тех семьях проклятых, где ни Бога, ни любви не бывает,— с жаром подхватил я,— а где любви не бывает, там и рассудка не бывает. Такие есть семьи, правда, да я не об них говорю. Ты, видно, в своей семье не видала добра, что так говоришь. Подлинно несчастная ты какая-нибудь. Гм... Больше по бедности все это бывает.

— А у господ-то лучше, что ль? И по бедности честные люди хорошо живут.

— Гм... да. Может быть. Опять и то, Лиза: человек только свое горе любит считать, а счастья своего не считает. А счел бы как должно, так и увидел бы, что на всякую долю его запасено. Ну а что, коли в семье все удастся, Бог благословит, муж выйдет хороший, любит тебя, лелеет тебя, не отходит от тебя! хорошо в той семье! Даже иной раз и с горем пополам хорошо; да и где горя нет? Выйдешь, может, замуж, *сама узнаешь*. Зато взять хоть в первое-то время замужем за тем, кого любишь: счастья-то, счастья-то сколько иной раз придет! да и сплошь да рядом. В первое-то время даже и ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная сама чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает. Право; я знал такую: «Так вот, люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а

ты чувствуй». Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить? Все больше женщины. А сама про себя думает: «Зато уж так буду потом любить, так заласкаю, что не грех теперь и помучить». И в доме все на вас радуются, и хорошо, и весело, и мирно, и честно... Вот другие тоже ревнивы бывают. Уйдет он куда,— я знал одну,— не стерпит, да в самую ночь и выскочит, да и бежит потихоньку смотреть: не там ли, не в том ли доме, не с той ли? Это уж худо. И сама знает, что худо, и сердце у ней замирает и казнится, да ведь любит; все от любви. А как хорошо после ссоры помириться, самой перед ним повиниться али простить! И так хорошо обоим, так хорошо вдруг станет,— точно вновь они встретились, вновь повенчались, вновь любовь у них началась. И никто-то, никто-то не должен знать, что между мужем и женой происходит, коль они любят друг друга. И какая бы ни вышла у них ссора,— мать родную, и ту не должны себе в судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь — тайна Божия и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло. Святее от этого, лучше. Друг друга больше уважают, а на уважении много основано. И коль раз уж была любовь, коль по любви венчались, зачем любви проходить! Неужто нельзя ее поддержать? Редко такой случай, что нельзя поддержать. Ну а как муж человек добрый и честный удастся, так как тут любовь пройдет? Первая брачная любовь пройдет, правда, а там придет любовь еще лучше. Там душой сойдутся, все дела свои сообща положут; тайны друг от друга не будет. А дети пойдут, так тут каждое, хоть и самое трудное время счастьем покажется; только бы любить да быть мужественным. Тут и работа весела, тут и в хлебе себе иной раз отказываешь для детей, и то весело. Ведь они ж тебя будут за это потом любить; себе же, значит, копишь. Дети растут,— чувствуешь, что ты им пример, что ты им поддержка; что и умрешь ты, они всю жизнь чувства и мысли твои будут носить на себе, так как от тебя получили, твой образ и подобие примут. Значит, это великий долг. Как тут не сойтись тесней отцу с матерью? Говорят вот, детей иметь тяжело? Кто это говорит? Это счастье небесное! Любишь ты маленьких детей, Лиза? я ужасно люблю. Знаешь — розовенький такой мальчик, грудь тебе сосет, да у какого мужа сердце повернется на жену, глядя, как она с его ребенком сидит! Ребеночек розовенький, пухленький, раскинется, нежится; ножки-ручки наливные, ноготочки чистенькие, маленькие, такие маленькие, что глядеть смешно, глазки, точно уж он все понимает. А сосет — грудь тебе ручонкой теребит, играет. Отец подойдет,— оторвется от груди, перегнется весь назад, посмотрит на отца, засмеется,— точно уж и бог знает как смешно,— и опять, опять сосать примется. А то возьмет, да и прикусит матери грудь, коль уж зубки прорезываются, а сам глазенками-то косит на нее: «Видишь, прику-

сил!» Да разве не все тут счастье, когда они трое, муж, жена и ребенок, вместе? За эти минуты много можно простить. Нет, Лиза, знать самому сначала нужно жить выучиться, а потом уж других обвинять!

«Картинками, вот этими-то картинками тебя надо! — подумал я про себя, хотя, ей-богу, с чувством говорил, и вдруг покраснел.— А ну если она вдруг расхохочется, куда я тогда полезу?» — Эта идея меня привела в бешенство. К концу-то речи я действительно разгорячился, и теперь самолюбие как-то страдало. Молчание длилось. Я даже хотел толкнуть ее.

— Чтой-то вы...— начала она вдруг и остановилась.

Но я уже все понял: в ее голосе уже что-то другое дрожало, не резкое, не грубое и не сдающееся, как недавно, а что-то мягкое и стыдливое, до того стыдливое, что мне самому как-то вдруг перед ней стыдно стало, виновато стало.

— Что? — спросил я с нежным любопытством.

— Да вы...

— Что?

— Что-то вы... точно как по книге,— сказала она, и что-то как будто насмешливое вдруг опять послышалось в ее голосе.

Больно ущипнуло меня это замечанье. Я не того ожидал.

Я и не понял, что она нарочно маскировалась в насмешку, что это обыкновенная последняя уловка стыдливых и целомудренных сердцем людей, которым грубо и навязчиво лезут в душу и которые до последней минуты не сдаются от гордости и боятся перед вами высказать свое чувство. Уже по робости, с которой она приступала, в несколько приемов, к своей насмешке, и наконец только решилась высказать, я бы должен был догадаться. Но я не догадался, и злое чувство обхватило меня.

«Постой же»,— подумал я.

VII

— Э, полно, Лиза, какая уж тут книга, когда мне самому гадко вчуже. Да и не вчуже. У меня все это теперь в душе проснулось... Неужели, неужели тебе самой не гадко здесь? Нет, видно, много значит привычка! Черт знает, что привычка может из человека сделать. Да неужели ж ты серьезно думаешь, что никогда не состареешься, вечно хороша будешь и что тебя здесь веки вечные держать будут? Я не говорю уж про то, что и здесь пакость... А впрочем, я вот что тебе про это скажу, про теперешнее-то твое житье: вот ты теперь хоть и молодая, пригожая, хорошая, с душой, с чувством; ну а знаешь ли ты, что вот я, как только давеча очнулся, мне тотчас и гадко стало быть здесь с тобой! Только в пьяном виде ведь и можно сюда попасть. А будь ты в другом месте, живи,

как добрые люди живут, так я, может быть, не то что волочился б за тобой, а просто влюбился б в тебя, рад бы взгляду был твоему, не то что слову; у ворот бы тебя подстерегал, на коленках бы перед тобой выстаивал; как на невесту б свою на тебя смотрел, да еще за честь почитал. Подумать про тебя что-нибудь нечистое не осмелился бы. А здесь я ведь знаю, что я только свистни, и ты, хочешь не хочешь, иди за мной, и уж не я с твоей волей спрашиваюсь, а ты с моей. Последний мужик наймется в работники — все-таки не всего себя закабалит, да и знает, что ему срок есть. А где твой срок? Подумай только: что ты здесь отдаешь? что кабалишь? Душу, душу, в которой ты невластна, кабалишь вместе с телом! Любовь свою на поругание всякому пьянице отдаешь! Любовь! — да ведь это все, да ведь это алмаз, девичье сокровище, любовь-то! Ведь чтоб заслужить эту любовь, иной готов душу положить, на смерть пойти. А во что твоя любовь теперь ценится? Ты вся куплена, вся целиком, и зачем уж тут любви добиваться, когда и без любви все возможно. Да ведь обиды сильнее для девушки нет, понимаешь ли ты? Вот, слышал я, тешат вас, дур,— позволяют вам любовников здесь иметь. Да ведь это одно баловство, один обман, один смех над вами, а вы верите. Что он, в самом деле, что ли, любит тебя, любовник-то? Не верю. Как он будет любить, коли знает, что тебя от него сейчас кликнут. Пакостник он после этого! Уважает ли он тебя хоть на каплю? Что у тебя с ним общего? Смеется он над тобой да тебя же обкрадывает — вот и вся его любовь! Хорошо еще, что не бьет. А может, и бьет. Спроси-ка его, коли есть такой у тебя: женится ли он на тебе? Да он тебе в глаза расхохочется, если только не наплюет иль не прибьет,— а ему самому, может, всей-то цены — два сломанных гроша. И за что, подумаешь, ты здесь жизнь свою погубила? Что тебя кофеем поят да кормят сытно? Да ведь для чего кормят-то? У другой бы, честной, в горло такой кусок не пошел, потому что знает, для чего кормят. Ты здесь должна, ну и все будешь должна и до конца концов должна будешь, до тех самых пор, что тобой гости брезгать начнут. А это скоро придет, не надейся на молодость. Тут ведь это все на почтовых летит. Тебя и вытолкают. Да и не просто вытолкают, а задолго сначала придираться начнут, попрекать начнут, ругать начнут,— как будто не ты ей здоровье свое отдала, молодость и душу даром для нее загубила, а как будто ты-то ее и разорила, по миру пустила, обокрала. И не жди поддержки: другие подруги-то твои тоже на тебя нападут, чтоб ей подслужиться, потому что здесь все в рабстве, совесть и жалость давно потеряли. Исподлились, и уж гаже, подлее, обиднее этих ругательств и на земле не бывает. И все-то ты здесь положишь, все, без завета,— и здоровье, и молодость, и красоту, и надежды, и в двадцать два года будешь смотреть как тридцатипятилетняя, и хорошо еще, коль не боль-

ная, моли Бога за это. Ведь ты теперь небось думаешь, что тебе и работы нет, гульба! Да тяжеле и каторжнее работы на свете нет и никогда не бывало. Одно сердце, кажется, все бы слезами изошло. И ни слова не посмеешь сказать, ни полслова, когда тебя погонят отсюда, пойдешь как виноватая. Перейдешь ты в другое место, потом в третье, потом еще куда-нибудь и доберешься наконец до Сенной. А там уж походя бить начнут; это любезность тамошняя; там гость и приласкать, не прибив, не умеет. Ты не веришь, что там так противно? Ступай, посмотри когда-нибудь, может, своими глазами увидишь. Я вон раз видел там на Новый год одну, у дверей. Ее вытолкали в насмешку свои же проморозить маленько за то, что уж очень ревела, а дверь за ней притворили. В девять-то часов утра она уж была совсем пьяная, растрепанная, полунагая, вся избитая. Сама набелена, а глаза в черняках; из носа и из зубов кровь течет: извозчик какой-то только что починил. Села она на каменной лесенке, в руках у ней какая-то соленая рыба была; она ревела, что-то причитала про свою «учась», а рыбой колотила по лестничным ступеням. А у крыльца столпились извозчики да пьяные солдаты и дразнили ее. Ты не веришь, что и ты такая же будешь? И я бы не хотел верить, а почем ты знаешь, может быть, лет десять, восемь назад, эта же самая, с соленой-то рыбой,— приехала сюда откуда-нибудь свеженькая, как херувимчик, невинная, чистенькая; зла не знала, на каждом слове краснела. Может быть, такая же, как ты, была, гордая, обидчивая, на других не похожая, королевной смотрела и сама знала, что целое счастье того ожидает, кто бы ее полюбил и кого бы она полюбила. Видишь, чем кончилось? И что, если в ту самую минуту, когда она колотила этой рыбой о грязные ступени, пьяная да растрепанная, что, если в ту минуту ей припомнились все ее прежние, чистые годы в отцовском доме, когда еще она в школу ходила, а соседский сын ее на дороге подстерегал, уверял, что всю жизнь ее любить будет, что судьбу свою ей положит, и когда они вместе положили любить друг друга навеки и обвенчаться, только что вырастут большие! Нет, Лиза, счастье, счастье тебе, если где-нибудь там, в углу, в подвале, как давешняя, в чахотке поскорее помрешь. В больницу, говоришь ты? Хорошо — свезут, а если ты еще хозяйке нужна? Чахотка такая болезнь; это не горячка. Тут до последней минуты человек надеется и говорит, что здоров. Сам себя тешит. А хозяйке-то и выгодно. Не беспокойся, это так; душу, значит, продала, а к тому же деньги должна, значит и пикнуть не смеешь. А умирать будешь, все тебя бросят, все отвернутся,— потому, что с тебя тогда взять? Еще тебя же попрекнут, что даром место занимаешь, не скоро помираешь. Пить не допросишься, с ругательством подадут: «Когда, дескать, ты, подлячка, издохнешь; спать мешаешь — стонешь, гости брезгают». Это верно; я сам подслушал такие слова. Сунут

тебя, издыхающую, в самый смрадный угол в подвале,— темень, сырость; что ты, лежа-то одна, тогда передумаешь? Помрешь,— соберут наскоро, чужой рукой, с ворчаньем, с нетерпением,— никто-то не благословит тебя, никто-то не вздохнет по тебе, только бы поскорей тебя с плеч долой. Купят колоду, вынесут, как сегодня ту, бедную, выносили, в кабак поминать пойдут. В могиле слякоть, мразь, снег мокрый,— не для тебя же церемониться? «Спущай-ка ее, Ванюха; ишь ведь "учась" и тут верх ногами пошла, таковская. Укороти веревки-то, пострел».— «Ладно и так».— «Чего ладно? Ишь на боку лежит. Человек тоже был али нет? Ну да ладно, засыпай». И ругаться-то из-за тебя долго не захотят. Засыплют поскорей мокрой синей глиной и уйдут в кабак... Тут и конец твоей памяти на земле; к другим дети на могилу ходят, отцы, мужья, а у тебя — ни слезы, ни вздоха, ни поминания, и никто-то, никто-то, никогда в целом мире не придет к тебе; имя твое исчезнет с лица земли — так, как бы совсем тебя никогда не бывало и не рождалось! Грязь да болото, хоть стучи себе там по ночам, когда мертвецы встают, в гробовую крышу: «Пустите, добрые люди, на свет пожить! Я жила — жизни не видала, моя жизнь на обтирку пошла; ее в кабаке на Сенной пропили; пустите, добрые люди, еще раз на свете пожить!..»

Я вошел в пафос до того, что у меня самого горловая спазма приготовлялась, и... вдруг я остановился, приподнялся в испуге и, наклонив боязливо голову, с бьющимся сердцем начал прислушиваться. Было от чего и смутиться.

Давно уже предчувствовал я, что перевернул всю ее душу и разбил ее сердце, и, чем больше я удостоверялся в том, тем больше желал поскорее и как можно сильнее достигнуть цели. Игра, игра увлекла меня; впрочем, не одна игра...

Я знал, что говорю туго, выделанно, даже книжно, одним словом, я иначе и не умел, как «точно по книжке». Но это не смущало меня; я ведь знал, предчувствовал, что меня поймут и что самая эта книжность может еще больше подспорить делу. Но теперь, достигнув эффекта, я вдруг струсил. Нет, никогда, никогда еще я не был свидетелем такого отчаяния! Она лежала ничком, крепко уткнув лицо в подушку и обхватив ее обеими руками. Ей разрывало грудь. Все молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах. Спершиеся в груди рыдания теснили, рвали ее и вдруг воплями, криками вырывались наружу. Тогда еще сильнее приникала она к подушке: ей не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь, хоть одна живая душа узнала про ее терзание и слезы. Она кусала подушку, прокусила руку свою в кровь (я видел это потом) или, вцепившись пальцами в свои распутавшиеся косы, так и замирала в усилии, сдерживая дыхание и стискивая зубы. Я было начал что-то говорить ей, просить ее успокоиться, но почувствовал, что не смею, и вдруг сам,

весь в каком-то ознобе, почти в ужасе, бросился ощупью, кое-как наскоро сбираться в дорогу. Было темно: как ни старался я, но не мог кончить скоро. Вдруг я ощупал коробку спичек и подсвечник с цельной непочатой свечой. Только лишь свет озарил комнату, Лиза вдруг вскочила, села и с каким-то искривленным лицом, с полусумасшедшей улыбкой, почти бессмысленно посмотрела на меня. Я сел подле нее и взял ее руки; она опомнилась, бросилась ко мне, хотела было обхватить меня, но не посмела и тихо наклонила передо мной голову.

— Лиза, друг мой, я напрасно... ты прости меня,— начал было я,— но она сжала в своих пальцах мои руки с такою силою, что я догадался, что не то говорю, и перестал.

— Вот мой адрес, Лиза, приходи ко мне.

— Приду...— прошептала она решительно, все еще не подымая своей головы.

— А теперь я уйду, прощай... до свидания.

Я встал, встала и она и вдруг вся закраснелась, вздрогнула, схватила лежавший на стуле платок и набросила себе на плечи до самого подбородка. Сделав это, она опять как-то болезненно улыбнулась, покраснела и странно поглядела на меня. Мне было больно; я спешил уйти, стушеваться.

— Подождите,— сказала она вдруг, уже в сенях у самых дверей, останавливая меня рукою за шинель, поставила впопыхах свечу и убежала,— видно, вспомнила про что-то или хотела мне принести показать. Убегая, она вся покраснела, глаза ее блестели, на губах показалась улыбка,— что бы такое? Я поневоле дождался; она воротилась через минуту, со взглядом, как будто просившим прощения за что-то. Вообще это уже было не то лицо, не тот взгляд, как давеча,— угрюмый, недоверчивый и упорный. Взгляд теперь ее был просящий, мягкий, а вместе с тем доверчивый, ласковый, робкий. Так смотрят дети на тех, кого очень любят и у кого чего-нибудь просят. Глаза у ней были светло-карие, прекрасные глаза, живые, умевшие отразить в себе и любовь, и угрюмую ненависть.

Не объясняя мне ничего,— как будто я, как какое-нибудь высшее существо, должен был знать все без объяснений,— она протянула мне бумажку. Все лицо ее так и просияло в это мгновение самым наивным, почти детским торжеством. Я развернул. Это было письмо к ней от какого-то медицинского студента или в этом роде,— очень высокопарное, цветистое, но чрезвычайно почтительное объяснение в любви. Не припомню теперь выражений, но помню очень хорошо, что сквозь высокий слог проглядывало истинное чувство, которого не подделаешь. Когда я дочитал, то встретил горячий, любопытный и детски нетерпеливый взгляд ее на

себе. Она приковалась глазами к моему лицу и в нетерпении ждала — что я скажу? В нескольких словах, наскоро, но как-то радостно и как будто гордясь, она объяснила мне, что была где-то на танцевальном вечере, в семейном доме, у одних «очень, очень хороших людей, *семейных людей* и где *ничего еще не знают,* совсем ничего»,— потому что она и здесь-то еще только внове и только так... а вовсе еще не решилась остаться и непременно уйдет, как только долг заплатит... «Ну и там был этот студент, весь вечер танцевал, говорил с ней, и оказалось, что он еще в Риге, еще ребенком был с ней знаком, вместе играли, только уж очень давно,— и родителей ее знает, но что *об этом* он ничего-ничего-ничего не знает и не подозревает! И вот на другой день после танцев (три дня назад) он и прислал через приятельницу, с которой она на вечер ездила, это письмо... и... ну вот и все».

Она как-то стыдливо опустила свои сверкавшие глаза, когда кончила рассказывать.

Бедненькая, она хранила письмо этого студента как драгоценность и сбегала за этой единственной своей драгоценностью, не желая, чтоб я ушел, не узнав о том, что и ее любят честно и искренно, что и с ней говорят почтительно. Наверно, этому письму так и суждено было пролежать в шкатулке без последствий. Но все равно; я уверен, что она всю жизнь его хранила бы как драгоценность, как гордость свою и свое оправдание, и вот теперь сама в такую минуту вспомнила и принесла это письмо, чтоб наивно погордиться передо мной, восстановить себя в моих глазах, чтоб и я видел, чтоб и я похвалил. Я ничего не сказал, пожал ей руку и вышел. Мне так хотелось уйти... Я прошел всю дорогу пешком, несмотря на то, что мокрый снег все еще валил хлопьями. Я был измучен, раздавлен, в недоумении. Но истина уже сверкала из-за недоумения. Гадкая истина!

VIII

Я, впрочем, не скоро согласился признать эту истину. Проснувшись наутро после нескольких часов глубокого, свинцового сна и тотчас же сообразив весь вчерашний день, я даже изумился моей вчерашней *сантиментальности* с Лизой, всем этим «вчерашним ужасам и жалостям». «Ведь нападет же такое бабье расстройство нервов, тьфу! — порешил я.— И на что это мой адрес всучил я ей? Что, если она придет? А впрочем, пожалуй, пусть и придет; ничего...» Но, *очевидно,* главное и самое важное дело теперь было не в этом: надо было спешить и во что бы ни стало скорее спасать мою репутацию в глазах Зверкова и Симонова. Вот в чем было главное дело. А про Лизу я даже совсем и забыл в это утро, захлопотавшись.

Прежде всего надо было немедленно отдать вчерашний долг Симонову. Я решился на отчаянное средство: занять целых пятнадцать рублей у Антона Антоновича. Как нарочно, он был в это утро в прекраснейшем расположении духа и тотчас же выдал, по первой просьбе. Я так этому обрадовался, что, подписывая расписку, с каким-то ухарским видом, *небрежно* сообщил ему, что вчера «покутили с приятелями в Hôtel de Paris; провожали товарища, даже, можно сказать, друга детства, и, знаете,— кутила он большой, избалован,— ну, разумеется, хорошей фамилии, значительное состояние, блестящая карьера, остроумен, мил, интригует с этими дамами, понимаете: выпили лишних "полдюжины" и...» И ведь ничего; произносилось все это очень легко, развязно и самодовольно.

Придя домой, я немедленно написал Симонову.

До сих пор любуюсь, вспоминая истинно джентльменский, добродушный, открытый тон моего письма. Ловко и благородно, а главное, совершенно без лишних слов, я обвинил себя во всем. Оправдывался я, «если только позволительно мне еще оправдываться», тем, что, по совершенной непривычке к вину, опьянел с первой рюмки, которую (будто бы) выпил еще до них, когда поджидал их в Hotel de Paris с пяти до шести часов. Извинения просил я преимущественно у Симонова; его же просил передать мои объяснения и всем другим, особенно Зверкову, которого, «помнится мне, как сквозь сон», я, кажется, оскорбил. Я прибавлял, что и сам бы ко всем поехал, да голова болит, а пуще всего — совестно. Особенно доволен остался я этой «некоторой легкостью», даже чуть не небрежностию (впрочем, совершенно приличною), которая вдруг отразилась в моем пере и лучше всех возможных резонов, сразу, давала им понять, что я смотрю «на всю эту вчерашнюю гадость» довольно независимо; совсем-таки, вовсе-таки не убит наповал, как вы, господа, вероятно, думаете, а напротив, смотрю так, как следует смотреть на это спокойно уважающему себя джентльмену. Быль, дескать, молодцу не укор.

— Даже ведь какая-то игривость маркизская? — любовался я, перечитывая записку.— А все оттого, что развитой и образованный человек! Другие бы на моем месте не знали, как и выпутаться, а я вот вывернулся и кучу́ себе вновь, и все потому, что «образованный и развитой человек нашего времени». Да и впрямь, пожалуй, это все от вина вчера произошло. Гм... ну нет, не от вина. Водки-то я вовсе не пил, от пяти-то до шести часов, когда их поджидал. Солгал Симонову; солгал бессовестно; да и теперь не совестно...

А впрочем, наплевать! Главное то, что отделался.

Я вложил в письмо шесть рублей, запечатал и упросил Аполлона снести к Симонову. Узнав, что в письме деньги, Аполлон стал

почтительнее и согласился сходить. К вечеру я вышел пройтись. Голова у меня еще болела и кружилась со вчерашнего. Но чем более наступал вечер и чем гуще становились сумерки, тем более менялись и путались мои впечатления, а за ними и мысли. Что-то не умирало во мне внутри, в глубине сердца и совести, не хотело умереть и сказывалось жгучей тоской. Толкался я больше по самым людным, промышленным улицам, по Мещанским, по Садовой, у Юсупова сада. Особенно любил я всегда прохаживаться по этим улицам в сумерки, именно когда там густеет толпа всякого прохожего, промышленного и ремесленного люду, с озабоченными до злости лицами, расходящаяся по домам с дневных заработков. Нравилась мне именно эта грошовая суетня, эта наглая прозаичность. В этот раз вся эта уличная толкотня еще больше меня раздражала. Я никак не мог с собой справиться, концов найти. Что-то подымалось, подымалось в душе беспрерывно, с болью, и не хотело угомониться. Совсем расстроенный я воротился домой. Точно как будто на душе моей лежало какое-то преступление.

Мучила меня постоянно мысль, что придет Лиза. Странно мне было то, что из всех этих вчерашних воспоминаний воспоминание о ней как-то особенно, как-то совсем отдельно меня мучило. Обо всем другом я к вечеру уже совсем успел забыть, рукой махнул и все еще совершенно оставался доволен моим письмом к Симонову. Но тут я как-то уж не был доволен. Точно как будто я одной Лизой и мучился. «Что, если она придет? — думал я беспрерывно.— Ну что ж, ничего, пусть и придет. Гм. Скверно уж одно то, что она увидит, например, как я живу. Вчера я таким перед ней показался... героем... а теперь, гм! Это, впрочем, скверно, что я так опустился. Просто нищета в квартире. И я решился вчера ехать в таком платье обедать! А клеенчатый диван-то мой, из которого мочалка торчит! А халат-то мой, которым нельзя закрыться! Какие клочья... И она это все увидит; и Аполлона увидит. Эта скотина, наверно, ее оскорбит. Он придерется к ней, чтоб мне сделать грубость. А я уж, разумеется, по обычаю, струшу, семенить перед ней начну, закрываться полами халата, улыбаться начну, лгать начну. У, скверность! Да и не в этом главная-то скверность! Тут есть что-то главнее, гаже, подлее! да, подлее! И опять, опять надевать эту бесчестную лживую маску!..»

Дойдя до этой мысли, я так и вспыхнул:

«Для чего бесчестную? Какую бесчестную? Я говорил вчера искренно. Я помню, во мне тоже было настоящее чувство. Я именно хотел вызвать в ней благородные чувства... если она поплакала, то это хорошо, это благотворно подействует...»

Но все-таки я никак не мог успокоиться.

Весь этот вечер, уже когда я и домой воротился, уже после девяти часов, когда, по расчету, никак не могла прийти Лиза, мне все-

таки она мерещилась и, главное, вспоминалась все в одном и том же положении. Именно один момент из всего вчерашнего мне особенно ярко представлялся: это когда я осветил спичкой комнату и увидал ее бледное, искривленное лицо, с мученическим взглядом. И какая жалкая, какая неестественная, какая искривленная улыбка у ней была в ту минуту! Но я еще не знал тогда, что и через пятнадцать лет я все-таки буду представлять себе Лизу именно с этой жалкой, искривленной, ненужной улыбкой, которая у ней была в ту минуту.

На другой день я уже опять готов был считать все это вздором, развозившимися нервами, а главное — *преувеличением*. Я всегда сознавал эту мою слабую струнку и иногда очень боялся ее: «все-то я преувеличиваю, тем и хромаю»,— повторял я себе ежечасно. Но, впрочем, «впрочем, все-таки Лиза, пожалуй, придет» — вот припев, которым заключались все мои тогдашние рассуждения. До того я беспокоился, что приходил иногда в бешенство. «Придет! непременно придет! — восклицал я, бегая по комнате,— не сегодня, так завтра придет, а уж отыщет! И таков проклятый романтизм всех этих *чистых сердец!* О мерзость, о глупость, о ограниченность этих "поганых сантиментальных душ"! Ну, как не понять, как бы, кажется, не понять?..» — Но тут я сам останавливался и даже в большом смущении.

«И как мало, мало,— думал я мимоходом,— нужно было слов, как мало нужно было идиллии (да и идиллии-то еще напускной, книжной, сочиненной), чтоб тотчас же и повернуть всю человеческую душу по-своему. То-то девственность-то! То-то свежесть-то почвы!»

Иногда мне приходила мысль самому съездить к ней, «рассказать ей все» и упросить ее не приходить ко мне. Но тут, при этой мысли, во мне подымалась такая злоба, что, кажется, я бы так и раздавил эту «проклятую» Лизу, если б она возле меня вдруг случилась, оскорбил бы ее, оплевал бы, выгнал бы, ударил бы!

Прошел, однако ж, день, другой, третий — она не приходила, и я начинал успокоиваться. Особенно ободрялся и разгуливался я после девяти часов, даже начинал иногда мечтать и довольно сладко: «Я, например, спасаю Лизу, именно тем, что она ко мне ходит, а я ей говорю... Я ее развиваю, образовываю. Я, наконец, замечаю, что она меня любит, страстно любит. Я прикидываюсь, что не понимаю (не знаю, впрочем, для чего прикидываюсь; так, для красы, вероятно). Наконец она, вся смущенная, прекрасная, дрожа и рыдая, бросается к ногам моим и говорит, что я ее спаситель и что она меня любит больше всего на свете. Я изумляюсь, но... "Лиза,— говорю я,— неужели ж ты думаешь, что я не заметил твоей любви? Я видел все, я угадал, но я не смел посягать на твое сердце первый, потому что имел на тебя влияние и боялся, что ты,

из благодарности, нарочно заставишь себя отвечать на любовь мою, сама насильно вызовешь в себе чувство, которого, может быть, нет, а я этого не хотел, потому что это... деспотизм... Это неделикатно (ну, одним словом, я тут зарапортовывался в какой-нибудь такой европейской, жорж-зандовской, неизъяснимо благородной тонкости...). Но теперь, теперь — ты моя, ты мое созданье, ты чиста, прекрасна, ты — прекрасная жена моя.

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!"

Затем мы начинаем жить-поживать, едем за границу и т. д. и т. д.». Одним словом, самому подло становилось, и я кончал тем, что дразнил себя языком.

«Да и не пустят ее, "мерзавку"! — думал я.— Их ведь, кажется, гулять-то не очень пускают, тем более вечером (мне почему-то непременно казалось, что она должна прийти вечером и именно в семь часов). А впрочем, она сказала, что еще не совсем там закабалилась, на особых правах состоит; значит, гм! Черт возьми, придет, непременно придет!»

Хорошо еще, что развлекал меня в это время Аполлон своими грубостями. Из терпенья последнего выводил! Это была язва моя, бич, посланный на меня Провиденьем. Мы с ним пикировались постоянно, несколько лет сряду, и я его ненавидел. Бог мой, как я его ненавидел! Никого в жизни я еще, кажется, так не ненавидел, как его, особенно в иные минуты. Человек он был пожилой, важный, занимавшийся отчасти портняжеством. Но неизвестно почему, он презирал меня, даже сверх всякой меры, и смотрел на меня нестерпимо свысока. Впрочем, он на всех смотрел свысока. Взглянуть только на эту белобрысую, гладко причесанную голову, на этот кок, который он взбивал себе на лбу и подмасливал постным маслом, на этот солидный рот, всегда сложенный ижицей,— и вы уже чувствовали перед собой существо, не сомневавшееся в себе никогда. Это был педант в высочайшей степени, и самый огромный педант из всех, каких я только встречал на земле; и при этом с самолюбием, приличным разве только Александру Македонскому. Он был влюблен в каждую пуговицу свою, в каждый свой ноготь — непременно влюблен, он тем смотрел! Относился он ко мне вполне деспотически, чрезвычайно мало говорил со мной, а если случалось ему на меня взглядывать, то смотрел твердым, величаво самоуверенным и постоянно насмешливым взглядом, приводившим меня иногда в бешенство. Исполнял он свою должность с таким видом, как будто делал мне высочайшую милость. Впрочем, он почти ровно ничего для меня не делал и даже вовсе не считал себя обязанным что-нибудь делать. Сомнения быть не могло, что он считал меня за самого последнего дурака на всем свете, и если

«держал меня при себе», то единственно потому только, что от меня можно было получать каждый месяц жалованье. Он соглашался «ничего не делать» у меня за семь рублей в месяц. Мне за него много простится грехов. Доходило иногда до такой ненависти, что меня бросало чуть не в судороги от одной его походки. Но особенно гадко было мне его пришепетывание. У него был язык несколько длиннее, чем следует, или что-то вроде этого, оттого он постоянно шепелявил и сюсюкал и, кажется, этим ужасно гордился, воображая, что это придает ему чрезвычайно много достоинства. Говорил он тихо, размеренно, заложив руки за спину и опустив глаза в землю. Особенно бесил он меня, когда, бывало, начнет читать у себя за перегородкой Псалтырь. Много битв вынес я из-за этого чтенья. Но он ужасно любил читать по вечерам, тихим, ровным голосом, нараспев, точно как по мертвом. Любопытно, что он тем и кончил: он теперь нанимается читать Псалтырь по покойникам, а вместе с тем истребляет крыс и делает ваксу. Но тогда я не мог прогнать его, точно он был слит с существованием моим химически. К тому же он бы и сам не согласился от меня уйти ни за что. Мне нельзя было жить в шамбр-гарни: моя квартира была мой особняк, моя скорлупа, мой футляр, в который я прятался от всего человечества, а Аполлон, черт знает почему, казался мне принадлежащим к этой квартире, и я целых семь лет не мог согнать его.

Задержать, например, его жалованье хоть два, хоть три дня было невозможно. Он бы такую завел историю, что я бы не знал, куда и деваться. Но в эти дни я до того был на всех озлоблен, что решился, почему-то и для чего-то, *наказать* Аполлона и не выдавать ему еще две недели жалованья. Я давно уж, года два, собирался это сделать — единственно чтоб доказать ему, что он не смеет так уж важничать надо мной и что если я захочу, то всегда могу не выдать ему жалованья. Я положил не говорить ему об этом и даже нарочно молчать, чтоб победить его гордость и заставить его самого, первого, заговорить о жалованье. Тогда я выну все семь рублей из ящика, покажу ему, что они у меня есть и нарочно отложены, но что я «не хочу, не хочу, просто не хочу выдать ему жалованье, не хочу, потому что *так хочу»,* потому что на это «моя воля господская», потому что он непочтителен, потому что он грубиян; но что если он попросит почтительно, то я, пожалуй, смягчусь и дам; не то еще две недели прождет, три прождет, целый месяц прождет...

Но как я ни был зол, а все-таки он победил. Я и четырех дней не выдержал. Он начал с того, с чего всегда начинал в подобных случаях, потому что подобные случаи уже бывали, пробовались (и, замечу, я знал все это заранее, я знал наизусть его подлую тактику), именно: он начинал с того, что устремит, бывало, на меня

чрезвычайно строгий взгляд, не спускает его несколько минут сряду, особенно встречая меня или провожая из дому. Если, например, я выдерживал и делал вид, что не замечаю этих взглядов, он, по-прежнему молча, приступал к дальнейшим истязаниям. Вдруг, бывало, ни с того ни с сего, войдет тихо и плавно в мою комнату, когда я хожу или читаю, остановится у дверей, заложит одну руку за спину, отставит ногу и устремит на меня свой взгляд, уж не то что строгий, а совсем презрительный. Если я вдруг спрошу его, что ему надо? — он не ответит ничего, продолжает смотреть на меня в упор еще несколько секунд, потом, как-то особенно сжав губы, с многозначительным видом, медленно повернется на месте и медленно уйдет в свою комнату. Часа через два вдруг опять выйдет и опять так же передо мной появится. Случалось, что я, в бешенстве, уж и не спрашивал его: чего ему надо? а просто сам резко и повелительно подымал голову и тоже начинал смотреть на него в упор. Так смотрим мы, бывало, друг на друга минуты две; наконец он повернется, медленно и важно, и уйдет опять на два часа.

Если я и этим все еще не вразумлялся и продолжал бунтоваться, то он вдруг начнет вздыхать, на меня глядя, вздыхать долго, глубоко, точно измеряя одним этим вздохом всю глубину моего нравственного падения, и, разумеется, кончалось наконец тем, что он одолевал вполне: я бесился, кричал, но то, об чем дело шло, все-таки принуждаем был исполнить.

В этот же раз едва только начались обыкновенные маневры «строгих взглядов», как я тотчас же вышел из себя и в бешенстве на него накинулся. Слишком уж я был и без того раздражен.

— Стой! — закричал я в исступлении, когда он медленно и молча повертывался, с одной рукой за спиной, чтоб уйти в свою комнату,— стой! воротись, воротись, говорю я тебе! — и, должно быть, я так неестественно рявкнул, что он повернулся и даже с некоторым удивлением стал меня разглядывать. Впрочем, продолжал не говорить ни слова, а это-то меня и бесило.

— Как ты смеешь входить ко мне без спросу и так глядеть на меня? Отвечай!

Но посмотрев на меня спокойно с полминуты, он снова начал повертываться.

— Стой! — заревел я, подбегая к нему,— ни с места! Так. Отвечай теперь: чего ты входил смотреть?

— Если таперича вам есть что мне приказать, то мое дело исполнить,— отвечал он, опять-таки помолчав, тихо и размеренно сюсюкая, подняв брови и спокойно перегнув голову с одного плеча на другое,— и все это с ужасающим спокойствием.

— Не об этом, не об этом я тебя спрашиваю, палач! — закричал я, трясясь от злобы.— Я скажу тебе, палач, сам, для чего ты

приходишь сюда: ты видишь, что я не выдаю тебе жалованья, сам не хочешь, по гордости, поклониться — попросить, и для того приходишь с своими глупыми взглядами меня наказывать, мучить, и не подозр-р-реваешь ты, палач, как это глупо, глупо, глупо, глупо, глупо!

Он было молча опять стал повертываться, но я ухватил его.

— Слушай,— кричал я ему.— Вот деньги, видишь; вот они! (я вынул их из столика) все семь рублей, но ты их не получишь, не па-алучишь до тех самых пор, пока не придешь почтительно, с повинной головой, просить у меня прощения. Слышал!

— Быть того не может! — отвечал он с какою-то неестественною самоуверенностью.

— Будет! — кричал я,— даю тебе честное слово мое, будет!

— И не в чем мне у вас прощения просить,— продолжал он, как бы совсем не замечая моих криков,— потому вы же обозвали меня «палачом», на чем я с вас могу в квартале всегда за обиду просить.

— Иди! Проси! — заревел я,— иди сейчас, сию минуту, сию секунду! А ты все-таки палач! палач! палач! — Но он только посмотрел на меня, затем повернулся и, уже не слушая призывных криков моих, плавно пошел к себе, не оборачиваясь.

«Если б не Лиза, не было б ничего этого!» — решил я про себя. Затем, постояв с минуту, важно и торжественно, но с медленно и сильно бьющимся сердцем, я отправился сам к нему за ширмы.

— Аполлон! — сказал я тихо и с расстановкой, но задыхаясь,— сходи тотчас же и нимало не медля за квартальным надзирателем!

Он было уж уселся тем временем за своим столом, надел очки и взял что-то шить. Но, услышав мое приказанье, вдруг фыркнул со смеху.

— Сейчас, сию минуту иди! — иди, или ты и не воображаешь, что будет!

— Подлинно вы не в своем уме,— заметил он, даже не подняв головы, так же медленно сюсюкая и продолжая вдевать нитку.— И где это видано, чтоб человек сам против себя за начальством ходил? А касательно страху,— напрасно только надсажаетесь, потому — ничего не будет.

— Иди! — визжал я, хватая его за плечо. Я чувствовал, что сейчас ударю его.

Но я и не слыхал, как в это мгновение вдруг дверь из сеней тихо и медленно отворилась и какая-то фигура вошла, остановилась и с недоумением начала нас разглядывать. Я взглянул, обмер со стыда и бросился в свою комнату. Там, схватив себя обеими руками за волосы, я прислонился головой к стене и замер в этом положении.

Минуты через две послышались медленные шаги Аполлона.

— Там *какая-то* вас спрашивает,— сказал он, особенно строго смотря на меня, потом посторонился и пропустил — Лизу. Он не хотел уходить и насмешливо нас рассматривал.

— Ступай! ступай! — командовал я ему потерявшись. В эту минуту мои часы принатужились, прошипели и пробили семь.

IX

И в дом мой смело и свободно
Хозяйкой полною войди!

Из той же поэзии

Я стоял перед ней убитый, ошельмованный, омерзительно сконфуженный и, кажется, улыбался, всеми силами стараясь запахнуться полами моего лохматого, ватного халатишки,— ну точь-в-точь, как еще недавно, в упадке духа, представлял себе. Аполлон, постояв над нами минуты две, ушел, но мне было не легче. Хуже всего, что и она тоже вдруг сконфузилась, до того, что я даже и не ожидал. На меня глядя, разумеется.

— Садись,— сказал я машинально и придвинул ей стул возле стола, сам же сел на диван. Она тотчас же и послушно уселась, смотря на меня во все глаза и, очевидно, чего-то сейчас от меня ожидая. Эта-то наивность ожидания и привела меня в бешенство, но я сдержал себя.

Тут-то бы и стараться ничего не замечать, как будто все по-обыкновенному, а она... И я смутно почувствовал, что она дорого мне *за все* это заплатит.

— Ты меня застала в странном положении, Лиза,— начал я, заикаясь и зная, что именно так-то и не надо начинать.

— Нет, нет, не думай чего-нибудь! — вскричал я, увидев, что она вдруг покраснела,— я не стыжусь моей бедности... Напротив, я гордо смотрю на мою бедность. Я беден, но благороден... Можно быть бедным и благородным,— бормотал я.— Впрочем... хочешь чаю?

— Нет...— начала было она.

— Подожди!

Я вскочил и побежал к Аполлону. Надо же было куда-нибудь провалиться.

— Аполлон,— зашептал я лихорадочной скороговоркой, бросая перед ним семь рублей, остававшиеся все время в моем кулаке,— вот твое жалованье; видишь, я выдаю; но зато ты должен спасти меня: немедленно принеси из трактира чаю и десять сухарей. Если ты не захочешь пойти, то ты сделаешь несчастным человека! Ты не знаешь, какая это женщина... Это — все! Ты, мо-

жет быть, что-нибудь думаешь... Но ты не знаешь, какая это женщина!..

Аполлон, уже усевшийся за работу и уже надевший опять очки, сначала, не покидая иглы, молча накосился на деньги; потом, не обращая на меня никакого внимания и не отвечая мне ничего, продолжал возиться с ниткой, которую все еще вдевал. Я ждал минуты три, стоя перед ним, с сложенными à la Napoléon[1] руками. Виски мои были смочены потом; сам я был бледен, я чувствовал это. Но, слава богу, верно, ему стало жалко, смотря на меня. Кончив с своей ниткой, он медленно привстал с места, медленно отодвинул стул, медленно снял очки, медленно пересчитал деньги и наконец, спросив меня через плечо: взять ли полную порцию? медленно вышел из комнаты. Когда я возвращался к Лизе, мне пришло на ум дорогой: не убежать ли так, как есть, в халатишке, куда глаза глядят, а там будь что будет.

Я уселся опять. Она смотрела на меня с беспокойством. Несколько минут мы молчали.

— Я убью его! — вскричал я вдруг, крепко хлопнув по столу кулаком, так что чернила плеснули из чернильницы.

— Ах, что вы это! — вскричала она, вздрогнув.

— Я убью его, убью его! — визжал я, стуча по столу, совершенно в исступлении и совершенно понимая в то же время, как это глупо быть в таком исступлении.

— Ты не знаешь, Лиза, что такое этот палач для меня. Он мой палач... Он пошел теперь за сухарями; он...

И вдруг я разразился слезами. Это был припадок. Как мне стыдно-то было между всхлипываний; но я уж их не мог удержать. Она испугалась.

— Что с вами! что это с вами! — вскрикивала она, суетясь около меня.

— Воды, подай мне воды, вон там! — бормотал я слабым голосом, сознавая, впрочем, про себя, что я очень бы мог обойтись без воды и не бормотать слабым голосом. Но я, что называется, *представлялся*, чтоб спасти приличия, хотя припадок был и действительный.

Она подала мне воды, смотря на меня как потерянная. В эту минуту Аполлон внес чай. Мне вдруг показалось, что этот обыкновенный и прозаический чай ужасно неприличен и мизерен после всего, что было, и я покраснел. Лиза смотрела на Аполлона даже с испугом. Он вышел, не взглянув на нас.

— Лиза, ты презираешь меня? — сказал я, смотря на нее в упор, дрожа от нетерпения узнать, что она думает.

Она сконфузилась и не сумела ничего ответить.

---

[1] по-наполеоновски (*фр.*).

— Пей чай! — проговорил я злобно. Я злился на себя, но, разумеется, достаться должно было ей. Страшная злоба против нее закипела вдруг в моем сердце; так бы и убил ее, кажется. Чтоб отмстить ей, я поклялся мысленно не говорить с ней во все время ни одного слова. «Она же всему причиною», — думал я.

Молчание наше продолжалось уже минут пять. Чай стоял на столе; мы до него не дотрогивались: я до того дошел, что нарочно не хотел начинать пить, чтоб этим отяготить ее еще больше; ей же самой начинать было неловко. Несколько раз она с грустным недоумением взглянула на меня. Я упорно молчал. Главный мученик был, конечно, я сам, потому что вполне сознавал всю омерзительную низость моей злобной глупости, и в то же время никак не мог удержать себя.

— Я оттуда... хочу... совсем выйти, — начала было она, чтобы как-нибудь прервать молчанье, но, бедная! именно об этом-то и не надо было начинать говорить в такую и без того глупую минуту, такому, и без того глупому, как я, человеку. Даже мое сердце заныло от жалости на ее неумелость и ненужную прямоту. Но что-то безобразное подавило во мне тотчас же всю жалость; даже еще подзадорило меня еще более: пропадай все на свете! Прошло еще пять минут.

— Не помешала ли я вам? — начала она робко, чуть слышно, и стала вставать.

Но как только я увидал эту первую вспышку оскорбленного достоинства, я так и задрожал от злости и тотчас же прорвался.

— Для чего ты ко мне пришла, скажи ты мне, пожалуйста? — начал я, задыхаясь и даже не соображаясь с логическим порядком в моих словах. Мне хотелось все разом высказать, залпом; я даже не заботился, с чего начинать.

— Зачем ты пришла? Отвечай! Отвечай! — вскрикивал я, едва помня себя. — Я тебе скажу, матушка, зачем ты пришла. Ты пришла потому, что я тебе тогда *жалкие слова* говорил. Ну вот ты и разнежилась и опять тебе «жалких слов» захотелось. Так знай же, знай, что я тогда смеялся над тобой. И теперь смеюсь. Чего ты дрожишь? Да, смеялся! Меня перед тем оскорбили за обедом вот те, которые тогда передо мной приехали. Я приехал к вам с тем, чтоб исколотить одного из них, офицера; но не удалось, не застал; надо же было обиду на ком-нибудь выместить, свое взять, ты подвернулась, я над тобой и вылил зло и насмеялся. Меня унизили, так и я хотел унизить; меня в тряпку растерли, так и я власть захотел показать... Вот что было, а ты уж думала, что я тебя спасать нарочно тогда приезжал, да? ты это думала? Ты это думала?

Я знал, что она, может быть, запутается и не поймет подробностей; но я знал тоже, что она отлично хорошо поймет сущность. Так и случилось. Она побледнела, как платок, хотела что-то про-

говорить, губы ее болезненно искривились; но как будто ее топором подсекли, упала на стул. И все время потом она слушала меня, раскрыв рот, открыв глаза и дрожа от ужасного страха. Цинизм, цинизм моих слов придавил ее...

— Спасать! — продолжал я, вскочив со стула и бегая перед ней взад и вперед по комнате, — от чего спасать! Да я, может, сам тебя хуже. Что ты мне тогда же не кинула в рожу, когда я тебе рацеи-то читал: «А ты, мол, сам зачем к нам зашел? Мораль, что ли, читать?» Власти, власти мне надо было тогда, игры было надо, слез твоих надо было добиться, унижения, истерики твоей — вот чего надо мне было тогда! Я ведь и сам тогда не вынес, потому что я дрянь, перепугался и черт знает для чего дал тебе сдуру адрес. Так я потом, еще домой не дойдя, уж тебя ругал на чем свет стоит за этот адрес. Я уж ненавидел тебя, потому что я тебе тогда лгал. Потому что я только на словах поиграть, в голове помечтать, а на деле мне надо, знаешь чего: чтоб вы провалились, вот чего! Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить. Знала ль ты это, или нет? Ну а я вот знаю, что я мерзавец, подлец, себялюбец, лентяй. Я вот дрожал эти три дня от страха, что ты придешь. А знаешь, что все эти три дня меня особенно беспокоило? А то, что вот я тогда героем таким перед тобой представился, а тут вот ты вдруг увидишь меня в этом рваном халатишке, нищего, гадкого. Я тебе сказал давеча, что я не стыжусь своей бедности; так знай же, что стыжусь, больше всего стыжусь, пуще всего боюсь, пуще того, если б я воровал, потому что я тщеславен так, как будто с меня кожу содрали, и мне уж от одного воздуха больно. Да неужели ж ты даже и теперь еще не догадалась, что я тебе никогда не прощу того, что ты застала меня в этом халатишке, когда я бросался, как злая собачонка, на Аполлона. Воскреситель-то, бывший-то герой, бросается, как паршивая, лохматая шавка, на своего лакея, а тот смеется над ним! И слез давешних, которых перед тобой я, как пристыженная баба, не мог удержать, никогда тебе не прощу! И того, в чем теперь тебе признаюсь, тоже никогда тебе не прощу! Да, — ты, одна ты за все это ответить должна, потому что ты так подвернулась, потому что я мерзавец, потому что я самый гадкий, самый смешной, самый мелочной, самый глупый, самый завистливый из всех на земле червяков, которые вовсе не лучше меня, но которые, черт знает отчего, никогда не конфузятся; а вот я так всю жизнь от всякой гниды буду щелчки получать — и это моя черта! Да какое мне дело до того, что ты этого ничего не поймешь! И какое, ну какое, какое дело мне до тебя и до того, погибаешь ты там или нет? Да понимаешь ли ты, как я теперь, высказав тебе это, тебя ненавидеть буду за то, что ты тут

была и слушала? Ведь человек раз в жизни только так высказывается, да и то в истерике!.. Чего ж тебе еще? Чего ж ты еще, после всего этого, торчишь передо мной, мучаешь меня, не уходишь?

Но тут случилось вдруг странное обстоятельство.

Я до того привык думать и воображать все по книжке и представлять себе все на свете так, как сам еще прежде в мечтах сочинил, что даже сразу и не понял тогда этого странного обстоятельства. А случилось вот что: Лиза, оскорбленная и раздавленная мною, поняла гораздо больше, чем я воображал себе. Она поняла из всего этого то, что женщина всегда прежде всего поймет, если искренно любит, а именно: что я сам несчастлив.

Испуганное и оскорбленное чувство сменилось на лице ее сначала горестным изумлением. Когда же я стал называть себя подлецом и мерзавцем и полились мои слезы (я проговорил всю эту тираду со слезами), все лицо ее передернулось какой-то судорогой. Она хотела было встать, остановить меня; когда же я кончил, она не на крики мои обратила внимание: «Зачем ты здесь, зачем не уходишь!» — а на то, что мне, должно быть, очень тяжело самому было все это выговорить. Да и забитая она была такая, бедная; она считала себя бесконечно ниже меня; где ж ей было озлиться, обидеться? Она вдруг вскочила со стула в каком-то неудержимом порыве и, вся стремясь ко мне, но все еще робея и не смея сойти с места, протянула ко мне руки... Тут сердце и во мне перевернулось. Тогда она вдруг бросилась ко мне, обхватила мою шею руками и заплакала. Я тоже не выдержал и зарыдал так, как никогда еще со мной не бывало...

— Мне не дают... Я не могу быть... добрым! — едва проговорил я, затем дошел до дивана, упал на него ничком и четверть часа рыдал в настоящей истерике. Она припала ко мне, обняла меня и как бы замерла в этом объятии.

Но все-таки штука была в том, что истерика должна же была пройти. И вот (я ведь омерзительную правду пишу), лежа ничком на диване, накрепко, и уткнув лицо в дрянную кожаную подушку мою, я начал помаленьку, издалека, невольно, но неудержимо ощущать, что ведь мне теперь неловко будет поднять голову и посмотреть Лизе прямо в глаза. Чего мне было стыдно? — не знаю, но мне было стыдно. Пришло мне тоже в взбудораженную мою голову, что роли ведь теперь окончательно переменились, что героиня теперь она, а я точно такое же униженное и раздавленное создание, каким она была передо мной в ту ночь,— четыре дня назад... И все это ко мне пришло еще в те минуты, когда я лежал ничком на диване!

Боже мой! да неужели ж я тогда ей позавидовал?

Не знаю, до сих пор еще не могу решить, а тогда, конечно, еще меньше мог это понять, чем теперь. Без власти и тиранства над

кем-нибудь я ведь не могу прожить... Но... но ведь рассуждениями ничего не объяснишь, а следственно, и рассуждать нечего.

Я, однако ж, преодолел себя и приподнял голову; надобно ж было когда-нибудь поднять... И вот, я до сих пор уверен, что именно потому, что мне было стыдно смотреть на нее, в сердце моем вдруг тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство... чувство господства и обладания. Глаза мои блеснули страстью, и я крепко стиснул ее руки. Как я ненавидел ее и как меня влекло к ней в эту минуту! Одно чувство усиливало другое. Это походило чуть не на мщение!.. На лице ее изобразилось сначала как будто недоумение, как будто даже страх, но только на мгновение. Она восторженно и горячо обняла меня.

X

Через четверть часа я бегал взад и вперед в бешеном нетерпении по комнате, поминутно подходил к ширмам и в щелочку поглядывал на Лизу. Она сидела на полу, склонив на кровать голову и, должно быть, плакала. Но она не уходила, а это-то и раздражало меня. В этот раз она уже все знала. Я оскорбил ее окончательно, но... нечего рассказывать. Она догадалась, что порыв моей страсти был именно мщением, новым ей унижением, и что к давешней моей, почти беспредметной ненависти прибавилась теперь уже *личная, завистливая* к ней ненависть... А впрочем, не утверждаю, чтоб она это все поняла отчетливо; но зато она вполне поняла, что я человек мерзкий и, главное, не в состоянии любить ее.

Я знаю, мне скажут, что это невероятно,— невероятно быть таким злым, глупым, как я; пожалуй, еще прибавят, невероятно было не полюбить ее или по крайней мере не оценить этой любви. Отчего же невероятно? Во-первых, я и полюбить уж не мог, потому что, повторяю, любить у меня — значило тиранствовать и нравственно превосходствовать. Я всю жизнь не мог даже представить себе иной любви и до того дошел, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать. Я и в мечтах своих подпольных иначе и не представлял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненависти и кончал нравственным покорением, а потом уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом. Да и что тут невероятного, когда я уж до того успел растлить себя нравственно, до того от «живой жизни» отвык, что давеча вздумал попрекать и стыдить ее тем, что она пришла ко мне «жалкие слова» слушать; а и не догадался сам, что она пришла вовсе не для того, чтоб жалкие слова слушать, а чтоб любить меня, потому что для женщины в любви-то и заключается

все воскресение, все спасение от какой бы то ни было гибели и все возрождение, да иначе и проявиться не может, как в этом. Впрочем, я не очень уж так ее ненавидел, когда бегал по комнате и в щелочку заглядывал за ширмы. Мне только невыносимо тяжело было, что она здесь. Я хотел, чтоб она исчезла. «Спокойствия» я желал, остаться один в подполье желал. «Живая жизнь» с непривычки придавила меня до того, что даже дышать стало трудно.

Но прошло еще несколько минут, а она все еще не подымалась, как будто в забытьи была. Я имел бессовестность тихонько постучать в ширмы, чтоб напомнить ей... Она вдруг встрепенулась, схватилась с места и бросилась искать свой платок, свою шляпку, шубу, точно спасаясь от меня куда-то... Через две минуты она медленно вышла из-за ширм и тяжело на меня поглядела. Я злобно усмехнулся, впрочем, насильно, для приличия, и отворотился от ее взгляда.

— Прощайте,— проговорила она, направляясь к двери.

Я вдруг подбежал к ней, схватил ее руку, разжал ее, вложил... и потом опять зажал. Затем тотчас же отвернулся и отскочил поскорей в другой угол, чтоб не видеть по крайней мере...

Я хотел было сию минуту солгать — написать, что я сделал это нечаянно, не помня себя, потерявшись, сдуру. Но я не хочу лгать и потому говорю прямо, что я разжал ей руку и положил в нее... со злости. Мне это пришло в голову сделать, когда я бегал взад и вперед по комнате, а она сидела за ширмами. Но вот что я наверно могу сказать: я сделал эту жестокость, хоть и нарочно, но не от сердца, а от дурной моей головы. Эта жестокость была до того напускная, до того головная, нарочно подсочиненная, книжная, что я сам не выдержал даже минуты,— сначала отскочил в угол, чтоб не видеть, а потом со стыдом и отчаянием бросился вслед за Лизой. Я отворил дверь в сени и стал прислушиваться.

— Лиза! Лиза! — крикнул я на лестницу, но несмело, вполголоса...

Ответа не было, мне показалось, что я слышу ее шаги на нижних ступеньках.

— Лиза! — крикнул я громче.

Нет ответа. Но в ту же минуту я услышал снизу, как тяжело, с визгом отворилась тугая наружная стеклянная дверь на улицу и туго захлопнулась. Гул поднялся по лестнице.

Она ушла. Я воротился в комнату в раздумье. Ужасно тяжело мне было.

Я остановился у стола возле стула, на котором она сидела, и бессмысленно смотрел перед собой. Прошло с минуту, вдруг я весь вздрогнул: прямо перед собой, на столе, я увидал... одним словом, я увидал смятую синюю пятирублевую бумажку, ту самую, кото-

рую минуту назад зажал в ее руке. Это была *та* бумажка; другой и быть не могло; другой и в доме не было. Она, стало быть, успела выбросить ее из руки на стол в ту минуту, когда я отскочил в другой угол.

Что ж? я мог ожидать, что она это сделает. Мог ожидать? Нет. Я до того был эгоист, до того не уважал людей на самом деле, что даже и вообразить не мог, что и она это сделает. Этого я не вынес. Мгновение спустя я, как безумный, бросился одеваться, накинул на себя, что успел впопыхах, и стремглав выбежал за ней. Она и двухсот шагов еще не успела уйти, когда я выбежал на улицу.

Было тихо, валил снег и падал почти перпендикулярно, настилая подушку на тротуар и на пустынную улицу. Никого не было прохожих, никакого звука не слышалось. Уныло и бесполезно мерцали фонари. Я отбежал шагов двести до перекрестка и остановился.

«Куда пошла она? и зачем я бегу за ней? Зачем? Упасть перед ней, зарыдать от раскаяния, целовать ее ноги, молить о прощении! Я и хотел этого; вся грудь моя разрывалась на части, и никогда, никогда не вспомяну я равнодушно эту минуту. Но — зачем? — подумалось мне. — Разве я не возненавижу ее, может быть, завтра же, именно за то, что сегодня целовал ее ноги? Разве дам я ей счастье? Разве я не узнал сегодня опять, в сотый раз, цены себе? Разве я не замучу ее!»

Я стоял на снегу, всматриваясь в мутную мглу, и думал об этом.

«И не лучше ль, не лучше ль будет, — фантазировал я уже дома, после, заглушая фантазиями живую сердечную боль, — не лучше ль будет, если она навеки унесет теперь с собой оскорбление? Оскорбление, — да ведь это очищение; это самое едкое и больное сознание! Завтра же я бы загрязнил собой ее душу и утомил ее сердце. А оскорбление не замрет в ней теперь никогда, и как бы ни была гадка грязь, которая ее ожидает, — оскорбление возвысит и очистит ее... ненавистью... гм... может, и прощением... А, впрочем, легче ль ей от всего этого будет?»

А в самом деле: вот я теперь уж от себя задаю один праздный вопрос: что лучше — дешевое ли счастие или возвышенные страдания? Ну-ка, что лучше?

Так мне мерещилось, когда я сидел в тот вечер у себя дома, едва живой от душевной боли. Никогда я не выносил еще столько страдания и раскаяния; но разве могло быть хоть какое-либо сомнение, когда я выбегал из квартиры, что я не возвращусь с полдороги домой? Никогда больше я не встречал Лизу и ничего не слыхал о ней. Прибавлю тоже, что я надолго остался доволен *фразой* о пользе от оскорбления и ненависти, несмотря на то, что сам чуть не заболел тогда от тоски.

Даже и теперь, через столько лет, все это как-то слишком *нехорошо* мне припоминается. Многое мне теперь нехорошо при-

поминается, но... не кончить ли уж тут «Записки»? Мне кажется, я сделал ошибку, начав их писать. По крайней мере мне было стыдно, все время как я писал эту *повесть:* стало быть, это уж не литература, а исправительное наказание. Ведь рассказывать, например, длинные повести о том, как я манкировал свою жизнь нравственным растлением в углу, недостатком среды, отвычкой от живого и тщеславной злобой в подполье,— ей-богу, не интересно; в романе надо героя, а тут *нарочно* собраны все черты для антигероя, а главное, все это произведет пренеприятное впечатление, потому что мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякий более или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей «живой жизни» какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Ведь мы до того дошли, что настоящую «живую жизнь» чуть не считаем за труд, почти что за службу, и все мы про себя согласны, что по книжке лучше. И чего копошимся мы иногда, чего блажим, чего просим? Сами не знаем чего. Нам же будет хуже, если наши блажные просьбы исполнят. Ну, попробуйте, ну, дайте нам, например, побольше самостоятельности, развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, ослабьте опеку, и мы... да уверяю же вас: мы тотчас же попросимся опять обратно в опеку. Знаю, что вы, может быть, на меня за это рассердитесь, закричите, ногами затопаете: «Говорите, дескать, про себя одного и про ваши мизеры в подполье, а не смейте говорить: *"все мы"*. Позвольте, господа, ведь не оправдываюсь же я этим *всемством*. Что же собственно до меня касается, то ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трусость свою принимали за благоразумие, и тем утешались, обманывая сами себя. Так что я, пожалуй, еще «живее» вас выхожу. Да взгляните пристальнее! Ведь мы даже не знаем, где и живое-то живет теперь и что оно такое, как называется? Оставьте нас одних, без книжки, и мы тотчас запутаемся, потеряемся,— не будем знать, куда примкнуть, чего придержаться; что любить и что ненавидеть, что уважать и что презирать? Мы даже и человеками-то быть тяготимся,— человеками с настоящим, *собственным* телом и кровью; стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть какими-то небывалыми общечеловеками. Мы мертворожденные, да и рождаемся-то давно уж не от живых отцов, и это нам все более и более нравится. Во вкус входим. Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи. Но довольно; не хочу я больше писать «из Подполья»...

Впрочем, здесь еще не кончаются «записки» этого парадоксалиста. Он не выдержал и продолжал далее. Но нам тоже кажется, что здесь можно и остановиться.

КОММЕНТАРИИ

ИДИОТ

Часть четвертая

С. 7. *Подколесин* — герой комедии Н. В. Гоголя «Женитьба».

«Tu l'as voulu, George Dandin!» — крылатое выражение из комедии Мольера «Жорж Данден» (дейст. 1, явл. 7).

С. 9. *Эта наглость наивности... превосходно выставлена Гоголем в удивительном типе поручика Пирогова...* — Считая героя повести Гоголя «Невский проспект» «пророчеством гения», Достоевский характеризует как модификацию этого бессмертного типа Ганю Иволгина и вкладывает в его уста почти те же слова, относя их к Ипполиту Терентьеву: «Это поручик Пирогов, это Ноздрев в трагедии...»

С. 13. *«Не хочу в ворота, разбирай забор!..»* — Достоевский приводит поговорку, вариант которой с областным словом «заплот» вместо «забор» записан им в Сибири.

С. 36. *...рассказ старого солдата-очевидца о пребывании французов в Москве...* — Как видно из дальнейших слов генерала, Достоевский имеет в виду, вероятно, статью «Московский Новодевичий монастырь в 1812 г. Рассказ очевидца, штатного служителя Семена Климыча» («Русский архив». 1864. № 4. С. 416—434).

С. 37. *Шассер* (фр. chasseur) — егерь (солдат особых частей пехоты или легкой кавалерии).

«Покойся, милый прах, до радостного утра»... — Одна из «Эпитафий» Н. М. Карамзина. Эти слова по желанию М. М. и Ф. М. Достоевских были в 1837 г. высечены на надгробном камне, установленном на могиле их матери.

Фальконет (ит ал. falconetto) — старинное мелкокалиберное артиллерийское орудие, стрелявшее свинцовыми ядрами.

...уверяет, что нога черносвитовская... Но Черносвитовская нога изобретена несравненно позже. — Книга Р. А. Черносвитова (р. 1810), петрашевца, сосланного в 1849 г. в Кексгольмскую крепость, «Наставление к устройству искусственной ноги» вышла в Петербурге в 1855 г.

С. 38. *Один из наших автобиографов начинает свою книгу... французские солдаты.* — Имеется в виду А. И. Герцен, воспроизведший упомянутый эпизод в «Былом и думах» (ч. I, гл. I).

С. 39. *Базанкур* Жан Батист, барон (1767—1830) — французский генерал, участник походов Наполеона.

С. 41. ...*недавно прочел книгу Шарраса о Ватерлооской кампании.*— Шаррас Жан Батист Адольф (1810—1865) — французский либерально-буржуазный политический деятель и военный историк. Мышкин говорит об его антибонапартистской книге «Histoire de la campagne de 1815. Waterloo» «История кампании 1815 г. Ватерлоо»); книга эта была в библиотеке Достоевского.

...*Даву, я, мамелюк Рустан*...— Даву Луи (1770—1823) — маршал и военный министр Наполеона I; мамелюк Рустан (1780—1845) — его любимец и телохранитель.

Констан — любимый камердинер Наполеона; довольно часто упоминается в художественной и мемуарной литературе.

Жозефина Богарне (1763—1814) — первая жена Наполеона I, с которой он развелся в 1809 г.

С. 43. ...*мой сын, le roi de Rome*...— Своему сыну Жозефу Франсуа Шарлю (1811—1832) Наполеон дал титул «короля Римского».

...*«знойный остров заточенья»*...— цитата из стихотворения Пушкина «Наполеон».

С. 44—45. *«Где моя юность, где моя свежесть!»... Это у Гоголя, в «Мертвых душах», папаша*...— Генерал Иволгин неточно воспроизводит заключительные слова лирического отступления в начале VI главы первого тома «Мертвых душ» (у Гоголя: «О моя юность! о моя свежесть!»).

Няня, где твоя могила! — цитата из третьей части незаконченной поэмы Н. П. Огарева (1840—1877) «Юмор». Эта часть поэмы была опубликована в альманахе «Полярная звезда» на 1869 г., который вышел в ноябре 1868 г.

С. 50. ...*«Историю» Шлоссера*...— Шлоссер Фридрих Кристоф (1776—1861) — немецкий историк. Его «Всемирная история» (1844—1856) издавалась в русском переводе в 1861—1869 гг. В библиотеке Достоевского имелся 1-й том этого труда.

С. 60. ...*смерть, одного Степана Глебова*...— Глебов Степан Богданович (ок. 1672—1718) — любовник первой жены Петра I Евдокии Лопухиной. В 1718 г. по обвинению в заговоре против Петра после жестоких пыток был присужден к смертной казни. 16 марта 1718 г. на Красной площади был посажен на кол и умер спустя четырнадцать часов. Об обстоятельствах гибели Глебова Достоевский узнал из IV тома «Истории царствования Петра Великого» Н. Г. Устрялова (1859).

...*петровским Остерманом.*— Остерман Андрей Иванович (Генрих-Иоганн, 1686—1747) — русский государственный деятель, дипломат, успешно начавший свою карьеру в 1703 г. и приговоренный в 1741 г. Елизаветой к смертной казни, замененной ссылкой в Березов. При определенной последовательности в отстаивании начинаний Петра I Остерман, по воспоминаниям современников, отличался некоторой хитростью и двуличием.

Сенситивнее (от лат. sensitivus) — т. е. чувствительнее.

С. 67. *Казните сердце, пощадите бороду, как сказал Томас Морус...* — Мор Томас (1478—1535) — великий английский гуманист, один из основоположников утопического социализма; был казнен английским королем Генрихом VIII как противник Реформации. «Взойдя на эшафот,— как рассказывалось в ярком и подробном очерке о Томасе Море и его «Утопии» в книге журнала, читаемого братьями Ф. М. и М. М. Достоевскими в пору их юности,— Морус стал на колени и прочел псалом. Палач стал просить у него прощения. Морус обнял его, сказав: «Ты оказываешь мне величайшую услугу, какую только я мог получить от человека. Исполняя свою обязанность, отсторони только мою бороду, потому что она чиста и непорочна; она никогда не изменяла» («Библиотека для чтения», 1837. Т. XXIV. Отд. III. С. 95).

Меа culpa, меа culpa... — латинская формула покаяния во время исповеди, принятая у католиков. Выражение это часто употребляется в значении «виноват и раскаиваюсь».

С. 73. *Лигатура* — примесь меди или олова к золоту для придания ему большей твердости.

С. 78. *«Non possumus!»* — слова в «Деяниях апостолов», принадлежащие апостолам Петру и Иоанну, которым книжники хотели запретить проповедь (гл. 4, ст. 19—20); выражение это стало в папских посланиях традиционной формулой, означающей отказ удовлетворить требования светской власти.

С. 84. *...чиновника Швабрина три месяца назад от ссылки спасли?* — Фамилия заимствована Достоевским из «Капитанской дочки» А. С. Пушкина, где Алексей Иванович Швабрин — офицер, сосланный за поединок в Белгородскую крепость.

С. 87. *...услышала дикий крик «духа, сотрясшего и повергшего» несчастного.* — Достоевский пользуется евангельской фразеологией эпизода исцеления бесноватого. Сама сцена несет на себе отпечаток автобиографических событий: вскоре после женитьбы такой же припадок случился с Достоевским на вечере у сестры Анны Григорьевны.

С. 94. *И может быть, на мой закат печальный...* — цитата из стихотворения Пушкина «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»).

С. 104. *...помешавшийся на современном нигилизме, обнаруженном господином Тургеневым...* — Имеется в виду роман Тургенева «Отцы и дети», с появлением которого современники связывали применение слова «нигилизм» для характеристики умонастроений тогдашней разночинно-демократической молодежи. Достоевский высоко ценил этот роман, особенно образ, по его определению, «беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм» (Полн. собр. соч. Т. V. С. 59).

С. 115. *...принцессу де Роган...* — Роганы — один из древнейших и знаменитейших родов Франции, фамилия которых как синоним «благородства» упоминается Достоевским и в «Подростке».

Шаривари (фр. charivari) — обструкция, устраиваемая с помощью шума, грохота, свиста перед домом лица, вызвавшего общественное неудовольствие.

С. 116. *...он рожден Талейраном.*— Талейран Шарль Морис (1754—1838) — французский дипломат, министр иностранных дел; прославился как ловкий, хитрый и коварный дипломат; в своей жизни 18 раз присягал разным французским правительствам, но изменял всем им и всех обманывал. Имя его стало нарицательным.

С. 122. *«Ценою жизни ночь мою!..»* — Цитата из поэмы Пушкина о Клеопатре, вошедшей в состав повести «Египетские ночи».

С. 124. *«Утаил от премудрых и разумных и открыл младенцам...»* — приблизительная цитата из Евангелия (слова Христа: Евангелие от Матфея, гл. 11, ст. 25; от Луки, гл. 10, ст. 21).

С. 126. *...съездить в Семеновский полк...*— Так назывался в обиходе район Петербурга, примыкающий к Загородному проспекту (по месту расположения казарм лейб-гвардии Семеновского полка).

С. 128. *...французский роман «Madame Bovary»...*— Роман Г. Флобера (1821—1880) «Госпожа Бовари» Достоевский читал летом 1867 г. по рекомендации Тургенева, который отозвался о нем как о самом лучшем произведении «во всем литературном мире за последние 10 лет». Достоевский также высоко ценил этот роман (см. В. Микулич. Встречи с писателями. Л., 1929. С. 155).

И. Битюгова

ИГРОК

Впервые — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 3. СПб., 1866 (и одновременно — отдельным изданием).

Роман создан в течение октября и закончен к 1 ноября 1866 г. Теснимый кредиторами, Достоевский по условиям договора с книгоиздателем Ф. Т. Стелловским должен был к этому сроку представить для выпускавшегося Стелловским Собрания сочинений Достоевского новый роман. В случае непредставления этого романа в срок право собственности на все сочинения Достоевского — прежние и позднейшие — переходило к Стелловскому на девять лет. Это заставило Достоевского осенью 1866 г. прервать работу над писавшимся и печатавшимся в это время романом «Преступление и наказание» и в течение одного месяца продиктовать приглашенной для этого стенографистке А. Г. Сниткиной, ставшей позднее его второй женой, роман «Игрок». В воспоминаниях А. Г. Достоевской сохранился подробный рассказ о работе писателя над романом: до ее прихода Достоевский делал черновые наброски, которые с 12 до 4 часов дня с небольшими перерывами диктовал ей. Этот текст А. Г. Сниткина дома расшифровывала и переписывала набело (см.: Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1981). Первоначально роман был озаглавлен «Рулетенбург» («Город рулетки»), однако издатель выразил пожелание, чтобы роман носил название «другое, более русское».

Роман имеет биографическую основу: во время своей второй заграничной поездки в 1863 г. Достоевский на немецких курортах Висбаден и Гомбург впервые соприкоснулся с миром рулетки и азартной карточной

игры и пережил период увлечения ими. В образе Алексея Ивановича отражены многие из тогдашних психологических переживаний, а в характере Полины — черты душевного облика его возлюбленной А. П. Сусловой. Сложные отношения героя с Полиной, ее увлечение французом Де-Грие, желание вернуть ему деньги — художественно преображенные факты биографии Достоевского и Сусловой.

В письме к сестре жены В. Д. Констант от 20 августа (1 сентября) 1863 г. Достоевский писал, что в Висбадене «присмотрелся к игрокам. Их там понтирует несколько сот человек... Все проигрываются дотла, потому что не умеют играть. Играла там одна француженка и один английский лорд; вот эти так умели играть и не проигрались, а напротив, чуть банк не затрещал. Пожалуйста, не думайте, что я форсю... говоря, что знаю секрет, как не проиграть, а выиграть. Секрет-то я действительно знаю; он ужасно глуп и прост и состоит в том, чтоб удерживаться поминутно, несмотря ни на какие фазисы игры, и не горячиться. Вот и все...». «Теория» игры на рулетке, которую обдумывает и излагает в романе Алексей Иванович, созвучна этим словам.

Тогда же возник первоначальный замысел «Игрока», о котором Достоевский в письме к Н. Н. Страхову от 18 (30) сентября 1863 г. из Рима писал: «Сюжет рассказа следующий: один тип заграничного русского. Заметьте: о заграничных русских был большой вопрос в журналах. Все это отразится в моем рассказе. Да и вообще отразится современная минута (по возможности, разумеется) нашей внутренней жизни. Я беру натуру непосредственную, человека однако же многоразвитого, но во всем недоконченного, изверившегося и не смеющего не верить, восстающего на авторитеты и боящегося их. Он успокаивает себя тем, что ему нечего делать в России, и потому жестокая критика на людей, зовущих из России наших заграничных русских. <...> Главная же штука в том, что все его жизненные соки, силы, буйство, смелость пошли на рулетку. Он — игрок, и не простой игрок, так же как скупой рыцарь Пушкина не простой скупец. (Это вовсе не сравнение меня с Пушкиным. Говорю лишь для ясности.) Он поэт и в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость, хотя потребность риска и облагораживает его в глазах самого себя. Весь рассказ — рассказ о том, как он третий год играет по игорным домам на рулетке».

Тогда же Достоевский набросал план рассказа, объем которого должен был быть не менее $1^1/_2$ печатного листа, и даже начал его писать, но бросил, так как «жарко и, во 2-х,— писал он в том же письме Страхову,— приехал в такое место, как Рим, на неделю; разве в эту неделю, при Риме, можно писать?».

После первой своей заграничной поездки Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) посвятил гневно-саркастические строки Парижу эпохи Наполеона III, проследив путь французской буржуазии от революционных идеалов XVIII в. к самодовольному, сытому, трусливому прозябанию в годы Второй империи. «Игрок» продолжает начатое в «Зимних заметках» остро критическое изображение нравов

буржуазной Европы. Не случайно в качестве типичных представителей французского общества в романе фигурируют авантюристка мадемуазель Бланш и ее наперсник — авантюрист псевдомаркиз Де-Грие. Причем первая носит имя, которое в эпоху романтизма воспринималось как символ чистоты и невинности (от фр. blanc — белый), а второй — имя благородного и бескорыстного в своей любви кавалера Де-Грие из романа аббата Прево «Манон Леско». Их лживость и фальшь, кощунственно звучащие в устах м-ль Бланш слова Корнеля, позерство и низость Де-Грие раскрывают нравственный упадок французского общества, рисуют ту «регрессивную метаморфозу», которую оно пережило в XIX в., после победы во Франции буржуазного собственника, ставшего «всем». Наряду с представителями буржуазной Франции в романе обрисованы характерные типы высшего общества других народов Европы: генерал и его семейство — представители «гулящих» русских людей за границей, чванный и глупый австрийский барон фон Вурмергельм с супругой, англичанин-фабрикант (и в то же время аристократ) мистер Астлей.

Характеры француза, немца, англичанина в ходе истории буржуазного развития этих стран отлились, по мнению Достоевского, в известную законченную «форму»; русский же национальный характер еще находится в процессе развития и становления. Отсюда, по Достоевскому, внешняя историческая «бесформенность» натур Алексея Ивановича и Полины, их раздвоенность и психологическая ранимость. Но страстно ищущий и азартный Алексей Иванович органически не способен поклониться «немецкому идолу», стать стяжателем, подобным Де-Грие, как и Полина не может и никогда не сможет уподобиться пошлой, низкой духом м-ль Бланш. В самом своем «падении» игрок Алексей Иванович и Полина сохраняют превосходство перед последними.

Из литературных произведений, на которые Достоевский опирался, создавая «Игрока», наибольшее значение для него имела «Пиковая дама» А. С. Пушкина. С пушкинским Германном сложным контрапунктом связан образ Алексея Ивановича, а со старухой графиней — образ бабушки. В свою очередь, «Игрок» оказал воздействие на «Пиковую даму» П. И. Чайковского, оказав композитору помощь при разработке сложной психологической характеристики его главных персонажей.

С. 143. *Воксал* (англ. vauxhall) — увеселительное заведение.

С. 145. *Тонировать* — важничать, изображать лицо избранного, высшего общества.

С. 146. *Монсиньор* — титул католических епископов и архиепископов.

...в канцелярию посольства святейшего отца в Париже... — Папа римский до 1870 г. как глава Папской области (присоединенной в 1870 г. к Италии) имел дипломатических представителей в других государствах.

С. 147. *Перовский* Василий Алексеевич (1795—1857) — граф, генерал-адъютант, участник Отечественной войны 1812 г. Отрывок из его

записок, содержащий рассказ о расстреле французами при отступлении Наполеона из Москвы русских пленных, был напечатан в журнале «Русский архив», 1865, № 3.

С. 150. *Пуант* (фр. point) — пункт для обзора окрестностей.

С. 152. *trente et quarante* (тридцать и сорок) — азартная карточная игра.

С. 162. *Фатер* (нем. Vater) — отец.

С. 163. *Ротшильд, Гонпе* — известные банкирские дома.

С. 167. *...le coq gaulois* — галльский петух — символ Франции и французов.

С. 172. *Гейн!* (нем. gehen) — Убирайтесь!

С. 186. *Барберини* — римская знатная княжеская фамилия.

С. 189. *Обер-кельнер* — главный служитель, распорядитель в гостинице или ресторане.

С. 217. *...du lait, sur l'herbe fraîche...* — Молоко на свежей траве (фр.).— В ироническом истолковании Достоевского в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) — отчете о его первой заграничной поездке — формула эта выражает скудный идеал оторванного от почвы городского буржуа.

Homme de la nature et de la vérité («человек природы и истины» — фр.) — автохарактеристика Ж.-Ж. Руссо в его «Исповеди»; Достоевский постоянно употреблял ее иронически, как обозначение взгляда на мир того реального буржуазного человека, в которого после победы буржуазии во Франции и других странах Запада превратился на деле идеализированный «естественный человек» французских просветителей XVIII в.

С. 219. *Фурор* (от фр. fureur, итал. furore) — гнев, ярость.

С. 224. *Поль де Кок* Шарль (1794—1871) — французский писатель, автор фривольных авантюрно-нравоописательных романов для легкого чтения.

С. 225. *Лайдак* (пол. laidak) — мошенник, негодяй.

С. 229. *Балакирев* Иван Александрович (1699—1763) — слуга Петра I и шут Анны Иоанновны, имя которого получило широкую известность и стало нарицательным благодаря приписывавшимся ему анекдотам.

С. 237. *...madame Blanchard...* — Мари Бланшар (1778—1819) — воздухоплавательница и жена одного из первых воздухоплавателей; погибла в Париже во время полета на воздушном шаре.

С. 246. *Mon fils, as-tu du coeur?..* — Патетическая реплика взывающего к сыну о сочувствии и отмщении отца и перефразированные слова ответа ему героя из трагедии П. Корнеля «Сид» (акт I, явл. 5). В устах куртизанки м-ль Бланш слова трагедии Корнеля приобретают нарочито двусмысленную, циничную окраску.

С. 247. *...et après le déluge!* — ...а потом хоть потоп! (фр.) — Перефразированные («После меня хоть потоп!») слова, приписываемые французскому королю Людовику XV (1710—1774) и ставшие крылатыми.

С. 251. *Гомбург* — главный город ландграфства Гессен-Гомбург в Германии (до 1866 г.). В то время — модный курорт, где существовали игорные дома и велась крупная игра в карты и рулетку.

С. 252. *Thérèse-philosophe* — имя героини популярного анонимного эротического романа XVIII в.

Е. Кийко и Г. Фридлендер

ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ

Впервые напечатано в журнале «Эпоха», 1864, № 1—2,4, с подписью: Федор Достоевский.

Замысел «Записок из подполья» определился, вероятно, в конце 1862 г., в период обдумывания и писания «Зимних заметок о летних впечатлениях»: в путевых очерках Достоевского сжато сформулирован один из основных пунктов философской исповеди героя «Записок» — мысль о невозможности построить человеческую жизнь «на разумном основании». Первоначально это должен был быть «большой роман» под названием «Исповедь» (название это впервые встречается в письме Достоевского к брату из Твери от 9 октября 1859 г., но тогдашний замысел вряд ли можно отождествить с замыслом 1862—1863 гг.). В объявлении «От редакции» на обложке декабрьской книжки «Времени» 1862 г. и в первом номере за 1863 г. редакция извещала читателей, что новое произведение Ф. М. Достоевского «Исповедь» появится в журнале в ближайшее время (1862, № 12; 1863, № 1). Впервые на связь замысла «Исповеди» с «Записками из подполья» указал В. Л. Комарович (см.: «Былое». 1924. № 23. С. 31).

«Записки из подполья» органически связаны как с предшествовавшим творчеством Достоевского, и в особенности с «Зимними заметками о летних впечатлениях», так и с последовавшими за ними романами, начиная с «Преступления и наказания» и кончая «Братьями Карамазовыми».

Образ «человека из подполья» явился результатом многолетних раздумий писателя и не переставал его волновать до конца жизни.

Некоторые психологические черты этого героя улавливаются уже в облике Голядкина («Двойник»). Обращает на себя внимание, что герои «Двойника» и «Записок из подполья» служат оба в канцелярии одного и того же столоначальника Антона Антоновича Сеточкина. Перенесение его имени из повести 1840-х гг. в «Записки из подполья» можно объяснить тем, что в 1862—1864 гг., когда уже создавались «Записки», Достоевский продолжал думать над планом переработки «Двойника», в связи с чем между замыслами обеих повестей в сознании писателя устанавливалась определенная внутренняя связь. Фома Опискин («Село Степанчиково») и Млекопитаев («Скверный анекдот») также имеют схожие черты с «подпольным» героем, общая же философская концепция человека этого типа изложена была в «Зимних заметках». Это — «книжник», «мечтатель», «лишний человек», утративший связь с народом и

осужденный за это автором-шестидесятником, стоящим на «почвеннических» позициях.

Проблема «лишних людей», на смену которым шли новые герои-деятели, активно обсуждалась в русской публицистике на рубеже 1860-х гг. Проявлял к ней интерес и Достоевский. Так, имея в виду Чацкого и последовавших за ним «лишних людей», Достоевский писал в «Зимних заметках...»: «Они все ведь не нашли дела, не находили два-три поколения сряду. Это факт, против факта и говорить бы, кажется, нечего, но спросить из любопытства можно. Так вот не понимаю я, чтоб умный человек, когда бы то ни было, при каких бы то ни было обстоятельствах, не мог найти себе дела».

Герой «Записок...» говорит о себе: «Развитой и порядочный человек не может быть тщеславен без неограниченной требовательности к себе самому и не презирая себя в иные минуты до ненависти. <...> Я был болезненно развит, как и следует быть развитым человеку нашего времени». Подобное трагическое мироощущение Достоевский считал характерной чертой «избранных» «лишних людей». Это видно из его отзыва о «Призраках» Тургенева, которые Достоевский прочитал в период работы над «Записками из подполья». В «Призраках», писал Достоевский Тургеневу 23 декабря 1863 г., «...много реального. Это реальное — есть *тоска развитого и сознающего существа, живущего в наше время,* уловленная тоска». В беспредельной тоске «подпольного парадоксалиста» в его словах: «Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ли вам ее законы или не нравятся» — есть мотивы, близкие суждениям, высказанным Тургеневым и в «Поездке в Полесье» (1857), а затем в стихотворении в прозе 1881 г. «Молитва».

Задумав произведение, в центре которого должен был стоять «исповедующийся» «лишний человек», Достоевский не мог не учесть опыта своих предшественников, создавших классические образцы этого типа, а также суждения критиков, объяснивших историческую сущность и закономерность появления «лишних людей».

Герой «Записок из подполья» по своему психологическому облику ближе всего стоит к «русским гамлетам» Тургенева, к «Гамлету Щигровского уезда» (1849) и к Чулкатурину из «Дневника лишнего человека» (1850). Эта общность была отмечена еще Н. Страховым, который в 1867 г. в статье, посвященной выходу в свет Собрания сочинений Достоевского 1865—1866 гг., писал: «Отчуждение от жизни, разрыв с действительностью... эта *язва,* очевидно, существует в русском обществе...»

В «Записках из подполья» отразились также авторские переживания юношеских лет. Так, описание периода пребывания «подпольного героя» в учебном заведении, несомненно, навеяно впечатлениями, вынесенными Достоевским из стен Инженерного замка.

Однако совпадение некоторых деталей в биографии героя и автора, его создавшего, не дает, разумеется, никаких оснований для их отождествления, как это сделал Н. Н. Страхов, назвавший в известном, полном враждебности к Достоевскому письме, адресованном Л. Н. Толстому, от

28 ноября 1883 г., в числе типов, созданных Достоевским и наиболее похожих на него самого, героя «Записок из подполья».

«Записки из подполья» — произведение, открывшее новый этап в развитии таланта его автора. Здесь впервые применен принцип построения образа центрального героя, который впоследствии обусловил своеобразие художественной структуры романов Достоевского. Взаимоотношения «подпольного человека» и окружающей действительности в этой повести является результатом (пользуясь термином Б. М. Энгельгардта) его «идеологического отношения к миру», а каждая его мысль воспринимается как «реплика незавершенного диалога» и «напряженно живет на границах с чужою мыслью, с чужим сознанием».

Не будучи единомышленником героя, Достоевский наделил рассуждения его такой силой «доказательности», какой впоследствии отличались монологи Раскольникова, Ставрогина и братьев Карамазовых. Этот прием был столь необычен для современников, что даже искушенная в вопросах литературы и хорошо знавшая Достоевского А. П. Суслова не поняла его и, прочитав первую часть «Записок из подполья», писала их автору: «Что ты за скандальную повесть пишешь? <...> мне не нравится, когда ты пишешь цинические вещи. Это к тебе как-то не идет...»

Неоднократно (и обоснованно) высказывалась мысль, что основным противником, с которым Достоевский полемизирует в «Записках из подполья», является Чернышевский как автор романа «Что делать?». Созданный Достоевским трагический тип человека с разорванным сознанием, натура которого отвергает доводы разума, не укладывался в рамки этической концепции Чернышевского, основанной на рационалистическом осознании человеком своей «выгоды» как социального, общественного существа. Но важно учесть и то, что «Записки из подполья» были задуманы еще до выхода в свет «Что делать?». Появившийся же в 1863 г. роман Чернышевского мог повлиять на формирование прежнего замысла, уже, очевидно, предполагавшего полемику с теорией «разумного эгоизма», начатую в «Зимних заметках...», и подтолкнуть Достоевского к его осуществлению. Автор «Записок из подполья» возражает как Чернышевскому, так и мыслителям, являвшимся его идейными предшественниками и последователями. Достоевский видел в Чернышевском продолжателя неприемлемой для него просветительской концепции человека, основы которой были заложены французскими философами XVIII в., в частности Руссо и Дидро.

Многое из того, что в этой повести только намечено, было развито в последующих романах Достоевского, и в частности в первом из них, в «Преступлении и наказании».

С. 269. *Покиватель.*— Это слово, очевидно, образовано Достоевским от просторечного «киватель»; так назывался человек, который кивает головой, перемигивается или дает скрытно знаки кому-либо (см.: Даль В. И. Толковый словарь. Т. II).

С. 270. *...«всего прекрасного и высокого»...*— Сочетание понятий «прекрасное и высокое» восходит к эстетическим трактатам XVIII в. Пос-

ле переоценки эстетики «чистого искусства» в 1840—1860-х гг. это выражение приобрело иронический оттенок.

С. 272. *...l'homme de la nature et de la vérité* — см. коммент. к с. 217.

С. 273. *Уж как докажут тебе, например, что от обезьяны произошел...* — Интерес к вопросу о происхождении человека в начале 1864 г. обострился в связи с выходом в Петербурге в русском переводе книги последователя эволюционной теории Ч. Дарвина Томаса Генри Гексли (1825—1895) «О положении человека в ряду органических существ».

С. 275. *...со всевозможными Вагенгеймами... перестанут болеть ваши зубы...* — Речь идет о зубных врачах Вагенгеймах. Судя по «Всеобщей адресной книге Санкт-Петербурга», в середине 1860-х гг. в Петербурге было восемь зубных врачей по фамилии Вагейнгейм; вывески, их рекламирующие, были распространены по всему городу.

...как человек, «отрешившийся от почвы и народных начал», как теперь выражаются. — Выражение, взятое в кавычки, характерно для статей журналов «Время» и «Эпоха».

Шенапан (фр. chenapan) — негодяй.

С. 278. *Художник, например, написал картину Ге. <...> Автор написал «как кому угодно»...* — Здесь полемический выпад против М. Е. Салтыкова-Щедрина, напечатавшего сочувственный отзыв о картине Н. Н. Ге (1831—1894) «Тайная вечеря». Эта картина, показанная впервые на осенней выставке Академии художеств в 1863 г., вызвала разноречивые толки. Впоследствии Достоевский упрекал Н. Н. Ге в преднамеренном смешении «исторической и текущей» действительности, отчего, по его мнению, «вышла фальшь и предвзятая идея, а всякая фальшь есть ложь и уже вовсе не реализм» («Дневник писателя», 1873, IX, «По поводу выставки»). «Как кому угодно» — статья Щедрина, напечатанная в «Современнике» за 1863 г., № 7.

Сандальный нос — т. е. нос пьяницы.

С. 280. *...ну хоть утверждать, например, вслед за Боклем, что от цивилизации человек смягчается...* — В двухтомном труде английского историка и социолога Генри Томаса Бокля (1821—1862) «История цивилизации в Англии» высказана мысль, что развитие цивилизации ведет к прекращению войн между народами.

Вот вам Наполеон — и великий и теперешний. — Имена французских императоров — Наполеона I (1769—1821) и Наполеона III (1808—1873) — названы в связи с тем, что периоды правления того и другого ознаменовались большим количеством войн, которые вела Франция.

Вот вам Северная Америка... — В 1861—1865 гг. в Северной Америке шла война между Северными штатами и поднявшими мятеж рабовладельческими Южными штатами.

Вот вам, наконец, карикатурный Шлезвиг-Гольштейн... — Немецкое герцогство Шлезвиг-Голштиния с 1773 г. фактически стало провинцией Дании. В 1864 г. шла прусско-датская война, закончившаяся присоединением этой территории к Пруссии.

...Атиллы да Стеньки Разины... — Атилла (год рожд. неизв., ум. в 453) — вождь племени гуннов, возглавлявший опустошительные военные походы на территории Римской империи, Ирана и Галлии. Разин Степан Тимофеевич (год рожд. неизв., ум. в 1671) — донской казак, возглавивший крестьянскую войну в России 1667—1671 гг. Фигура С. Разина привлекла в эти годы к себе особое внимание в связи с выходом в 1858 г. книги Н. И. Костомарова «Бунт Стеньки Разина», где говорилось о поголовном истреблении им помещиков.

С. 281. *Клеопатра* (69—30 гг. до н. э.) — царица Египта из династии Птолемеев; имя ее часто упоминалось в русской печати в 1861 г. в связи с полемикой, вызванной чтением в Перми на литературном вечере женой чиновника Толмачева монолога Клеопатры из «Египетских ночей».

...он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши... — Имеется в виду следующее рассуждение французского философа-материалиста Дидро (1713—1784) в его сочинении «Разговор Даламбера и Дидро» (1769): «Мы — инструменты, одаренные способностью ощущать и памятью. Наши чувства — клавиши, по которым ударяет окружающая нас природа и которые часто сами по себе ударяют.

Тогда выстроится хрустальный дворец. — Намек на «Четвертый сон Веры Павловны» в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Здесь описано «чугунно-хрустальное» здание-дворец, в котором, как это представлялось и Ш. Фурье (см. его «Теорию всемирного единства», 1841), живут люди социалистического общества. Моделью для изображения этого дворца послужил хрустальный дворец в Лондоне.

...прилетит птица Каган... — О птице Каган, приносящей людям счастье, Достоевский услышал впервые на каторге.

С. 285. *...колосс Родосский <...> г-н Анаевский свидетельствует о нем...* — Колосс Родосский — бронзовая статуя Гелиоса, бога солнца, высотою в 31 м, изваянная в 280 г. до н. э. и считавшаяся одним из семи чудес света; стояла в гавани древнегреческого города Родоса. А. Е. Анаевский (1788—1866) — автор литературных поделок, бывших предметом постоянных насмешек в журналистике 1840—1860-х гг.,— в брошюре, названной им «Энхиридион любознательный» (СПб., 1854), писал: «Колосс Родосский созижден, некоторые писатели уверяют, Семирамидою, а другие утверждают: он воздвигнут не рукою человеческою, а природою».

С. 291. *...Гейне утверждает, что верные автобиографии почти невозможны <...> Руссо, например, непременно налгал на себя в своей исповеди...* — Во втором томе книги «О Германии», в «Признаниях» (1853—1854), Гейне писал: «Составление собственной характеристики было бы работой не только неудобной, но попросту невозможной <...> при всем желании быть искренним, ни один человек не может сказать правду о самом себе». Там же Гейне утверждал, что Руссо в своей «Исповеди» «делает лживые признания для того, чтобы скрыть под ними истинные проступки» или из тщеславия.

С. 293. *По поводу мокрого снега.*— Еще П. В. Анненков в статье «Заметки о русской литературе» отметил, что «сырой дождик и мокрый снег» являются непременными элементами петербургского пейзажа в повестях писателей «натуральной школы» и их подражателей.

С. 295. *...охотясь тогда за Костанжоглами да за дядюшками Петрами Ивановичами...*— Имеются в виду образцовый хозяин — помещик Костанжогло, изображенный Гоголем во втором томе «Мертвых душ» (1852), и Петр Иванович Адуев из романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история» (1847), отличавшийся здравым смыслом и практической деловитостью.

С. 296. *...свезут в сумасшедший дом в виде «испанского короля»...*— Испанским королем считал себя Поприщин в повести Гоголя «Записки сумасшедшего» (1835).

С. 298. *...офицер вершков десяти росту...*— По установившейся традиции в XIX в. рост обозначался вершками, которые отмерялись сверх двух аршин. Следовательно, рост этого офицера был два аршина (71 см х 2= 142 см) десять вершков (4,45 см х 10 = 44,5 см); всего около 186 см.

...как поручик Пирогов у Гоголя,— по начальству.— Поручик Пирогов в повести Гоголя «Невский проспект» (1835), после того как он был высечен оскорбленным мужем — немцем ремесленником, хотел жаловаться генералу и одновременно «подать письменную просьбу в Главный штаб».

Штафирка (от н е м. stafieren — отделывать) — подкладка или борт подкладки в ботинках, юбках; здесь: презрительное наименование штатских.

С. 299. *...в абличительном виде...*— «Абличительный» вместо «обличительный» здесь и ниже употреблено в ироническом смысле.

Мизер (ф р. misere) — нищета, убожество.

С. 300. *Суперфлю* (ф р. superflu — лишний, бесполезный) — здесь: изысканная; в этом смысле это слово было употреблено Ноздревым в «Мертвых душах» Гоголя.

С. 301. *...бонтоннее...*— т. е. более соответствующие вкусу хорошего общества (от ф р. bon ton — хороший тон).

С. 303. *...получаю несметные миллионы и тотчас же жертвую их на род человеческий...*— Эта мечта «подпольного героя» возродилась позднее в «ротшильдовской» идее Подростка, который тоже хотел, скопив огромное богатство и насладившись могуществом, отдать свои миллионы людям (см. «Подросток», ч. I, гл. пятая, раздел III).

...заключают в себе... чего-то манфредовского.— Здесь: чего-то гордого, возвышенного. Манфред — герой одноименной драматической поэмы Байрона (1817), в которой нашла отражение философия «мировой скорби».

...разбиваю ретроградов под Аустерлицем...— Здесь и ниже герой представляет себя в роли Наполеона I. В данном случае имеется в виду победа Наполеона I под Аустерлицем 20 ноября (2 декабря) 1805 г. над объединенными русско-австрийскими войсками.

...Папа соглашается выехать из Рима в Бразилию... — Конфликт Наполеона I с Папой Пием VII, в результате которого Наполеон I был отлучен в 1809 г. от церкви, а Папа Пий VII в течение пяти лет был фактическим узником французского императора, закончился возвращением в 1814 г. Пия VII в Рим.

...бал для всей Италии на вилле Боргезе... — Очевидно, имеется в виду празднование в 1806 г. основания Французской империи, которое было приурочено к 15 августа, дню рождения Наполеона I. Вилла Боргезе в Риме, основанная в первой половине XVIII в., украшенная изящными постройками, фонтанами и статуями, принадлежала в это время Камилло Боргезе, за которым была замужем сестра Наполеона I Полина. Озеро Комо расположено в Итальянских Альпах.

С. 304. *...у Пяти Углов...* — Место в Петербурге, где сходятся Загородный проспект, Чернышев переулок (ныне ул. Ломоносова), Разъезжая и Троицкая улицы.

Толковали про акциз... — т. е. о государственном налоге на продукты широкого потребления, в данном случае, очевидно, на вино.

С. 306. *...droit de seigneur...* — средневековый феодальный обычай, так называемое право первой ночи, по которому крепостная крестьянка обязана была проводить первую брачную ночь со своим господином.

С. 309. *Меня сунули в эту школу <...> уже задумывающегося, молчаливого и дико на все озиравшегося.* — Рассказ «подпольного героя» о пребывании в школе и о его взаимоотношениях с товарищами предваряет повествование Аркадия Долгорукова о годах, проведенных им в пансионе Тушара (см. «Подросток», т. VIII).

С. 316. *...ненавижу клубничку и клубничников.* — Под «клубничкой» гоголевский Ноздрев («Мертвые души») подразумевал любовные похождения.

С. 317. *Гальбик* — азартная карточная игра.

С. 321. *...все это из Сильвио и из «Маскарада» Лермонтова.* — Сильвио — главный персонаж повести А. С. Пушкина «Выстрел» (1830), вся жизнь которого была посвящена идее мести. В конце повести он восторжествовал над своим противником. В драме «Маскарад» аналогичная роль принадлежит Неизвестному.

С. 339. *И в дом мой смело и свободно // Хозяйкой полною войди!* — заключительные строки стихотворения Некрасова «Когда из мрака заблужденья» (1845).

...сложенный ижицей... — т. е. треугольником (ижица — последняя буква церковно-славянской и старой русской азбуки, обозначающая звук «и»).

С. 340. *Шамбр-гарни* (фр. chambres-garnies) — меблированные комнаты.

Е. Кийко

СОДЕРЖАНИЕ

ИДИОТ
Роман в четырех частях

Часть четвертая 7

ИГРОК. *Роман.* Из записок молодого человека) 141

ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ

I. Подполье 267
II. По поводу мокрого снега 293

Комментарии *И. Битюговой, Е. Кийко, И. Фридлендера* 352

Федор Михайлович Достоевский

Собрание сочинений

ИДИОТ
Окончание
ИГРОК
ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ

Составитель *А. Храмков*

Редактор *Б. Акимов*
Компьютерная верстка *А. Филиппов*
Корректоры *Н. Кузнецова, Н. Лобанова*

ООО ТД «Издательство Мир книги»
111024, Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 6
Отдел реализации:
Телефон: (495) 974-29-76, 974-29-75. Факс: (495) 742-85-79
E-mail: commerce@mirknigi.ru

ООО «РИЦ Литература»
115407, Москва, Судостроительная ул., д. 40

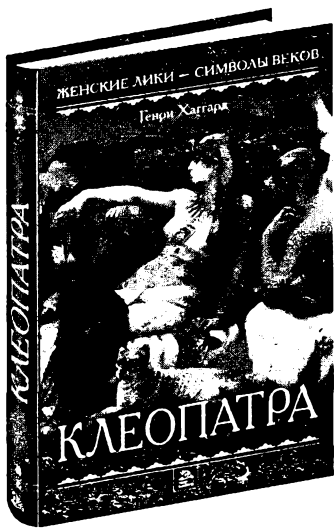
Подписано в печать 10.11.2007 г.
Формат 84x108$^{1}/_{32}$. Гарнитура «Литературная С»
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,32
Тираж 10000 экз. Заказ № 4717226

Отпечатано в ОАО «Нижполиграф»
603006, Нижний Новгород, Варварская, 32.

Издательство «МИР КНИГИ» представляет серию

«ЖЕНСКИЕ ЛИКИ – СИМВОЛЫ ВЕКОВ»

Королевы, императрицы, претендентки на царский престол...
Жизнь этих венценосных особ всегда была окружена тайной
и привлекала внимание. Именно им, легендарным женщинам
с наиболее яркими и драматическими судьбами, посвящена
серия захватывающих романов «Женские лики – Символы веков»



**Клеопатра, Мессалина,
Жанна Д'Арк, леди Гамильтон,
княгиня Ольга, Мария Стюарт,
Маркиза де Помпадур...**

Их загадочные образы раскрываются на фоне подлинных исторических событий, перенося читателей в кипящий котел страстей Древнего Египта, в дикую эпоху Столетней войны, в леденящий мрак Петербурга и его зловещих шутовских фарсов, в самое сердце греха и порока – Рим эпохи Тиберия и Калигулы...

- *Талантливейшие зарубежные и русские авторы*
- *Повествование на пике динамизма и экспрессии*
- *Тайны и мистерии, дерзкие заговоры и трагедии, бури страстей и интриг*

ООО Торговый дом «Издательство Мир Книги»
Отдел реализации: (495) 974-29-76, 974-29-75;
факс (495) 742-85-79 e-mail:commerce@mirknigi.ru

Каталог «Мир Книги» можно заказать по адресу:
111116, г. Москва а/я 30 «МИР КНИГИ»,
тел. (495) 974-2-974 e-mail: order@mirknigi.ru

Произведения
Федора Михайловича Достоевского
(1821-1881) —
сочетание реалистичности,
фактографической точности,
социальных контрастов
с поисками истины существования
и недостижимой, идеальной гармонии.
Герои — ищущие, одержимые страстью,
мятущиеся — вечные. Как и сам мир.

ISBN 978-5-486-01832-9